# Иностранная литература

11

1968

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

# СОДЕРЖАНИЕ

***РОМАНЫ***

**ГОР ВИДАЛ** — Вашингтон, округ Колумбия 85

***ПОВЕСТИ***

**НГУЕН ДИНЬ ТХИ** — Линия фронта прочерчивает небо . . . . . 3

***СТИХИ***

**ИВАН СКАЛА** — Этот день (Космические вариации) . . . . . 73
**ХУВЕНСИО ВАЛЬЕ** — Мелодии родины . . . 172

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

**МИГЕЛЬ ЭРНАНДЕС** — Стихи . . . . . 176

ГОРЬКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ

**Писатели разных стран за «круглым столом»** . . . . . 182

ПУБЛИЦИСТИКА

**Г. ГЛЕЗЕРМАН** — Проблемы социалистического гуманизма в современном мире . 209
**ФРЭНК ХАРДИ** — Пасынки Австралии (Фрагменты из книги. Окончание) . . . . . 221

11

НОЯБРЬ

1968

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
*Москва*

## ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

**И. СВИРИДА** — Польский плакат . . . . 238

## КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

**Заметки на полях зарубежных газет и журналов**

**НИКОЛАЙ ПОЛЯНОВ** — Душа наизнанку . . 245
**ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ** — Глазами суперменов . 247

## ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

**ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ** — За исторически-классовый подход к явлениям . . . . . 250

## НАШИ ГОСТИ

**И. ЗОРИНА** — Без переводчика (Бэл Кауфман в «Иностранной литературе») . . . . 252
**К. ЧУГУНОВ** — Царь джунглей боится Зайца (Бернар Дадье в «Иностранной литературе») . . . . . 254

## СРЕДИ КНИГ

### ИЗДАНО В СССР

А. Тишков — В бурном потоке жизни. ◇ Роберто Обрегон Моралес — Дарио — душа испанского языка. ◇ А. Мулярчик — Автопортрет художника . . . 257

### ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Г. Брейтбурд — Дублеры. ◇ С. Ильинская — Добрая ладонь. ◇ Кирилл Ковальджи — Новая антология советской поэзии. ◇ Е. Закс — Возвращение унтера Гриши. ◇ Е. Книпович — Честное свидетельство художника. . . . . 262

**ЕГО КНИГИ НЕСУТ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ** (К 150-летию со дня рождения И. С. Тургенева) 271

## ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника . . . . . 273

## АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА . . . . 287

*На обложке: **АНРИ ФУЖЕРОН** (Франция). Вид на Красную площадь с Москворецкого моста.*

НГУЕН ДИНЬ ТХИ

# Линия фронта прочерчивает небо

ПОВЕСТЬ

*Перевод с вьетнамского*
*М. ТКАЧЕВА*

## I

Было еще темно, но переполненные автомашины одна за другой доставляли на аэродром техников, инженеров, рабочих и солдат из группы оружия, интендантов, связистов, метеорологов, офицеров штаба... По широким и ровным полосам дорожек поплыли силуэты военных грузовиков, каждый тащил за собой реактивный самолет, похожий на огромную птицу. Высоко задрав хвосты, они послушно и бесшумно выстраивались в линию, и всякий раз, когда истребители проползали мимо электрических фонарей, на фюзеляжах вспыхивали светлые блики. Бригады техников засуетились вокруг боевых машин; длинные брюхатые бензовозы и обвешанные кабелями грузовики с генераторами по очереди объезжали самолеты. Потом в темноте послышался шум турбин, мгновение спустя расколовший ночь громоподобным ревом, и языки пламени озарили все вокруг алыми отсветами. В самом начале дорожки полыхнули турбины другого истребителя, затем еще одного, стоявшего рядом, и еще одного, и следующего... Грохот, заполнивший аэродром, сотрясал небо.

Автомобили начали подвозить пилотов, назначенных в первое утреннее дежурство.

Сегодня, как и обычно, Лыонг с друзьями дожидались машины на «автовокзале». Было ветрено, редкие капли дождя мелькали в конусе света вокруг фонаря. «Вокзал» располагался на перекрестке; ребята притащили сюда пустые ящики, сколотили из них несколько длинных скамеек и устроили «зал ожидания» прямо под открытым небом. Лежавший вокруг военный городок утопал в молчаливом мраке. Лишь в одном доме горели огни; за поминутно открывавшейся дверью мерцал красноватый свет, и люди словно ныряли в этот свет и выплывали из него один

за другим. Там была столовая и кухня, где в эту пору уже кипела работа. Летчики из звена Лыонга разговаривали, сидя под фонарем.

— Да-а, ребята, дождь зарядил всерьез! — Бан, командир звена, весь какой-то круглый и крепко сбитый, точно семечко хлебного дерева, расхаживая взад-вперед, выставил ладонь навстречу падавшим каплям и поглядел на небо, которое едва-едва начинало светлеть у них над головой.

— Не волнуйся, Бан! — Шау, сидевший на корточках у обочины дороги, посмотрел на небо и продолжал: — Тучи пронесет быстро, побрызгает немного, и все.

Но дождевые капли вдруг застучали тяжелее прежнего. Наконец подошел их «автобус»: так величали простой грузовик с открытым кузовом. Шофер высунул голову из кабины:

— Четвертая эскадрилья, поднимайся!

Подметки тяжелых ботинок загрохотали по щебенке, потом по днищу кузова. В эту минуту около грузовика резко затормозил маленький мотоцикл, на заднем его сиденье клевал носом политрук эскадрильи Кхай. Из «автобуса», толстые шины которого сделали уже пол-оборота, раздались веселые голоса:

— Привет, Кхай! Решил сегодня нас обогнать?

— Эй, Фук! — это был штабной офицер, хозяин мотоцикла. — Потише, не урони по дороге политрука!

— Спокойно! Когда у руля штаб, безопасность гарантирована! Поезжайте за нами, ребята!

Мотоцикл рванул с места, и треск мотора заглушил смех Кхая.

Лыонг забрался в кузов и уселся рядом с Тоаном, летчиком из его звена, самым молодым в эскадрилье. Машина, набрав скорость, мчалась по вымощенной камнем дороге, огибавшей подножие холма. Тоан вытащил из кармана пачку «Диен-биен» *, и, сблизив головы вплотную, они прикурили.

— Ну как, Лыонг, завтра в отпуск?

— Да, на двое суток.

— Не маловато?

— По нынешним временам и то много. Правда, Дао живет далеко, но полдня, думаю, я у нее пробуду. Придется только на велосипеде отмахать десяток-другой верст — от автобусной станции в уезде до их деревушки.

— С тех пор как прибыл в полк, ты еще ни разу не был у своих?

— Да, в общем-то это мой первый отпуск с конца пятьдесят девятого, когда я ушел в армию.

— А племяннику подарок приготовил?

— Само собой! — улыбнулся Лыонг. — Смастерил для него маленький «МИГ».

■

Купол неба постепенно светлел. Последние звезды мигали и меркли с каждой минутой. Горизонт за спиной у пилотов из оранжевого становился огненно-красным. Серые тучи над ними медленно рассеивались, открывая голубые лоскутья неба.

Недавняя морось напоила воздух прохладой. Порывы ветра волнами прокатывались по обступившим дорогу рисовым полям. Несмотря на раннюю пору, Лыонг увидел вокруг множество народа, в большинстве женщин и девушек; они черпали воду на поля, выпалывали траву. Вдали,

* Сорт сигарет, названных в честь города Диен-биен-фу на севере ДРВ, где вьетнамская Народная армия в 1954 году разгромила войска французских колонизаторов.

где виднелись заросли бамбука*, вереницей шли по меже люди с грузом на коромыслах — так обычно идут на базар. Киен, командир эскадрильи, показав на них рукою, сказал:

— Эвакуируются.

Всякий раз, просыпаясь на рассвете, Лыонг слышал кричавшие в рупор голоса из ближних деревень. В последние дни вражеские самолеты то и дело налетали на железнодорожный мост и несколько раз пытались приблизиться к аэродрому. Вчера в полдень «Ф-105» снова рвались к мосту, но были отбиты зенитчиками и побросали бомбы куда попало. Положение в округе было очень напряженным, но случайный прохожий, скорее всего, ничего бы и не заметил. Из деревень, расположенных у железной дороги, старики и дети, что ни день, уходили на заре в более безопасный район километров за семь отсюда, а вечером возвращались по домам.

«Проклятье!» — Лыонг молча проводил взглядом цепочку людей, уходивших к горизонту.

Машина въехала в зону аэродрома. Небо совсем посветлело. Непогашенные еще фонари, как золотистые зерна четочника**, поблескивали на розовом фоне неба.

Летчики Четвертой эскадрильи прыгали из кузова на бетонную полосу около готовых к бою истребителей, вытянутых в прямую линию. Лыонг увидал у своей машины номер двадцать четыре Нго, командира группы техников; он стоял на маленькой металлической стремянке, просунув голову и плечи в кабину, и что-то там разглядывал. Увидев Лыонга, он выпрямился, и они помахали друг другу рукой. Вместе с другими пилотами Лыонг подошел к месту сбора. На траве у дорожки рядом с аэродромной каретой скорой помощи стоял газик командира полка. «С чего это Тхуан приехал в такую рань?..»

■

Командир полка был в комбинезоне и кожаном шлеме. Загорелое лицо его с густыми угловатыми бровями и квадратным подбородком выглядело бы суровым и строгим, если б не мягкий рот, словно тронутый тихой застенчивой улыбкой.

— Четвертая эскадрилья! Сегодня утром у нас тренировочные полеты по установленной программе. В полете сохранять боевую готовность. Противник подтянул сюда четыре авианосца. Возможно, попытается нанести удар по районам Ханоя и Хайфона и уж конечно не минует нас...

Выслушав приказ командира эскадрильи Киена, летчики побежали в дежурку; они торопливо натягивали плотные, облегающие костюмы для высотных полетов.

Первый «МИГ», ревя турбиной, выполз на взлетную полосу. Лыонг, надевая шлем, выглянул из приоткрытых дверей. Истребитель замер на бетонной полосе; крылья и хвост у него дрожали, как у птицы, сжавшейся перед броском. Он стремительно побежал по дорожке и оторвался от земли с грохотом, подобным тайфуну.

— Кто это взлетел с таким шиком? — Тоан проверил висевший у него на боку пистолет и обернулся к Лыонгу. — Сегодня нашим соседям наверняка достанется настоящий бой. А мы снова будем приветствовать их подвиги!

---

* На равнинах Северного Вьетнама деревни исстари окружают живыми изгородями из бамбука.

** Растение с твердыми круглыми семенами, из которых часто делают четки, бусы и т. п.

— Кто знает, — Бан, покончив с костюмом, остановился в углу. — Ты разве не слышал, что сказал командир полка? Почему бы нам в тренировочном полете не встретить противника?

— Ладно, не убивайся! — Шау похлопал Тоана по плечу. — Потренируйся как следует, а там и до боя недалеко. Что ты так горячишься?

— Иногда и погорячиться неплохо! — улыбнувшись, ответил за него Кхай. Потом добавил, обращаясь к Тоану:—Утешься, ты сегодня летишь в первой паре. Если *он* не помешает, сможешь сделать за утро два вылета и еще один днем. Отыграешься за вчерашнее, а?

— Мне бы, политрук, отыграться разом за все последние дни!

Тоан, улыбаясь, присел, пробуя, не жмет ли костюм в коленях, надел на голову кожаный шлем и застегнул пряжку.

Товарищи знали, что он очень расстроен. Вот уже второй день подряд, едва подходила его очередь на тренировочный полет, начиналась тревога и продолжалась все его летное время. Вчера, вернувшись с аэродрома, он сидел за обедом сам не свой и через силу жевал рис. «Если так не везет на учениях, — думал Тоан, — когда же дождешься боевого вылета...»

— Ну, Тоан, сегодня штаб составил график полетов будто по твоему заказу! Наконец отведешь душу. Давайте побыстрее...

Бан подошел к Тоану и подтолкнул его к двери. Они вместе вышли на бетонную полосу.

Солнечный диск выплыл из красных облаков на горизонте и бросил вокруг первые лучи, окрасившие траву в рыжеватый цвет.

«МИГ», «пробовавший погоду», спикировал из-за высоких облаков и начал описывать круги над аэродромом. Здесь, внизу, другая серебристо-белая машина, длинная и острая, как наконечник стрелы, взревела, потом загрохотала с чудовищной силой: Тхуан приготовился к взлету.

Четверо пилотов, сидя на траве, следили за тем, как самолет медленно развернулся, приблизился к началу взлетной дорожки и замер в ожидании, пока снижавшийся с выпущенными шасси истребитель не коснулся земли. Потом он вырулил на середину бетонного полотна, снова взревел и свечой взмыл в небо.

— Тхуан отлично поднял машину, — одобрительно заметил Шау.

Лыонг следил за полетом командира полка. Хотя он пришел в часть недавно и не был прежде знаком с Тхуаном, но проникся к нему уважением. Он знал, что в войну с французами Тхуан командовал пехотным взводом и побывал на всех фронтах Северного Вьетнама, от дороги номер четыре * и вплоть до Диен-биен-фу. Ему уже за сорок. Тхуан, как и Ви, комиссар полка, чем-то напоминал Лыонгу его отца.

«Если б отец был жив, — подумал Лыонг,—он стал бы командиром, как Ви и Тхуан. Ведь они все из одного поколения революционеров, отец был постарше немного... Наш полковник никогда не бросает слов на ветер, говорит кратко и точно... По зову партии и революции, по велению времени он, немолодой уже пехотный офицер, кончил авиационную школу, выучился летать на самых современных реактивных истребителях. Может, приемы пилотажа он выполняет не с такой молниеносной быстротой, как молодые летчики, но машину ведет уверенно и надежно. И не упускает возможности усовершенствовать технику. С таким командиром чувствуешь себя спокойно...»

Тхуан описывал в небе стремительные круги. Его «МИГ» прошил насквозь белую толщу облаков, с раздирающим уши свистом вошел в пике и вдруг исчез. В то же мгновение оборвался и рев мотора. Истреби-

---

* Одна из главных стратегических шоссейных дорог, построенных еще до 1945 г. и имеющих каждая порядковый номер.

тель перешел на бреющий полет и, опережая звук, неожиданно показался над самым аэродромом. Бесшумно, как стрела, он промелькнул прямо над головами летчиков, стоявших на полосе. Мгновение спустя земля содрогнулась от грохота. Лыонг едва успел разглядеть за стеклом кабины голову Тхуана, похожую на шар в кожаном шлеме. А самолет изящным вращательным движением, словно сверло, почти отвесно вонзился в небо, выдохнув шлейф раскаленного ветра, пригнувшего тростники. Они тревожно зашелестели подле взлетной дорожки.

В манере пилотажа Тхуана явно проглядывал его характер — прямой, ровный и осторожный, а когда надо, полный решимости.

«В общем-то, — думал Лыонг, — все летчики, первыми пришедшие в наш полк, воевали с французами в пехоте... До революции они были пастухами в нищих деревушках, бо́ями, чистильщиками обуви, разносчиками мороженого или грузчиками на пристанях и вокзалах; бездомные, бродили они по городским улицам, таскали на себе уголь, собирали шлак у фабричных печей... Потом стали партизанами и солдатами, нередко находясь между жизнью и смертью, своими руками заостряли колья для волчьих ям, прятали в ловушках гранаты, стреляли, сберегая каждый патрон. Правда, к концу войны они выучились читать и писать, но лишь самым способным удалось кончить три или четыре класса... А теперь вот водят невиданные машины, и на счету у любого добрый десяток воздушных боев. Иные даже уходят от нас командирами в другие авиационные части. Каждый из «стариков», конечно, воюет по-своему, но у них у всех есть одно общее качество — давний и богатый боевой опыт, которого не хватает нам, молодым...

...Взять хоть нашего командира звена Бана. Он партизанил на дороге номер пять в Хай-зыонге*. И сейчас еще в его манере водить самолет и в боевых приемах заметна какая-то особая смекалка. Иногда он бывает просто дьявольски хитер, так что, воздавая ему должное, невозможно удержаться от смеха. Бан не любит никакой показухи. Но я бывал с ним вместе в бою: он отлично видит все впереди и позади себя, моментально оценивает обстановку и всегда выберет самый выгодный и неожиданный вариант атаки. Он как будто так и остался партизаном, только руки его, швырявшие прежде гранаты, стали крыльями грозной реактивной птицы, издалека наносящей смертельные удары ошеломленному неприятелю...

...Или Шау — мой ведущий. Мы давно с ним летаем в паре. К нему у меня особая симпатия. Он ведь южанин, родом из Зиа-диня, что неподалеку от Сайгона. До революции кочегарил на пароходе, плававшем из Ми-тхо** в Пном-пень; в ту войну работал оружейником мастерских в джунглях. Он ужасно пунктуальный и аккуратный. Говорит мало и часто отмалчивается, только улыбается нашим шуткам. Он и дома никогда не сидит без дела, вечно что-нибудь мастерит или чинит: не стул, так клетку для птиц или вентилятор. А за своим «МИГом» ухаживает и проверяет его, как часы. При взлете и посадке или во время учебных полетов он всегда бережет машину, но в бою выжимает максимум возможного. Шау сбил один «Ф-105», взорвавшийся прямо в воздухе. В другой раз он преследовал «Ф-8» с авианосца Седьмого флота; уже над морем янки, машина которого была повреждена, умудрился развернуться и выпустил ракету прямо в его самолет. Какая-то доля секунды — и обе машины рухнули бы в море. Но Шау успел бросить «МИГ» в сторону, потом снизился и обстреливал американца, пока тот не затонул. У него есть заветная мечта: пролететь на своем «МИГе» над родной деревней и

* Провинция и административный центр ДРВ.

** Провинции и административные центры в Южном Вьетнаме.

в тамошнем небе пощипать заокеанских птичек. Ну, а пока он больше всего хотел бы для полноты «коллекции» сбить хоть один «фантом»*.

...В нашем звене только мы с Тоаном не имеем ни одного сбитого самолета. Правда, я уже дрался не раз. Только у Тоана дело не шло дальше тренировочных вылетов. Но мы все убеждены: из него выйдет отличный истребитель. Он чувствует себя в воздухе как рыба в воде. Ребята шутя говорят, что он сливается с самолетом в единое целое, как скрипач-виртуоз со своей скрипкой. Тоан и вправду у нас музицирует, только... на аккордеоне, но, по общему мнению, почти не преуспел... Для него сейчас главное — набраться опыта и мастерства...»

Тхуан приземлился и стоял теперь рядом с Киеном у радиостанции. Пара за парой стальные птицы отрывались от земли и кружились в облаках, затянувших небо. Судя по всему, плану учебных полетов Четверки сегодня вряд ли угрожали помехи со стороны неприятеля.

— Наконец и наша очередь!

Шау поднялся, отряхнул костюм и вместе с Лыонгом торопливо зашагал к машинам номер двадцать два и двадцать четыре, стоявшим рядом, одна возле другой.

## II

Нго задвинул фонарь кабины, но Лыонг видел, что губы его продолжали двигаться: инженер договаривал свое напутствие, заглушенное ревом мотора. Потом он спрыгнул на землю, быстро убрал стремянку и, отступив на несколько шагов, остановился.

Машина Шау выдвинулась из строя и, следуя за поворотами бетонной дорожки, проплыла перед глазами Лыонга. Он тронул свой истребитель с места, «МИГ», покачиваясь на дутых шинах, пошел следом за головной машиной, держась чуть правее. На какое-то мгновение стало видно лицо Шау, сосредоточенное и строгое.

Он летал уже сотни раз, но всегда перед взлетом ловил себя на каком-то странном чувстве: нет, это не было волнение, скорее внутренняя собранность, готовность ко всяким неожиданностям. Раз на раз не приходится, особенно если идешь на реактивном истребителе: здесь каждый полет — испытание. Вот и сейчас он чувствовал, что глаза его, и уши, и все органы чувств словно подключены к источнику высокой энергии, и острота восприятий усилилась. Мозг ясен, как чистый экран, по которому с частотой, намного больше обычной, бежали мысли. Каждое, даже самое легкое движение было уверенным и точным. Руки и ноги двигались в рассчитанном ритме, естественном, как дыхание.

Белый самолет Лыонга, следуя за ведущим, вышел на взлетную полосу. Обе машины остановились одновременно, самолет Лыонга — чуть позади. Летчики включили двигатели на полную мощность. Лыонг успел заметить ребят из своей эскадрильи, стоявших вокруг Тхуана и глядевших им вслед.

Словно повинуясь нажатой неведомо кем кнопке, их «МИГи» разом оторвались от земли. Белая полоса бетона, трава, здания аэродрома, бамбуковые изгороди — все метнулось назад. Лыонг почувствовал себя почти невесомым, будто тело его в невидимом маятнике качнулось вверх: полет начался.

Утро было прохладное и спокойное, самолеты быстро и плавно набирали высоту. Землю внизу заволокло голубоватой дымкой, укрывшей полосы бамбука и рисовые поля, отсвечивавшие розовато-зеленым цветом. Потом все вокруг Лыонга сделалось белым, как вата. Непонятно было, где небо, а где земля. Повсюду, насколько проникал взгляд, стеной сто-

* Реактивный истребитель-бомбардировщик ВВС США «Ф-4» и его модификации.

яла мутноватая влажная белизна и мелькали, унося назад, рваные волокна облаков. Туман поглотил след истребителя Шау, летевшего впереди. Молочные волны клубились вокруг, захлестывая стекла кабины. Казалось, непроницаемая белая масса навечно захватила машину и ей не будет ни конца, ни края. Но вот слепая пелена вроде бы утончилась, и Лыонг вдруг увидел нос своей машины, а через секунду летел уже в чистом пространстве, пронизанном ярким светом. Он набирал высоту, постепенно удаляясь от белеющих внизу облаков. Впереди виднелась машина Шау, похожая на сказочную пирогу, вырезанную из огромного цельного алмаза, бросавшего своими гранями ослепительные блики.

Они забирались все выше и выше. Над головой простиралась синяя гладь неба без единого пятнышка, а внизу лежали, отсвечивая на солнце, бескрайние тучи, похожие на огромные перевернутые чаши. Вдалеке, над белоснежными валами, вздымался гигантский пик из расплавленного серебра. И весь этот мир утопал в безмолвии, словно существовал в каком-то вневременном измерении. Лыонг осмотрелся по сторонам, поглядел назад. Хоть он и не обращал особого внимания на чудеса облачного царства, но сердце его наполнилось вдохновением и восторгом. Реактивный мотор гудел, словно ветер, ворвавшийся в чащу леса. Вокруг сиденья мерцали индикаторы и циферблаты и переплетались провода, одетые в золотистую, черную, синюю и красную пластмассу — сосуды и нервные волокна, связывавшие его в единое целое с могучей машиной. И «МИГ», как приученное живое существо, мгновенно подчинялся каждому его движению, малейшему проявлению воли. Костюм, такой жесткий и тесный на земле, здесь вовсе не стеснял его — напротив, защищая тело, он обеспечивал возможность нормально работать и двигаться. Через маску, плотно закрывавшую рот и нос, поступал воздух. Парашют, плотно сложенный под сиденьем, похож был на длинный матрасный валик. Сапоги, крепко обхватившие ноги, как бы придавали ему еще большую устойчивость, руки в шероховатых перчатках еле ощутимой тяжестью покоились на штурвале.

— Двадцать четвертый, разворачивайтесь за мной влево! — произнес голос Шау.

— Ясно, разворачиваюсь влево! — ответил Лыонг.

Самолет Шау лег на крыло. Лыонг понял: ведущий хочет развернуться над аэродромом и снизиться, пройдя облака. Он тоже повернул штурвал и нажал на педаль, повторяя маневр. В эту минуту в наушниках забился долетевший с земли торопливый голос командира эскадрильи Киена. Еще не разобрав его слов, Лыонг понял: «Началось!»

— «Тханг-лаунг» *. «Ворон»! Близко «ворон»!

Он услыхал, как, перебивая Киена, прорвались еще чьи-то голоса.

— Вон он, заходит за холмы!

— Лихо идет подонок!

— «Тханг-лаунг»! — голос Киена зазвучал громче. — Левее, направление двести двадцать!

— По-онял... — протянул в ответ Шау.

Оба «МИГа» стремительно рванулись вверх. Это был уже не учебный полет. Лыонг догадался, чего хочет «земля»: они должны отрезать противнику отступление. Может быть, там разведчик... уходит на бреющем, прижимаясь к горам.

Он шел следом за Шау, точно выдерживая дистанцию. Истребители неслись вплотную над облаками. Прямо впереди из белесых туч показались зеленоватые вершины гор. Он знал, сейчас они летят над гористым и опасным Западным краем, там, внизу, под мягким войлоком облаков

* Буквально «взлет дракона» — древнее название Ханоя; здесь — условные позывные самолетов.

грозно торчат тысячи острых вершин. Вражеский летчик, скорее всего, попытается уйти на малой высоте, но в такую облачность, как сегодня, он вряд ли решится лететь очень уж низко.

— Двадцать четвертый, внимание! Наблюдайте, что внизу!.. Поднимемся выше!

Словно рыбы, всплеснувшие хвостами, оба «МИГа» взмыли вверх, в синеву, напоенную светом. Облака под ними редели и разбегались, открывая горы, выгнувшие навстречу солнцу крутые спины.

«Где же противник? А надо, надо заметить его первым!»

— «Тханг-лаунг»! Цель впереди вас, в двенадцати километрах.

— Двенадцать километров, понял! — уверенно отозвался Шау.

— «Тханг-лаунг»!— теперь это был голос Тхуана.— Проверьте оружие и атакуйте! Уничтожить неприятеля!

Лыонг весь напрягся, как тетива. Голос с земли продолжал:

— «Тханг-лаунг»! Будьте внимательны, слева — тридцать пять километров — «зеленые мухи». Высота четыре тысячи двести...

«Вот он!» Прямо под собой Лыонг увидал нырявший среди редких облаков самолет — большой и незнакомый по виду, с двумя реактивными моторами. Он уходил, стараясь держаться вплотную к горам. Похоже, что заметил истребители и теперь маневрировал, следуя за извивами хребтов и ущелий.

— Двадцать второй! Разворачивайтесь вправо, прикройте меня! — Лыонг вызывал Шау. — Я — двадцать четвертый, прошу разрешения атаковать!

— Атакуйте! Пикируйте на него и сразу открывайте огонь!

Лыонг сбросил дополнительный бак, обрушился сверху на вражеский самолет и дал по нему залп. Красные черточки рванулись впереди истребителя и плотной струей понеслись к крылу американца, оставляя за собой белые дымки.

Лыонг промчался над чужим самолетом. Тот по-прежнему петлял из стороны в сторону.

На мгновение скосив глаза, он успел заметить вверху самолет Шау, который, прикрывая его, описывал круг.

«Ага,— промелькнуло в мозгу,— ведь это «РБ-66»! Электронный разведчик — великое достижение технической мысли янки!.. А где же «мухи»?..»

Взревев, «МИГ» развернулся и снова вошел в пике.

— Двадцать четвертый, следите за высотой! — напомнил ведущий.

— «Тханг-лаунг», — сказала «земля», — будьте начеку! «Зеленые мухи» в пятнадцати километрах.

— Я — двадцать второй, вас понял... Двадцать четвертый! Спокойно идите на сближение... Огонь!..

Лыонг пикировал прямо на американца. Он уже ясно видел звездно-полосатые флаги у него на крыльях и на хвосте. Грязно-желтая вражеская машина вырастала с каждой секундой, заслонив обзорные стекла кабины.

Он нажал на гашетку, и ему почудилось, будто он ударил янки в затылок и швырнул его вниз. Красные трассы вонзились в крылья и фюзеляж разведчика.

Брызнули осколки металла и пластмассы. Перерубленное крыло замелькало в воздухе. Вспыхнуло пламя, перемешанное с черным дымом, и «РБ-66» камнем рухнул на высившиеся внизу горы.

— Загорелся!.. Падает!—кричал Шау.— Они спрыгнули с парашютами!

Лыонг рванул машину вверх, но все-таки успел разглядеть два раскрывшихся купола парашютов, потом рядом с ними — третий.

«Значит, трое сволочей выпрыгнули...»

— «Чыонг-шон»! «Чыонг-шон»!*—закричал Лыонг.— Пусть их сразу возьмут за глотку!

— Двадцать четвертый! Быстрей — правый разворот! Быстрей — правый разворот!

Услыхав голос Шау, он резко повернул штурвал и выжал педаль. Машина, содрогнувшись всем телом, метнулась в сторону. И тотчас за хвостом у нее сверкнула яркая огненная полоса.

«Ракета! Зашли в хвост!»...

Он резко потянул на себя штурвал. На плечи, на грудь, на все его тело обрушилась тяжкая медная стена. Перед глазами заплясали светляки. «МИГ» с раздирающим уши свистом стремительно развернулся. Вереницы туч, синее небо, горы и зеленые полотнища леса наперегонки закрутились в призрачном хороводе.

Сверкнула еще одна пролетевшая мимо ракета.

Затем справа промелькнул остроносый «фантом». Он на максимальной скорости круто уходил вверх, спасаясь от мерцавших ракет, шедших следом за ним.

Секунду спустя Лыонг увидал машину Шау. Словно выгнувшись от напряжения, «МИГ» вертикально набирал высоту, преследуя американца. Шау дал по нему еще один ракетный залп.

«Это Шау только что спас меня!..»

«МИГи» приняли бой с «зелеными мухами», шедшими на прикрытие только что уничтоженного разведчика. Лыонг держался следом за Шау, прикрывая его сзади.

Внезапно он увидел еще один «фантом», выходивший им в хвост.

Впереди на фоне облаков показались две черные черточки — новая пара «фантомов».

— Двадцать второй! Слева три «Ф-4»!..

Известив ведущего, он устремился навстречу противнику. Позади, высоко над Лыонгом, делал вираж «МИГ», прикрывавший его машину.

Трое американцев на этот раз, видимо опасаясь нападения, были осторожны и четко держали строй.

Шау и Лыонг кружились каруселью, надежно прикрывая друг друга. Поэтому и «МИГи» и вражеские машины, так и не открыв огня, промчались, едва успев разглядеть друг друга.

— «Тханг-лаунг»!.. «Хонг-ха»! «Хонг-ха»!..**

«Земля» приказывала возвращаться.

Шау отозвал Лыонга. Он вышел из боевого разворота, рассчитанного на сближение с противником. «МИГи» углубились в длинную полосу облаков, внимательно следя, чтобы противник не атаковал их сзади.

«Фантомы» куда-то исчезли.

Лыонг покосился вниз. Далеко-далеко с земли, над лесом, там, где упал сбитый им разведчик, поднимался черный столб дыма.

Парашютов не было видно. Янки, наверно, приземлились и, скорее всего, попали в руки ополченцев.

Шау вел Лыонга «домой» безопасным путем на небольшой высоте, над позициями наших зенитных батарей.

Когда его «МИГ» добежал до конца бетонной полосы и, замедляя ход, покатил за ведущим, приземлившимся чуть раньше, Лыонг вдруг почувствовал, как его прошиб пот...

---

* Длинные горы — горная цепь, протянувшаяся вдоль Индокитайского полуострова, здесь условное обозначение наземного поста.

** Красная река — крупнейшая водная артерия Северного Вьетнама, здесь — условное обозначение, позывные самолета.

Подъехали два грузовика-тягача с техниками в кузовах, Нго стоял во весь рост, широко улыбался и махал Лыонгу рукой.

Шау, все еще сидевший в кабине, снимал маску. Лыонг выключил двигатель. Несколько секунд он просидел молча, не шевелясь, мечтая лишь о глотке воды.

«Дико хочется пить! Шлем и костюм, наверно, окаменели!..»

Он снял маску, расстегнул пряжку шлема под подбородком и перевел дух. Потом толчком откинул стекло кабины, встал и, улыбаясь, помахал друзьям. По покрасневшему лицу скатывались капельки пота, надетая на нем одежда прилипала к телу.

## III

В тот день, когда Лыонг получил отпуск, стояла сильная жара. Покрытая красной пылью дорога, казалось, вела прямо в огненную печь. Но он невозмутимо крутил педали, отмеряя версту за верстой. Под вечер, когда солнце начинало уже клониться к закату, наконец показалось озеро, зеркальная гладь которого переливалась между холмами, поросшими развесистыми деревьями. Дальше, за озером, высились горы.

Сердце в груди его гулко забилось. Озеро как бы преобразило окрестный пейзаж, но он все равно узнал эти холмы, похожие на лежащего слона, и колючие бамбуковые изгороди вокруг деревушек, разбросанных по склонам предгорий.

«Да, это Киеу-шон!.. Дом стоял тогда у самой дороги, вон там, где начинаются холмы... Кто мог подумать, что именно здесь я буду сегодня разыскивать Дао!..

...В войну мама эвакуировалась с нами в эти края. Мне только исполнилось одиннадцать, а Дао — семь. Соседи построили нам хижину из бамбука, где еле встала швейная машина и широкая деревянная лежанка. Не успели отпраздновать Тет*, как и сюда нагрянули каратели...»

Он глядел, не отрываясь, на выплывавшие издалека холмы, и в памяти оживали старые воспоминания...

«Сколько же лет прошло?.. Пятнадцать... нет, пожалуй, шестнадцать!.. Тогда казалось, что лысые эти холмы никак не укрыть! Камни да галька: ничего не растет, кроме блеклой травы и колючек. Руки в кровь сотрешь мотыгой, пока высадишь одно-единственное деревцо маниоки **...

...Разве позабудешь эти поля в засуху — белую растрескавшуюся землю, твердую, как фаянс... Бывало, все глаза проглядишь, пока высмотришь где-нибудь лужицу мутноватой воды... Рис увядал и клонился к земле... Женщины здесь ходили в коротких штанах. Да-а... Взять хоть тетушку Шо, нашу соседку, она все забегала тогда к матери. На ней только и было, что куцый лиф, прикрывавший спереди грудь, да штаны до колен — латаные-перелатанные. Когда в полдень она, возвращаясь с поля, останавливалась у наших дверей попить воды, черная спина ее словно дышала еще раскаленным зноем...

Здорово изменился теперь Киеу-шон!.. Целое озеро откуда-то появилось. Помню, еще когда учился за границей, прочитал я однажды в «Нян зан» ***, что в Киеу-шоне собрался народ со всего уезда и своими силами построил водохранилище... Вот и увидел его воочию. Смотрел бы и глаз не отводил. Сытые поля полны водой до краев. По бегущим вдоль и поперек каналам играют солнечные зайчики. Девушки, с ружь-

---

* Праздник Нового года по лунному календарю, обычно приходится на конец января — начало февраля.

** Растение с клубневидными корневищами, богатыми крахмалом.

*** «Народ» — газета, орган ЦК Партии трудящихся Вьетнама.

ями за спиной, идут рядком, закатав повыше штаны, меж зеленых побегов риса и выпалывают траву... Все переменилось вконец! На бесплодных каменистых холмах поднялись сандаловые деревья и шумят ветвями над самой дорогой...»

Он подъезжал ближе к озеру, и оно становилось все шире и шире. По спокойной его глади бежали отражения облаков. Уже хорошо была видна и плотина. Она высилась как стена между двумя холмами. На берегу, где начиналась плотина, раньше, наверно, стояли дома. Сейчас там торчали обломки кирпичных стен.

«Пожалуй, это «работа» американских бомб, сброшенных сюда в мае. Я услышал тогда по радио о бомбардировке Киеу-шона и неделю места себе не находил, пока не пришло письмо от Дао. Она сообщала, что у них с племянником все в порядке. «Мы втроем с плотиной несокрушимы»— она с детства любит такие шутки!.. Эх, хорошо бы сшибить здесь «Ф-105», да чтоб он уткнулся носом прямо в берег озера!.. Как-то раз, когда наше звено шло на перехват вражеских бомбардировщиков, летевших из Таиланда, мы пролетали здесь. Я едва успел взглянуть на землю. С высоты в пять тысяч метров Киеу-шон казался пятнышком среди тысяч гор и холмов, зеленевших в просветах меж облаками...»

■

Казалось, до места было рукой подать, но дорога все время петляла, и только к вечеру он добрался туда, где жила Дао. Деревушка — несколько редких домиков — пряталась на склоне холма. Лыонг, ведя за руль велосипед, поднялся к самой околице. Тут ему наконец повстречалась живая душа: старуха подметала свой проулок и сносила мусор на курившуюся уже кучу под хлебное дерево.

Он подошел ближе и спросил дорогу. Старуха, маленькая и сутулая, подняла голову, взглянула на него и, ничего не ответив, снова замахала метлой. Решив, что она туговата на ухо, Лыонг повторил:

— Будьте добры, скажите, где дом тетушки Кой?

— А какую Кой вы ищете?

Она перестала мести и опять внимательно посмотрела на Лыонга. И вовсе она не глухая, а просто приглядывается к незнакомцу.

— Почтеннейшая, я ищу свою родственницу, сестру. Она эвакуированная, живет у тетушки Кой.

— А-а... — старуха еще сильнее сощурила глаза. — Сестру ищете?

— Да. Ее зовут Дао.

— Ну, все правильно... Она недавно вернулась с работы и побежала в детский сад за малышом. Вы пока заходите в дом.

Старуха с интересом оглядела Лыонга. В глазах у нее появились веселые искорки.

— Дао ждет вас не дождется.

Он вошел во дворик, маленький и чистый, где росло несколько арековых пальм. Старуха ковыляла рядом.

— Вы, наверно, устали с дороги? Поставьте велосипед и отдыхайте. Если курите, можно сходить за сигареткой к соседям. Мы здесь одни женщины, курева не держим. Вот беда, и воды-то горячей нет. Может, хотите чаю, я пойду вскипячу воду.

— Да нет, я не курю и чаю не хочется. Вы не беспокойтесь.

— Какое тут беспокойство! У вас, наверно, есть спички? Не пожалейте уж для старухи спичку-другую, а то с соломенным трутом возни не оберешься. Спичек теперь не достать. Сижу весь день дома сдна-одинешенька. Сестрица ваша как с утра пораньше поест и уйдет с малышом.

так до вечера и не возвращается. А Кой, невестка моя, в полдень заглянет домой на минутку и опять убежит дотемна. Муж ее плотничает во Виет-чи* на стройке. Сестра ваша с сыном живут здесь, в первой комнате. Вы вроде давно с нею не видались?

— Давно, почтеннейшая, скоро семь лет. Я уезжал учиться, далеко...

— Знаю, она мне рассказывала. Ведь вы не приезжали и когда мать померла. О горе!

Старуха обернулась, поглядела на Лыонга и вдруг засмеялась.

— Вы с сестрой как две капли воды,— сказала она, наконец, слова, наверно давно вертевшиеся на языке.

■

Комната Дао была пристройкой к трехкомнатному домику с глинобитными стенами и соломенной крышей. У небольшого окна стоял стол из оструганных досок. На нем стопкой лежали книги, стоял термос, старые банки из-под сухого молока, пластмассовые стаканы и чашки и другое добро, которым обзаводятся матери, когда у них маленький ребенок. На уголке стола лежал какой-то круглый желтый предмет величиной с небольшой ананас.

«А-а, корпус шариковой бомбы!..»

Вплотную к внутренней стене была придвинута бамбуковая лежанка, на ней — рюкзак, чемодан и свернутое одеяло. Этим исчерпывалось все имущество. Стоя в дверях, он оглядел комнату. Тишину нарушало лишь тиканье будильника. Какая-то теплая волна подступила к сердцу...

«Вот, значит, как они здесь живут...»

Он улыбнулся, заметив прислоненную к стене винтовку и брошенный у изголовья патронташ.

■

— Где же он? О господи! — раздался в переулке прерывающийся голос Дао.

Лыонг вышел из дома и увидал сестру. Она с маленьким сыном за спиной бежала через двор. Радостный румянец алел на ее щеках, к вспотевшему лбу прилипла прядь волос. Из-за ее плеча поблескивали широко раскрытые черные глаза малыша.

— Брат!

Что-то дрогнуло в ее лице, взгляд потеплел, и губы сами собой сложились в улыбку. Так она и застыла посреди двора.

Лыонг протянул навстречу руки и улыбнулся.

— Пойдем-ка ко мне, племяш!

Дао повернулась, чтобы брат смог взять ребенка на руки, и ладонью смахнула катившиеся по щекам слезы. Малыш оказался самостоятельным. Он вытащил из кармана Лыонга автоматическую ручку и нетвердым еще языком произнес:

— Военный.

— Я не просто военный, я еще твой дядя!

Лыонг засмеялся и, высоко подбросив мальчонку, усадил его себе на плечи. Тот залопотал от удовольствия и принялся трепать его за волосы.

— Шон, не балуйся, оставь дядину голову в покое! — пожурила Дао сынишку. — А ты, Лыонг, наверно, проголодался? Побудь здесь с Шоном, я соберу поесть.

---

* Город к северо-западу от Ханоя.

— Неси все, что есть в доме, да поскорей, пока я на ваших глазах не умер от голода.

Лыонг достал маленький деревянный самолет и протянул племяннику.

— Успокойся! Я тут откормила для тебя курицу-рекордсменку! — Она засмеялась, но глаза ее все еще были влажными.

Он покачал головой:

— Ладно, пощади свою чудо-птицу. Небось возни с ней не оберешься.

— Да нет, я мигом. Заходи пока в дом, поиграй с Шоном. А ты, Шон, смотри не обижай дядю!

И она побежала к видневшейся во дворе кухоньке с очагом.

Смеркалось. Дао расстелила на крыльце циновку, поставила поднос и чашки, и они уселись ужинать. На кухне полыхал еще огонь в очаге: старуха с невесткой тоже ужинали.

— Ты отнесла бы старухе тарелку курятины, — сказал Лыонг.

— Да она уже вся... Хватит, спусти-ка Шона на пол. Иди сюда, мой маленький. Э-э, да у тебя глазки совсем слипаются.

Мирный ужин при керосиновой лампе снова напомнил ему дом, где они жили с матерью и сестрой. За сколько лет это — его первая семейная трапеза. Неверный свет фитиля будоражил сердце...

— Ешь, ешь!

Дао снова наполнила его чашку. Шон прижался к ее груди и уснул.

— Ньон хоть иногда выбирается к вам сюда? — улыбнувшись, спросил Лыонг.

— Раньше раз в два-три месяца непременно приезжал повидаться. А как начались бомбежки — вот уже больше года, — не был ни разу. У него теперь дел по горло, да и путь оттуда не близкий.

— Он по-прежнему служит на границе, в Винь-лине*?

— Ага. Его должны были в этом году перевести поближе к нашим краям. Но теперь разве кто уйдет с границы? Он подал заявление, чтобы его оставили в части.

Они разговаривали вполголоса. Дао едва притронулась к еде, исподтишка разглядывая брата. В общем, он мало переменился за эти годы. И в лице сохранилось немало черт того, выросшего теперь мальчишки. Но движения и жесты его были решительнее и тверже. Он, как и раньше, любил посмеяться, и простодушная широкая его улыбка всякий раз напоминала ей двадцатилетнего парня, который жил вместе с нею и с матерью в их старом доме. Да, это был ее старший брат, перед которым она всегда чуточку преклонялась. Но временами он все еще казался неловким подростком, и ей хотелось заботиться о нем и всячески его опекать. Сидя у подноса, она все время накладывала брату куски повкуснее.

Лыонг ел с аппетитом. Глядя на сестру, державшую малыша на руках, он чувствовал себя не совсем привычно. Когда он уходил в армию, она была шестнадцатилетней девчонкой, а теперь у нее у самой сын. Он то и дело замечал, как Дао похожа на мать: выражением лица и глаз, изгибом бровей, походкой, манерой передергивать плечами... Она напоминала ему мать, какой та была давным-давно, когда ему самому шел пятый год: красивой и молодой. Такой она и жила в сокровеннейших уголках его памяти. Словно на экране волшебного фонаря, он увидал вдруг давний, далекий вечер: отец, лежа на циновке, играет с ним, а он старается усесться верхом у отца на груди; мать сидит рядом, расчесывает волосы и смеется. Больше он никогда не слышал, чтоб мать смеялась так беззаботно и весело, как тогда. Образ матери наполнил его сердце глухой, неясной тревогой. При виде сестры, прижимавшей к груди ребен-

* Район ДРВ, расположенный у 17-й параллели, на границе с Южным Вьетнамом.

ка, ему вдруг открылось нечто такое в жизни их матери, чего он прежде не понимал, и он снова ощутил горечь утраты.

Он поднял глаза: да, сестра очень похорошела. Свет керосиновой лампы смягчал черты ее округлого миловидного лица. Щеки ее порозовели, будто тронутые румянами; губы улыбались, блестящие черные глаза из-под высокого чистого лба смотрели уверенно и прямо. Вся она словно лучилась счастьем и верой и не собиралась этого скрывать.

Неожиданно послышался стук мотора. Лыонг прислушался.

— Вроде автомобиль?

— Да нет, кооперативная рисорушка. Она теперь работает по ночам.

— Хорошее дело!

— Бывало, в эту пору в каждом доме со скрипом запускали свои рушалки. Вернутся с поля еле живые и давай — крути жернова, не то останешься без обеда. Сколько из-за этого было перепалок и крику! А теперь пожалуйста — машина за одно хао* обрушит пять кило зерна. Получай и рис, и отруби. Люди прямо не нарадуются!

Поужинав, она пошла в дом и уложила сына. Потом вместе с братом сидела на циновке и пила чай. Старуха с невесткой пришли и тоже присели около них. «Тетушка» Кой оказалась совсем молодой, пожалуй, еще моложе Дао. Она была высокая, стройная, вся какая-то ладная и крепкая. Рукава плотно облегали ее красивые круглые руки, на щеках горел румянец, волосы, схваченные заколкой у самого затылка, падали на плечи — такова излюбленная прическа деревенских девушек.

Она непринужденно опустилась на циновку позади Дао и сказала:

— Ну, у продавщицы ананасов сегодня праздник.

— Какой продавщицы? — спросил Лыонг.

— Нет уж, это — наша женская тайна. Спросите Дао, может, она вам потом и расскажет.

Кой лукаво улыбалась. Задержав взгляд на госте, она с любопытством изучала его.

— Позвольте у вас узнать, на всех вьетнамских самолетах летают наши летчики, да?

— А кто же еще, если не наши! — засмеялся он.

— Да я и сама знаю, просто хотела убедиться. Это же здорово! А учитель в школе говорил, что реактивным самолетом могут управлять только крупные и рослые люди, и то им приходится лежать в кабине... Дао, помнишь американца, сбитого здесь, у нас, в мае? Он весил, наверно, не меньше центнера и был здоровенный, как горилла. Ан нет, и нам это тоже под силу. Молодцы!

— Не только пилоты, но и вся аэродромная команда: инженеры, техники, рабочие — тоже наши. Нет такого дела, которому нельзя было бы выучиться, — он снова улыбнулся.

— А знаете, в прошлом году, когда у нас свои самолеты только появились, несколько «МИГов» пролетело над деревней. Что тут началось в нашем бабьем царстве! Одна — наутек, другая норовит пальнуть в небо. Теперь-то уж мы привыкли; отличаем на слух, когда летят наши, а когда — «джонсоны». Жаль, надо мне уходить, у нас в бригаде сегодня собрание. Ну, счастливо оставаться.

— Что за собрание? — спросила Дао, подняв голову.

— Будем обсуждать распределение продовольствия в кооперативе. Просидим небось до полуночи.

Легким, изящным движением она поднялась с циновки.

— Куда это ты? — окликнула ее свекровь, которая собиралась уже лечь.

---

* Денежная единица в ДРВ, одна десятая часть донга; одно хао равно десяти су.

Кой обернулась:

— Спите, не волнуйтесь. Я иду на собрание, вернусь, наверно, поздно...

Вопросы Кой, хоть и наивные, надолго согрели сердце Лыонга смутным ощущением радости. Он припомнил историю, рассказанную ему друзьями: когда сформировали первую авиационную часть, поблизости от аэродрома строили огневые точки; и однажды автомашина с пилотами ехала мимо женщин, насыпавших брустверы. Вдруг одна работница крикнула: «Эй, эй, послушайте!» Кто-то из летчиков высунулся из машины и спросил: «В чем дело?» И тут женщины, улыбаясь, заговорили все разом: «Точно! Так и есть! Наши — вьетнамцы!..»

Да что там женщины! Разве у него самого, когда он впервые увидел знакомые истребители, но с желтыми звездами в красных кругах*, не захватило дыхание и на глаза не навернулись слезы? Если бы был он в ту минуту один, то, верно, расплакался бы, как ребенок, и пустился в пляс, на весь мир крича от радости!

В доме было совсем тихо. Лыонг и Дао сидели рядышком около лампы. Дао, зашивая рубашку, рассказывала о последних днях матери. Тишину ночи, окутавшей холмы и деревья, нарушал только доносившийся издалека размеренный стук рисорушки. Время от времени в хлеву за домом, тяжело переминаясь с ноги на ногу, громко вздыхал буйвол и стучал рогами, отгоняя комаров.

— Я и сама не думала, что она так любила отца. Когда ей стало совсем худо, она подозвала меня и сказала: «Конечно, я должна была умереть давно, вместе с отцом. Но теперь вы оба выросли, и меня уже ничто здесь не удерживает. Я могу спокойно уйти за ним...» Когда она умерла, я впервые заглянула в ее сумку. Там были отцовские письма, которые он писал ей с того дня, как ушел в Освободительную армию Юга перед восстанием**. Она сохраняла их десять с лишним лет, не потеряла ни одной странички! Есть там и письма, написанные, когда нас с тобой еще не было на свете... И еще его старая рубашка — вся в заплатах... И фотографии отца, мама тебе их показывала когда-то.

— Она наказала нам что-нибудь?

— Я обо всем тебе написала. Она говорила: «Не забывайте отца. Когда страна объединится, непременно выберитесь на Юг — хоть один разок,— побывайте у отца на могиле». Не знаю, может, она хотела бы, чтоб мы перенесли сюда его прах?

— Боюсь, слишком много времени прошло. И потом, что там, что здесь — одна земля: наша.

— Я решила, когда мы поедем туда и найдем, где похоронен отец, я возьму с его могильного холма горсть земли и посыплю ею мамину могилу.

Они помолчали. Дао ласково смотрела на брата, но взгляд ее был задумчив, словно она решала втайне что-то очень важное.

Ее рассказ взволновал Лыонга. «Какой я все-таки толстокожий,— укорял он себя,— мне бы это и в голову не пришло».

Слыша, как Дао говорит об отце, он подумал: «Отец умер совсем молодым. На фотографиях ему лет двадцать пять — мой ровесник. Для матери он, наверно, до последнего дня оставался молодым... Жизнь ее — пример самопожертвования, терпения и мужества, того мужества, которое не выставляют напоказ. Как много должно быть в человеке любви и стойкости, чтобы прожить такую жизнь! А сколько вьетнамских женщин... сколько других матерей и жен сегодня несут на своих плечах тяжкий груз лишений, ожидания и тревоги!..»

* Желтая звезда в красном кругу — опознавательный знак военной авиации ДРВ.

** Имеются в виду события, происходившие в Южном Вьетнаме накануне Августовской революции 1945 года.

Он поднял голову. Сестра внимательно глядела на него.

— Я ужасно жалею,— сказала она,— что ты не приехал на прошлой неделе. Вот было бы совпадение: Туйен гостила у меня весь день.

— Ну...

— Хотя, если ты сейчас сядешь на свой велосипед и приналяжешь на педали, как раз поспеешь в уезд к двухчасовому поезду. Утром будешь в Ханое. Завтра — воскресенье, у Туйен выходной.

— К чему такая спешка, как на пожар?

— А как же иначе! Когда еще вырвешься хоть на денек. Да и больно ты тяжел на подъем! Лучшего случая не найти, это я тебе говорю. Она очень хорошая. Мы с ней прожили вместе три года, она теперь мне ближе родной сестры. Погляди хоть письмо, что она тебе написала, сразу все станет ясно. Чего еще перебирать да раздумывать?

— Вот уж не думал перебирать или свататься!

— Ты бы заехал к ней, поговорил, выяснил, что к чему. И собой она хороша, куда лучше, чем на фото. Она только о тебе и думает.

— Ты всегда меня захваливаешь, вот и здесь перегнула!

— Нет! Уж я-то знаю! Видел бы, как она дрожит над твоими письмами и все мечтает с тобою увидеться. Ясное дело, она в тебя влюблена.

Он рассмеялся.

— Как бы там ни было, а поехать в Ханой я не смогу. Завтра утром мне надо уже быть на аэродроме.

— А-а!— она помрачнела.— Что делать! Видно, так холостым и состаришься.

— Это ты зря! Не такой уж я старик.

— Ах, не старик! Да тебе скоро тридцать!

— Ну, прямо!— он расхохотался.— Нынче не всякая и пойдет за солдата. Ведь война!

— Вот, значит, как ты думаешь о нашей сестре?

Дао улыбалась, но, судя по всему, начинала сердиться.

— По правде говоря,— он решил объясниться с ней по-серьезному,— я и сам не хотел бы иметь сейчас возлюбленную или невесту. Не до того мне. И потом, вправе ли я вносить тревогу и тоску ожидания в чью-либо жизнь? Я должен быть собранным, сильным и избегать всего, что могло бы смягчить или ослабить мою волю. Вот разобьем американцев, найду себе невесту и немедленно обзаведусь семьей.

Тут уж Дао расхохоталась.

— Все это сплошные теории! Нет, вы послушайте: «тревогу и тоску ожидания!» Хотела бы я посмотреть, что может тебя «смягчить»? Выходит, все женатые да замужние должны бросить друг друга?! Ладно уж, раз ты у нас такой занятой, я сама обо всем позабочусь. Пожалуй, уговорю ее приехать к вам на аэродром.

Он решил перевести разговор на другое:

— Что это Кой толковала о продавщице ананасов?

— А-а,— она опять засмеялась,— в тот вечер, когда *он* бросал бомбы возле плотины, я несла на коромысле две корзины с шариковыми бомбами в уезд, в штаб ополчения. Повстречала на дороге какого-то офицера, думаю, не меньше, чем командира полка. Он вышел из своей машины, пожал мне руку и сказал в шутку: «Ну, товарищ продавец, ананасы у вас — что надо!» Вот она и изводит меня всякими намеками.

— Тебе что, жизнь надоела?!

— Да бомбы-то разряженные, при чем здесь «жизнь»! Мы тогда все пошли с начальником уездного ополчения разряжать невзорвавшиеся бомбы. А их на холме полно: лежат себе — желтые такие. Взяла первую в руки, а она вроде бы накаляется изнутри. Тут я и «отличилась»; бросила ее со страху — и бежать. Потом вернулась, пригляделась, как

начальник управляется с ними, и тоже первую разрядила. Дальше — больше: набралось чуть не с полсотни.

— Что же ты мне об этом не написала?

— Я еще в тот день из пулемета стреляла. Меня официально зачислили в пулеметный расчет.

— Когда я днем проезжал мимо плотины, видел твою «контору». Там все разбито, одна вывеска торчит над кучами кирпича: «Метеорологическая станция Киеу-шон».

— Ага, мы, когда переводили сюда станцию, забыли вывеску снять. *Он* бомбил уже пустые дома, оборудование мы эвакуировали заранее. Там остались только шесты для замера уровня воды в озере... Значит, ты завтра уедешь совсем рано?

Он кивнул.

Показалась луна и свесила голову набок над верхушками пальм. Услыхав, как Шон заворочался во сне, Дао встала и, взяв лампу, ушла в дом. Лыонг обвел взглядом контуры холмов. Вдруг где-то у горизонта сверкнуло пламя, похожее на вспышку магния.

«Зенитки!..»

Пучки ярких красных искр взлетели со склонов гор в небо и с грохотом разорвались в вышине. Огненные трассы, бившие с земли, переплетались и сталкивались друг с другом. Лишь теперь послышался гул самолетов, прорывавшийся сквозь взрывы бомб и канонаду.

Дао выбежала во двор. Взявшись за руки, они стояли и глядели в ту сторону, откуда все явственней и сильнее доносился грохот ночного боя.

## IV

Программа тренировочных полетов Четвертой эскадрильи подходила к концу. И хотя почти не было случая, чтобы противник не внес «поправок» в ход учений, все же молодых летчиков, ровесников Тоана и Лыонга, можно было считать «выпускниками». Еще несколько дней занятий — и мастерства их будет достаточно для самых сложных воздушных схваток.

Утром, после отработки в воздухе «действий звена в условиях сплошной облачности», «автобус» вез пилотов Четверки домой.

Тревога застигла их посреди дороги. Машина остановилась под деревьями, и Киен приказал всем укрыться в траншее, извивавшейся по склонам придорожных холмов. Они спрыгнули на дорогу, шумя и перекликаясь, как школьники, вырвавшиеся на перемену, и рассыпались по окопу. Над бруствером закачались каски; от ячейки к ячейке полетели реплики и остроты, а иногда потом даже и сигареты с зажигалками.

— Ну и тишина!

— Мертвое царство!

— Сознайся, ты хоть сегодня закончишь свой птичник?

— Ребята, к нам повадилась лиса. Вчера только я улегся, слышу — куры раскудахтались, сил нет. Припустил туда со всех ног. Посветил фонариком: одной курицы как не бывало. И обратите внимание: наседки!

— Слушай, Бан, ты должен сегодня закатить пир. Часто ли нас навещают дамы! Хоть чай поставь!

— Идет! За чем дело стало...

— Вот *он*!— крикнул Тоан и вскочил на бруствер.

Длинные серые «Ф-105» вырвались из-за дальних холмов, стремительно набирая высоту. Одна за другой громыхнули бомбы. Американцы развернулись и снова заходили на холмы, окутавшиеся дымом и пылью.

— Ракета! Смотрите, ракета!

Полоса сероватого дыма, все удлиняясь, устремилась к самолетам. «Громовержцы» * сломали строй: одни спикировали к земле, другие рванулись вверх или в стороны —и исчезли, оставив на земле огромный костер, полыхавший у бамбуковой изгороди.

Тоан стоял рядом с траншеей, провожая их глазами, и на лице его было написано разочарование.

Летчики выбрались на дорогу. Шагавший рядом с Лыонгом Тоан обнял его за плечи:

— Здорово они наловчились уходить!

— Ладно, не горюй!— Лыонг хлопнул его по спине.— Придет и твой черед. Через неделю нас поставят на боевые полеты!

■

Полдень выдался особенно напряженный. Тревоги следовали одна за другой, без перерыва.

Около часу, быстро набирая высоту, вылетел один «МИГ». Минут через тридцать ребята, услыхав, что он возвращается, выскочили на поле. Белая машина делала вираж над аэродромом.

— Точно!— задрав голову и сощурясь, крикнул Бан.— Он выпустил одну ракету!

Командир эскадрильи и политрук, сидевшие в дежурке, тоже выбежали на дорожку.

— Кто это?— спросил Кхай.

— Наверно, Лан,— ответил Киен, наблюдая за снижавшимся вдали самолетом.

Едва летчики вернулись в домик, за дверью показался шагавший мимо Фук, офицер штаба.

— Эй, Фук!— закричали они.— Какие новости?

— Только что сбили беспилотный разведчик!— Фук широко улыбнулся, войдя в дежурку, снял каску и сел на скамью.— Отлично сработано! Да,— он обернулся к Лыонгу,— на «РБ-66», что ты сбил, было семеро американцев: четверо сгорели в самолете, трое выпрыгнули с парашютом. Двоих поймали в то же утро, а третий умудрился где-то спрятаться, так что его схватили только вчера. Эх, плакала сегодняшняя учебная программа! Есть сведения, что скоро *он* снова ударит. В воздухе семьдесят вражеских самолетов.

Фук торопливо выпил чашечку чая, вскочил и побежал по своим делам.

Но, несмотря на возросшую активность неприятеля, Четвертая эскадрилья выполнила почти все тренировочные полеты. Во второй половине дня жара еще усилилась. Воздух дрожал над огромным полем аэродрома, как над полыхающим костром.

Бетонная полоса через подошвы обжигала ступни. Нестерпимый блеск белых фюзеляжей и плоскостей жег глаза.

Техники в сплетенных из травы толстых защищающих от осколков шляпах с полями шире плеч сидели — каждая бригада у своих «подопечных» «МИГов», не отлучаясь ни на минуту от готовых к бою истребителей. Лица их стали красными, гимнастерки на спинах взмокли от пота. Они искали несуществующей прохлады в лоскутьях тени, отбрасываемой телами и крыльями самолетов. Зато считанные секунды после тревоги — и техники запустят турбины.

Хуже всего, пожалуй, было пилотам. Им приходилось ждать в полном летном снаряжении, которое здесь, на земле, казалось нестерпимо

---

* Реактивные истребители-бомбардировщики ВВС США «Ф-105» и их модификации.

жарким и тесным. В дежурке два маленьких вентилятора крутились без остановки. Летчики очередной смены, застегнутые и зашнурованные, с полетными картами в планшетах сидели, прислонясь к стене и глядя перед собой. Никто из них не повышал голоса, не делал резких движений. Но, если понадобится, они за несколько секунд добегут до самолетов и займут места в кабинах.

Ребята из Четверки выслушали приказ и начали полеты. В воздух поднялась первая пара, за нею еще одна. На бетонной полосе, где только что молча дремали сверкавшие на солнце «МИГи», все зашумело и пришло в движение. Автомобили сновали, как ткацкие челноки. Ревели реактивные моторы. Среди автомашин и самолетов вертелась смешная трехколесная велотележка; на ней восседал парень с румяными, как у девушки, щеками. Он развозил мороженое и кофе со льдом. Всюду, где останавливалась тележка, раздавались шутки и смех.

Бан только что взлетел в паре с Тоаном. Лыонг, приземлившийся вместе с Шау, уселся на траву, снял шлем и, прихлебывая кофе со льдом, следил, как друзья его выполняли в воздухе фигуры высшего пилотажа. Рядом двое других летчиков готовились к полету, разыгрывая его элементы с двумя маленькими раскрашенными моделями, похожими на детские игрушки. Самолетики проделывали в их руках сложнейшие маневры, которым предстояло осуществиться в небе.

Шау улегся на спину, положив голову на руки, и прищурил глаза.

— Ничего не скажешь, Тоан ведет машину очень легко! И расчет у него точный!.. Смотри, смотри! Бан-то каков, ну и отмочил!— Шау, расхохотавшись, приподнялся и сел.

«МИГ» ведущего выделывал в воздухе чудеса.

— Высший класс!— улыбнулся в ответ Лыонг.

— Никогда не забуду, как он надул одного янки. Тот был на «Ф-105». Бан стал уходить от него. Американец обрадовался и погнался за ним. Тогда Бан развернулся, пропустил американца вперед, зашел ему в хвост и сбил раньше, чем тот успел голову повернуть. За ним погнались четыре или пять вражеских машин. Он уходил не очень быстро. И вдруг развернулся на сто восемьдесят градусов и пошел на них в лоб. Янки рассыпались в стороны, а он перевернулся через крыло, спикировал к земле и ушел на бреющем.

— Слушай, Шау, надо что-то сделать, чтоб вечером Бан хоть ненадолго повидался с женой.

— Конечно, она второй день сидит в гостинице: небось все глаза проглядела. Да и наш командир за эти дни стал еще злее к врагу!

Оба истребителя завершили полет и снижались, делая круг над аэродромом. Вдруг в небо взвилась зеленая искра.

«Тревога!..»

Вспыхнула еще одна ракета.

«Боевой вылет!..»

Друзья вскочили.

Четыре «МИГа», один за другим, пронеслись по бетонной полосе и с грохотом оторвались от земли. Набирая высоту, они быстро уменьшались в размерах и вскоре растаяли где-то у горизонта.

На аэродроме воцарилась тишина. Лишь негромко гудели автомашины, отвозившие техников эскадрильи в конец полосы, где они будут ждать самолеты. Следом ехала карета аэродромной скорой помощи с красным крестом.

Бан, патрулировавший с Тоаном над аэродромом, получил приказ идти на посадку, и они приземлились.

Прошло пятнадцать минут... Двадцать... Двадцать пять...

По радиостанции командного пункта из-за помех и шума трудно было разобрать сообщения пилотов. Но привычные уже офицеры понимали их с полуслова и шепотом комментировали:

— Встретили противника... Вступили в бой.

— Один «Ф-105» не успел сбросить бомбы, упал на поле и взорвался.

— Судя по всему, Куанг ранен...

— Горит еще один «громовержец».

Тридцать пять минут... Сорок...

Весь аэродром замер. Глаза в ожидании устремились к горизонту.

«Возвращаются!..»

Темная черточка показалась на фоне туч.

Самолет быстро приближался. Людям казалось, будто от него еще веет пороховым жаром. Качнув крыльями, истребитель побежал по полосе.

Еще две темные точки появились среди медленно розовевших на горизонте облаков.

Летчики Четвертой эскадрильи увидали газик командира полка. Он мчался к концу бетонной полосы, где, готовясь выключить двигатель, грохотал приземлившийся «МИГ».

Два других истребителя, приглушив турбины, пошли на снижение и мягко коснулись земли.

Пять минут... Десять минут... Двадцать минут...

Газик побежал обратно. Летчики видели, что в машине вместе с командиром сидят трое вернувшихся товарищей. Газик ехал очень быстро. Тхуан, сидевший рядом с шофером, обернулся назад и, кивая головой, слушал, что говорили ему пилоты.

Солнце село. Аэродром погрузился в бескрайние вечерние сумерки. На дорожке остались лишь несколько дежурных самолетов, выстроенных в линию. Их черные силуэты отпечатались на красном пологе долгого летнего заката. Летчики и техники дневной смены все уже вернулись в городок. Автомашины только что доставили ночную смену. Началась подготовка к полетам.

В конце полосы, там, где ждут приземляющиеся истребители, никого не было. У самого края бетона, словно позабытый людьми, стоял пустой грузовик. Но, если прислушаться, можно было уловить в тишине негромкие звуки музыки. Люди с тягача сидели на траве вокруг маленького транзистора.

Опустился туман и укрыл синей дымкой огромное летное поле.

...Ветер осенний гудит за стеной,
Спи, мой малыш, засыпай...

Певица пела колыбельную, которую напевали испокон века матери в Южном Вьетнаме, укачивая своих детей. Голос ее, далекий и такой близкий, проникал в сердце.

...Плакать не надо, слышишь, родной,
Люди давно улеглись на покой...

Слушатели молчали. Они сняли свои широкополые шляпы. По их лицам бежали капли пота, смешанного с машинным маслом. Это были техники «МИГа», который не вернулся.

...Спи, мой малыш, засыпай...

Колыбельная песня умолкла. Но эхо ее звучало в порывах вечернего ветра, игравшего высокой травой.

Вокруг становилось все темнее. То тут, то там замелькали электрические лампочки.

Один из техников, захватив в горсть траву, вырвал ее и поднял голову:

— Вроде стало чуть-чуть попрохладней.

— Слушай, а правда, что вечерняя и утренняя звезды — это одна и та же звезда?

— Эй, помолчи!

«...Я был потрясен, я не мог понять, отчего здесь дети не плачут. Карательный отряд, вошедший в деревню, стрелял вдоль улиц и поджигал крытые соломой хижины.— Радио Ханоя передавало статью какого-то американского журналиста из Южного Вьетнама.— Морские пехотинцы расстреливали попадавшихся им буйволов и коров и забрасывали гранатами убежища и щели. Когда я подошел к одному из таких убежищ, я увидел вылезавшую оттуда женщину с ребенком на руках и старика...»

В траве завели свои трели цикады. Стрекот то робко стихал, то раздавался снова, перекликаясь с голосом диктора, и вдруг умолк, будто прислушиваясь.

«...Около горящего дома американский капитан схватил мальчишку лет четырнадцати. У него была перебита правая рука, из кровоточащей раны торчал обломок кости, угловатый, как острие ножа. Капитан приказал переводчику спросить: «Где партизаны? Где вьетконг?..» Ребенок смотрел на него молча. Он не кричал и не отвечал ни слова. Капитан вытащил пистолет, выругался и выстрелил в землю рядом со ступней мальчика. Но тот по-прежнему стоял молча...»

По небу пробегали последние отблески света. Загорелись звезды — их становилось все больше и больше. Над зарослями бамбука поднимались струйки дыма. Люди вернулись с поля, разожгли очаги и готовили на них ужин.

Окружающий мрак сгустился. Бетонная полоса вокруг техников вдруг озарилась разноцветными огнями. Это включили ночное сигнальное освещение. Аэродром начинал свою работу.

Издалека послышался шум автомобильного мотора. Потом около них затормозил газик, из машины вышел офицер.

— Это пятая бригада?

— О-о, комиссар приехал,— зазвучали приглушенные голоса.

Кто-то выключил приемник.

— Где товарищ Фыонг, ваш начальник?— снова спросил комиссар полка.

— Здесь!

Один из людей отделился от группы и вытянулся по стойке «смирно».

— Поезжайте домой, ребята,— мягко сказал комиссар.— Уже поздно, пора ужинать.

— Разрешите доложить!.. Куанг ведь еще...

— Знаю. Завтра все точно узнаем.

Они забрались в машину. Тягач зажег фары и медленно тронулся с места.

Комиссар глядел им вслед, покуда свет фар не затерялся во тьме. Потом сел в машину и поехал к дежурке ночной смены.

В конце полосы остались лишь мерцавшие у самой земли голубоватые огни, да цикады стрекотали в траве.

Вдруг ночь содрогнулась от чудовищного грохота. По бетонной полосе заметались огненные отсветы. Поблескивая в лучах фонарей, пронесся по ней самолет, молнией взмыл ввысь и растворился в черной бездне. Огни на полосе погасли, и мрак снова окутал окрестность. Где-то высоко-высоко уносилась вдаль огненно-красная точка среди молчаливо мерцающих звезд.

# V

Погода все больше портилась; дождь шел как из ведра вот уж который день. Но летчики Четверки сидели на аэродроме. И если хоть слегка прояснялось, они уходили в воздух на своих «МИГах».

Прошел слух, что в части скоро произойдут большие перемены. Изучая операции противника, нетрудно было понять, что он стремится сомкнуть кольцо разрушительных бомбардировок и нанести удар по районам Ханоя и Хайфона. Была и другая угроза: плотины. Выпало много дождей, и вода в реках поднялась, как никогда. Радио передавало, что американцы бомбили дамбы на реке Ча-ли в Тхай-бинь* и плотины на Красной реке ниже Нам-диня **, неподалеку от моря. И так день за днем: слушая известия и глядя на небо, пилоты Четвертой эскадрильи не могли не волноваться.

Однажды вечером все наконец узнали толком о предстоящих «переменах»: приказом командования часть летного состава переводилась во вновь сформированный полк. А к ним поступало пополнение из пилотов, только что закончивших училище. Это коснулось и Четверки. Бан получил повышение и переводился в новую часть командиром эскадрильи. Шау был назначен вместо него помощником командира эскадрильи. А к Лыонгу в звено должен был прийти новичок.

Собрание закончилось, и ребята из Четверки, громко переговариваясь, вышли из зала. Они столпились вокруг Бана и других уезжающих, острили, обменивались новостями.

— Счастье, Бан, что твоя «половина» успела навестить тебя до отъезда!

— Такая моя судьба! Хозяйка у меня, хоть на вид и простовата, а чует издалека, когда что-нибудь предстоит. И сразу — тут как тут!

Все дружно расхохотались. Не было человека в эскадрилье, который не знал бы жену Бана. Ребята ее любили.

Их поженили еще в детстве, согласно старинному обычаю, принятому у них в деревне. В молодые годы Бан был бедняком, оборванным и темным, но потом пошел учиться. Учился долго и даже ездил за границу. Он и сейчас еще мужчина хоть куда! А жена выглядела старше его. На лице ее оставили след годы, прожитые без мужа, когда надо было самой и работать, и присматривать за детьми, держа, как говорится, весь дом на своих плечах. С тех пор, что Бан служил в полку, она приезжала несколько раз, оставаясь иногда и на неделю. При виде мужа лицо ее озарялось, на щеках появлялся румянец, глаза блестели, и она казалась моложе и краше собою. Всякий раз она появлялась нагруженная гостинцами и баловала ребят когда курятинкой, когда бананами, крушиной или плодами нян *** и ваи **** — «дарами своего сада».

— Жаль, конечно, Бан, что ты уезжаешь. Но самое обидное — не видать нам теперь угощения!

— Слушай, а ведь твоя жена обещала просватать за нас своих племянниц!

— Ну, хватит, ребята, скоро отбой.

Тоан взял Лыонга за локоть и шепнул:

— Видишь, настало и наше время.

Лыонг и Шау вернулись в свою комнату. Они опустили накомарники и разобрали постели, но спать еще не хотелось. Шау решил напоследок попить чаю и возился с термосом и заваркой.

---

* Провинция и административный центр в ДРВ.

** Третий по величине город и промышленный центр в ДРВ.

*** Дерево с небольшими плодами, имеющими белую сочную мякоть и круглое черное семечко.

**** Дерево со сладкими плодами, по форме напоминающими мандарины.

— Опять дождь заладил на всю ночь,— сказал он,— никак не уснешь: тоска по дому одолевает. Недавно получил письмо оттуда *, от моего старого друга. Когда ханойское радио впервые передало, что наши истребители сбили американцев,— он в это время сидел у включенного приемника и обедал,— он поперхнулся, бросил чашку и палочки, вскочил и, не помня себя, выбежал из дому...

Со двора, где давно уже не было ни души, послышались звуки аккордеона. Неунывающий Тоан вдохновенно разыгрывал «Песню швеи». Лыонг поймал себя на том, что невольно прислушивается к веселой бесхитростной мелодии. Шау, ссутулясь, сидел на краю кровати с чашкой чая в руке; взгляд его был устремлен куда-то вдаль. Вдруг он громко рассмеялся:

— Ты, Лыонг, наверно, не знаешь историю нашего первого «истребителя». Это был американский винтовой самолет «Т-28». Еще при блаженной памяти Диеме ** он проник в наше воздушное пространство, но влип в такой плотный огонь ополченцев, что вынужден был сесть прямо на песчаный пляж. Самолет оказался целехонек, только лопнула шина на одном колесе. Американцы повадились тогда забрасывать к нам диверсантов на транспортных машинах «Ц-47». И ребята решили использовать против них этот «Т-28». Они сняли лопнувшую шину и оттащили в артель, ремонтировавшую велосипедные камеры и покрышки, узнать, смогут ли там привести ее в порядок. Мастера, само собой, не ведали, что это за штука. Но решили: раз шина, значит, можно и починить — тем более солдаты просят. И после этот «Т-28» с залатанной шиной сбил самолет! В истории нашей авиации много таких чудес, надо бы написать обо всем этом книгу: жаль, если такое забудется.

Он замолчал, глотнул чаю и улыбнулся.

— Партбюро предложило, чтоб теперь ведущим в паре с Тоаном летал ты. Что скажешь?

— Здорово! Мы с ним легко сработаемся.

— И мы так думаем. Тоан тебя любит.

— Мне он тоже нравится. Но лучше б тебя поставили с ним ведущим. Он кое в чем меня уже перегнал и летает день ото дня все лучше. Какой из меня командир? И буду ли я ему полезен? Жаль, что Бана отзывают именно теперь!

— Ничего. Ты многому можешь научить Тоана. Мы на бюро все взвесили. Тоан — парень сообразительный и смелый, но слишком уж горячий, в бою может увлечься. Он должен усвоить главное: нельзя отрываться от товарищей. У вас дело пойдет на лад. И потом, партбюро поручает тебе сделать все, чтобы после предстоящей операции Тоан стал достойным приема в партию.

— Я как раз сам хотел предложить бюро рассмотреть вопрос о его приеме.

— Время готовит нам нелегкие испытания! Я уверен, предстоят бои прямо над столицей.

— Ты теперь помощник командира эскадрильи и будешь как-то дальше от нас.

— Дальше?— засмеялся Шау.— Ведь я же никуда отсюда не денусь.

— Эх, если бы Бан остался у нас хоть до конца операции! Но как подумаешь, что скоро прибавится еще одна авиачасть, грех жаловаться!

— Быстро дело пошло! Еще в прошлом году было лишь несколько ребят. Я не ждал, что все произойдет так скоро.

Послышался долгий металлический звон: отбой! Шау погасил лампу и залез под накомарник.

* Из Южного Вьетнама.

** Нго Динь Дием, президент марионеточной южновьетнамской «республики» с 1954 года. Свергнут и убит в 1964 году.

— Черт, заболтались мы! Спокойной ночи...

В полночь Лыонг проснулся. За окном было совсем темно. В небе полыхали молнии и перекатывался гром. Шумел дождь. На соседней койке похрапывал Шау.

Лыонг почему-то вспомнил, как однажды он, совсем еще маленький, вот так же лежал и прислушивался к шелесту дождя. И всякий раз, когда вспыхивали зарницы и грохотал гром, ему чудилось, будто какие-то неведомые великаны яростно бьются в черном ночном небе. Пересилив страх, он выглядывал наружу, а потом снова прятался с головой под одеяло...

«Ну и ливень!.. Четыре дня нет никаких вестей о Куанге. Но это еще ничего не значит! В прошлом году, когда не вернулся Лан, все уже думали: погиб. А через неделю пришло сообщение, что он нашелся...

Лан спрыгнул тогда с парашютом у самой границы. Шесть суток он шел по горам, продираясь через джунгли. Ел какие-то коренья и пил воду из родников, а на ночь залезал на деревья. На седьмой день он еле передвигал ноги от голода. И тут ему подвернулись какие-то клубни вроде батата*. Он наелся. Но вскоре во рту у него начался зуд и жжение, язык и губы раздуло чудовищной опухолью. Он боялся, что задохнется. Счастье еще, что к концу дня он спустился в узкую горную долину, где было человеческое жилье. Он выполз на опушку и увидал дом на сваях**, однако, не зная, куда забрел, пополз в обход деревушки, пока наконец не заметил у перекрестка тропинок фанерный щит с лозунгами против американских захватчиков. Тогда он вышел из зарослей. Но дойдя до лесенки ближнего дома, упал и не смог подняться. На шум из дома вышла женщина. Он попытался объясниться с нею знаками — язык его не слушался. Хозяйка, увидав его, сразу обо всем догадалась, втащила в дом, напоила медом и смазала язык и небо, обожженные ядом. Тамошние жители говорили потом, что, запоздай он еще на день, остался бы на всю жизнь немым...

Куанга сбили только из-за его горячности! Он поджег один «Ф-105» и завязал бой с другим. Тот стал уходить. Куанг бросился вдогонку, и его атаковал в хвост незаметно вывернувшийся сзади самолет...

У Куанга жена и ребенок. Жена его работает учительницей в Четвертой зоне. Однажды она приезжала к нему... Ребята называли его в шутку «письмом без марки». Он обожал писать письма, но вечно забывал купить марки и ходил из комнаты в комнату, выклянчивая у ребят «почтовые знаки»...

И все-таки Лыонг отлично понимал Куанга. Он и сам, когда встречал вражеские самолеты с бомбовым грузом, думал лишь об одном: «Сбить! Сбить во что бы то ни стало!..» Потому что в сердце летчика-истребителя каждая сброшенная врагом бомба отзывается особенной болью.

Он вспомнил, как недавно проезжал вечером через разбитую бомбами придорожную деревушку. Еще поутру он останавливался там и заходил в маленькую харчевню поесть бананов и выпить свежего чаю. Теперь здесь было сплошное пепелище с зияющими провалами воронок. Среди обуглившихся стен копалась какая-то женщина. Временами она поднимала голову и глядела вокруг странным застывшим взглядом. Проходившая мимо девушка-ополченка подошла и окликнула ее: «Тетушка Зан, что вы там ищете?» Потом сказала Лыонгу: «Вот горе! Она совсем помешалась. Утром ушла на работу и оставила дома троих детей. Когда налетели самолеты, она прибежала и нашла вот...» Девушка взяла ее за руку и повела куда-то, приговаривая, как маленькой: «Вы успокойтесь... Пойдемте лучше к нам...»

---

* Сладковатый картофель, растет в жарком поясе.

** Малые народности в горах Северного Вьетнама живут в домах на сваях.

Снова блеснула молния и зарокотал гром.

«Это уже не дождь, а потоп! Товарищи, вернувшиеся из командировки, рассказывают, что в Ханое затопило весь берег перед плотинами, кое-где вода поднялась на полтора метра выше уровня набережной. Да, природа в этом году злая! Весенний урожай попортила засуха. Сейчас рис вроде бы поднялся дружно, так нет же — наводнение! Старики говорят, что с августа сорок пятого года вода не поднималась так высоко. На прошлой неделе во время полетов видно было, как реки — Черная, Светлая*, Тахо** и бегущие мимо Ханоя Дуонг и Красная — вплоть до Кау и Фа-лай *** — набухли от полой воды и вышли из берегов. В иных местах даже не разберешь, где река, а где суша, всюду поблескивает на солнце широкое голубое зеркало...

Дао недавно прислала письмо из Ханоя. Она с малышом съездила туда на несколько дней. Муж Дао был в Ханое на совещании, и они всей семьей поселились у Туйен. Сестра пишет, что Туйен каждый день работает на плотине: насыпает землю, укрепляет откосы. Иной раз она задерживается там до позднего вечера, в другие дни уходит на дамбу с рассвета. Весь город борется с наводнением и готовится к обороне. Тревоги объявляют по три-четыре раза в день, теперь они бывают даже ночью. Каждый день из пригородов доносится канонада. Иногда по утрам, несмотря на проливные дожди, залетают вражеские разведчики, и пушки грохочут прямо посреди города. Дао то и дело возвращалась к мысли о том, что ему совершенно необходимо съездить в Ханой и повидаться с Туйен, и передавала от нее приветы и наилучшие пожелания».

Он усмехнулся: «Конечно, Дао на все лады расхваливала меня перед своей подружкой. Хотя неплохо бы и побывать в Ханое, увидеть своими глазами, как живет и сражается нынче столица...

Завтра утром скажу Тоану, что будем теперь летать вместе. Наверно, он тоже обрадуется. Надо сделать все, чтоб оправдать доверие партии. В общем-то особых способностей у меня нет, да и опыта маловато, придется все восполнять упорством, терпением и осторожностью. Основное: каждое задание продумывать и разбирать в деталях — и как можно больше совместных полетов. Тогда придет полное взаимопонимание и согласованность действий...

Ну, ладно. Надо постараться уснуть. Может, к утру после такого дождя прояснится. Будут полеты...»

■

И вправду, ливень за ночь дочиста отмыл небо. Целый день ярко светило солнце, и тревоги следовали одна за другой. Пожалуй, противнику удалось сегодня пробиться к аэродрому ближе, чем когда бы то ни было. Все утро часов с восьми Лыонг с друзьями, стоя на летном поле, могли видеть группы вражеских самолетов; некоторые из них сбрасывали бомбы всего в десяти-пятнадцати километрах отсюда. На большой высоте постоянно патрулировали американские истребители прикрытия. Они должны были дать отпор «МИГам», если бы те поднялись в воздух. Со стороны казалось, будто заморские асы «стоят у ворот», вызывая наших на поединок. Отвага эта наверняка объяснялась численным превосходством.

Тоан, глядя на небо, выходил из себя и бранился последними словами.

И все-таки янки держались в отдалении, словно пренебрегая такой «мелкой» целью, как аэродром.

---

* Реки, впадающие в Красную реку выше Ханоя.

** Одно из названий Красной реки от Виет-чи и вверх по течению.

*** Реки, протекающие севернее Ханоя.

Летчикам Четвертой эскадрильи удалось совсем еще спозаранку сделать несколько вылетов, но потом непрерывные тревоги приковали их к земле. Зенитная артиллерия — особенно в стороне Ханоя — то и дело открывала огонь по самолетам.

К полудню противник исчез.

В час с чем-то поднялись и ушли на юг шесть «МИГов» соседней эскадрильи. Пилоты Четверки не находили себе места. Наконец раздался знакомый гул возвращающихся машин. Все знали, что у ребят был бой с бомбардировщиками «А-4», которые базировались на авианосцах Седьмого флота. Эти *смелые ястребы* — всего их было десятка, наверно, полтора — шли с бомбовым грузом с моря и никак не ожидали встречи с нашими «МИГами». Один из них был сбит в первые же секунды, не успев даже отделаться от бомб. Другие, побросав груз куда попало, обратились в бегство, паля прямо в воздух из пушек и пулеметов и оставив прикрывавшую их группу «Ф-8» вести бой с нашими истребителями. Янки дрались отчаянно. Самолеты атаковали друг друга над самой поверхностью моря. Один «крестоносец»*, переломленный надвое взрывом, рухнул в воду, оставив над волнами клубящийся столб дыма.

Сообщение это привело Тоана в восторг. Он расхаживал по крыльцу, восклицая:

— Вот это да!.. Вот это да!..

— Ничего не скажешь — звено Хоа,— сказал Шау.— Они всегда дерутся отлично.

После обеда пилоты Четвертой эскадрильи снова прибыли на аэродром. Но едва начался разбор предстоящих полетов, как из штаба полка пришел приказ: всем звеньям приготовиться к поочередному патрулированию над Ханоем. Бан заявил друзьям:

— Ну, кто посмеет еще утверждать, что я — не счастливчик? Вот слетаю с вами к столице, а там не обидно ехать куда угодно!

Звено Лыонга вылетало одновременно с еще одним звеном. Восемь машин вышли на бетонную полосу и — пара за парой — взмыли в небо. Лыонг шел четвертым, замыкая строй. Впереди летели Бан, Тоан и Шау; казалось, их «МИГи», отсвечивавшие белыми бликами, плывут в пространстве. Впереди, намного ниже, отпечатались на расплывчатом фоне земли четыре серых силуэта — второе звено.

Восемь истребителей держали курс на Ханой, четко сохраняя строй, будто связанные невидимой нитью. Внизу, под ними, показались пригороды столицы. Словно какая-то сила исходила оттуда, с земли, вселяя в них невиданную, неудержимую уверенность.

— «Сосна»! Набрать высоту!— голос Бана, отдавшего приказ, звучал взволнованно и радостно.

Четыре белых «МИГа» рванулись ввысь в то время, как другое звено опустилось еще ниже над городом. Пять тысяч метров... Шесть тысяч... Семь тысяч... Они забирались выше и выше в беспредельную синеву. Люди с земли видели лишь маленькие точки, вспыхивавшие белыми искрами, и искры эти становились все меньше и меньше. Только гул — ровный и высокий — доносился еще до земли.

Лыонг по-прежнему не отставал от товарищей. Они кружили на огромной высоте и, контролируя обширное пространство, прикрывали друзей, облетавших внизу Ханой. Отсюда невозможно было различить поля, улицы и дома. Черты жизни, созданной человеком, перемешались и слились с коричнево-зеленой землей, затянутой лиловым маревом. В стороне, совсем уже далеко, он увидел море, огромное и синее, выгнувшееся точно второе небо.

---

* Реактивный истребитель-бомбардировщик ВВС США «Ф-8» и его модификации.

Терявшийся в тумане горизонт отмечали купы облаков, напоенных алым светом вечера, словно взметнувшимся вверх дыханием раскаленной печи.

Он внимательно наблюдал за «воздухом». Но небо было безмятежно чистым, противник не показывался.

Опустились сумерки. И зарябили полосы легких белых тучек, похожие на птичьи перья. Звено, медленно снижаясь, летело теперь на запад. Самолеты все еще купались в ярких лучах солнца, а земля под ними, прежде блекло-золотая, утопала в фиолетовой тени. И вдруг среди пустынных гор, вздыбившихся с земли застывшими каменными волнами, он увидел крохотный домик на сваях, над которым поднимался синеватый дымок, как будто говоря: «Здесь есть люди!»

Они продолжали снижаться и шли прямо к Ханою, чтобы встретить второе звено и вместе вернуться на базу. Горы Хоа-биня * остались у них за спиной. Земля будто поднималась, становилась все ближе и ближе. Вот уже можно разглядеть отливающее металлом речное русло; ряды фруктовых деревьев; холмы, поднявшие круглые свои бока над полями, залитыми оливково-розовой водой; пересекающиеся, словно на шахматной доске, прямые линии каналов; большие деревни, равнины, домики под соломой и черепицей, столпившиеся в тесном кольце бамбуковых изгородей; бегущие к перекресткам асфальтовые трассы дорог. А там — шеренги домов с квадратными красными кровлями, фабричные трубы, наконец, море крыш вперемежку с зелеными кронами, и — чуть подальше — мост Лауг-биен **, длинная черта, пересекающая Красную реку...

Четыре серебристо-белых истребителя, сбросив скорость, проходят вдоль города. Они ложатся на крыло, разворачиваются и над Западным озером*** пристраиваются к патрулирующему здесь звену.

Восемь машин делают круг над Ханоем. Восемь огненных ласточек покачивают крыльями, приветствуя дворец Национального собрания, площадь Ба-динь ****, Президентский дворец, Пагоду на одной колонне ***** — здесь центр столицы, мозг государства; сюда сходятся десятки, сотни тысяч нервных волокон со всех концов страны... Под крылом у них пробегают старые улицы, вот уж который век теснящиеся, будто пчелиные ульи, у озера Возвращенного меча ******...

«Мы здесь!.. Мы здесь, слышишь, Ханой!..»

## VI

Впервые став командиром, Лыонг старался предусмотреть каждую мелочь и всячески помогал своему ведомому. Он и сам считался в эскадрилье молодым, но Тоан был моложе его на четыре года. Лицо у него было в веснушках, глаза ясные и немного наивные и ресницы длинные,

* Провинция и административный центр в ДРВ, населенные в основном национальными меньшинствами.

** Большой железнодорожный и автомобильный мост, связывает Ханой, расположенный на правом берегу Красной реки, с ее левым берегом; является как бы въездом в город.

*** Большое озеро, прилегающее к северо-западным районам Ханоя.

**** Центральная площадь Ханоя, где в сентябре 1945 года Хо Ши Мин провозгласил Демократическую Республику Вьетнам и где проводятся праздничные парады и митинги; здесь находятся Президентский дворец, дом Национального собрания и другие правительственные здания.

***** Один из ценнейших исторических памятников вьетнамской столицы XI века, расположен также у площади Ба-динь.

****** Озеро в центре Ханоя. По преданию, из него вышла когда-то черепаха и вручила полководцу, который готовился к битве с захватчиками, чудесный меч. Одержав победу над врагом, герой пришел к озеру и бросил меч в воду, возвращая его черепахе. Есть и другие варианты этой легенды.

загибавшиеся кверху и книзу; ребята дразнили его «кукольными глазками». Одевался он всегда очень небрежно, только готовясь к полету, тщательно подгонял снаряжение и костюм. А вернувшись с аэродрома, натягивал мешковатые, вымазанные в глине брюки и разгуливал в сандалиях из автомобильных покрышек. Он мечтал после войны выучиться на авиаконструктора и построить в ближайшие пятнадцать или, в крайнем случае, двадцать лет невиданные пассажирские и грузовые самолеты. Лыонг любил его не только за великолепное летное мастерство, но и за увлеченность и доброту, чуждую всякого расчета. Они хорошо летали в паре, и уже после первых тренировочных полетов каждый отлично чувствовал малейшее движение другого и понимал его замысел. Лыонг поражался способностям Тоана, который легко и точно повторял любой его маневр. И был уверен — если в бою его будет прикрывать Тоан, все пойдет отлично.

Сегодня после обеда Бан прощался с ребятами. Собрав нехитрое свое имущество, он уселся на чемодан и в последний раз оглядел маленькую комнату, где они жили вместе с Тоаном. С лица его вдруг сбежала привычная усмешка, он выглядел растерянным и грустным, словно ему невмоготу было покидать эти стены. С первого дня служил он здесь, в этом полку. И теперь опустевшая кровать со скатанной в рулон циновкой, стол, на котором не было уже его книг, и смахивавший на иероглиф след от его фотографий на стене — все как будто хотело удержать его, не выпустить отсюда. Конечно, солдат мало где задерживается подолгу, для него везде «дом», но сколько воспоминаний накрепко привязали его к здешним местам: лишения и трудности, поиск, и риск, и бои, жестокие бои, когда с ним рядом дрались однополчане — и живые, и те, кого уже нет...

Толкнув рукою дверь, вошел Тоан.

— Давай твой чемодан, отнесу его к воротам, чтоб не опоздать.

— Зачем? Шофер погудит, и я сразу буду там с чемоданом вместе. Лучше присядем.— Бан улыбнулся: — Знаешь, я долго буду вспоминать твою музыку.

— Да я толком-то и играть не умею.

— Нет, честное слово! Когда подрастет мой наследник, велю жене, чтоб его хоть малость подучили музыке. Жить будет веселее. А то ведь я, кроме как водить самолет, ничего не умею, разве что уток пасти!

— Жаль, не пришлось вместе провести хоть один бой.

— Кто знает, может, еще встретимся в воздухе в каком-нибудь большом сражении. Я очень надеюсь: когда увидимся снова, ты будешь уже партийцем.

Он встал.

— Машина как будто?

Прибежал Шау.

— «Авто» ждет,— сказал он.

Шау крепко обнял Бана.

— Ну, будь здоров. Не забывай нас, пиши.

Бан ничего не ответил, только лишь моргнул несколько раз.

Лыонг подхватил чемодан, и они зашагали к воротам. Бан, улыбаясь, говорил молодым летчикам:

— Раз уж вы теперь в паре, должны из первого боя доставить нам «сувенир». Я в вас уверен, буду ждать.

Вся Четверка собралась у ворот проводить Бана и других товарищей. Одни грузили чемоданы в машину, другие давали отъезжающим последние наставления, шутили, смеялись и как будто не собирались прощаться.

— Ну, давайте кончать проводы! — громко сказал командир эскадрильи Киен.— Пора садиться в машину, они опаздывают. Комиссар ждет уже на аэродроме.

Шофер включил мотор. Бан последним забрался в кузов. Он все махал рукой, пока грузовик, доехав до перекрестка, не завернул к аэродрому.

Кхай вернулся в дом вместе с Лыонгом, Тоаном и Шау.

— Сегодня проводили командира звена, а завтра встречайте нового летчика! — улыбаясь, сказал политрук.

— Кто он, не знаете?

— Слыхал только, что его зовут Доан, родом он из Као-банга * и недавно вернулся после окончания училища.

— О, я, наверно, его знаю,— Тоан вдруг повеселел:— Может быть, это тот самый Доан, с которым мы вместе ехали учиться. Только попали в разные училища. Я возвратился раньше, а он остался еще на полгода.

— Скорее всего, это он. У вас, Шау, будет теперь самое молодое звено в эскадрилье. А молодежь должна быть во всем впереди.

— Ладно уж, постараемся! — Шау поднял голову и усмехнулся.

Кхай вдруг посерьезнел.

— Американцев здорово поколотили на Юге, и они теперь любой ценой постараются усилить бомбардировки. Вчера было что-то около ста пятидесяти бомбежек. В среднем за день до ста и более налетов. Эскалация распространилась и на столицу. Так что ты, Тоан, можешь не волноваться, случай подраться тебе представится, и очень скоро!

Послышался чихающий шум вертолета. Он становился все громче и громче. Кхай высунулся из окна:

— Вон наши полетели!

Все побежали во двор. Вертолет, похожий на гигантскую стрекозу, перебирая лопастями винта, прошел низко, над самым лагерем. На брюхе у него нарисовано было большое красное полотнище с желтой звездой. Летчики стояли на земле и махали руками, прощаясь с Баном, с улетавшими друзьями.

■

Лыонг перебрался к Тоану. А на другой день прибыл новичок. Это был «тот самый» Доан, молодой парень из народности тай, рослый и крепкий, с белым румяным лицом, блестящими глазами и угловатым волевым подбородком — вылитый рыцарь из сказки. Он поселился вместе с Шау, назавтра же потребовал, чтобы его допустили на аэродром и сразу начал летать в паре с командиром звена.

Уже после первых полетов друзья оценили новичка — его пунктуальный, дотошный характер, уверенность и редкую смелость. Он был неразговорчив и медлителен, но любое дело у него спорилось. В воздухе он отличался точностью и осмотрительностью, во всем следовал указаниям командира. И на земле Доан не переставал тренироваться, чтобы возможно лучше выполнять функции прикрывающего. Кроме приемов пилотажа и ведения огня он отрабатывал еще и технику наблюдения. На летном поле, в дороге и даже дома он то и дело озирался по сторонам и с особым тщанием засекал все происходящее сзади, у него за спиной. Это вошло у него в привычку.

— Надо вырастить у себя на затылке,— говорил он,— еще одну пару глаз!

---

* Провинция и административный центр в горах на севере ДРВ, значительную часть населения составляют малые народности: тай, нунг, мео и др.

Был он, ко всему, заядлым спортсменом. Когда играли в баскетбол, Доан становился грозным, неудержимым «тараном». И Киен радовался, что сборная Четвертой эскадрильи теперь вне конкуренции.

■

Первый бой у Лыонга и Тоана произошел утром. Густые облака висели довольно низко над землей. «МИГи» шли вплотную друг к другу, держа курс на северо-запад. Оба — и ведущий и ведомый — были возбуждены ожиданием неприятеля, особенно Тоан. Каждый раз, когда Лыонг вызывал его по радио или поступали команды с земли, стоило услыхать, каким голосом отвечал Тоан свое «ясно», чтобы понять, до чего напряжены у него нервы.

Облачность стала еще плотнее. С земли сообщили, что противник в пяти километрах от них, потом — в двух, потом... в шести. Однако заметить вражеские самолеты Лыонгу не удалось. Он понимал, что они скрытно кружат где-нибудь в облаках. Но рыскать по тучам в поисках неприятеля было бы бесполезно и опасно.

Он взялся за штурвал и приказал, чтобы Тоан тоже набрал высоту. Внимательно наблюдая отсюда за просветами в облаках, он был уверен, что противник неизбежно появится в поле его зрения.

— Двадцать четвертый, противник под нами! — раздался в наушниках голос Тоана.

Не успев еще толком ничего разглядеть, Лыонг автоматически развернул истребитель. Американец, выскочивший в щель между облаками, не ожидал встретить здесь «МИГи» и явно растерялся. Он положил машину на крыло и бросился в сторону. Тоан устремился наперерез. Лыонг, описав круг над ними, стал прикрывать Тоана. Он видел удлиненный серый силуэт «Ф-105», не успевшего сбросить бомбы и дополнительный бак с горючим.

— Тридцать первый! — Лыонг кричал во весь голос.— Идите на сближение! Открывайте огонь! Огонь!

Но Тоан не стрелял. Перейдя на форсаж, он старался приблизиться к американцу вплотную, чтобы дать залп наверняка.

«Ф-105» сделал еще один разворот в сторону от преследователя, и Лыонг увидел, как от «громовержца» отделились черные капли — бомбы и дополнительный бак — и утонули в пучине облаков. Янки ринулся вниз и пропал в непроницаемом белом тумане, как рыба, вильнув хвостом, исчезает в глубине вод.

«Ушел!..»

— Тридцать первый! Продолжайте наблюдение за...

Лыонг не успел закончить фразу: еще один «Ф-105», вынырнув из нижнего яруса облаков, показался по правую руку. Американец резко пошел вверх, подставив брюхо под огонь Тоана. Тот мгновенно дал очередь, потом еще и еще. Но расстояние было слишком велико, и снаряды прошли мимо, чуть ниже американца.

— Тридцать первый! Хладнокровней! Стреляйте точнее.

Вызывая Тоана, Лыонг обернулся назад: «Так и есть, вражеские самолеты висят внизу...»

Тоан, форсируя скорость, преследовал «своего» янки. Он бросил машину из стороны в сторону, пытаясь обмануть американца, и обрушился на него сверху. Оба, оставляя за собой красноватые полосы отработанных газов, нырнули в облака и исчезли.

— Тридцать первый! Поднимитесь над облаками!

Ответа не было.

— Тридцать первый! Набирайте высоту и подстраивайтесь ко мне!.. Тридцать первый, вы меня слышите?

«Тоан онемел, что ли?..» — подумал Лыонг.

— «Жаворонок»!.. «Жаворонок»! Ешьте пирог! Ешьте пирог!..

Это был условный код, «земля» приказывала возвращаться.

Лыонг сделал круг, ожидая Тоана. Он положил машину на крыло и вдруг увидел выплывшие снизу, позади него, две черные точки.

Он бросил свой истребитель вниз, успев заметить, как мимо прошла темно-зеленая сигара ракеты и разорвалась метрах в пятистах от него. «МИГ» пошел в атаку на два неприятельских самолета, но они сразу скрылись в облаках...

До самого своего приземления он так и не видел больше Тоана. Но по радио он узнал, что Тоан возвращается.

«Как ведущий, я был пассивен,— думал он,— пассивен и непоследователен. А Тоан слишком горячился и утратил контроль над собой. Мы потеряли друг друга! Одна ошибка повлекла за собой другие...»

Он вылез из кабины и нервно расхаживал взад-вперед по краю бетонной полосы. Минуты через три или четыре из-за облаков донесся гул мотора, и вскоре «МИГ» Тоана мягко прикоснулся колесами к земле.

Тоан соскользнул по стремянке и направился к своему ведущему. Но взгляд его, казалось, блуждал далеко отсюда, там, куда снова и снова уносились его мысли. Он машинально придерживал кислородную маску, описывая свободной рукой какие-то линии и круги, словно припоминая фигуру танца. Лыонг улыбнулся: «Тридцать первый» никак не выйдет из боя и все прикидывает трассы и углы атаки...»

— Почему ты так опоздал? Решил загнать *его* на край света!

— Жаль, ушел!— Тоан остановился и поднял глаза, как будто прося прощения.— Я натворил кучу глупостей.

Вечером на собрании эскадрильи Лыонг и Тоан выступили с самокритикой, разбирая причины своей неудачи. После них говорили многие. Особенно досталось Тоану. Он понурясь сидел на скамейке, и у него пылали не только щеки, но даже уши. Политрук эскадрильи подвел итоги:

— Товарищ Тоан полон решимости уничтожить врага, у него отличная техника, но ему не хватает чувства товарищества и дисциплины. Даже если бы он сегодня утром и сбил самолет, все равно действия его мы расценили бы как нарушение дисциплины, нарушение своего долга. Командование эскадрильи рассматривает проявленное им неподчинение приказу как тяжелый проступок, заслуживающий строгого осуждения. Мы надеемся, что он сделает для себя выводы и приложит все усилия, чтобы впредь не повторилось ничего подобного.

Затем перешли к разбору боевого задания на следующий день. Командир эскадрильи Киен сообщил:

— Прогноз на завтра хороший. С утра облачность до семидесяти процентов, высота тысяча двести — тысяча пятьсот метров. Противник, вероятно, будет стремиться нанести удар по объекту «А».

Летчики развернули полетные карты и разложили их на коленях. Они обвели красным карандашом объект «А». Киен, водя карандашом по своей карте, продолжал анализ возможных налетов неприятеля и наших боевых действий.

■

Сигнал отбоя, по которому полагалось гасить свет, прозвучал уже довольно давно. Но Лыонг слышал, как Тоан ворочается с боку на бок и вздыхает. Он приподнял полог накомарника и высунул голову.

— Спи, Тоан,— сказал он.— А то еще врач завтра не допустит тебя к полетам.

— Ага... Я все время ругаю себя. Как я мог так забыться. Промазал по *нему* с первого раза и от злости потерял голову.

— Чего там, не последний же бой. Такой урок пойдет на пользу, долго будешь помнить. Главное — не терять самообладания.

— Мне ужасно стыдно. Ты извини меня, Лыонг...

Помолчав, он снова негромко сказал:

— Я получил плохое письмо из дому.

— А что?

— Отец тяжело болен, наверно, придется надолго положить его в больницу. Мне очень жаль мачеху. У нее на работе дел по горло и с отцом надо возиться. А каково теперь с малышами! И сестра моя вроде опять повздорила с мачехой... Ей еще нет шестнадцати, ум-то наполовину ребячий, а тут еще «мудрецы» подзуживают. Вот она и считает себя сиротой. Все время ревнует отца и злится.

— Ты напиши ей.

— Я и сам решил послать ей письмо. Она меня послушает скорее, чем мачеху. Бывает, и отцу не под силу ее уговорить. Считает, что он «пристрастен»! Я тоже возьмусь за нее осторожно, чтоб уж было наверняка.

— Ты объясни ей все толком, она поймет.

— Ну, ладно. Постараемся уснуть!

Они замолчали, услыхав на крыльце осторожные шаги врача.

■

Через день им снова выпало участвовать в бою. Утро стояло солнечное. Они получили приказ вылететь для поддержки ушедшего раньше звена. Противник бросил несколько групп самолетов на небольшой городок восточнее Ханоя. На небе было много мелких облачков. Оба «МИГа» входили в облака и вырывались в светлые пространства, держась вплотную друг к другу.

С командного пункта передали, что противник в двадцати, потом в десяти километрах. «Скоро войдем в соприкосновение с ним!» — подумал Лыонг. Белые блики над облаками искажали видимость. Он прикрыл глаза рукой и огляделся. Внимание его приковали горы, торчащие посреди долины. И вдруг он заметил над облаками черную точку: словно муха ползла по клочку ваты. В ту же секунду в наушники ворвался голос Тоана, летевшего сзади и чуть правее:

— Противник справа!

В этой ситуации положение Тоана было более выгодным.

— Тридцать первый! Сбросьте дополнительный бак! — приказал Лыонг.— Разворачивайтесь и атакуйте! Я вас прикрою!

«МИГ» Тоана взвился вверх. Лыонг шел за ним следом. Внимательно наблюдая за облаками, он заметил еще две черные точки в тысяче метров под ними.

— «Фантомы»! — раздался взволнованный голос Тоана.— Сзади два «Ф-4»!

В мгновение ока маленький «МИГ» сблизился с американцем и открыл огонь из пушек. «Фантом» стал стремительно набирать высоту. Тоан преследовал его по пятам.

Лыонг держался сзади. «Янки вынуждает Тоана развернуть машину по вертикали, чтоб подставить под ракеты своего напарника»,— мелькнуло у него в мозгу.

И точно, сзади на максимальной скорости приближался еще один «фантом».

— Тридцать первый, маневрируйте! Немедленно сверните с курса!

Тоан сделал крутой разворот, бросив своего противника. Лыонг решил было подстроиться поближе к нему и вдруг увидел справа и слева несколько «Ф-105», выскочивших неведомо откуда. Ему видны были их полосатые спины и острые куцые крылья, похожие на рыбьи плавники. Они шли со стороны гор, меняя на ходу высоту, и перестраивались, вытягиваясь в ряд для захода на городок, видневшийся внизу, на равнине.

«МИГ» Тоана маневрировал, стараясь вклиниться между группами неприятеля. Вдалеке, над населенным пунктом, выросли хлопья зенитных разрывов. «Значит, головные машины противника уже там!..» Дым от снарядов и линии отработанных газов из реактивных турбин смешались с дымом и пылью, взметенными с земли разрывами бомб, и все плотней застилали горизонт.

«Фантомы» продолжали идти прежним курсом. Лыонг насчитал уже четыре звена, а сзади видны были еще самолеты.

Его охватила ярость. Он выбрал четыре ближайших машины и атаковал последнюю, замыкавшую строй. Американец ушел в сторону и торопливо сбросил бомбы. «МИГ» обрушился на следующее звено, и «фантомы» рассеялись перед ним в беспорядке.

— «Жаворонок»!.. «Жаворонок»!..— позвала «земля».— Ешьте пирог!.. Во что бы то ни стало ешьте пирог!

— Янки идут навалом! Надо их бить, есть пироги некогда!

Он не помнил, сколько раз за эти две или три минуты разворачивался, падал к земле и опять набирал высоту. Противник был со всех сторон, вблизи и вдалеке от него. Перед ним всякий раз маячили то один, то два или три американца.

Стремительный и легкий, как сокол, ворвавшийся в стаю воронья, «МИГ» дрался один против многих. И всюду, где б он ни появлялся, ломался строй воздушных пиратов: одни сбрасывали куда попало бомбы, чтоб облегчить себе бегство, или стремились уйти, прижимаясь к земле; другие отвечали огнем на огонь и старались зайти в хвост, чтобы расправиться с ним без помех. Лыонг выпустил уже пять залпов. Он старался атаковать как можно плотнее, бить наверняка, чтоб не расходовать зря боезапас.

— Задымил! Один задымил! — ликовал в наушниках голос Тоана.

Лыонг поднял машину вверх и увидел внизу «Ф-105», волочивший за собой черноватый дымок, точно раскуренная сигарета, а чуть повыше — преследовавший его истребитель Тоана. Три вражеских самолета заходили ему в хвост.

— Тридцать первый! Противник сзади!

— «Жаворонок», внимание!.. Друзья близко от вас!

«МИГ» Тоана развернулся и шел на сближение с ведущим. Небо вокруг них было «чистым». Но над горизонтом продолжался ожесточенный бой. Зенитки вели частый огонь. В воздухе висел дым. Снизу, с полей, куда побросали свои бомбы американцы, медленно поднимались желтоватые столбы гари.

Вдалеке как будто появилось звено «МИГов». И вдруг Лыонг заметил внизу темные отсвечивающие силуэты. Он развернулся. Теперь уже ясно были видны несколько «Ф-105»; они шли прямо на городок.

— Я тридцать первый!.. Четыре «Ф-105» выходят к объекту!

— Атакую! Тридцать первый, прикройте меня поплотней!

Машина Тоана показалась над головой ведущего. Он вошел в пике, наметил второй самолет в группе, открыл огонь и выпустил по нему все до последнего снаряда. Выровняв машину, он услышал голос Тоана:

— Янки теряют управление! Видно пламя!

Оба «МИГа», набрав высоту, встретили звено своих, заняли место в строю и вместе легли на обратный курс.

■

После этого боя вражеское радио и служба информации подняли громкую шумиху, расписав его как великую свою победу. На следующий вечер приехал Ви, комиссар полка. Улыбаясь, он спросил у Лыонга и Тоана:

— Как же это вы дали, чтоб американцы обоих вас «сбили»?

Потом он похлопал Лыонга по плечу и сказал:

— Ну, ребята, собирайтесь завтра с утра пораньше в Ханой. Горком Союза трудящейся молодежи пригласил от нас двух человек выступить с докладом. Там будет собрание представителей молодежи с заводов и учреждений города.

— Какие из нас докладчики!

— Ничего-ничего. Расскажете, как воюет ваша эскадрилья. Излагайте все как есть; конечно, не приукрашивайте и лишнего ничего не говорите. После собрания не забудьте сходить в госпиталь, проведать там наших. Послезавтра в пять тридцать утра ждите у моста Лаунгбиен, пойдет машина в полк. Тоан, твоя семья в Ханое или эвакуировалась?

— Разрешите доложить: бабушка с малышами уехала из города, мачеха по-прежнему работает в Ханое, а сестренка, старшая, учится в пригороде.

— Я слыхал, у тебя отец болен. Передавай ему самые лучшие пожелания. Раз уж ты побываешь дома, постарайся, наладь там мир и согласие. Вы друг за другом присматривайте. Берегите здоровье, не засиживайтесь допоздна.

## VII

На собрании молодежи друзья чувствовали себя сперва непривычно. Шум перекатывался волнами по рядам стульев, плотно наставленных в зале старинного диня*.

Девушка из горкома представила их собранию. Поднялся Лыонг. Долго не смолкали рукоплескания. Сколько блестящих глаз, сколько улыбок встречали каждую его фразу! Он смутился, говорил не очень связно и сразу передал слово Тоану. И все-таки сорвал громкие аплодисменты; конечно, он понимал: хлопали не ему и не его красноречию, а летчику, «своему» летчику. Когда Тоан начал рассказывать о боевых делах эскадрильи, воцарилась мертвая тишина, изредка взрывавшаяся громом аплодисментов, грозивших обрушить древнее здание.

В перерыве десятки парней и девушек обступили Тоана, выспрашивали подробности. В коридоре, возле стола, уставленного термосами и чайными чашками, Лыонг тоже очутился в кольце внимательных, добрых глаз. Стоявшая неподалеку девушка в синей блузке показалась ему знакомой. Разговаривая с приятелями, она поглядывала в его сторону и вроде бы улыбалась. «Черт, где я мог ее видеть?..»

Когда вокруг Лыонга стало поменьше народу, девушка подошла к нему, щеки ее зарделись.

— Вот уж не ждала, что именно вы приедете к нам сегодня.

— Да-а...

— Что Дао вам пишет?

— Понятно: вы — Туйен! — воскликнул он, только сейчас вспомнив ее по фотографиям, где она была снята рядом с сестрой.

* Общинный дом, сооружавшийся в центре деревни, иногда — городского квартала; служил местом сходок и различных церемоний. Здесь обычно находился алтарь, где поклонялись духу основателя деревни, покровителю ремесла, предкам и т. п.

— Я давно хотела поздороваться с вами, но здесь была такая толпа. Дао прислала вам посылку, она лежит у меня дома. Вы скоро освободитесь?

— В двенадцать я должен обедать у Тоана. Потом надо зайти в госпиталь... Что, если, скажем, часа в четыре я загляну к вам?

— Ладно, тогда у меня и поужинаете.

— Не знаете, что там Дао прислала?

— По-моему, свитер—сама связала— и еще что-то. Я не успела отослать по почте. Зато теперь есть оказия.

— Здесь от жары прямо на глазах таешь, а она посылает свитер!

Туйен рассмеялась, пожала ему руку и убежала в зал. Звон колокольчика звал всех на собрание. Лыонг сел в последнем ряду. Он поискал глазами Туйен, но в таком многолюдье разглядеть кого-нибудь было немыслимо. Не нашел он ее и когда все стали расходиться.

■

Днем было две тревоги. Но Ханой к ним уже привык. Через несколько минут после сирены с улиц исчезали прохожие. Люди укрывались под деревьями, сидели на краю круглых ячеек *, уходили в убежища, перекрытия которых высились над тротуарами.

Вторая тревога застала его посреди улицы по дороге в госпиталь. Он соскочил с велосипеда и прислонился к стволу шау **, вслушиваясь в раскаты загрохотавшей где-то на северной стороне города канонады. Появились два «МИГа» и сделали несколько кругов в небе. Все подняли головы и внимательно следили за самолетами.

— Здорово! — ни к кому не обращаясь, произнес стоявший с ним рядом парень.

Истребители опустились совсем низко и исчезли за крышами домов. Лыонг с гордостью проводил их взглядом и тоже вдруг прошептал: «Здорово!»

Выйдя из госпиталя, он объехал на велосипеде несколько улиц и сделал покупки, заказанные ребятами. Так что к Туйен он добрался с опозданием, да и жила она далеко, чуть не в самом конце Литейного ряда ***, откуда уже начиналось предместье. Между двух- и трехэтажными домами здесь попадались еще маленькие домики под старинной черепицей, сбегавшей к потемневшим от времени колоннам из железного дерева. Над ними широко простирали свои ветви с ярко-зеленой листвой древние банги **** — у каждого ствол в несколько обхватов. А за старыми домиками и прудами вдруг вырастали прямоугольники недавно построенных больших коммунальных домов, выкрашенных розоватым раствором известки.

Туйен жила в маленьком кривом переулке. Миновав кирпичные ворота и узкий двор, крытый железом, где помещалась артель, изготовлявшая замки, Лыонг увидал старый невысокий дом, в обоих этажах которого, судя по всему, обитало немало народу. Он оставил велосипед под деревянной лестницей и поднялся на узкую длинную галерею; сюда выходило множество дверей — все были плотно прикрыты. Не зная, как

* В Ханое и других городах на пешеходной части тротуаров через каждые 20—30 метров устроены индивидуальные убежища из цементных или шлакобетонных труб диаметром около 1,3 м и глубиной примерно 1,6 м. Труба опускается в яму, верхний край ее приходится вровень с поверхностью тротуара. Сверху такая ячейка накрывается цементной крышкой.

** Дерево с кисловатыми съедобными плодами, которые обычно кладут в похлебку.

*** Буквально Ло-дук, то есть улица Литейных печей — находится на юго-востоке Ханоя; в XVIII веке здесь жили мастера, отливавшие чаны, котлы и пр.

**** Деревья с развесистой кроной, достигающие большой высоты, их часто сажали для украшения храмов, домов и т. п.

быть, он поколебался минуту, потом легонько постучал в филенку ближайшей двери.

— Кто там? — спросил ворчливый женский голос.

— Будьте добры, где здесь живет Туйен?

— Последняя дверь.

«За что ей досталась такая свирепая соседка?» — улыбнувшись, подумал он.

Подойдя к последней двери, он постучался и стал ждать. Раздался торопливый шум шагов, и дверь приоткрылась.

— Вы... входите, пожалуйста... Входите.

Она помогла ему снять рюкзак и повесила его на вешалку рядом с маленьким зеркалом.

— Я только вернулась. Ну, думаю: пришел вовремя, никого не застал, и теперь его не сыскать.

— А я боялся, что безнадежно опоздал.

Туйен — он только сейчас это заметил — переминалась с ноги на ногу, и рукава ее блузки были закатаны выше локтей.

«Ясно, я оторвал ее от домашних дел...»

— Никуда не денешься. Одно название «выходной день», а с утра до вечера заседаем. Сперва беседа с вами, потом — собрание. Из-за тревоги оно еще больше затянулось. Ничего, вы посидите немного, я мигом приготовлю ужин.

— Нет уж, давайте я вам помогу. Я — очень одаренный помощник повара.

— Неужели! Ну, раз так, займитесь, пожалуйста, овощами.

Комната у Туйен была маленькая, с низким потолком, но зато выходила на небольшой балкон, где был даже водопровод. Там под навесом из циновки помещалась и кухня. В кране сейчас не было воды, но рядом стоял наполненный до краев большой глиняный кувшин, возле него лежала вязанка дров.

Он вышел на балкон, взял низенькую табуретку, уселся на нее и начал мыть овощи. Туйен, присев рядом, проворно разделывала рыбу.

— Вы уж не взыщите за скудное угощение.

— Да к такой рыбе ничего и не нужно!

— И правда, чой * совсем свежий. Побежала после собрания на базар. Боялась, все уже раскупили. А вот — повезло.

— Ханой, замечаю я, не изменился: все как до войны. И народу на улицах полно!

— И это ведь после эвакуации. Но детей стало меньше. Вы поглядели бы, что у нас в доме когда-то творилось: везде детвора — и в переулке, и во дворе, и на лестнице. Шум и крик с утра до ночи.

«Да, она права. Еще утром, несмотря на множество прохожих, что-то в облике улицы показалось мне непривычным: не стало малышей со школьными портфелями и шумных ребячьих ватаг в скверах и на берегах озер...

И вообще, в городе много необычного! Сегодня в полдень из окна Тоана я видел, как в начале улицы, покачиваясь, плыли над зеленью сквера две сплетенные из пальмовых листьев желтые шляпы: женщины пропалывали газоны. Потом они поливали клумбы. А тут же, рядом, люди стучали мотыгами, копая ямы для убежищ, опускали в них широкие бетонные кольца и плотно утрамбовывали землю. Темные круги ячеек тянулись все дальше и дальше вдоль стволов старых раскидистых шау, укрывавших их своей тенью...»

---

* Пресноводная рыба.

Он перемыл овощи и глядел теперь на открывавшийся перед ним город, над которым в лучах заходящего солнца золотилась легкая дымка пыли. Город шумел и клокотал, не умолкая ни на минуту.

Когда поспела еда, уже вечерело. Туйен накрыла ужин на маленьком столике у окна, выходившего на балкон. От кухонного жара щеки ее раскраснелись и черные глаза казались еще ярче. Она подала на стол котелок с вареным рисом и похлебку из рыбы, над которой клубился ароматный пар.

— Давайте есть, пока все горячее,— сказала она.— А, чуть не забыла приправу!

Открыв тумбочку, стоявшую у изголовья кровати, она достала маленький сверток.

— Черный перец из Винь-линя. Ньон такой внимательный, всегда приезжает с подарком.

Она засмеялась, и глаза ее лукаво блеснули.

«Конечно, она когда-то тоже покровительствовала Дао и моему свояку...»

Туйен вышла на балкон, умылась, поправила прическу и уселась за стол румяная и свежая, как распустившийся лотос.

За окном совсем стемнело. Поля, засаженные муонгом,* и подернутые болотной чечевицей ** пруды утонули во мраке. Видны были только электрические огни, их становилось все больше и больше. В темноте, окутавшей предместья, вспыхнули, озаряя край неба, этажи новых домов.

— Не правда ли, Туйен, даже отсюда видно, что Ханой — настоящий социалистический город?

— Да... Когда я только сняла эту комнату, за домом были сплошные свалки и мусорные кучи. Летом от долетавших оттуда ароматов даже голова кружилась; да и в дождливое время приходилось несладко. А сейчас вот разбили парк, домов понастроили. Осталось несколько старых улочек, да и там чистота и порядок. Если б не война, здесь бы за два-три года выросли новые городские кварталы.

— Дао долго жила у вас?

Туйен подняла на него глаза.

— Она переехала ко мне сразу после смерти матери. И после замужества прожила у меня с год, пока ее не перевели на работу в Киеушон. Тут мы с ней и расстались.

Улыбнувшись, Туйен снова взглянула на него.

— Она очень вас любит. По-моему, другую такую сестру не найти.

Он тоже улыбнулся и обвел глазами комнату.

— И не тесно вам было вдвоем?

— У нас всей мебели только и уместилось, что две кровати. Когда заходили гости, мы рассаживали их по кроватям. А одной — вроде бы ничего. И балкон есть. Я здесь давно, привыкла.

— Жаль их, поженились, а не видятся годами. У него вообще здесь, на Севере, нет никакой родни. Смешно: мы друг друга и в глаза не видели. Чего доброго, встретимся и подеремся еще со свояком.

— Ньон очень хотел познакомиться с вами. Так все нескладно вышло: они с Дао собирались съездить к вам на аэродром. Но он, как кончилось совещание, сразу уехал обратно в Винь-линь. Живут как птицы. Дао ужасно за него волнуется. Просто она никому не рассказывает. Он ведь служит на самой границе. Их там все время обстреливают, а бывает, и «Б-52» налетают со своими бомбами.

---

* Водяной вьюнок, растение с ароматными листьями, употребляемое в пищу.

** Растение (по-вьетнамски «бео»), специально выращиваемое на прудах для откармливания свиней.

Она помолчала, глаза ее стали печальными.

— Но как бы их ни разбросала судьба, все равно — они всегда вместе.

Туйен внезапно встала и вышла на балкон. Лыонг увидал, как она присела спиной к нему у очага и, нагнувшись, раздувает огонь, наверно, чтоб вскипятить воду в чайнике, давно уже стоявшем на углях.

■

Поужинав, они сидели и пили чай. Туйен выспрашивала у него, как выглядит земля и какие города за границей. Как там живут люди? И еще: вот когда летчик летает на самолете над нашей землей и над чужими странами, видна ли оттуда, сверху, хоть какая-то разница?

Она сидела у лампы, прикрытой бумажным абажуром, и задумчивый взгляд ее уносился куда-то вдаль.

— Знаете, Туйен, каждая страна хороша по-своему. И люди труда везде любят свое дело, у них всегда щедрое сердце. Я и сам-то немного видел. По службе пришлось побывать в двух больших странах, у наших друзей. Если говорить о природе, то золотая осень в Советском Союзе по сравнению с тем, что бывает у нас, кажется чудом. До сих пор помню, как шел я по Ленинским горам в конце сентября или в октябре. Солнце было ясное, ласковое, и небо высокое и прозрачное, как у нас в канун Тета. А вокруг бескрайнее золотое море. И сам этот цвет такой яркий и свежий, будто под каждой веткой спрятаны фонарики. Зимой — небо чистое, синее и солнце светит вовсю, а земля кругом белая-белая, и на деревьях ни листика. Поля и деревни под снегом выглядят такими веселыми, и на всех крышах точно белые ватные пелерины.

В Китае многое уже напоминает наши пейзажи. Но север у них все-таки выглядит по-другому. Когда в сухое время года летишь над долиной Хуанхэ — небо ясное и непрестанно дует ветер, поднимая желтую пыль до небес. Кругом все окутано желтой дымкой, словно туманом. Только увидав это своими глазами, можно понять стихи:

Когда ураган землю и небо
смешает, вздымая пыль...*

У нас, в Ханое, к примеру, ива редкость, а за Пекином вдоль больших дорог на десятки километров тянутся ивы. Представьте себе: тысячи ив стоят, наклонив свои ветви к земле!

Ну, о характерах людей я могу судить лишь по недолгим своим наблюдениям. Обычаи и нравы повсюду разные. У каждого народа своя жизнь, своя история, и мы не должны мерить каждого нашей меркой. Русские, например, вспыльчивей нас, но характер у них прямой и открытый. Когда они несогласны в чем-то, то сразу повышают голос и сердятся, но зато быстро отходят. И физически они очень сильны. Я встречался с простыми советскими людьми, они добродушны и гостеприимны. Но, если им придется воевать, они будут драться на смерть и перешибут хребет любому захватчику, который вторгнется на их землю. В китайском народе мне больше всего понравилось трудолюбие и упорство. Добросовестностью, усердием и ловкостью мало кто с ними сравнится. Весь их народ полон энергии и жажды созидания.

А о нашей земле, хоть я и летал над ней столько раз, не знаю, что и сказать. Она у нас очень красивая. Пускай она невелика и не можем мы похвалиться бескрайними просторами, но она могуча и прекрасна.

---

* Первая строка известной поэмы «Жалобы жены воина», вьетнамский текст которой принадлежит выдающейся поэтессе Доан Тхи Дием (1705—1748 гг.). Поэма осуждает войну, разлучающую любящих супругов; ураган — символ войны, обрушившей на героиню поэмы бедствия и горе.

Высокие горы ее подходят к самому морю, и бегут к нему ее полные реки. Она многолика: в недолгом полете видишь и грозные вершины, одетые лесом, похожие на штормовые волны; и поросшие деревьями холмы; и плодородные равнины, где простираются сады и пашни — зеленые, коричневые, розовые, переливающиеся под солнцем. А сколько у нас рек, сколько воды! Куда ни глянь, всюду поблескивают речные протоки и русла, змеятся каналы. «Ясная»... «радостная» — эти слова, пожалуй, подходят к ней больше всего. Строга ли она и сурова или тепла и добра — все равно она радостна и ясна. Точь-в-точь как и наши люди — пусть живут они пока бедно и хлопотно, они всегда ясны, ясны и радостны...

Он умолк. Слишком уж бедными показались ему его собственные слова. Он понял, что не в силах передать всего, что прочувствовал, пережил и передумал. Взглянув на Туйен, он улыбнулся. И, может быть, эта улыбка о многом сказала ей больше, чем его слова. В глазах у нее засветилась любовь и гордость, и она улыбнулась в ответ.

Он вдруг увидел, как хороша Туйен. У него даже захватило дыхание. Лицо ее — простое и умное лицо вьетнамской девушки — словно лучилось радостью и печалью, любовью и гневом, надеждой и раздумьями, рожденными долгой годиной горестей, тягот, лишений и безграничного мужества — всего, что передавалось из поколения в поколение и что только мы можем оценить и понять до конца...

...Кто же убил птичку...—

Прозвучала нежданно в его памяти строка стихов.

Кто же убил птичку,
Распевавшую песни на ветке...

«Это стихи школьника из Сайгона... Стихи о том, как растлевают молодежь в городах Юга. Иногда у нас перепечатывают отрывки из статей американских газетчиков про «девиц из чайных домиков», «балеринок» и «самых дешевых временных жен», которых можно купить на сайгонских улицах или у любой американской базы. Янки не только сеют разрушение и смерть, но и норовят затоптать в грязь все самое дорогое и светлое в жизни! Десятки тысяч солдат, офицеров, торгашей, политиканов и шпионов — стаи саранчи, перелетевшие сюда из Америки! Их карманы набиты зелеными и красными долларовыми бумажками. И тысячи девушек, жизнь которых должна была стать достойной и чистой, отбросив свои чувства, ломая гордость, должны продавать себя за никчемные эти бумажки, имеющие великую силу там, где «на первом месте американцы, на втором — шлюхи». Это чудовищно! Невыносимо!..»

Кто же убил птичку...

Он нагнулся и, щелкнув зажигалкой, закурил сигарету. Затянувшись несколько раз, стал глядеть в темноту за окном, чтобы скрыть охватившее его волнение.

В долетавший издалека шум уличного движения и звуки репродукторов вдруг ворвался пронзительный вой моторов и железный лязг гусениц. Туйен тоже выглянула из окна: на дороге, опоясывавшей предместье, сверкали огоньки фар, и лучи света, точно иглы, вонзались в небо.

— Тягачи с пушками.

— Вон летит самолет. Вам видно, Туйен?

Он показал ей огоньки — зеленый и красный Между ними все время моргал еще один — белый — огонек, словно оттуда, из ночи кто-то настойчиво окликал землю.

— Он просит посадки на аэродроме.

— Как интересно!

Она засмеялась весело и звонко, совсем как ребенок. Лыонг резко встал.

— Бьют зенитки!

— Где?

— Да вон, взгляните на небо.

— А я ничего не вижу.

— Смотрите, вон там вспышки, как далекие молнии. Сейчас разорвутся снаряды, потом услышите взрыв.

Вдалеке, где-то за крышами, за верхушками деревьев полыхнули желтые зарницы, и через несколько секунд донесся гул канонады. Туйен вернулась в комнату.

— Наверно, сейчас объявят тревогу. Мне пора. Надо еще все приготовить. А то досижусь до сирены, не успею на завод.

Она торопливо сняла что-то с вешалки, открыла дверь и вышла из комнаты, а через несколько минут вернулась уже в спецовке и старых синих брюках. На голове у нее была надета матерчатая кепка.

Лыонг по-прежнему стоял у окна.

— Сирены не слыхать, и пушки замолчали. Скорее всего, *он* пролетел мимо.

Она покосилась на будильник, стоявший на столе.

— Мне все равно пора уходить. Я сегодня в ночной смене... Пойду я, а вы оставайтесь здесь, отдохните. Договорились?

— Я обещал вернуться к Тоану.

— Лучше берите пример с Дао, будьте здесь как дома!.. Ведь вам хоть немножко нужен дом?

Она опустила полог над изголовьем кровати, потом взяла стоявшую в углу у стены винтовку и перебросила ремень ее через плечо.

— Вы уже стреляли по самолетам? — улыбаясь, спросил он.

— Один раз, двадцать девятого прошлого месяца. Но пока не сбила ни одного! — Она посмотрела на Лыонга и рассмеялась.— Надо у вас поучиться. Вы и ваш друг утром рассказали много такого, что мне и в голову бы не пришло. Нет, наши летчики — молодцы, герои!

— Да что там, у нас ведь в руках такое оружие и инициатива в небе. Вот вы, рабочие, днем и ночью трудитесь в своих цехах, а в них-то и метит враг. Когда прилетают бомбардировщики, вы встречаете их огнем, а потом возвращаетесь снова к станкам. Вы, у кого лишь простые винтовки, по-моему — без шуток,— вы подлинные герои! Да и сколько мы сбили самолетов по сравнению с «землянами»?!

Слушая его, Туйен продолжала собираться. Она достала из тумбочки кошелек, взяла с балкона полотенце и мыло, сложила все в красивую плетеную корзинку и повесила ее на руку.

— Ну, я пойду. Жаль, не успела обо всем вас расспросить.— Она улыбалась, глаза ее блестели.— В общем, оставляю вам мой дом. Если уйдете к Тоану, повесьте, пожалуйста, ключ в углу за дверью.

Она вышла на галерею. Лыонг взглянул на изголовье кровати и крикнул:

— Эй, Туйен! Вы забыли боеприпасы!

Он вынес кожаный пояс с подсумками и протянул его девушке.

— Какая же я растяпа!

Она покраснела и быстро сбежала по ступенькам.

Оставшись один, он сел у стола, на котором стоял чай, и засмотрелся на ночной Ханой. Радость переполняла его, и он поймал себя на том, что улыбается, сам не зная чему.

«Если бы Дао увидела меня здесь, она б наконец успокоилась!.. Отсюда, из этой крохотной комнатки, год за годом сестра писала мне письма; о чем только не говорилось в ее «депешах»... И я чуть не с другого конца света посылал «домой» идущие от сердца слова. А «дом» этот — вот он...»

На лестнице послышались тяжелые шаги. Он выглянул на галерею.

— Ага! Давай-давай, заходи!

Тоан просунул голову в дверь и круглыми от удивления глазами обозрел комнату:

— Ушла?

Лыонг расхохотался:

— Увы, ушла на работу. Но мне вручена полная власть над этими апартаментами — до завтрашнего утра. Войдите, сделайте милость. Стаканчик чаю?

— Нет-нет, я ведь пришел на смотрины!

Тоан, войдя в комнату, тотчас направился к фотографии Туйен, висевшей возле окна.

— Господи, боже мой! До чего ж хороша!

— Потише! Соседи еще бог весть что подумают. Лучше скажи, как у тебя дома дела.

— Нет ни минуты покоя. К отцу пришли друзья — навестить его; потом приятели разнюхали, что я вернулся, и тоже явились. Только что разошлись. Вот теперь-то я с сестрой и потолкую. Ну, поехали?

— Ага.

Лыонг встал было, но вдруг заколебался:

— Слушай, Тоан, может, я лучше здесь переночую? Чтобы ты мог спокойно поговорить с сестрой и с мачехой. Я вас буду только стеснять. Давай прямо завтра в пять тридцать встретимся на мосту.

— Как хочешь.— Тоан с хитрецой взглянул на него.— Ну, я пошел. Не забудь, комиссар запретил засиживаться.

Он с грохотом сбежал по ступенькам. Лыонг снова с улыбкой оглядел комнату. Туйен торопилась и опустила полог только наполовину. Узкая деревянная кровать была застлана циновкой, расписанной цветными квадратами; накомарник не был опущен; на циновке лежала маленькая подушка и пестрое одеяло. Трудно сказать почему, но сразу можно было догадаться, что это девичье ложе. Постояв еще немного, он подтянул полог, взял свой рюкзак, вынул одеяло и расстелил его на полу у балконной двери. Потом достал противомоскитную сетку, улегся и немного погодя заснул как убитый.

...Его разбудил грохот разрывов. Он открыл глаза и поглядел в окно на темное ночное небо: ожерелья огненных бус одно за другим взлетали ввысь. Свист зенитных снарядов, взрывы и шелест осколков сливались с ревом реактивных самолетов и протяжным воем сирены. Минут через десять все смолкло. На улицах были потушены огни, в темноте слышались перекликающиеся людские голоса. Наконец сирена прогудела отбой и зажглось электричество.

Лыонг включил лампу и посмотрел на свои часы: половина третьего. Погасив свет, он снова залез под накомарник, закрыл глаза и вдруг увидел перед собой Туйен — лицо ее было точь-в-точь как тогда, у лампы. Прежде чем уснуть, он долго еще ворочался с боку на бок.

Проспал он до начала пятого. Быстро встал, собрался и через четверть часа уже сидел за столом и писал на клочке бумаги записку Туйен. Он оставил ее на видном месте, вышел и запер дверь. Соседи еще спали. Стараясь не шуметь, он спустился по лестнице, взял велосипед и помчался, как на кроссе, к мосту Лаунг-биен. Он был там в пять с минутами. Тоан явился следом за ним.

Ровно в половине шестого у моста притормозил военный грузовик. Шофер высунул голову из кабины.

— Вы не из нашего полка? Садитесь скорее!

Тоан сразу перемахнул через борт в кузов. Лыонг, стоя внизу, передал ему оба велосипеда и тоже забрался наверх. Шофер включил мотор, машина въехала на мост и пересекла реку.

■

В шесть утра Туйен вышла из заводских ворот, села на велосипед и быстро покатила домой. Работать в ночной смене было нелегко. Она осунулась и выглядела усталой. Торопливо взбежав по лестнице, она сразу увидела ключ, висевший в углу на стене, отворила дверь и тихо вошла в пустую комнату. В глаза ей бросился лежавший на столе листок. Она сняла винтовку, взяла со стола записку и оглядела комнату; потом, усевшись за стол, перечитала несколько раз короткие строчки и долго еще сидела, улыбаясь. Затем она встала, подошла к зеркалу, сняла спецовку, запятнанную машинным маслом, нацепила на вешалку кепку, повела раз-другой плечами и вздохнула полной грудью. Заперев дверь, она улеглась на кровать, натянула на себя одеяло и через несколько минут уже крепко спала. На губах ее долго еще сохранялась улыбка.

## VIII

Июль стоял жаркий. Летчики Четвертой эскадрильи участвовали в боях и, кроме того, умудрились закончить программу тренировочных полетов. В одни сутки они умещали три-четыре дня. Все эскадрильи полка и соседи побывали в воздушных боях, без которых не проходило и дня. О них очень мало говорилось в газетах или по радио: несколько скупых фраз, не больше. Лишь вражеская пресса поднимала шумиху после каждого столкновения с «северовьетнамскими «МИГами». Но пилоты знали о действиях других летных частей, знали подробности каждого боя — побеждали мы в нем или несли потери, опыт любой, даже одиночной воздушной схватки становился достоянием всех.

В районе авиабазы противник не довольствовался уже разрозненными бомбежками ближних деревень, он стремился прорваться вплотную к аэродрому. Судя по всему, он перебросил сюда отборную авиационную часть. Ребята из Четверки, следившие за действиями неприятеля, сразу отметили высокое мастерство вражеских летчиков. Американцы стали искусно пользоваться складками рельефа и руслами рек, чтобы незаметно выйти на цели и нанести внезапный бомбовой удар. Обычно они действовали двумя группами: одна бомбила объект, другая прикрывала ее с воздуха. Янки прибегали к тактическим хитростям: то и дело меняли время налетов, неожиданно сворачивали с курса и атаковали пункты, как будто лежащие в стороне.

Однажды около полудня группа самолетов появилась неподалеку от аэродрома и вызвала на себя огонь противовоздушной обороны. В это время зашедший издалека разведчик промчался на бреющем полете над самой бетонной полосой. Летчики как раз отдыхали дома. Шау выбежал во двор. Щурясь от солнца, он проводил янки взглядом и улыбнулся:

— *Орлы* сами нарываются на нас!

Тоан тоже выскочил на крыльцо.

— Хорошо бы сбить парочку прямо над аэродромом, а, Шау!

Конечно, эту мысль лелеял не он один.

Лыонг, как и все, не имел ни одной свободной минуты; перегрузка и напряженность стали уже «бытом».

На рассвете они по обыкновению сидели в «зале ожидания». Треща и чихая, подъехал мотоцикл Фука, сзади сидел Кхай.

— А, Кхай! — закричали летчики, следуя установившейся уже традиции.— Опять нас обошел!

Но мотоцикл вдруг остановился, политрук спрыгнул на землю и вытащил из кармана конверт.

— Эй, Шау, тебе письмо! — крикнул он.

Шау моментально очутился рядом и протянул руку. Мотоцикл зарычал, обдал его гарью и уехал. Он подошел к фонарю. Конверт был маленький — в половину ладони — измятый и пожелтевший, синие чернила на нем выцвели и потускнели. Где только не побывало это письмо прежде, чем дошло до адресата!.. Подъехал автобус, Шау сунул конверт в карман и вместе со всеми забрался в кузов.

Лыонг потеснился, чтобы он мог сесть поудобней, достал свой фонарик и протянул другу. Тот молча надорвал конверт и склонился над письмом. Он так и сидел, ссутулясь, одной рукой прижимая к колену листок бумаги, а в другой держа фонарик. Машину трясло, и светлый зайчик прыгал по строчкам. Закончив страницу, Шау перевернул листок и стал читать дальше. Наконец фонарик погас. Он поднял голову и сидел молча, глядя на первые проблески зари. Потом снова нагнулся, включил фонарик и перечитал какой-то отрывок письма. Фонарик опять погас. Шау вернул его Лыонгу, засунул письмо в конверт и спрятал в нагрудный карман.

— Ну, что?

— Письмо от жены. Куча новостей.

Лыонгу почудилось, будто на лице Шау, полускрытом тенью от каски, затеплилась улыбка.

Семейные дела Шау, как и других его земляков, были далеко не просты. Правда, он мало рассказывал о себе. Лыонг знал понаслышке, что у Шау мать-старуха и жена на Юге. Они с женой были из одной деревни и сыграли свадьбу за несколько дней до ухода его на Север *. Он не хотел в такое время связывать ее, но она требовала, чтобы они поженились. Она была с ним вместе до последней минуты, покуда он не сел в лодку, уходившую к польскому пароходу. Здесь, на Севере, и потом, во время учебы за границей — лет девять или десять,— он не имел никаких вестей из дому. От деревни их до Сайгона не будет и тридцати километров; не так уж трудно представить, сколько крови пролилось там за эти годы — при Нго Динь Диеме и прочих, сменивших его прислужниках янки. И только в прошлом году, когда Шау был уже в полку, он получил первое письмо — прямо на взлетной полосе между двумя боями. Из письма он узнал, что мать и жена живы, что у него родился сын; но в семье у них пять человек убито, а сестра его, после пыток, стала калекой...

Машина въехала на аэродром. Летчики с шумом выпрыгнули на землю. Шау шел в стороне от всех. Вдруг он положил руку на плечо Лыонга:

— Представляешь, жена получила письмо, которое я послал в апреле прошлого года. Можно считать, переписка налажена.

— Все в порядке?

— Дома-то все в порядке. Но *он* разбросал по всей округе ядохимикаты, леса стоят без листьев. И днем, и ночью бьет по деревням из орудий: еще не слыхать выстрелов, а уже рвутся снаряды. Но все равно, даже кофейня деревенская не закрылась; правда, она тоже теперь под землей. Народ у нас навострился рыть подземные ходы. Пройдут по ним — и нагрянут на карателей. Они дрались с американской и австралийской пехотой, не говоря уж о сайгонских *героях*. Бывает даже, партизаны из

* По Женевскому соглашению 1954 года войска Народной армии, действовавшие против французов в Южном Вьетнаме, были выведены в ДРВ. В числе солдат были и жители Юга. Переброска войск на Север производилась на советских и польских кораблях.

соседних уездов «одалживают» наши подземные ходы, чтоб напасть на янки. Малыш мой у бабушки; теперь уж они наговорятся про «папу на Севере».

■

Вчетвером — все звено — они сидели вокруг карты, изучая еще и и еще раз трассы полетов противника, и прикидывали, как бы его подостойнее встретить. Шау наморщил лоб и покосился на Тоана:

— Ты все-таки старайся не увлекаться. Не горячись, не гоняйся за любым самолетом. Когда выберешь цель, не упускай из виду другие машины; и главное — не отрывайся от товарищей.

Тоан покраснел и кивнул головой.

— С «новоприбывшими» янки надо быть поосторожней,— вмешался Лыонг.— Мне кажется, они берут теперь меньше бомб на случай встречи с нами, чтоб легче было сразу принять бой. Если не учтем этого, можем влипнуть!

— Правильно,— подхватил Шау.— Из штаба сообщают, что янки опять ставят на самолеты двадцатимиллиметровки — по шесть пушек на машину, чтоб иметь бóльшую огневую мощь для ближнего боя. Они уже не полагаются, как раньше, только на ракеты, и вообще стараются преподнести нам побольше неожиданностей. Вы дрались неплохо, но впереди тяжелые и жестокие бои. Ну, а наше пополнение,— он поглядел на Доана,— получит хорошее боевое крещение.

— Я — замыкающий, моя позиция самая выгодная,— улыбнулся Доан.

— Если говорить о тактике, у нас появляется новое преимущество — будем взаимодействовать с зенитными частями.

Едва Шау успел поднести руку к карте, как Тоан рывком вскочил на ноги:.

— Тревога!

Они побежали к самолетам. Через несколько секунд все сидели уже в кабинах, готовые к вылету. Аэродром затих, ожидая приказа.

Вдалеке поднялось на флагшток синее полотнище.

«Отбой!»

Лыонг отодвинул фонарь кабины и медленно спустился на бетонную полосу. К нему подошел Нго:

— Я поднял немного педали, удобнее стало?

— Хорошо! Нога ложится, как припечатанная.

Подошел Тоан.

— Что-то *он* сегодня запаздывает.

Нго засмеялся, белые зубы блеснули на его лице, потемневшем от солнца и похожем на бронзовое изваяние.

— Ребята, кто утром слушал радио? В Куанг-чи * наши дали янки прикурить! Освободительные войска так ударили по ихней морской пехоте и *летающей коннице* **, что американцы еле ноги унесли. Еще передавали, что «Б-52» бомбили район к югу от параллели ***.

— Черт!

— Тоану небось захотелось прогуляться с парочкой «Б-52»?

— Ну, ты у нас ясновидец!

Все трое расхохотались. Потом Лыонг и Тоан присоединились

---

* Провинция и административный центр в Южном Вьетнаме.

** В армии США воинские части именуются обычно кавалерийскими чисто номинально, у солдат и офицеров на касках и знаках отличия изображается конская голова, но это моторизованные или десантные войска.

*** Имеется в виду пограничная 17-я параллель.

к Шау, который снова разложил на траве свою карту. Четыре головы в шлемах склонились над разноцветным листом.

■

Солнце пекло нещадно. Лыонг почему-то не сомневался, что сегодня непременно будет бой. Третью тревогу объявили уже в два часа дня. Затем был дан приказ: «Приготовиться!» Лыонг стоял в узкой полосе тени под хвостом своего самолета. Постояв, он присел на траву. Команды «По машинам!» все не было.

«Как долго. Наверно, пойдем в дело!..»

В застывшее небо взвилась ракета. Он быстро забрался в кабину. Нго, стоя на стремянке помог ему застегнуть ремни и торопливо сказал:

— Ну, теперь-то уж вы взлетите. Ты спокойно включай двигатель, машина в полном порядке.

На летном поле было по-прежнему тихо. Четверо летчиков сидели в кабинах; по спинам их ручьями лил пот. Нго стоял на стремянке и держал в руке самодельный зонт, стараясь, чтобы тень падала на Лыонга. Лицо его лоснилось от пота и как будто стало еще темнее. Лыонг поднял руку в кожаной перчатке и, потянув его за рукав, заставил наклонить зонт: тень теперь падала на них обоих. Переглянувшись, они улыбнулись друг другу.

Пять минут... Десять... Сейчас, наверно, вылет...

■

Командный пункт; командир полка Тхуан стоит у круглого стола, на котором разложены карты. Он молча следит за синими трассами, которые молодой офицер проводит карандашом на прозрачной пленке, покрывающей карту. Линии ползут, извиваясь из стороны в сторону. Рядом сидит комиссар. Он тоже молчит. Вокруг — офицеры штаба и службы связи, каждый у своих приборов и вычислительных машин; то один, то другой негромко докладывают обстановку.

У командира на лбу блестят капли пота, крупные, как горошины. Противник, все время меняя направление, маневрирует над прибрежной полосой. Фук, стоящий позади комиссара, тихо произносит:

— Я думаю, это — ложный маневр.

Комиссар кивает.

— Вон куда *он* метит, смотрите.

Он встает и показывает красную отметку на карте. Перед внутренним взором его проплывает речная пристань: вокруг — холмы, поросшие соснами, среди широких массивов сахарного тростника и тутовых деревьев раскиданы деревушки, по самому берегу тянется базар, у железнодорожного моста полно плотов и лодок; вода в реке голубая и прохладная. Ему ли не знать эту пристань: он помнит ее с дореволюционных лет, когда пятнадцатилетним мальчишкой был здесь связным подпольного комитета партии...

— Точно, вот главное острие удара!

Синяя линия с моря пересекает берег и устремляется к красной отметке на карте. Командир полка резким движением карандаша наносит встречную красную трассу и закругляет ее вбок.

— Здесь мы пойдем на перехват. Ваше мнение, Ви?

— Согласен.

Тхуан присаживается на край стола и берет маленький микрофон:

— Дайте вылет «Кыу-лаунгу» *.

* Буквально «девять драконов» — вьетнамское название реки Меконг.

Он вытер пот со лба.

Минуту спустя реактивные истребители с ревом проносятся над крышей командного пункта.

Офицер проводит красную черту по карте. Сразу вычисляются данные.

— «Кыу-лаунг»! Направление двести десять, высота две тысячи пятьсот.

— Ясно!

— «Кыу-лаунг»! Направление сто пятьдесят, высота четыре тысячи.

— Ясно.

— «Кыу-лаунг»! Разворот вправо: шестьдесят.

— Шестьдесят вправо, ясно...

■

Видимость сегодня была отличная; внизу с удивительной четкостью просматривался ландшафт. По наведению с земли Лыонг понял замысел командования: их звено должно было неожиданно выйти наперерез неприятелю.

Он покосился назад: Тоан шел чуть выше него, точно выдерживая дистанцию. Шау и Доан тоже держались вплотную друг к другу. Все четыре машины, словно спаянные, стремительно разрывали пространство, оставляя за собой быстро расплывавшиеся белые полосы.

Лыонгу казалось, что «МИГи» сами рвутся в бой.

«Есть!..» Там, под ними, десятка полтора темных черточек — одна за другой — плыли вдоль отсвечивающей на солнце небольшой речки. Силуэты вражеских самолетов быстро увеличивались, и вскоре их можно было опознать: «фантомы» и «крестоносцы» Седьмого флота. Они спокойно шли к намеченному объекту и, конечно, не ждали, что «МИГи» ухватят их за загривок.

— Внимание! Заходим на замыкающую группу «Ф-4»... Тридцать пятый, прикройте меня, я атакую головную машину. Двадцать четвертый, тридцать первый, ваша цель — четвертая машина! — голос Шау звучал спокойно, словно он разговаривал с ними дома, на земле.

В то же мгновение Лыонг увидел, как Шау сбросил из-под крыльев оба дополнительных бака и перешел в пике. Доан держался позади него.

Противник только сейчас их заметил. Сломав строй, янки уходили на разных высотах. Но они не успели выполнить маневр. Лыонг и Тоан, сделав боевой разворот, атаковали «фантомов». Лыонг заметил, как огненные нити протянулись от истребителя Доана к хвосту вражеской машины.

— Приблизьтесь к нему вплотную, потом стреляйте! — крикнул Шау.

— Двадцать четвертый, прижмите его сверху и сразу открывайте огонь!

— Огонь!

Четыре «МИГа», как ураган, обрушились на неприятеля, красные трассы снарядов рванулись вслед уходившим в беспорядке «фантомам».

— Загорелся!

— Огонь! Еще огонь!

— Есть попадание!

— Двадцать второй, сзади «крестоносец».

— Набрать высоту! Немедленно набрать высоту!

В наушниках Лыонга, перебивая друг друга, резко звучали голоса друзей. Может, и сам он кричал что-то в пылу боя. За какую-то долю

секунды он успел увидеть, что выпущенная им короткая очередь прошла мимо самого крыла «фантома», который все время петлял из стороны в сторону и вдруг провалился куда-то вправо. Стиснув зубы, Лыонг бросил машину за ним вслед. Промелькнули два «МИГа» — Шау и Доан,— они круто шли вверх, держась почти рядом, из перегруженных турбин вырывались красноватые вспышки. Подальше, впереди них медленно плыл по небу красно-белый купол парашюта.

— Мать твою! Сфотографирую разок на память!

Это был голос Тоана. Он засмеялся. Его «МИГ» по пологой кривой устремился к парашюту.

— Тридцать первый!— крикнул Лыонг.— Атакуйте звено «Ф-8» справа от вас! Заставьте их свернуть с курса!

Маленький истребитель Тоана круто развернулся навстречу стремительно приближавшимся четырем «крестоносцам». Сверкнули красные огненные штрихи: Тоан, опередив их, открыл огонь. Янки сломали строй и ушли в сторону.

«Его», Лыонга, «фантом» снова сделал вираж, стараясь уйти от преследователя, но он шел за ним неотступно. Разрыв между ними постепенно сокращался. «Отличная все-таки у меня машина»,— подумал Лыонг.

Секунда... еще секунда... Сейчас их трассы сойдутся... Нос «МИГа», чуть повернув в сторону, устремлен был прямо на американца. Через мгновение можно будет стрелять. Рев турбин раздирал небо. Палец Лыонга лег на гашетку, и сам он весь подался вперед, слившись с машиной в решающем маневре. Но мысли его были спокойны и размеренны, все внимание сосредоточилось на кружке прицела, светлое кольцо которого, точно петля, все теснее стягивалось вокруг черного силуэта «фантома».

Американец, почти вертикально поставив машину, взмыл вверх, стараясь вырваться из смертоносного кольца. Лыонг нажал на гашетку. Снаряды, скользнув по самому фюзеляжу «фантома», ушли вправо. Оба самолета мчались на предельной скорости, из турбин рвались огненные языки.

«Фантом» снова лег на крыло и круто нырнул к земле. «А ведь я ему вмазал! — мелькнуло в мозгу у Лыонга.— Вон дым... Точно, он горит!..» Зеленые линии деревьев и зеркальные квадратики залитых водою полей понеслись навстречу, словно поднятые на гребне гигантского вала. Американец не выходил из пике, как бы решив врезаться в землю. Он состязался в выдержке с Лыонгом. «Теперь не уйдешь!» — Лыонг стиснул зубы. Земля придвинулась чуть не вплотную. Он положил палец на гашетку, чтоб дать еще одну очередь...

«Фантом» неожиданно сбросил скорость и вышел рывком из пике. Лыонг проскочил прямо над ним. Он едва успел резко передвинуть штурвал. В глазах сразу потемнело. «МИГ» пронзительно завыл и ринулся вверх. «Ловко ушел, сволочь!» — подумал Лыонг.

Если бы «фантом» сделал разворот влево, он навряд ли сумел бы его догнать. Но американец — может, от перегрузки он стал туго соображать — начал разворачиваться вправо, прямо у него под крылом. «Сам лезет на сковородку!» — улыбнулся Лыонг.

Он положил машину на крыло, бросил ее вниз — силуэт «фантома» остановился в кольце прицела — и, крикнув что-то, нажал на гашетку. Длинная очередь — вся до последнего снаряда — ударила в брюхо американца, и он рухнул на землю.

«МИГ» стрелой взмыл ввысь. «Фантомы» рассеялись. Но на большой высоте Шау и Доан еще вели бой с несколькими «крестоносцами». Снаряды то и дело вычерчивали в небе сверкающие линии. Вдали виден был возвращавшийся назад одинокий «МИГ» Тоана.

Лыонг на траектории подъема атаковал янки, старавшихся окружить его друзей. Через несколько секунд к нему присоединился Тоан. Самолеты — наши и вражеские,— похожие на факелы из-за языков огня, вспыхивавших за соплами турбин, выписывали сложные геометрические фигуры, преследуя друг друга. Но появление еще двух «МИГов» лишило американцев уверенности.

Выбрав ближайшую к нему машину, Лыонг сразу открыл огонь. Янки форсировал скорость и круто рванулся вверх. Лыонг, не отрываясь от него, дал еще одну очередь. Снаряды ушли правее цели...

Вдруг он почувствовал, как истребитель, словно споткнувшись на ухабе, провалился вниз и слегка завибрировал. «Попадание!.. Что-то повреждено!..».

Лыонг повернул штурвал: «МИГ» слушался руля. «Угодил в выхлопную струю его турбин,— догадался он.— Прошел слишком близко...» Поискав глазами американца, увидел, что тот, уйдя далеко, покачал крыльями и делает разворот.

— «Кыу-лаунг»!.. «Кыу-лаунг», я «Чыонг-шон!» Снимайте урожай... Снимайте урожай! «Кыу-лаунг», вы меня слышите?— «Земля» приказывала возвращаться.

Бой длился лишь несколько минут, но и «МИГи», и «Ф-8» «разбрелись» по обширному пространству. Многие вражеские машины, побросав куда попало свой бомбовой груз, уходили в сторону моря. И те, которые только что участвовали в схватке с «МИГами», тоже один за другим разворачивались к морю. Последний волочил за собой длинный хвост дыма.

— Тридцать пятый! Тридцать пятый, я двадцать второй! Вы меня слышите?

Доан отвечал запинаясь, словно что-то мешало ему говорить:

— Тридцать пятый... вас... слышу...

— Снимайте урожай! Тридцать пятый, снимайте урожай первым!

— Вас... понял...

Лыонг увидал белый «МИГ»: постепенно уменьшаясь в размерах, он шел по направлению к аэродрому над огромным столбом дыма, клубившегося на самом берегу реки. «А где же Шау?.. Та-ак... вон его машина идет вдоль реки. Почему у него такая низкая скорость?.. А два столба дыма на том берегу, над зелеными холмами — это два «фантома». Никак не сгорят...»

— Двадцать четвертый, я двадцать второй! Снять урожай!

— Я двадцать четвертый, вас понял!

— Снимайте урожай, ребята, снимайте!

— Двадцать второй, мы будем облетать вас и прикроем сверху!

— Не надо! Снимайте урожай!

Но Лыонг сбавил скорость и старался держаться позади Шау. Следом за ним шел Тоан. Шау вел машину с трудом, ее качало из стороны в сторону.

— Двадцать второй, я «Чыонг-шон»! Немедленно доложите, как у вас дела!

Это был голос Тхуана. Потом заговорил Ви:

— Двадцать второй, вы сумеете снять урожай?

— ...У меня что-то с машиной.

— Двадцать второй, если надо, прыгайте с парашютом!

— Еще можно лететь. Я постараюсь сесть на шоссе.

— Двадцать второй, приказываю: если машина повреждена, немедленно прыгайте!

— Я пока еще держусь в воздухе.

Лыонг и Тоан шли теперь еще ближе к Шау. Они оба слышали весь

разговор с командным пунктом. Белый «МИГ» Шау быстро терял высоту.

— Шау, прыгай сейчас же! — крикнул Лыонг.

От хвоста поврежденного «МИГа» отвалился стабилизатор. Машина, окончательно потерявшая управление, колом пошла к земле. У Лыонга перехватило дыхание. Глаза его не отрывались от падающего истребителя... «Ну... ну же!..» Черное пятно рванулось в сторону: Шау катапультировался. Он перевернулся несколько раз в воздухе. Мелькнул белый бутон парашюта, раскрылся и медленно пошел к земле. «А если Шау ранен?..» Парашют уплывал все дальше. Лыонг хотел спуститься пониже, но побоялся: вдруг воздушным потоком закрутит стропы. Сверху их прикрывал Тоан.

В наушниках слышно было, как с командного пункта наводили на посадку машину Доана.

— «Чыонг-шон»! «Чыонг-шон»,— вызвал он.— Двадцать второй катапультировался, спускается с парашютом.

Он по-прежнему кружил около Шау. Белый купол приближался к земле. Вот он повис над склоном холма, закачался и исчез среди деревьев. Лыонг сделал круг над самым холмом, покачал крыльями, прощаясь с оставшимся на земле товарищем, и, набрав высоту, пристроился к ожидавшему его Тоану. Они сделали еще один круг в небе, замутненном медленно таявшими серо-белыми полосами, следами недавнего боя.

— «Чыонг-шон», двадцать второй приземлился благополучно.

— Я «Чыонг-шон», вас понял... Двадцать четвертый, тридцать первый, снимайте урожай! Немедленно снимайте урожай!

Лыонг снова обернулся и обвел взглядом оставшиеся позади холмы и небо над ними, будто все еще не решался их покинуть.

Поздним вечером пришло сообщение, что Шау находится в партийном комитете уезда, где приземлился. Он ранен в ногу и ждет машину, которая доставит его в госпиталь. А американец с «фантома», сбитого Шау, был схвачен, как только опустился с парашютом. Он оказался подполковником. Его взяла в плен подбежавшая к нему первой девятнадцатилетняя девушка, у которой только и было в руках, что бамбуковое коромысло.

## IX

Утром в воскресенье на аэродроме, как обычно, кипела работа. На войне не бывает выходных. Четвертая эскадрилья снова была дежурной. В первой паре еще до того, как взошло солнце, поднялся в воздух Лыонг. «Отличная погода! — подумал он.— Сегодня не миновать свидания с янки».

Приземлившись, он спрыгнул на бетонную полосу и побежал к своим, сидевшим неподалеку на траве. Он обратился было с докладом к командиру эскадрильи, но Киен поднял руку, прося его помолчать. Тут только он заметил, что все внимательно слушают стоящий на земле транзистор.

— ...НЕ СМОЖЕТ ПОКОЛЕБАТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ ВОЛЮ И РЕШИМОСТЬ ГЕРОИЧЕСКОГО НАРОДА ВЬЕТНАМА ОТРАЗИТЬ АМЕРИКАНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И ОТСТОЯТЬ СВОЮ РОДИНУ. ЧЕМ СВИРЕПЕЙ ОНИ И ЗЛЕЕ, ТЕМ ТЯЖЕЛЕЙ ИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ...

Он сразу узнал этот голос: говорил дядя Хо. Речь его звучала спокойно, и все же Лыонг уловил в интонациях особую торжественность и

серьезность. Он тихонько присел позади ребят. Слова Хо Ши Мина — ясные, западающие в сердце, были о самом важном, о том, чем жил сегодня народ.

— ...ВОЙНА МОЖЕТ ПРОДЛИТЬСЯ ПЯТЬ, ДЕСЯТЬ, ДВАДЦАТЬ ЛЕТ И БОЛЕЕ. ХАНОЙ, ХАЙФОН И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГОРОДА МОГУТ БЫТЬ РАЗРУШЕНЫ, НО НАРОД ВЬЕТНАМА НЕ ИСПУГАТЬ. НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ НЕЗАВИСИМОСТИ, СВОБОДЫ...

Сердце в груди у него заколотилось сильнее. Стараясь не дышать, он ловил каждое слово.

— ВО ИМЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТЧИЗНЫ, ВО ИМЯ ДОЛГА ПЕРЕД ВСЕМИ НАРОДАМИ, БОРЮЩИМИСЯ ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА, НАШ НАРОД И АРМИЯ СПЛОТЯТСЯ ВОЕДИНО И, НЕ СТРАШАСЬ ЖЕРТВ И ЛИШЕНИЙ, ИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ, БУДУТ СРАЖАТЬСЯ ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ...

Проникновенный голос президента звучал, как призыв кормчего, обращенный к друзьям, плывущим с ним на одном корабле,— призыв одолеть ураганный ветер и волны; и каждый черпал в нем для себя наставление и веру.

— ...ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И СОЛДАТЫ...

Эти простые слова всколыхнули душу Лыонга. Он сидел молча рядом с товарищами и мысленным взором своим видел дядюшку Хо, каким он был в тот день, когда посетил их часть: седая голова, несколько белых нитей подняты ветром над высоким лбом; веселые и добрые глаза; быстрая, легкая походка; сандалии из автомобильных покрышек; простой костюм, наброшенный на плечи старый, полинявший китель...

Хо Ши Мин закончил свою речь. Перед глазами ребят проплывали деревни и рисовые поля — такие знакомые и словно увиденные заново,— их земля, ласковая и прекрасная... Они сидели рядом — плечо к плечу,— и им чудилось, будто небо их родины сквозь грохот бури призывает их встать на священную борьбу за жизнь.

■

Самая заветная мечта истребителя: если уж сел в кабину — взлететь, а если взлетел — встретить противника, увидеть его первым и, опередив, нанести первый удар. Но в жизни все идет не так упорядоченно и гладко. В каждом бою случаются сотни неожиданностей, и один бой никогда не похож на другой...

Сегодня Лыонг уже несколько раз поднимался в кабину и, посидев в самолете, спускался по стремянке на землю. Вечером одному звену дали вылет. Они надеялись встретиться с янки, но неприятель явно их избегал. Тогда они получили новый приказ: сделать круг над Ханоем и возвратиться на базу.

Весь вечер летчики Четвертой эскадрильи просидели, споря о новшествах в тактике воздушного боя. Воскресенье это стало «черным днем» для вашингтонских асов: зенитные части и ракетные дивизионы вместе с ополченцами, вооруженными пехотным оружием, сбили над Северным Вьетнамом еще семь самолетов. К тому же на Юге, недалеко от Сайгона, партизаны подорвали на мине американский корабль водоизмещением в десять тысяч тонн. Сообщения об этом, переданные по радио, еще больше разожгли страсти. Дебаты прекратились лишь перед самым отбоем.

Свет был погашен, весь лагерь умолк. Лыонг никак не мог заснуть, он вспоминал все, что говорилось сегодня вечером. «...Многое из

придуманного ребятами явно годится!.. НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ НЕЗАВИСИМОСТИ, СВОБОДЫ... ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И СОЛДАТЫ... Слов этих теперь не забыть. Они врезались в память на всю жизнь, и ничто их не сотрет... В борьбе важно, что твои раздумья и опыт становятся достоянием всех. Каждый кладет свой кирпич в общий фундамент. Фундамент этот растет, и те, что идут следом за нами, начиная строить, кладут уже ряды выше наших... И вот еще в чем суть: следуя предначертаниям партии и установкам командования, каждый из нас, от боя к бою, создает что-то свое; и пусть этот вклад невелик, но ведь, как говорится, слабые ветры сливаются в ураган. Так мы создаем новые, свои приемы боя: немногим противостоять множеству; малой силой одолевать большую; неслыханное мужество, хитрость, смекалку, осмотрительность и гибкость соединять воедино и этим побеждать агрессора, который несравненно мощнее и больше нас числом. У нас нет выбора! Именно так приходилось нам сражаться веками, тысячелетиями, чтобы выжить и сохранить независимость и свободу. И это стало, пожалуй, естественным образом мысли, жизненным качеством, присущим всем нам, вьетнамцам...»

Лыонг заснул. Спал он спокойно до самого утра.

■

Большие группы вражеских самолетов приближались к юго-западному району Ханоя. На аэродроме не умолкал грохот турбин. Одно звено за другим поднималось в воздух. А сердца тех, кто оставался еще на земле, колотились сильнее. Лыонг и Тоан, затянув ремни и надев шлемы, стояли у края бетонной полосы, провожая глазами истребители, стремительно уходившие парами в сторону Ханоя. Тоану казалось, будто самолеты похожи на диких гусей, летящих средь белых туч.

— Да-а, сегодня скучать не придется!

— Должны же мы помочь защитникам столицы.

— Девять двадцать... Рановато *он* сегодня пожаловал!

— Да уж...

— Лыонг, у тебя не осталось конфет?.. О чем это ты размечтался?

— Я... думаю о Ханое.

Он вытащил из кармана карамельки и протянул приятелю. Перед глазами стоял узкий проулок, комнатка с балконом и румяная девушка в кепке с винтовкой за спиной, спускающаяся по лестнице... «Может, и она стреляет сейчас по самолетам? Я так и не успел ответить на ее письмо...»

— Тревога!

Лыонг и Тоан получили приказ подняться в воздух и патрулировать район аэродрома.

Через несколько минут их «МИГи» уже поблескивали на солнце высоко в синеве неба. Почему-то сегодня земля отсюда, сверху, казалась ему особенно знакомой: каждая вьющаяся линия дороги, каждая рощица, отсвечивающие полосы воды и холмы. Не только аэродром был для неприятеля первостепенной целью, вокруг немало других объектов, к которым давно уже подбирался враг. Но хотя небо, казалось бы, безбрежно и в нем не воздвигнешь препон, противнику не было к ним пути, как он ни таился, с какой бы ни заходил стороны, шел ли на большой высоте или прижимался вплотную к земле. Тщательно разработанные и выверенные по картам полетные трассы «МИГов» пересекали все боевые маршруты вражеских самолетов и были наиболее выгодны для поиска и атаки. Стоило положить машину на крыло, и внизу открывался широкий обзор — до самого горизонта.

«...Длинная черта — это асфальтированное шоссе. Дальше железная дорога и взгорбленный мост над бурой нитью реки... Еще дальше — бетонный мост, пестрые квадратики крыш и спички телеграфных столбов, вокзал и промышленные районы, построенные за последние годы...

...Разворот... Пройдем вдоль гряды. Горы громоздятся у горизонта к самому небу. Вершины темнеют на белом фоне облаков; крутые склоны тонут в вязком сероватом тумане... Здесь самый удобный путь для вражеских бомбовозов, на него надо обратить особое внимание!..»

Время от времени «МИГи» прошивают насквозь хлопья облачной ваты. Тоан держится позади — правее или левее ведущего. Машины, связанные единой волей, выполняют маневры слаженно и ритмично.

«...Еще разворот... Идем обратно, в сторону аэродрома... Знакомые холмы с нечастыми деревьями. И наконец равнина; переливающиеся прожилки каналов и речек, а там, вдали, за наплывающей дымкой — Ханой...»

■

В это самое время со стороны Черной реки несколько групп «Ф-105», прижимаясь к горам и уходя в облака, на разной высоте скрытно шли к аэродрому. И, как верно догадывались в полку, это было одно из отборных подразделений военно-воздушных сил США. Среди американских пилотов, летавших во Вьетнаме, не было, пожалуй, такого, кто не слыхал бы о командовавшем им знаменитом асе Джоне Миллере. Майор Миллер за три войны налетал больше четырех тысяч часов. Рассказывали чудеса о его *шестом чувстве,* о том, что в его лексиконе отсутствует слово «страх». Небо Юго-Восточной Азии этому матерому волку было не в новинку: в конце второй мировой он с «летающих крепостей» бомбил японцев от Лао-кая * до залива Ха-лонг ** и участвовал в воздушных боях с японскими истребителями. Он воевал в Корее, а теперь снова бороздит вьетнамское небо... Майор Миллер, прозванный, как и его самолеты, «громовержцем»...

День за днем поднимал он с авиабазы в Таиланде своих *мальчиков* и вел их забрасывать бомбами и ракетами землю маленького государства, не имеющего «достойной упоминания» авиации и флота. Как его президент и *просвещенные* генералы, он был поначалу уверен, что «фантомы» и «громовержцы» неотразимыми и стремительными ударами скоро поставят эту маленькую страну на колени и заставят ее капитулировать! Но за год с лишним майор Миллер усвоил, что полеты над Северным Вьетнамом мало похожи на увеселительные прогулки. Огненная сеть, поднимавшаяся всякий раз над землей, становилась все чаще и все опасней. *Мальчики* боялись не только зенитных пушек и ракет, но и людей, вооруженных винтовками. Многие жаловались, что их повсюду подстерегают тысячи и тысячи ружейных стволов и что, когда с земли открывают огонь, у них буквально волосы встают дыбом! Теперь ко всему еще прибавились «МИГи», от боя к бою становившиеся все опаснее. Другие подразделения с их базы несли большие потери: с каждым днем росло число сбитых машин и невернувшихся летчиков. Один из миллеровских *мальчиков,* сделавший ровно сто боевых вылетов, был переведен обратно в Штаты. Там он женился, но уже через месяц возжаждал «воинской славы» и больших наградных и записался на второй срок во Вьетнам. Он приехал на базу, через несколько дней был

---

* Провинция и административный центр на севере ДРВ.

** Буквально Спуск дракона — известный своей красотой морской залив на севере ДРВ.

сбит и пропал без вести. Никто из *отличных парней* не помянул его добрым словом, они считали его кретином. Многие уже не таясь, в открытую изо дня в день подсчитывали свои вылеты, мечтая скорей дойти до сотни и получить шанс на возвращение домой. Молодые пилоты, прибыв сюда, сразу улавливали настроение *стариков,* падали духом и поносили всех и вся. Начальство рекомендовало, как лучшее средство для поднятия духа, пиво и песни под гитару. И они ездили на Филиппины за гитарами и пивом. Однако в подразделении Джона Миллера ничего подобного не было! Он постоянно внушал подчиненным одну, усвоенную им за долгие годы истину: «У военного летчика только один способ выжить — атаковать первым, атаковать всегда и везде». Он лично водил их на самые опасные операции. После бомбардировок Ханоя *мальчики* майора Миллера особенно прославились, а сам он сделался притчей во языцех на всех американских базах. Но ему и этого было мало. Уверовав в свою хитрость и мастерство, в мощь своего оружия, он решил прорваться к неприятельскому аэродрому, нанести по нему сокрушительный удар и подорвать дух «малочисленного и незрелого» противника, который посмел бросить вызов исконным *хозяевам неба,* сильнейшим на земном шаре. Это будет самым славным делом, которое он, возвращаясь в Америку, оставит на память о себе во Вьетнаме, а возможно,— и завершением, венцом всей его летной карьеры...

■

Вот почему в это утро, когда другие подразделения американской авиации стремились прорваться к Ханою, Джон Миллер вел пятнадцать своих «громовержцев» — несколькими группами — в сторону вьетнамского аэродрома. Они получили сегодня задание: разбомбить близлежащий промышленный центр. Но Миллер приказал одной из групп взять шариковые бомбы, они должны были смести людей на вражеском аэродроме. Сам он шел с другой группой, оснащенной только ракетами и комплектами снарядов для воздушного боя, чтобы мощным ударом уничтожить истребители прикрытия. Он приготовил сюрприз для «МИГов», предпочитавших обычно ближний бой: на некоторые из его самолетов поставили по шесть двадцатимиллиметровых пушек, залп которых подобен был огневой лавине. Матерый волк придумал такой тактический ход: идущая впереди группа бомбит промышленные объекты, отвлекая на себя «МИГи», и тогда бóльшая часть его машин неожиданно атакует неприятеля. Сегодня он взял с собой своих любимцев: капитана Дина Аллана, служившего раньше в Западной Германии, смельчака, сдержанного и немногословного, вечно холившего свои короткие жесткие усики, и лейтенанта Робертса, недавно переведенного из Японии — восходящее молодое «светило»,— горячего и азартного, для которого война была чем-то вроде хоккея...

— Джон,— это был голос Дина,— мы летим вдоль шоссе. Вижу два «МИГа», они идут на сближение с нами.

— Отлично! Возьми их себе на закуску...

■

— Двадцать четвертый! «Черное облако» справа от вас, двадцать километров.

— Вас понял!

Лыонг едва успел ответить «земле», как его вызвал Тоан:

— Двадцать четвертый! Противник заходит со стороны шоссе!..

«...Ну и реакция у Тоана!..»

Сделав правый разворот, он сразу увидел четыре «Ф-105», они шли над горами немного выше «МИГов». Американцы разбились на пары: одна держалась вдоль шоссе и шла прямо на промышленный центр, другая устремилась под углом к дороге.

«...По-моему, вторая пара хочет нас отвлечь... Или они заходят на железнодорожный мост?.. Обычно у «Ф-105» первая пара несет бомбовой груз...»

Он скомандовал:

— Атакуем первую пару!

Сбросив оба дополнительных бака, он стремительно развернул машину и атаковал «Ф-105», летевшие над шоссе. Точно рассчитанный маневр вывел его в хвост «громовержцам» — на позицию, выгодную для огневого удара. Он нажал на гашетку, выпустив очередь по ближайшей машине. Янки поспешно сбросил куда попало свой бомбовой груз, снизился и пошел на бреющем. Второй американец тоже побросал бомбы, резко набрал высоту и стал уходить. Лыонг пристроился за ним в хвост.

— Тридцать первый! Идите на перехват второй пары!

«...Конечно, те два «Ф-105» сделали ложный маневр в сторону моста... Теперь они разворачиваются на предельной скорости и выходят к нам в хвост...»

Истребитель Тоана уже шел им наперерез. В небе засверкали огненные штрихи снарядов.

Лыонг словно прилип к американцу, он едва не настиг его над дорогой, потом перевалил через холмы и пошел над полями. Следом за ним он набирал высоту, бросал машину к земле и всякий раз, когда янки пытался свернуть в сторону, выходил на пересечение возможной кривой его разворота.

Он дал залп... потом еще один.

«...Слишком велика скорость, снаряды идут мимо!..»

Пульсирующие красные струи скользнули рядом с хвостом «громовержца». Тот описал зигзаг и прижался плотнее к земле.

«Так, дадим еще залп!..»

— Двадцать четвертый! — ворвался в наушники окрик Киена.— Немедленно — разворот! Разворот вправо!

Не успев обдумать команду, он стиснул зубы и резко повернул штурвал. За спиной вспыхнула яркая дуга, потом — еще одна, высвеченная синими вспышками; и вот уже прочертившие их ракеты исчезали где-то далеко отсюда. Циферблаты и цветные индикаторы на приборной доске замелькали и размазались полосой; потом он снова увидел их четкие контуры, а через мгновение все опять слилось в трепещущих радужных бликах. «МИГ» почти вертикально шел вверх.

Видя, что опасность миновала, он снова круто спикировал к земле. Тяжесть каменной глыбой навалилась на позвоночник, сдавила грудь; из разрезов костюма со свистом рванулся воздух. Секунду спустя пелена, застилавшая глаза, растаяла.

«...Слишком увлекся преследованием... не следил, что происходит сзади...» Он наклонил голову. «...Вот они: два «Ф-105»... еще два... Идут следом за мной... Справа другие «громовержцы» атакуют Тоана... Впереди, в стороне аэродрома тоже видны самолеты: на разной высоте — по одному, по два — заходят с нескольких направлений...» Ненависть и злоба комком подкатили к горлу. «Что, гады, хотите заглотать нас живьем?!»

Внизу, на земле полыхнули зарницы, потом — рядом еще в трех-четырех местах и дальше.

«Зенитки открыли огонь!..»

За надрывным воем мотора разрывы снарядов были еле слышны,

они словно доносились откуда-то издалека. Но он успел заметить, как темные хлопья дыма повисли вокруг вражеских машин, угрожавших его «МИГу».

«Здорово!..»

— Двадцать четвертый! Внимание — противник сзади!

Он круто развернул истребитель: два американца шли параллельным курсом, но были еще далеко; зато другая пара явно стремилась его настигнуть: под крыльями у одного, потом у второго забились огненные вспышки.

«Бьют по мне!..»

Пучки ярко-красных искр зримо протянулись к его машине.

«А-а, шесть двадцатимиллиметровок у каждого! И не жаль снарядов, лупят на таком расстоянии!..»

Он форсировал скорость и бросил машину вверх. Красные искры, обгоняя друг друга, прочертили штрихи за хвостом истребителя, их трассы изогнулись к земле и исчезли.

Еще разворот! Кривая теперь выводила его в хвост американцу. Прикинув дугу его разворота, янки резко прибавили скорость и оторвались от него; работающие на форсаже турбины выплевывали языки пламени.

Он набрал высоту и огляделся: преследовавшие его «громовержцы» попали под огонь зениток.

— Двадцать четвертый! Атакуйте две машины, заходящие в хвост тридцать первому!

Тоан шел, как на привязи, за «громовержцем», но два других готовились атаковать его сзади.

— Тридцать первый! Немедленно уходите вверх!

Отдавая приказ, Лыонг уже выходил на сближение с двумя «Ф-105». Он дал короткую очередь, и они ушли в сторону.

«Ну, вроде бы полегчало!..»

Он шел прямо навстречу Тоану, который набрал высоту и пристроился к ведущему. Лыонг едва не засмеялся от радости: оба «МИГа» забирались все выше и выше и, надежно прикрывая друг друга, уходили к аэродрому. Вражеские машины — более десятка — рассеялись по сторонам. Но внизу три «громовержца» все еще держались параллельного истребителям курса, решив, очевидно, преследовать их до конца. И со стороны аэродрома возвращались два «Ф-105». Продираясь сквозь разрывы зенитных снарядов, они выходили наперерез «МИГам».

■

Все, кто оставался на аэродроме — пилоты, техники, офицеры штаба,— собрались кучками в траншее и, задрав головы, глядели в небо. Грохот и вой реактивных турбин сливался с канонадой, тупо ударявшей в барабанные перепонки, и сотрясал все вокруг. Иногда зенитные снаряды разрывались прямо над головой, и осколки со звоном сыпались на взлетную полосу. У всех захватывало дыхание от стремительного темпа событий: атаки укладывались в какие-то доли секунды, и один неожиданный маневр резко менял весь ход боя. Вот сейчас несколько «Ф-105» старались загнать «МИГи» в фокус пылающих трасс. Американцы выпускали ракеты одну за другой, и отсюда, с земли, видна была траектория каждой.

Нго, сидевший со своими техниками на краю окопа, вдруг с силой хрустнул переплетенными пальцами. Не дыша, он следил за тем, как Лыонг ушел от одной ракеты, потом от второй и чудом увернулся от

направленных прямо в него снарядов. Ему захотелось вскочить и кричать — кричать так громко, чтоб голос его долетел к ним, в небо...

Бой продолжался. «МИГи» встретились и снова пошли парой, прикрывая друг друга. Американцы, разделившись на группы, атаковали их со всех сторон. Несколько одиночных машин помогали сплетать вокруг истребителей смертельные кольца.

Нго снова стиснул пальцы. Из горла рвался крик:

«Ребята! Осторожней!.. Сзади справа еще двое!»

Но он остался сидеть неподвижно, глядя на две серебристые машины, которые кружились каруселью, не давая зайти себе в хвост,— то уходили ввысь, то устремлялись к земле и упрямо шли к аэродрому.

Зенитчики точно взаимодействовали с истребителями, ставя позади них полосу заградительного огня. Дымки разрывов заставляли «громовержцев» сворачивать с курса и ломали их строй. Ополченцы — среди них много девушек — из вырытых на полях окопов частым ружейно-пулеметным огнем встречали самолеты, пытавшиеся на бреющем полете прорваться к аэродрому и закидать его «шариками». Янки сбрасывали свой груз на окрестные холмы.

Один из «МИГов» вдруг начал пикировать с высоты прямо на аэродром, за ним гнался «Ф-105». Тогда другой истребитель, развернувшись, отсек от преследователя три остальные машины и вынудил их войти в зону зенитного огня.

Нго вскочил. Он не мог разобрать, кто это — Лыонг или Тоан? «МИГ» продолжал пикировать, словно нацелившись на бетонную полосу, а янки прилип к нему намертво!

Высота — тысяча метров... восемьсот... пятьсот... триста...

«МИГ» беззвучно, как стрела, мчался к земле. Нго разглядел номер машины и фигуру пилота в кабине: Тоан! Пальцы у него побелели. Он хотел крикнуть: «Кончай! Разобьешься!..»

Американец не выдержал и, задрав брюхо, пошел вверх. До земли наконец донеслась грохочущая звуковая волна. «МИГ» вырвался из пике прямо над головами людей, в семи или восьми десятках метров от бетонной дорожки. Горячая струя отработанных газов мягко ударила в лицо Нго. И опять ему захотелось кричать и прыгать: на этот раз уже «МИГ» наседал на американца, а тот старался уйти от преследования.

— Теперь ему крышка!

— Все!

— Смотрите! Смотрите!..

Ребята, столпившись вокруг Нго, кричали и размахивали руками.

Серебристо-белый «МИГ» словно оседлал угловатого серого «громовержца». Янки бросал машину из стороны в сторону, чтобы уйти от Тоана; даже с земли видно было, что он перепуган и растерян.

Тоан открыл огонь. Сверкающие пунктиры снарядов ударили в фюзеляж американца. От него отвалился какой-то темный обломок, потом еще пять или шесть кусков металла, крутясь, полетели к земле и грохнулись прямо на взлетную полосу.

Аэродром огласился громкими криками. Американец все еще старался уйти. Но Тоан не выпускал его. «МИГ» снова дал очередь, и «Ф-105», вспыхнув, как факел, рухнул куда-то в поле. Взметнулось яркое пламя, и в небо уперся клубящийся столб густого черного дыма.

■

Майор Миллер почувствовал, как по спине у него вдоль позвоночника поднимается холодная дрожь. «Проклятые «МИГи»! Чертовы зенитки!..»

Он бросил машину в боевой разворот. В наушниках раздался голос Аллана:

— Майор, вы слышите меня?.. Попадание в мою машину!

Миллер атаковал «МИГ», только что обстрелявший его друга, и крикнул:

— Робертс, этого подонка я беру на себя!

— Хорошо, майор. Оставляю его вам на десерт!

Миллер видел: сбить идущий впереди «МИГ» — плевое дело, все равно что вынуть из кармана зажигалку. Вьетнамец преследовал одного из *мальчиков* и не подозревал, что смерть уже настигает его сзади.

Еще издалека майор выпустил две ракеты. Летевший рядом «Ф-105» тоже дал ракетный залп. Синие молнии рванулись вперед. Но противник каким-то непостижимым движением ушел от ракет. «Дьявол! — подумал Миллер.— Мне не хватало сегодня только чудес! Ладно, все равно не уйдешь!..»

— Дин, как ты там?

— Плохо.

— Возвращайся! Возвращайся на базу, не жди нас!

Миллер преследовал «свой» «МИГ». Он приказал одному из звеньев выйти на перехват вьетнамца. Но «МИГ» ускользал по-прежнему, неожиданными и точными маневрами увертываясь от снарядов.

«Ничего не скажешь, у Северного Вьетнама завелись приличные летчики!.. Наверно, их ас! Такого и сбить не стыдно»,— криво усмехнулся майор.

Дальнейший ход боя вконец испортил Миллеру настроение. Он не помышлял уже об амбиции и чести мундира. Он скрежетал зубами от бешенства: буквально у него на глазах один из «МИГов» расстреливает машину Робертса, и он вряд ли успеет ему помочь. Осколки зенитного снаряда застучали по фюзеляжу его самолета. Шедшее впереди звено рассеялось, спасаясь от разрывов.

— Третье звено! — закричал Миллер.— Подавить зенитные установки на холме!

Сам он с несколькими *мальчиками* атаковал «МИГ», но поздно: Робертс уже был сбит.

Миллер стиснул зубы, со лба его стекал пот. Он неотступно преследовал вьетнамский истребитель. Пять или шесть раз он открывал огонь, но снаряды шли мимо цели. Однако он не отпускал противника, уверенный, что рано или поздно тот совершит какую-нибудь ошибку и потребуется не больше секунды, чтобы разделаться с ним.

«Наконец-то!..» Уходя от снарядов, вьетнамец положил истребитель на крыло и очутился в кольце его прицела. Миллер крикнул что-то и нажал на гашетку. Шесть огненных вспышек полыхнули вокруг носа его машины. «Ну, теперь — наверняка!..»

«Господи, что ж это такое?!» Майор выругался в бессильной злобе.

■

Лыонг словно сросся со своим истребителем; он выделывал самые невообразимые фигуры, уходя от ракет и снарядов, которыми янки осыпали его со всех сторон.

«...Прошло всего полминуты, а кажется, гонка эта длится вечно!..»

Каждую секунду он ждал, что снаряды ударят в его машину, и каждую секунду умудрялся избежать смерти. Маневрируя, он сумел рассеять вражеские машины. Остался один-единственный «Ф-105», присосавшийся словно пиявка. Он висел на хвосте «МИГа», но не открывал огня, желая, должно быть, ударить наверняка.

— Сволочь,— пробормотал Лыонг,— так... так... оторвись от своих, и я тебе покажу!..

Быстро рассчитав маневр, он решил развернуться, но в это мгновение справа от фонаря кабины сверкнули трассы снарядов. Он бросил машину в сторону. Вдруг резкий толчок вырвал из-под него сиденье.

«Как тряхануло машину!.. Наверно, эта сволочь попала в фюзеляж...»

Он как будто глядел на все со стороны, чужими глазами, ожидая, что истребитель вот-вот развалится на куски. Но рука автоматически передвинула штурвал, «МИГ» наклонил нос и помчался к земле.

«Слушается руля!..»

Он круто поднял машину вверх, сделал мертвую петлю и через мгновение «Ф-105» промелькнул под крылом его истребителя.

— Ну, теперь тебе крышка!— крикнул Лыонг.

Он вышел американцу в хвост, дал длинную очередь из всех стволов и увидел, как один из его снарядов пробил в крыле «громовержца» здоровенную дыру. «Ф-105», покачнувшись, вошел в пике, стремясь оторваться от Лыонга. Он ринулся было за ним, но тут появились несколько «громовержцев», шедших на выручку подбитой машине. Лыонг развернулся, стремясь опередить их и набрать высоту.

Поврежденный «Ф-105» уходил, падая с крыла на крыло. У Миллера рябило в глазах, по спине стекали холодные капли пота. В мозгу билась единственная мысль: «Уйти... уйти... вырваться...» Внутри словно оборвалось что-то. Серия зенитных снарядов лопнула совсем рядом. Волосы у него зашевелились, ноги и руки дрожали. Шум, похожий на ржание взбесившегося табуна, раздирал барабанные перепонки.

«Скорость!.. Быстрее, быстрее!.. Вырваться из этой адской ловушки!..»

Он форсировал скорость до предела, пытаясь набрать высоту. Вдруг самолет звонко обожгло стальным хлыстом, и кабину лизнули желтые языки огня. Миллеру удалось из последних сил нажать кнопку катапультирования, и он вместе с креслом вырвался из горящей машины. Над головой зашелестел вытянувшийся купол парашюта. Но вихрь, рванувшийся за падавшим в штопоре самолетом, не дал ему раскрыться, перекрутил стропы, и Миллер камнем рухнул наземь. Километрах в десяти от него уткнулась носом в рисовое поле полусгоревшая машина...

Зенитки вели массированный огонь. Из своей кабины Лыонг видел, как повсюду — в полях, на холмах, на речном берегу, в лесной чаще — огневыми зайчиками полыхают артиллерийские залпы. Разрывы, поначалу висевшие где-то внизу, вспыхивали теперь выше, частыми лезвиями рассекая строй «громовержцев».

А в небе над аэродромом виднелся лишь «МИГ» Тоана, летевший ему навстречу. Янки уходили в беспорядке. Лыонг наметил себе одного и обрушился на него сверху.

— Двадцать четвертый! Не открывайте огня по этой машине! Атакуйте четвертую справа!

Выполняя команду «земли», он развернулся вправо, успев заметить, как Тоан пристроился к нему и прикрыл его сзади, и по крутой дуге атаковал американца. Он настигал его: ближе... ближе — вот уже видны головки винтов на сочленениях его крыла.

Он нажал гашетку — раз, еще раз...

«Кончились снаряды!..»

Из горла едва не вырвался крик ярости. «Ф-105», форсируя скорость, уходил, перегруженный двигатель его извергал раскаленные языки пламени.

Так сам собою окончился бой. Небо очистилось. Четыре последних «громовержца», пытаясь построиться в боевой порядок, быстро уходили к реке.

«МИГи» номер двадцать четыре и тридцать один сделали круг над аэродромом, снизились и прошли вдоль летного поля. Лыонг покачал крыльями, приветствуя друзей на летном поле, обернулся назад и увидел, как Тоан тоже покачал крыльями, машина его словно танцевала в воздухе. Потом он поглядел вниз: люди выбегали на взлетную полосу, обнимались, кричали, размахивали руками, платками, шапками.

## X

Август был на исходе. К концу дня чувствовалось, что зной начинает спадать.

Сразу после обеда Лыонг разделся и взялся за поливку овощей, надеясь покончить с грядками дотемна. А Тоан снова вносил усовершенствования в конструкцию курятника. Увлекшись, они не заметили вошедшего во двор человека.

— Эй, Лыонг, это ты?

— Шау!

Лыонг бросил на землю лейку и кинулся к другу.

— Ты что — насовсем?

— Да нет. Только выписался из госпиталя — и сразу упекли в санаторий. Хорошо, Тхуан подослал за мной машину, и я завернул к вам ненадолго.

— А ты растолстел, однако. Как нога?

— В порядке.

Они поднялись на крыльцо. Шау сильно хромал.

Прибежал Тоан. Они вытащили стулья и поставили их рядышком на террасе.

— Тоан наконец завершил строительство,— сказал Лыонг, показывая на птичник.

— У вас здесь просто рай! — Шау обвел взглядом «угодье» и засмеялся.— В госпитале сестры извели меня своей дисциплиной и распорядком. Особенно с ними шутки плохи во время тревоги. Доан не вернулся?

— Он еще загорает в санатории. Ты его, наверно, там встретишь...

— Сказать по правде, я, как подлечился, ни одной ночи не спал, и кусок в горло не лезет. Не могу я прохлаждаться!

— Не дури, тебе надо отдохнуть и поправиться как следует. Ты ехал через Ханой?

— А как же! Заходил к тебе, просидел у вас весь вечер. Мачеха скормила мне целый мешок крушины. И малыши были дома. Мы отлично провели время.

— Знаю, у них каникулы. Что там, в Ханое?

— Все по-старому. Только тревоги стали чаще — и днем, и ночью. Мне повезло: видел, как зенитчики работают, и на наших ребят полюбовался. Да, знаете, Бан отличился уже на новом месте. Он несколько раз участвовал в воздушных боях за столицу и сбил «крестоносца» прямо над пригородом.

— Надо отписать ему поздравление!

— Опять поднялась вода в Красной реке. Вы, может, и раньше слыхали, а я вот узнал впервые: оказывается, в Ханое есть места, лежащие на семь-восемь метров ниже уровня воды.

— Просто чудо, что удалось в этом году отстоять страну от наводнения!

Все трое помолчали, потому что знали: впереди еще целый месяц нелегкой борьбы с паводком.

— Ко мне заезжали в госпиталь знакомые из Главпура,— сказал Шау,— и говорили, что, когда сбили Миллера, все западные агентства подняли дикий шум. А дня два назад зенитки сшибли и первого его друга, какого-то капитана!

— Отлично!— воскликнул Тоан.— Ох, совсем забыл, хочу показать тебе одну штуку.

Он убежал в дом, и вынес Шау фотографию: купол парашюта белел среди темных спиралей дыма.

— Подполковник, которого ты сбил. Я из-за этого сувенира чуть не загремел на тот свет!

Лыонг обернулся.

— Мало тебя ругали. Художник нашелся! Тут бой идет, а он отключил пушки и щелкает фото. Да еще матерится на весь эфир!

— Я-то надеялся, что ты меня запечатлел! — расхохотался Шау.— Говорят, вы в последнем бою отличились? А сами как, в порядке?

— В моей машине пробило фонарь кабины. У Лыонга пять или шесть вмятин возле хвоста. И все!

— Думаю, я там долго не задержусь. Через недельку буду обратно.

— Знаешь, не худо бы тебе подлечить ногу,— сказал Лыонг.— Ты отдыхай сколько надо, пока не поправишься.

— Да ну, ерунда! — опять засмеялся Шау.— Я тогда гляжу: до земли уже рукой подать, а вы все кружите надо мной. Здорово вы меня растрогали... И только вы улетели, буквально через минуту прямо над головой у меня прошли двое американцев. Жаль, не было у меня рации: вызвал бы вас назад, поджарить пташек!.. Приземлился я в лесу. Нога болит нестерпимо. Ну, думаю, перелом, придется выбираться ползком. Потом отлежался — час, наверно, или больше того,— и вроде бы полегчало. Срубил себе ветку и заковылял, опираясь на нее. Вскоре я, сам того не ожидая, вышел на дорогу, вижу: идет она прямо по берегу ручья. Сразу успокоился. И побрел со своей палкой. Пройду немного, присяду передохнуть и — дальше. Чуть услышу шорох в лесу — сразу затягивал во все горло «Все отдать за народ...» * Вот уж не думал, что придется когда-нибудь петь соло!

Они дружно расхохотались. Шау продолжал:

— Первым попался мне ополченец. «Я все время, говорит, шел к вам, на вашу песню». Зашагал я за ним следом. Вдруг чувствую: ногу совсем свело. Сел прямо на дорогу. Хорошо, мы были почти на опушке. Парень выстрелил в воздух, потом перетащил меня к большому камню, чтоб я мог к нему прислониться. Пришли еще трое ополченцев — двое мужчин и женщина. Они дотащили меня до деревни. Я попросил сразу отправить меня в уезд, и они раздобыли где-то носилки. До уезда мы добрались только к восьми вечера. И надо же — принесли меня прямо в помещение женского комитета! Ну и дела. Женщины, понятно, сразу с расспросами: «Может, выпьете молока?» — «Да...» Принесли здоровенную чашку. Я выпил ее одним духом. «Может, выпьете, еще, а?» — «Да, прошу вас, еще чашечку...» Одна увидала, что у меня рубашка порвалась. «Раздевайтесь,— говорит,— зашью». А на мне и майка драная. Тут они запричитали: «Что ж это наши летчики, да в худой одежде... Разве ж нынче в рванье ходят?..» Заставили снять и майку. Все зашили, заштопали. А я уже слышу: собрались курицу резать, в кухне кудахчет...

---

* Первая строка популярной воинской песни.

Раздался автомобильный гудок. Шау встал.

— Мне пора. Доскажу в другой раз.

— Ты там не беспокойся, отдохни как следует.

Они проводили Шау к машине и на обратном пути долго еще улыбались, вспоминая его историю.

Вечер выдался свободный, и Лыонг сел за письмо к Бану, каясь, что до сих пор не послал ему ни строчки: «Свинья я, вдобавок еще и ленивая!..»

Вдруг в двери появилась голова Кхая:

— Эй, Лыонг, одевайся. Звонил комиссар, просил тебя срочно явиться.

Кхай провожал его к воротам с беспокойным и расстроенным видом. Лыонг встревожился:

— Что там стряслось, Кхай?

Политрук взял его за руку.

— Известие из дому...

Войдя в комнату комиссара, освещенную неяркой настольной лампой, Лыонг почувствовал, как в груди гулко заколотилось сердце. Ви поднял голову от стола и предложил ему сесть.

— Есть телеграмма на твое имя.

Лыонг взял у него листок и поднес к светлому кругу под абажуром.

«Почтовый ящик...

Просьба сообщить Ле Лыонгу его сестра Ле Ань Дао тяжело ранена при отражении авианалета доставлена больницу Ханой Тчк Если возможно прошу Лыонга приехать немедленно Тчк Туйен».

Комиссар встал и подошел к нему:

— Доложи обо всем Киену. У нас скоро закончится совещание, и представитель Главпура будет возвращаться в Ханой на своей машине. Он тебя подбросит. Получишь двухдневный отпуск, вернешься в часть послезавтра в восемнадцать ноль-ноль.

Проводив его до двери, Ви добавил:

— Если случится что-нибудь, телеграфируй мне. Мы тут собрали для Дао несколько банок сгущенки. Передавай ей от меня привет и пожелания скорого выздоровления. Ну, иди укладывайся, а то опоздаешь.

■

Всю дорогу Лыонг от волнения не находил себе места. Телеграмма, лежавшая в нагрудном кармане, жгла его сквозь гимнастерку.

«...Что значит — тяжело ранена? От нее ведь на днях было письмо!» К горлу подкатывал комок. «А вдруг не выживет?.. Успею ли?!» Он как будто сейчас только понял, как дорога ему сестра. «...Ничего, может, все еще обойдется!.. В Ханое хорошие врачи и любые лекарства... Поставят ее на ноги... А я ведь, когда все было в порядке, частенько о ней забывал. Не писал писем. Был свинья свиньей!.. Прости меня, Дао!.. И муж ее, как назло, далеко отсюда! А малыш! Что будет с ним?..»

Ночное шоссе было оживленным и шумным. Колонны грузовиков, вереницы велосипедов и повозок, запряженных волами и лошадьми, двигались в обе стороны. Время от времени лучи автомобильных фар выхватывали из темноты парней и девушек с рюкзаками, шагавших цепочкой по обочине вдоль шелестевших растрепанной хвоей фи-лао *. На их пробковых шлемах колыхались пришпиленные к сеткам зеленые листья. Машина шла медленно, и до Лыонга долетали их разговоры, шутки и смех.

Газик трижды вынужден был останавливаться: самолет повесил осветительные ракеты, потом впереди открыли огонь зенитки, и, нако-

* Хвойное дерево (казуарина).

нец,— это заинтересовало даже Лыонга — дорогу им преградили тягачи с ракетами; они ползли с козырьками на фарах, словно прищурясь и сгорбив огромные черные туловища.

В Ханой добрались уже за полночь. Улицы были безлюдны, но издалека доносился лязг гусениц: где-то двигались пушки. Машина довезла Лыонга до угла Литейного ряда.

Он свернул со своим велосипедом в безмолвный проулок и почувствовал, как тревожно сжалось сердце. «...Дома ли Туйен? Что, если она опять в ночной смене? Как отыскать Дао?..»

Он толкнул ворота и вошел в утопавший во мраке двор; посветив себе фонариком, прошел в дом и тихо поднялся по ступенькам. Постучавшись, застыл в ожидании у двери.

— Кто там?

«Дома!..»

— Это я, Туйен.

— Лыонг!

В комнате зажегся свет, послышался какой-то шорох, торопливые шаги. Дверь отворилась. На пороге стояла Туйен, застегивая пуговицы блузки. Она посторонилась.

— Лыонг! Как хорошо, что вы приехали.

Войдя в комнату, казавшуюся уже такой знакомой, Лыонг сразу увидел за приоткрытым белым пологом маленького Шона. Тот крепко спал. Он снял рюкзак, положил его на пол в углу и подошел к столику у окна. Туйен, пригладив упавшие на лоб волосы, взяла термос и собралась заварить чай.

— Нет-нет, мне ничего не надо. Как Дао?

— Ей сделали операцию, вынули осколок из легкого. Вечером ее еще лихорадило... Упадок сил. Но перед моим уходом она заснула. Я недавно из больницы, только легла.

— Я же на днях получил от нее письмо со всякими подробностями насчет бомбежки!..

— Это на той неделе был налет. Я тоже получила от Дао письмо два дня назад. А прошлой ночью, вернее, уже под утро, слышу, кто-то стучится в дверь. Открываю: Хай, сослуживец Дао, с малышом на руках; я чуть сама в обморок не упала. Хай мне и рассказал, что Дао ранена и ее отвезли в больницу. Я оставила его здесь с ребенком, а сама села на велосипед и — в больницу. Дожидалась за дверью, пока ее оперировали. Утром она была еще без сознания, и врачи ни за что не ручались. Я должна была пойти на работу. Хорошо, Хай приглядывал днем за ребенком. Под вечер я прямо с завода зашла к ней; она меня узнала, но говорить еще не могла. Вечером я вернулась домой, чтоб Хай не опоздал на поезд. Ну, а Шон у нас молодец, скучает по маме все время, но почти не плачет! Уложила я его спать и в девять часов снова поехала в больницу. Дао заснула. Врач сказал, что операция прошла хорошо, но она потеряла много крови и еще очень слаба.

— А сейчас можно ее навестить?

— Думаю, лучше завтра с утра. Когда я уходила, она еще спала. Вы не голодны? Давайте я подогрею вам супу.

— Что вы, Туйен. Спасибо, я не хочу есть.

Он нагнулся над кроватью и поглядел на Шона. Малыш спал, обняв обеими руками резиновую антилопу, губы его шевелились, и ресницы чуть заметно вздрагивали — наверно, он видел что-то во сне. Туйен тоже подошла поближе.

— Как назло, наш заводской детсад эвакуирован. Завтра мне на работу. Придется оставить его у соседки, у тетушки Дан. Она за ним присмотрит.

— Эта мрачная старуха, что живет рядом с вами?

Туйен улыбнулась:

— Она просто любит поворчать, но вообще-то очень добрая. Я думаю отвезти малыша в деревню, побудет, сколько нужно, с моими стариками. Пусть только сперва погостит у меня немного.

— Пожалуй, вам лучше сразу отвезти его к своим. Дао, наверно, нескоро еще поднимется, а здесь каждый день тревоги, да и возни с малышом много — вам на работу ходить будет некогда... А родители ваши живут далеко отсюда?

— Километров тридцать с небольшим... Дао была у нас в деревне несколько раз. Отец уже не работает, живут они там втроем: старики и мой братишка. То-то они обрадуются малышу — небось потом отпускать не захотят!

— Ну, завтра я Шона беру на себя. Схожу с ним в больницу к Дао. А вечером оседлаем велосипеды и отвезем его в деревню.

— Оставьте Шона у меня хоть на пару дней. Послезавтра у нас меняется график, я буду двое суток свободна и сама отвезу его.

Где-то у соседей зазвонил будильник. Они замолчали, прислушиваясь к долгой его трели, дрожавшей в ночи.

— Ладно, Лыонг, прилягте лучше и отдохните.

Он раскрыл рюкзак и достал все, что нужно для сна.

— В такую жару, наверно, приятнее спать на балконе.

— Нет-нет, под утро выпадет роса, и вам обеспечена простуда.

Он расстелил одеяло на полу, у двери на балкон, подвесил накомарник и, укладываясь, подумал: «У меня есть здесь теперь «свое» место...»

■

Когда он проснулся утром, Туйен уже ушла на работу. Полог над кроватью в углу был опущен: под ним крепко спал Шон. Он вышел на балкон, умылся и увидел, что в очаге еще тлеют угли и на них тихонько пофыркивает котелок с похлебкой. Рядышком в горячей золе стоял глиняный горшок. Он приподнял крышку: из горшка потянуло сладким духом клейкого риса *.

«Туйен, конечно, поднялась ни свет ни заря. А я дрыхнул без задних ног...»

Шон проснулся, уселся под пологом и огляделся вокруг. Увидев Лыонга, он скорчил плаксивую мину и захныкал:

— Ма-м... Где мама?..

Но позволил Лыонгу взять себя на руки, отнести на балкон и вымыть лицо и руки.

— Я твой дядя, Лыонг. Ты что, не узнал меня? Поешь-ка супу, и дядя отведет тебя к маме. Тетя Туйен сварила для тебя суп — вкусный-превкусный.

— Я знаю, она пошла на завод.

— Верно, ты у нас умница.

Лыонг старательно кормил малыша. «...Он, пожалуй, исхудал, и глазенки растерянные».

Шон, исправно открывая рот, таращил на Лыонга глаза и помалкивал. Он как будто понимал, что сейчас, без матери, капризничать ни к чему.

— Ну как, пойдем проведаем маму?

Лыонг взял малыша на руки. Шон обнял его обеими ручонками за шею. У Лыонга сжалось сердце, и он поцеловал маленькие ладошки.

* Сорт риса с крупными зернами, содержащими много молочно-белого сока.

На улицах было не протолкнуться: народ шел на службу. Ехали на велосипедах рабочие с винтовками за спиной. Люди терпеливо выстраивались в очереди у прилавков, где продавали рис, у дверей столовых, около продавцов угля и хвороста. Под деревьями вдоль тротуаров стояли вереницы грузовиков, поблескивавших свежей краской. Газики, ехавшие всю ночь по дорогам и добравшиеся наконец до места — запыленные, с болтающимися ветками маскировки,— пробирались среди тысяч велосипедистов.

Войдя в больничные ворота, Лыонг замешкался: несколько дорожек разбегались по широкому двору между убежищами и траншеями. Навстречу шла медсестра. Он решил спросить у нее дорогу. Сестра сочувственно поглядела на офицера с малышом на руках и повела его к длинным двухэтажным корпусам.

— Это здесь. Зайдите в регистратуру, узнайте, в какой она палате. Сколько тебе лет, маленький?

— Благодарю вас. Слышишь, Шон, тетя спрашивает, сколько тебе лет?

— Уже три!

— О-о, какой молодец.

Молоденькая санитарка отвела их в палату, где лежала Дао.

— Кажется, она еще спит,— прошептала девушка.— Давайте мне мальчугана, лучше ему сначала обождать.

Койка Дао стояла у окна, выходившего на террасу. Окно было открыто. В просторной палате стояло несколько коек. Это была послеоперационная. Больные — бледные и усталые — лежали молча, лишь изредка кто-нибудь негромко стонал. Лыонг тихонько подошел к железной койке, прикрытой пологом. Дао спала, побледневшие веки ее были неподвижны. Он взглянул на висевший у изголовья температурный листок: кривая, выведенная красным карандашом, хоть и клонилась книзу, в общем, не уходила от отметок «тридцать восемь» и «тридцать девять».

Лыонг вышел обратно на террасу.

— Эту ночь она спала хорошо,— сказала санитарка.

— Температура почему-то не падает.

— Врач сказал: теперь надо опасаться осложнений. Но состояние у нее неплохое. Посидите здесь с ребенком. Она скоро проснется.

Он взял Шона на руки, вышел во двор, сел на скамейку рядом с цветочной вазой и пустил племянника поиграть. Посидев, он снова поднялся на террасу и заглянул в окно.

«Кажется, Дао приподнялась на постели...»

Осторожно открыв дверь, он вошел в палату. Дао тихо стонала. Он подошел к ее койке. Она повернула голову, протянула руку, подняла край полога. Лыонг нагнулся, взял у нее сетку и подтянул к раме. Глаза у Дао радостно заблестели.

— Брат, ты? — прошептала она.

Он кивнул.

— Я приехал сегодня ночью.

Она снова закрыла глаза, губы ее легонько дрогнули. Открыв глаза, она огляделась, словно ища кого-то.

— Тебе что-нибудь нужно?.. Я привел Шона, он играет во дворе.

— Позови, пожалуйста, санитарку.

Он пошел в комнату дежурных и отыскал там знакомую девушку. Пока она хлопотала у постели сестры, он вышел во двор за Шоном. Малыш подкрадывался к стрекозе, шевелившей радужными крылышками на зеленом кусте.

— О господи! Ну-ка пойдем вымоем руки, а то нас к маме не пустят.

Лыонг взял его на руки и отправился на поиски водопроводного крана. Когда они вошли в палату, Дао успела умыться; несколько тонких прядей волос прилипли к ее влажному лбу. Она не казалась уже такой болезненной и бледной.

Шон, едва завидя ее, сполз на пол и прижался лицом к ее щеке. Дао поцеловала сына, пригладила его растрепавшиеся волосики. В уголках ее глаз показались слезы.

— Шон, не надо утомлять маму.

Лыонг снова взял его на руки. Дао едва заметно улыбнулась:

— Он, наверно, тебе докучает?

— Чего там, мы ведь оба мужчины, правда, Шон?.. Он молодец. Ты за него не волнуйся. Я договорился с Туйен: завтра отвезем его в деревню, к ее старикам. Ньону я, как уйдем отсюда, сразу дам телеграмму. Ты-то как себя чувствуешь? Полегче стало?

Она кивнула, закрыла глаза и замолчала.

Санитарка принесла стакан горячего молока, присела на койку и стала кормить Дао с ложечки.

— Сегодня у вас счастливый день. Теперь надо стараться кушать побольше, все съедать до конца, чтоб скорее поправиться и вернуться домой, к сыну. Если что понадобится, позвоните мне, вот здесь кнопка. Не вставайте, врач запретил вам двигаться. Лежите спокойно.

Допив молоко и проводив глазами санитарку, Дао спросила негромко:

— Ты сразу обратно?

— Да нет, пробуду здесь весь день, завтра уеду. Ребята все просили тебе кланяться. А Ви, наш комиссар, прислал сгущенки.

— Не забудь их поблагодарить. Ты теперь, когда уедешь...— Она подняла на него глаза.— Как ты находишь Туйен?

— Она очень хороший человек, чудесный!

Дао помолчала, но вдруг улыбнулась, и в глазах ее промелькнули искорки.

— Янки так и остались с носом. Плотина-то наша цела... Да, ты не давай телеграмму, он будет там беспокоиться... я после сама напишу...

Должно быть, разговор ее утомил. Она закрыла глаза. На лбу выступил пот. Дао стиснула губы, но не смогла удержать стон: по ране острием полоснула боль. Вскоре она уснула.

■

Лыонг провел в больнице все утро. Когда они поднялись наконец по лестнице домой, было начало двенадцатого. Шон заявил, что очень голоден. К счастью, от завтрака осталось немного рису. Малыш заморил червячка, а Лыонг намыл рису и стал кашеварить.

После обеда он уложил Шона и обмахивал его веером, пока тот не уснул. Тогда он расстелил свою постель, улегся и сам не заметил, как задремал.

Его разбудила сирена и взрывы, от которых ходуном заходили стены. Он выскочил на балкон. Прямо над головой, в слепящих лучах солнца тянулись круглобокие оранжевые облака, словно продернутые длинной белой нитью. Слышался гул самолетов. На большой высоте — тысяч десять метров — появились два крохотных пятнышка дыма, стремительно вытянувшихся в долгие черные дуги.

«Драпают на форсаже...»

Впереди них и по бокам повисли белые шары разрывов. Одна дуга сломалась, крученым отвесом пошла к земле и исчезла.

«Первому — крышка!..»

Зенитки вели огонь безостановочно. Дымные кусты разрывов все гуще вырастали над пригородом. Группы «фантомов» черно-серыми силуэтами промчались вдали над самыми крышами и пропали среди деревьев. К небу взлетел столб пыли и желтоватого дыма. И вдруг в гром канонады и рев «фантомов» ворвался привычный гул. Повернув голову, он успел заметить серебристо-белый «МИГ», мелькнувший между кровлями.

Он снова взглянул туда, где только что взорвались бомбы. Пушки умолкли. На ветру медленно таяли следы разрывов. Белыми молниями сверкнули набиравшие высоту «МИГи» и исчезли.

Через несколько минут загудела сирена: отбой! Он вернулся в комнату. Шон спал как ни в чем не бывало.

«А я уже чувствую себя здесь совсем как дома! Теперь, пролетая над Ханоем, всегда буду искать среди океана крыш свою, единственную...»

Он поглядел на блузки и платья на вешалке. От них — до смешного маленьких и узких — исходило нечто, делавшее эту комнату «домом», а не просто квадратными метрами в четырех стенах...

«МИГи» вернулись и сделали круг над городом.

Лыонг присел, потом заходил взад-вперед по комнате. Он вдруг почувствовал, что ждет не дождется, когда вернется Туйен.

Услыхав быстрые шаги на лестнице, он вскочил и отворил дверь. Туйен, сняв с плеча винтовку, поставила ее в угол.

— Наши сегодня сбили самолет! Видели?

— Ага. Это был, очевидно, разведчик.

Даже в темной своей спецовке Туйен была очень мила. Сняв синюю матерчатую кепку, она набросила ее на вешалку.

— Как Дао чувствовала себя утром?

— Температура высокая. Но спала она хорошо и выпила немного молока. Они с Шоном так обрадовались друг другу!

— Вы тут, наверно, оба умираете с голоду.

— Нет, мы обедали. Вы не посидите немного с ним? Я схожу к Тоану, передам письмо и загляну еще раз в больницу.

— Конечно. Только возвращайтесь к пяти, чтоб я тоже успела проведать Дао.

■

Вечер выдался лунный. Когда они поужинали и Шон уснул, Лыонг сказал:

— Может, пойдем погуляем по городу?

— Хорошо. Спускайтесь потихоньку, а я отнесу малыша к тетушке Дан: вдруг будет тревога.

Он постоял в переулке, ожидая Туйен. Когда она вышла, он не сразу узнал ее: волосы падали ей на плечи, нарядное цветастое платье с высоким воротником облегало гибкую, стройную фигурку.

Они шли рядом и молчали. У обоих было такое чувство, будто теперь, после этой прогулки, в жизни у них что-то изменится.

На улицах горели фонари. В некоторых кварталах электричество было временно выключено, и тогда дорогу им освещала луна. Они шли под высокими раскидистыми деревьями, сворачивая с улицы на улицу, временами заводя вполголоса разговор и снова умолкая надолго. Иногда Лыонгу казалось, что вокруг него расстилается волнующееся безбрежное море.

— Наша деревня на берегу реки. В прудах цветут лотосы. У нас хорошо, прохладно. Когда Дао выйдет из больницы, я увезу ее к нам недельки на две. Там она отдохнет и поправится.

— А наша семья все время переезжала с места на место. Помню только, как мы жили в маленьком переулке в конце Бобового ряда *. Во всем переулке только и было что большая канава. Но мне там очень нравилось, я с утра до вечера пускал бумажные кораблики. А рядом была контора, где рикши брали в аренду коляски. Как сейчас помню, у них там был большой залитый цементом двор. С трех сторон его окружали низенькие домики, а с четвертой — невысокая стена, поверх нее шла колючая проволока. Рикши, приходившие за колясками, стояли на этом дворе. Они снимали свои штаны и рубашки и надевали грубые синие робы с номером в белом круге на спине. В переулке было две или три харчевни. Ходили туда одни только рикши. Бывало, часа в два ночи они все едят что-то, сидя на длинных скамьях у тусклой керосиновой лампы. Возле конторы хозяева еще устроили притон, где играли на деньги. Всю ночь там шумели и дрались люди. Чуть не каждый день владельцы колясок ругали и били тех рикш, которые возвращались, не заработав положенных денег. И почему-то в такие дни появлялась «наша» сумасшедшая. Она тоже жила в переулке. Я тогда был совсем маленький и не понимал, что к чему. Помню только, что она была помешанная. Выйдет — волосы распущены, драное платье подпоясано какой-нибудь цветной тряпкой, в руке ветка, как посох,— и давай голосить. А мы, ребятишки, бежим следом. Иногда уходили за ней до Угольного ряда ** к самой реке... Да-а, чего только не было в том переулке. Тяжело жили люди, страшно!..

Туйен молча шла рядом, временами поднимая на него глаза.

Луна светила как будто ярче. Они вышли к Красной реке. Вдали, у высокой плотины, шумели машины на рисоочистительной фабрике, светлым столбом поднималась к небу пыль. Они шли по дамбе, прислушиваясь к плеску волн. Вода заливала прибрежный откос, около дамбы виднелись лишь вытянувшиеся вереницей крыши из соломы и пальмовых листьев.

— Беда! Река опять поднялась!

— Что вы, Лыонг, наоборот, сейчас вода спала. Вы бы сходили к Часовой башне или к холодильнику: там прямо в кучу свалены вещи и всякий скарб, который люди из береговых деревушек вытащили на плотину, когда их затопило дня два назад.

Пройдя еще немного по дамбе, они спустились на лежавшую вдоль реки пустынную улицу. Они шли не торопясь под старыми капоковыми деревьями ***. Огромные—в несколько обхватов — стволы уходили прямо в ночное небо, простирая ветви над высокими домами с умолкнувшими, погасшими окнами.

Вдруг Туйен остановилась.

— Вон опять летит тот самолет!

За рекой в посеребренном луной небе моргали зеленый и красный огоньки. Гудок паровоза, долетевший с моста Лаунг-биен, заглушил гул самолета.

Лыонг обернулся. Туйен глядела на него. По лицу ее стекал лунный свет, черные глаза — глубокие и влажные — не то смеялись, не то пла-

* Улица в Ханое, недалеко от въезда на мост Лаунг-биен. В старину здесь жили крестьяне, продававшие бобы, горох и т. п.

** Улица в северо-восточном районе Ханоя, идущая под углом к берегу Красной реки. Когда-то здесь была деревушка, жители которой обжигали известь и торговали углем.

*** Высокое дерево, цветущее красными цветами; в плодах его содержится мягкое волокно, напоминающее хлопок.

кали. У него остановилось сердце. Он понял, что любит Туйен еще с того, самого первого дня. Он взял ее за руку.

— Туйен,— прошептал он.

— Да...

Голос ее прервался, и она спрятала лицо у него на груди.

Они молча стояли в тени капока, не решаясь сказать ни слова, позабыв о времени. Мимо проехала автомашина, и они, очнувшись, зашагали дальше по улице.

Лыонг обернулся и поглядел на реку. Зеленый и красный огоньки перелетели над ней и утонули в темных вершинах капоков, закрывших половину неба.

## XI

Шау и Доан вернулись из санатория в один день. Ногу Шау залечили, но все-таки он заметно прихрамывал и не мог бегать. Назавтра же оба ушли в тренировочный полет. Пока Шау медленно, с трудом взбирался по стремянке в кабину, стоявший рядом Лыонг с тревогой поглядывал на него и потом внимательно наблюдал за его полетом. Шау летал отлично.

Приземлившиеся один за другим «МИГи» еще не выключили моторов, а Лыонг и Тоан уже бежали навстречу друзьям. Они обнялись, громко крича и хлопая друг друга по спине.

— С моей ногой,— смеясь, сказал Шау,— в небе теперь удобнее, чем на земле!

Дни сменялись чередой, прокаленные жарким солнцем. Но утром и вечером стало уже прохладнее. На полях вокруг аэродрома золотились полотнища зреющего риса. Наступала осень.

Самолеты Седьмого флота бомбили пригороды Хайфона и обстреливали ракетами заводы и фабрики портового города. Противник крупными силами атаковал промышленные районы и густонаселенные центры Винь, Тхай-нгуен, Уонг-би*, Нам-динь, Виет-чи... города, которые десять лет назад, после той войны, лежали в развалинах — и были отстроены заново! Теперь их опять разрушили! А кто знает, сколько маленьких городов в провинциях и уездах, сколько мирных хуторов и деревень подвергались варварским бомбардировкам и обстрелам?! Под силу ли кому-нибудь сосчитать, сколько раз падала на них с неба черная смерть?! Пролетая над разбомбленными местами, Лыонг угрюмо стискивал зубы. «Ненасытностью и звериной злобой янки затмили всех прочих захватчиков, веками вторгавшихся в наши пределы. Но и они, как те, чьи несметные орды топтали нашу землю, рухнут и рассыплются в прах!.. Они обречены, хотя и не в силах уразуметь это!.. В каждом доме, превращенном ими в груды кирпича и битой черепицы, таится сердцевина из стали, которую никому не согнуть и не изломать!..»

Бывало, в сумерках, когда он, отогнав стервятников, возвращался вместе с друзьями «домой», видно было, как внизу, на утопавшей во мраке равнине, зажигались над городами озера света, а по дорогам бежали вереницы автомобильных огней, словно бесконечные звездные четки. «Вон вдали светятся Ха-донг и Фу-ли, правее — Шон-тэй, еще дальше, впереди,— яркие блики: Бак-зианг**; а там, на горизонте,—

---

* Винь — крупный промышленный город, центр провинции Нге-ан; Тхай-нгуен — провинция и административный центр на севере от Ханоя, где недавно был построен большой металлургический комбинат; Уонг-би — город на востоке ДРВ, энергетический и промышленный центр.

** Ха-донг — провинция и административный центр к юго-западу от Ханоя; Фу-ли — город в провинции Ха-нам, к югу от Ханоя, почти совершенно разрушенный американскими самолетами; Шон-тэй и Бак-зианг — провинции и административные центры к западу от Ханоя.

электрическое зарево над Ханоем... На земле, где еще не рассеялась пороховая гарь и поднятая взрывами пыль, по ночам мы зажигаем свет...»

Летчики Четвертой эскадрильи буквально не выходили из боя, как и другие эскадрильи, как солдаты, ополченцы и партизаны, державшие фронт на земле, как паромщики, лодочники, шоферы, как парни и девушки из молодежных ударных бригад, восстанавливающих дороги и переправы, как рабочие у станков, как шахтеры в забоях и пахари на полях, как рыбаки в море и лесорубы в джунглях — как все люди Вьетнама, воюющие и работающие без устали. И как все они, летчики изо дня в день делали, казалось бы, невозможное, дрались с противником, превосходившим их вдвое, втрое, а иногда — и вдесятеро. Всякий раз, сбивая очередную вражескую машину, они чувствовали себя счастливыми; счастливы были они и когда под угрозой их пушек мечущиеся стервятники сбрасывали на пустые, безлюдные холмы бомбовой груз, предназначенный для городских площадей и сельских улочек, для школ и детских садов.

В одном из воздушных боев они встретились с Баном. Он привел с другого аэродрома свою эскадрилью на перехват неприятеля. В тот день они рассеяли и отогнали шедших волна за волной «громовержцев», которые с бомбами на борту пытались прорваться к столице.

Под вечер командир полка Тхуан приехал на аэродром проверить, как идут тренировочные полеты. После совещания он присел на траву рядом с друзьями. Первая пара «МИГов», грохоча, вышла на взлетную полосу. Тхуан проводил их взглядом и вытащил из кармана сложенный вчетверо лист «Нян зан». Быстро проглядывая газетные столбцы, он вдруг расхохотался:

— Вот это да! Взгляните-ка.

Летчики склонились над газетой. Там была перепечатана статья из «Нью-Йорк таймс» об американцах в Южном Вьетнаме.

«Повсюду в любое время наши солдаты ожидают, что каждый шаг может стать последним в их жизни. Споткнувшись о какой-то обрывок проволоки, они могут вдруг провалиться в утыканную железными или бамбуковыми остриями волчью яму, и острия эти часто пропитаны ядом. Стоит солдату задеть другую еле заметную проволоку, и напряженная тетива самострела метнет стрелу прямо ему в грудь. Наступив на торчащий из земли ржавый гвоздь, он может подорваться на мине. В кармане висящей на стене крестьянской рубахи может быть спрятана адская машина. Взрываются даже статуи на алтарях. Предметы, кажущиеся заманчивыми сувенирами, могут обернуться смертельным подарком... Недавно около Да-нанга * один сержант морской пехоты, человек весьма осторожный и славившийся своею смекалкой, сорвал висевший у дороги на краю поля антиамериканский лозунг. Взрыв разнес его в клочья вместе с плакатом».

— Веселенькая статейка!

— А знаете, они сейчас серьезно обеспокоены нехваткой пилотов. Одно подразделение из восемнадцати «Ф-105», базирующееся в Таиланде, в течение месяца потеряло над Северным Вьетнамом пятнадцать машин и девять летчиков. Это, конечно, самый высокий показатель потерь, но по нему можно представить себе общую картину. И все-таки мы должны объективно оценивать обстановку. Противник силен и готовится нанести нам новые, куда более жестокие удары.

— Мы готовы их встретить, товарищ полковник!

Тхуан улыбнулся. На лице его, почерневшем от загара, улыбка показалась особенно сердечной и доброй. Он спросил Лыонга:

---

* Да-нанг — город в Южном Вьетнаме, где находятся важнейшие авиационные и армейские базы США.

— Как чувствует себя сестра?

— Рад доложить: ей намного лучше. Она уже встает и помаленьку ходит. Недели через две думает выписаться из больницы.

— Она молодец, здорово дралась. Я читал статью об ополченцах из Киеу-шона. Видя такой героизм народа, невольно чувствуешь гордость, но он и о многом заставляет задуматься. Ведь это нам с вами партия доверила самое мощное оружие!

— Говорят, ты возводишь брачные чертоги?— улыбнулся Тхуан.

— Ага,— буркнул Лыонг, залившись краской.

— Ну, а день уже назначил?

— Мы об этом еще не думали.

— Ничего, подумайте. Напиши, пускай приезжает сюда вместе с Дао. Если надо будет чем-то помочь, мы тебе — и родня, и сваты.

Предложение полковника растрогало Лыонга. Для него, потерявшего родителей, полк и вправду стал и семьей, и домом.

Два серебристых самолета выписывали в небе сложные фигуры, оставляя за собой закрученный белый след. Предзакатные лучи золотого осеннего солнца заливали аэродром. Вдали на полях среди желтых колосьев созревшего «трехлунного» * риса поблескивали сплетенные из пальмовых листьев конические шляпы крестьян. Началась жатва.

Тоан, жевавший конфету, поднял голову и следил за разворачивавшимися в высоте машинами — они шли на посадку.

— Тревога!— поднял вдруг руку Доан.

Дежурное звено поднялось в воздух.

— Это звено Киена? — спросил Доан.

Шау кивнул.

Из дверей радиостанции торопливо вышел Кхай.

— Есть, встретили противника!

Политрук ходил взад-вперед около двери. Все прислушались. С радиостанции доносились как-то странно, будто нарочно в нос произносимые слова:

— Разворот вправо! Быстрее вправо! Не давайте ему уйти!

— Идите на сближение! Вплотную! Огонь!

Раздались непонятные прерывистые звуки. Потом все услыхали голос командира эскадрильи:

— Сбиты две вражеские машины!

Из дверей выбежал Фук:

— Какой бой! Вот это скорость! Все заняло меньше минуты!

Не останавливаясь, он побежал к газику, прыгнул в машину и, рванув с места, помчался по взлетной полосе.

На горизонте показались четыре «МИГа». Они приближались, поблескивая на солнце. Первая двойка пошла на снижение.

Из дверей радиостанции послышался неторопливый голос Тхуана:

— Сколько осталось?.. Проверьте безопасность...

Первый истребитель сел в начале дорожки.

Голос полковника звучал все так же размеренно:

— Пожалуй, слишком высоко... Хорошо... Очень хорошо!..

— Звено!— Шау встал:— Приготовиться к вылету!

Все четверо надели шлемы и побежали к полосе, где около вытянувшихся в линию истребителей разъезжали автозаправщики и тягачи.

---

* Сорт риса, созревающий в течение трех лунных месяцев.

ИВАН СКАЛА

# ЭТОТ ДЕНЬ

## Космические вариации

■

*Перевод с чешского*
*РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО*

### 1

Знакомо морякам: полоска пара
струится над агатом вод. Как вдруг
все видят близкий берег!
И хотя
над реями не пролетают птицы
и различима лишь полоска пара,
ты видишь берег с шумом и травой,
с мычаньем стад и запахами нефти,
с весной, с порывом девичьих волос.
И незачем придумывать слова —
на этом берегу их не услышат,
и снова — одиночество.

Гляди:
окно открыто солнцу, снизу в ветви
стучит весна, она возносит их
на крыльях первой зелени в пространство.
А над ветвями кровельщик шагает
по желобу. И очень неритмично
ровняет лист на крыше. В мире — утро.
И можно, высунувшись из окна,
еще заметить полосу тумана
щемящей повседневности. А ты
с небрежной легкостью стиха, который
дошел из ночи к людям, как из грота,
ты выглянул в окно и дышишь, дышишь.
И с каждым вздохом убывает ночь.

Какой-то Гёте, прячась в покрывало
из райских перьев, изучить мечтал,

чего достигнут чувства. Орион
скатился до названья шоколада.
В транзистор вжался духовой оркестр.
Ты — бабочкою на листе капустном
возносишься в мечтах к вершинам знаний.
И с каждым шагом ждут тебя открытья.
Ты заново осмысливаешь вещи.
Яйцо, к примеру. Или целый мир,
рождающийся утром из яйца.

А мир могуче льется на бумагу,
течет холодным голубым потоком,
раскидывает свой цветной базар,
наводит глянец на пустые окна
и на историю плюет. А ты
смысл даже там ищи, где нету смысла.

О, если мы историю познаем,
как этот кровельщик свою работу,
когда он широко идет по крыше
и молотком легко ровняет желоб,
чтоб к нам с тобой вода не протекала.
О, если мы сумеем так, как он,
хлеб разделить на всех, то наши ночи
имеют смысл. Неповторимый мир
могуче льется на твою бумагу,
течет холодным голубым потоком,
раскидывает свой цветной базар,
наводит глянец на крутые окна.
Ты смысл ищи. Все время смысл ищи.
Пусть каждый день — как новая атака.

Весна возносит ветви вверх. И солнце,
как будто позолоченный рогалик,
к рукам прильнуло: откуси меня!..
И кровельщик над крышею. И ты
с мелодией наивной и звучащей
идешь — искатель головокруженья,—
на целый шаг, а может быть, и больше,
опережая кровельщика. Так
вел Леонардо кузнеца однажды
по утренней Флоренции, где сладость
ему под крылья хлынула и где...

Здесь пропасть. Дна у пропасти не видно...

Об музыку спокойствие разбилось.
Ты, накрепко привязанный к планете
веками, жизнью и едой,— смотри:
апрель. Двенадцатое. Ровно десять.
Вот — солнца позолоченный рогалик.
Пар лезет из корзины овощей.
Та самая минута: виден берег
в неведомом! Плывет он невесомо
над нашей головой! И звезды ближе
с минуты этой. И душистым сеном
запахла в небе звездная копна.

И ты в нее уже готов зарыться,
упасть в нее. Смотри: по склону крыши
шагает кровельщик. Он очень занят.
Преодолев земное притяженье,
он очень хочет, чтобы к нам вода
не протекала. Мусорщик внизу
кричит о том, что сгнило в наших ведрах.
И мы, в углу шуршащие с авоськой
удобных недосказанностей, мы,
привыкшие то верить, то не верить,
считаем тупо мелочь. А над нами —
такими временными и такими
неумолимо смертными — летит
правдоподобный человек! Наверно,
ведет дневник, в наушники уйдя,
и пьет лимонный сок, и отгоняет
шмелиное жужжанье глупых песен.
Нам кажется: он — в том же измеренье.
В наушниках потрескивает. Это
откалываются тугие щепки
истории!
А в этот самый час
в дорогу вышла из дверей детсада
серьезная процессия. Попарно.
Торжественная группа, силуэт
грядущей солидарности. А мы
для этого содружества, в котором
единственный и вечный цвет мечты,
которое забрасывает в космос,
как в омут, ослепительные зонды,—
мы для него пока что только зреем.
Апрель. Двенадцатое.
Снизу в ветви
стучит весна, она возносит их
на крыльях первой зелени в пространство.
А над ветвями кровельщик шагает,
по желобу стучит он, чтобы к нам
вода не протекала. И никто,
почти никто не замечает руку,
играющую с кнопкой катастроф.
И ты с небрежной легкостью стиха,
похожего на непонятный грот,
ты воспеваешь головокруженье...
А звезды — рядом! Звезды очень близко...

История — всего лишь капли пота
на лбу у человека.

## 2

Все на своих местах: кровельщик, город, потоки
солнца в окне напротив.
Подкова, прибитая прямо к порогу.
Как карта, которая запросто помещается на ладони,
карта Земли,
куда перелетные птицы находят дорогу.

Вчера еще где-то рядом проходила мира черта.
Эта аллея в предместье и дерево возле дома.
Листья, кружась и падая, отмеряли наши года.
Точнее опавших листьев ты не найдешь метронома.

Все на своих местах: овощи странной величины,
город серою пахнет и дымом пожаров крошечных.
А над деревьями плещется зеленое знамя весны.
И где-то стучат молоточком. Это работает кровельщик.

А здесь толпятся плакаты и окна сном замело.
Сон зарылся в подушки, вздрагивая незаметно,
как мотылек, который вылетел из метро
и мечется в солнечном вихре весело и предсмертно.

Вчера еще где-то рядом проходила мира черта.
Эта аллея в парке и дерево возле дома.
Мы казались себе сложившимися,
мы были другим не чета.
Прозрачными, будто призма,
бесспорными, как аксиома.

Все на своих местах: реки текут трепетно.
Катится время. Пекари колдуют над хлебом.
И вдруг ты в себе обнаруживаешь
столько замшело-древнего,
что его невозможно спрятать,
занавесить дырявым небом.

Мостовая, как после потопа. То, что осталось
после наших аварий, после бегства от близкой расплаты,
оседает, как сажа, застывает глиной, желтеет, как старость.
Металлические минуты осыпаются с циферблата.

Бьют часы. Но, скажите, разве это беда?!
Звезды восходят, падают. Тучи хмурятся.
Мой размер у жизни!
Полосатый свитер молодости навсегда
остается знаменем этой незабываемой улицы!

Вчера еще здесь кончалась Вселенная.
А сегодня в космосе
человек несет мою тяжесть, под которой кряхтел я.
Человек несет мою тяжесть, просчеты, горести.
Перерос я отныне душу свою и тело.

Бьют часы. Духовые оркестры кулаками в стекла стучатся.
Дети идут из детского сада. Гуськом. Деловито и просто.
Идут по земле. Но уже готовы от земли оторваться,
для того чтобы искать ответы,
задавать головокружительные вопросы.

Все на своих местах: город, медленная струя
солнца,
подкова, прибитая прямо к порогу.
Вслед за тобою, Фауст, жилье покидаю я
и начинаю искать, как ты, свою космическую дорогу.

## 3

Звезды, звезды, я распахиваю историю, как объятья,
светите упрямо.
Вы — свидетели наших начал и гибелей — будьте на месте.
Открываю окошко в ночь, открываю гигантские рамы
над пропастью космоса, над пропастью тротуара предместья.

Я один в окне. Я сжимаю листочек липы.
Здесь кончалась Вселенная. Дерево ветками машет.
Жилки липовых листьев трепещут, как струны лиры.
Листья тихо шумят — метроном непрочности нашей.

Где ты, молодость, с дармовыми конями, с попонами черными,
с запахами приключений и утренним клевом?
Где эта радость? Где крикуны увлеченные?
Детство — по горло в душистой траве, в вихре зеленом.

Я вязну в этой душистой траве, в настое густом.
Я в памяти сохраняю рассветы летние, ранние весны.
И ласточки, прилетая из детства, бросают ко мне на стол
каждый вечер первые звезды.

До сих пор у меня в глазах цветные стеклышки детства.
Сохранить бы мудрость детей,
ту, которая взрослым претит.
За спиною — сквозняк. Рука сползает на сердце.
Как время летит! Как все-таки время летит!

Я один в окне. Сигарета летит метеором моих бессонных
ночей.
По такой же дуге упала звезда, только чуть в стороне.
Это что? Пылинка?
А может, сигналит далекий, ничей
континент долгожданный, еще не приснившийся мне?

Два метеора летят в арабеске, любуясь собой.
Белою костью — луна над двумя огоньками.
Что же, твоя история закончится мрачной доской?
Что же, твои дороги упрутся в надгробный камень?

Ночь испаряется. И, хотя ей противно длиться,
она собирается в нишах, рассвет не принявших.
Все еще месяц рисует посмертные маски на лицах.
Он — свидетель наших начал. Он — свидетель гибелей наших.

Что ж, суждено мне каплей барахтаться в ливне?
Стать пылинкой космической?
Пылью лечь на земле?
Что же я — червь, копошащийся в мертвой глине?..

Два метеора гаснут в просторной мгле.

Ты привязан к планете жизнью, едою.
И этим отмечен.
Облик твой отпечатан на всем, что живет,
что спешит и медлит.
На тебя наслоилось время. Ты тяжелеешь, но становишься
меньше.
Это — удары ночных тревог, никому не заметных.

Малый рачок, умерев, оставил в мелу свой след.
Нам — всем вместе и каждому — надо оставить свой.
Мы, как шахтеры, себя откапываем
с усердием много лет —
даже когда бродим по улице с кружащейся головой.

Как мы искали вечность! В каком разгуле, размахе!
Как глушили отчаянье бешеным водопадом вина!
О, детское сердце, склоненное над чистым листом бумаги!
Наивное сердце, простое, как первая седина.

Как мы искали вечность!
А она
сама нас искала в наших смятенных снах,
раздвигая тьму.
В каждом усилии, которым мы жизни платили сполна,
в том, что я унесу в своем сердце,
в том, что я на плечах подниму.

Вот во что твоей хрупкости суждено воплотиться.
Это — невидимый лавр на челе.
Ощутить его не дано.
То дело, которым ты будешь и после смерти светиться,
как светятся звезды, погибшие давным-давно.

Я наклоняюсь над пропастью неба, я вглядываюсь в него.
Звезды — как угли костра разбросанного, мерцаньем полны.
А под ними благоухает земля, и нет ничего
головокружительней запаха долгожданной весны.

Я наклоняюсь над пропастью неба. Печальна густая
россыпь.
Весна возносит ковчег земли над звездным огнем.
Все это таинственно, как химия хлорофилла,
как интоксикация розы,
которая проникает в сердце и буйствует в нем.

Чем дальше Земля,
тем ближе Земля.
Чем ближе к звездам, тем ближе дорога, сулящая счастье,
дорога, по которой идти человеку ввысь
и потом возвращаться!

## *4*

Парни, парни с первой синевой под глазами,
несмелые поклонники ангины пекторис,
как мы вырвались из подвалов войны! —
(нас война до сих пор сотрясает).
Как мы в ней горели когда-то, к жизни готовясь!

Парни, парни, вы молоды,
но только однажды вам по-настоящему двадцать.
И вы верите в мир без обмана.
Вам прозрачно живется.
Рука — на сердце. Как время летит!
Куда от него деваться?!
И кто-то смеется сзади. Кто-то смеется.

В горле клокочет майский полдень, грудь колесом.
Ты бежишь по Праге, которая лично тобою выстрадана.
А голова под отцовской фуражкой легкая, как день,
как сон,
как твой парабеллум после последнего выстрела.

Ах, этот сон! Ночи с вервольфом, пустынные мостовые.
И ты глядишь на улицы, по которым
мы завтра пройдем спокойно,
пройдем, не прячась впервые,
в мир, для новой жизни почти готовый.

Ах, этот сон! Ликованье? Еще какое!
Надежда наивная, твердящая увлеченно,
что завтра все будет в полном порядке, в покое,
что белое будет белым, а черное — черным.

Ах, этот сон! Мгновения чистые и простые,
единым, настойчивым ритмом преображенное тело.
И радость, которая до сих пор не стынет.
И сознанье того, что ты нужен, что делаешь дело...

Парни, парни, вы молоды,
но только однажды вам по-настоящему двадцать.
И вы верите в мир без обмана. Вам прозрачно живется.
Но вот и ваша рука на сердце. Как время летит!
Куда от него деваться?!
И кто-то смеется сзади. Кто-то смеется.

Ах, этот сон! Суматошная жизнь.
Вонзилась газета в судьбу твою.
Ты в кухне продутой на книгах лежишь.
Совсем один. И все же — в строю!

Впервые дочка о чем-то спросила.
Ты — в кипе студенческих чертежей.
Потом заметил, что очень красивы
у дочки раковинки ушей.

Как время летит! Как время летит!
Рука — на сердце. Кому-то смешно.
Далекого прошлого не возвратить.
Нам было двадцать давным-давно.

Ах, этот сон! Приблизьтесь, года!
Ладонь — в холодке родниковой воды.
Сосны, гудящие, как провода.
Плотины и медленные мосты.

Ах, этот сон! Ликованье? Еще какое!
Наивная вера, и мысли, выстроившиеся парадно.
Надежда на то, что правду можно погладить рукою.
Что ее искать не придется — вот она, правда.

Кто-то опять смеется за твоей спиной.
Рука — на сердце. Как время летит! Как стареют легенды!
Где же вы, колоратуры поры ночной?
Игроки в свои берцовые кости, собственные апологеты?

Парни! Мы выбежали из искрящейся ночи в конце февраля
И вот мы здесь. Немного усталые. Но как же иначе?
Под глазами мешки появились.
Каменеет аорта, как сухая земля.
И сердце с каждой неделей все больше значит.

Дымишь сигаретой меж парой строк,
меж двумя ударами молота.
Ты не слишком пользовался летним небом, несмотря
на усталость.
Но ты умеешь мечтать.
Особенно если на тебя не смотрят.
Тогда оглянись. Ведь в прошлом твоя частица осталась.

Наверное, мы упустили что-то.
Наверное, многого нам не хватает.
Где-то в подсчетах ошибка, арифмометры ее не заметят.
Мы жили, пришпорив время, боясь, что оно опоздает.
И этого беспокойства нам ничто не заменит.

Во рту горчит от прошедших радостей,
прозрела вера от ветра позднего.
И сколько раз в душе твоей таяла гололедица тусклая!
Грузные фразы, окаменелые от частого пользования,
человек, как геолог, обходит,
молоточком простукивая.

Жизнь смывает краски легенд,
надменную славу фресок слепящих.
Но только сам ты обязан, парень, заглянуть в самого себя.
Человек не бумага. Его не подпишешь. Не подошьешь.
Не спрячешь в ящик.
Да и правда, чего от меня тебе прятать?
Что прятать мне от тебя?

Что прятать? Вечера, обращенные к миру спиной?
Вопросы, остывшие и от этого ставшие лживыми?
Довольство, которое вдруг оказалось изменой сплошной?
Душу, перечеркнутую автомобильными шинами?

Нет, нет, это — сон. Цепляясь за каждое слово,
мир разбивается, соединяется. Продолжается жизнь.
Она — поразительно старая вещь. Даже в том, что ново,
есть ипохондрия, сомнения и мелочный эгоизм.

И все же не будет ходить человек в нарядном костюме радуги,
каждый день он по собственной воле засучивает рукава.
И это — ярче радуги. Это — выше радости.
Это значит, что счастье есть. И что слава жива.

Парни, не упустите свою сирень и свои вечера!
Не упустите зелень весны —
ведь она огня горячей,
На земле кровенеют язвы. Земля предельно стара.
И все-таки в ней существует трепет
двадцатилетних очей!

## 5

В ночи пылает мое окно. Как луна, пока ее не сожрет темнота.
Луна повисла на нитке дыханья, для всех сквозняков
открытая.
Я — зернышко в человечьей Галактике. Совесть моя чиста.
Под окошком парни играют в мяч.
Улица машет крыльями.

В антеннах и нервах пульсирует мир.
Искрится и движется все вокруг.
Земная звезда возвращается к нам.
Дерево вздрагивает, развесясь.
У дерева наш, человеческий ритм, дерево — плод человеческих
рук.
Оно похоже на метроном, отмеряющий нашу вечность.

На заборах шуршат плакаты, перепутались ленты счетных
машин.
Кричат берберские женщины.
За стенкой дочь твоя спит тревожно.
Пожалуй, она ошиблась столетием.
По старинке пускает волчок, познавая жизнь,
и ничего о смерти не знает. И все ей понятно. И многое можно.

Ночь — из агата. Но еще минуту назад
по моей космической трассе, по моему тротуару,
не замечая трезвости взрослых, войдя в азарт,
вокруг своих внутренних солнц кружились юные пары.

Их шепот слился с космическим гулом,
он то далеко, то близко.
Он переливается через горы, омывая землю за пядью пядь.
А кругом весна в фанфары трубит!
Весна полна зеленого писка.
И этот писк облетает землю и возвращается к нам опять.

Посмотри на ребят, незнакомых, новых. Им нет нужды
никакой
собирать себя из обломков,
из которых мы себя собирали,
раздробленные гранатами, предательствами и тоской.
В чем-то они беднее нас. Но зачем им читать морали?

Они знают Эйнштейна, Бредбери, и в разгаре летней поры
мчатся через пороги на байдарках в веселом поту.
От нас — непонятных и твердых, как каменные топоры,
от нас — поседевших, как застывший туф.

Вот они прибавляют газу — и, смотрите: едут!
Их никто не пытается удержать,
даже если где-то в конце они разобьются.
И поэт, будто мотоциклист, развозит стихи по белому свету,
с толпою переживает полет,
не считает дней, что ему остаются.

Парни, шумящие на тротуаре до ночи, до звездных ее
светлячков,
бредящие одним футболом, мечтающие в нем отличиться.
Они обладают чувством берега, чувством вернувшихся
моряков.
Они мудры, будто фараоны, не знающие, что через час
случится.

Вот они прибавляют газу — и, смотрите: едут!
Их никто не пытается удержать,
даже если где-то в конце они разобьются.
Где пронзенные щиты Ахиллеса? Где фиал Ганимеда?
Нет, не надо старческих страхов, над которыми парни
смеются!

Весна работает в каждом из нас, вложив, будто детонатор,
в любого свои любопытные пальцы, свой нескромный вопрос.
На все ли ты знаешь ответ? Нет. Притворяться не надо.
Не спрашивай нас, весна, если хочешь спросить всерьез.

Вытоптанную траву земля опять выпрямляет весной.
А мы из грязи вырываем землю, которая тоже вытоптана.
Иначе дикая Пенелопа разрушит, кичась новизной,
все, что мы за десятки лет выстрадали и выработали.

Жизнь разбросает нас по дорогам разных достоинств и
измерений.
Эта привычная, обветшалая хитрость миру долго не надоест.
Разорвем же громокипящие манифесты всех поколений.
Оставим один общий — Коммунистический манифест.

Земле законов движения в космосе, конечно, не избежать.
Но для нас она — центр космоса,
хоть в науках мы разбираемся.
Землю мы должны сообща на своих плечах продержать.
И, может быть, с этим справимся. Может, справимся.

Смотрите, юные Птоломеи: садовая ограда загадочная
отделяет вытоптанный луг от поля,
имя которому — целый мир.
За ним — человечья Галактика.
Ваш мяч туда иногда закатывается.
И все это мы должны застроить, расчищая собственный разум
от мин.

Весь вечер рядом легонько что-то постукивает.
Это почки лопаются от весеннего росчерка.
Стучат, перебивая друг друга, сливаются, не раздумывая,
сигналы из космоса, сигналы сердца и удары кровельщика.

Сто раз еще придется тебе преодолеть страха волну,
надежду старую новой надеждой сто раз придется преодолеть.
Ты не старайся меня упрекнуть. Тебя я вряд ли в чем упрекну.
В бою все решалось гораздо легче.
Но я не буду об этом жалеть.

Твой мячик, двадцатилетний парень, порой разбивает
стекла в домах.
Но если завязнешь ты, найдутся руки, которые помогут тебе —
уверяю!
Тебе — с твоим легковерьем, с твоей безрассудной верой
в размах.
Твое безрассудство памятью о своем безрассудстве я
проверяю.

Никто для нас не построил автострад, парящих над облаками,
по которым мы зашагаем, насвистывая, в готовое завтра.
Это самое завтра из любви и гнева
мы будем замешивать потрескавшимися руками.
И сто раз дрожать за него,
среди ночи просыпаясь внезапно.

Ты не старайся меня упрекать. Тебя я вряд ли в чем упрекну.
В бою все решалось гораздо легче.
Но я не буду об этом жалеть.
Сто раз еще придется тебе преодолеть страха волну.
Надежду старую новой надеждой сто раз придется
преодолеть.

Я хочу увидеть тебя прекрасным, как весеннее дерево.
С несовершенством твоим примириться я не смогу.
Ведь без тебя потеряет смысл все,
абсолютно все, что я делаю.
А нежность, которая не высказана,
я на потом сберегу.

Мы с тобою — мост над пропастью посредине лавин и гроз.
Я петь учусь у тебя. Учись у меня стискивать зубы.
Я учусь у тебя задавать вопросы, а ты учись радости,
с которой я рос.
Мы вывезем на себе этот мир из гибельного безумья.

Для этой радости и работы
объединим мы нашу судьбу.
Ведь история — капли пота
на человеческом лбу.

И когда однажды мою секундную стрелку осень сожмет
сырая,
когда в моем горле нежданно застрянет маленькая косточка
дыханья,

ради всего, что я так люблю, ради всего, что я так презираю,
я еще раз в глаза твои загляну, затихая.

Снова бьют часы. Разве это беда! Разве в этом беда!
Единым вздохом я вбираю в легкие
весь мир от юга до севера.
Весна зеленеет. Остается молодость молодой навсегда,
вымеренной для будущего ударами нашего сердца!

*Апрель 1961 — апрель 1962.*

ГОР ВИДАЛ

# ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ

РОМАН

*Перевод с английского*
*В. СМИРНОВА и А. ФАЙНГАРА*

## Глава первая

### I

Гроза бушевала над домом. Темные диагонали дождя падали на лужайку. Порывистый ветер сгибал ивы, рвал кусты сумака, потрясал вязы. Центр грозы был теперь так близко, что вспышки молний и раскаты грома почти совпадали во времени, разрывая тьму, сокрушая безмолвие. На какое-то мгновение копья, трезубцы, змеиные жала голубого огня выхватывали склоненные деревья, нити проливного дождя и черную стремнину реки у подножия холма, на котором стоял дом.

Питер Сэнфорд, укрывшись под вязом, размышлял о том, какие у него шансы быть убитым молнией. Отличные, решил он, когда три языка огня, переплетясь между собой, исчезли среди деревьев в дальнем конце лужайки и через мгновение раздался удар грома. Слишком поздно заткнул он уши: голова болезненно загудела от страшного грохота.

Тут ветер переменился. Теперь дождь бил ему прямо в лицо. Он прижался к стволу дерева и, сощурясь, смотрел, как псевдогеоргианский фасад дома возникает и исчезает в моментальных вспышках света, похожий на старую фотографию, расплывчатую и передержанную. В доме шел прием, и никто, видимо, не подозревал об изумительном хаосе за его стенами.

— Продлись! — крикнул Питер в небо.

Гроза продолжалась. Возбужденный таким послушанием, он вышел из своего убежища, широко раскинул руки и подставил дождю лицо. Наконец он стал самой природой, чем-то таким, чего следует опасаться в ночи.

Внезапно со звуком топора, расщепляющего дерево, голубая молния разорвала небо, бросив Питера в дрожь, окутав все его существо бесконечной звенящей паутиной. В воздухе запахло серой. Молния обожгла дерево неподалеку.

— Давай! — крикнул он очередному раскату грома.— Я вызываю тебя! Я здесь! Бей! — Но на этот раз лишь мрак да завывание ветра были ему ответом.

Цепь власти оборвалась, он уже не был богом и потому, как Люцифер от смертоносного света, бросился наутек через лужайку. Набрав полные туфли воды, он бежал, как во сне, в котором никогда не удается оставить позади преследователей. Медленно, с трудом переводя дух, прошлепал он мимо мраморной Венеры и гипсового Пана и дальше, вниз, по мелким ступенькам — к бассейну. Здесь он остановился и снял туфли.

Босиком подошел он к купальне. Дверь в мужскую раздевалку была открыта, в темноте звучала музыка: кто-то забыл выключить радио. Когда он шагнул внутрь, молния осветила мужчину и женщину, сплетенных на резиновом матраце, как борцы в решительной схватке. На мужчине были только туфли и носки с расстегнутыми подвязками. Лиц не было видно. И как только погасла молния, исчезло и видение.

Он стоял под дождем, не в силах двинуться с места, не зная, были любовники реальностью или просто порождением молнии, исчезнувшим вместе с ней. Но холодный дождь был реальностью, как и внезапный слабый стон из раздевалки. Он бросился бежать.

Он вошел в большой дом через заднюю дверь. В дальнем конце мрачного коридора, пропахшего мясными тушами, виднелась кухня, квадратная белая комната, полная тепла, света и крика: повар-француз отчитывал свою помощницу-шведку. Никем не замеченный, Питер по задней лестнице поднялся на второй этаж, как вор, открыл звуконепроницаемую дверь, отделявшую помещение для слуг от основной части дома, и кинулся через лестничную площадку в свою комнату, расположенную прямо над главной лестницей. Здесь он остановился, точно надеясь в безотчетном упрямстве, что его кто-то увидит: «Где ты был? Ты весь мокрый!» Но никто не появился, и он беспрепятственно вошел в спальню, закрыл за собой дверь и повернул ключ: наконец-то он в безопасности.

Скинув с себя мокрую одежду, он принялся растираться полотенцем, стоя перед зеркальной дверью в ванную, затем переоделся в белый костюм, точно такой же, в каком был раньше, за обедом. Никто не должен знать, что он выходил на улицу, и прежде всего — любовники, которые наверняка присутствовали на обеде или пришли позже. В любом случае он будет теперь безжалостно выслеживать их, как полицейский инспектор в «Отверженных». А когда найдет...

Питер Сэнфорд вошел в гостиную в тот самый момент, когда его отец собирался произнести тост.

— Итак, прошу тишины! Этот тост я поднимаю за победу.

Блэз Дэллакроу Сэнфорд, высокий, смуглый, неулыбчивый, произнес это с резким акцентом выходца из Новой Англии, неприятным не только для ушей южан, но и его собственного сына Питера, который говорил на мягком наречии Вашингтона, округ Колумбия, с его плавными протяжными гласными и быстрыми сливающимися согласными. Но Блэз Сэнфорд мог говорить хоть по-латыни, его все равно слушали бы почтительно: он был чрезвычайно богат. Дед его одевал в хлопчатобумажные ткани женщин западных штатов и благодаря этому смог оставить состояние отцу Блэза, ленивому и меланхоличному человеку, который удвоил его, случайно вложив деньги в нужную железную доро-

гу. Выведенный из равновесия такой удачей, он уехал из Америки во Францию и обосновался в Сен-Клу, где в меру своих сил и возможностей наслаждался Belle Epoque *; но сладкая жизнь длилась недолго: однажды во время верховой прогулки он выпал из седла на рельсы как раз в тот момент, когда по ним проходил «Голубой экспресс», придавший, как говорили острословы, особый смысл стилизованному локомотиву, которым он украсил фамильный герб Сэнфордов. Как только Блэз унаследовал отцовские деньги, он возвратился в Соединенные Штаты с явным намерением прибрать к рукам эту бесшабашную и, похоже, сбившуюся с пути Республику.

Блэз купил чахлую газетенку «Вашингтон трибюн» и превратил ее в процветающее издание, главным образом благодаря тому, что проявлял бесстрашие там, где другие, с меньшим доходом, вынуждены были держаться скромнее. Он стал политической силой. На виргинской стороне Потомака построил особняк в георгианском стиле, назвав его Лавровым домом. Здесь он принимал сенаторов и министров, членов Верховного суда и дипломатов — великих и богатых, живых, а имей он над ними власть — созвал бы и мертвых. Даже могущественные провинциальные политические боссы, кичившиеся грубоватостью манер (красные подтяжки, рубашки без воротничка, ковбойские сапоги: каждый играл в простонародность на свой лад), охотно поступались своими причудами ради визита в Лавровый дом, ради того, чтобы приобщиться хоть ненадолго к магическому кругу, который был истинным политическим центром Вашингтона. Если Париж стоил мессы, то Лавровый дом стоил обеденного смокинга.

Питер восхищался отцом, но не любил его, так же как он любил свою мать, но не восхищался ею. В это время года, начиная с июня, когда их отпускали из школы, он играл в бога, который разглядывает окружающих через подзорную трубу, только с другого ее конца. Фигуры соответственно уменьшались в размерах под его испытующим взглядом, однако мир взрослых всегда был для него загадкой, особенно люди, собиравшиеся в гостиной отца. Они будто разыгрывали какую-то шараду, известную им, но не ему; иногда Питеру казалось, что он проник в их мысли, но всякий раз происходило какое-то странное смещение, и загадка оставалась загадкой.

Блэз стоял в центре комнаты, прямо под люстрой с тремя хрустальными перьями — эмблемой принца-регента, всегда объясняла миссис Сэнфорд тем, кто восхищался ею.

Питер присоединился к гостям, которые толпились вокруг отца, точно волки вокруг овцы. Нет, решил он, точно овцы вокруг волка, готовые повиноваться хищнику. Этот аспект игры Питер понял давным-давно. Блэз был богат, другие — нет. Но мысли о деньгах не занимали его так, как то, что он увидел в раздевалке. Видение возвратилось. Он оглядел комнату, пытаясь определить, здесь ли любовники. Если нет, то кто же отсутствует?

Стол был накрыт на двадцать персон; позже явилось еще двенадцать пар — обычное для Лаврового дома смешение политических деятелей, дипломатов и гостей из далекого мира — Нью-Йорка. В приподнятом настроении некоторые из самых знатных мужчин и блистательных дам разговаривали и смеялись, быть может, чуть слишком громко; его отец, однако, водворил тишину.

— У всех есть бокалы? У вас, Бэрден? Нет? Черт возьми! Дайте бокал сенатору Дэю. Он же виновник торжества!

Лакей налил сенатору Дэю бокал шампанского.

---

* Блистательным веком *(франц.)* — имеется в виду конец XIX в.

Джеймс Бэрден Дэй более чем кто-либо отвечал представлению Питера о классическом сенаторе Древнего Рима. Седой и внушительный, Бэрден Дэй двигался с сознанием собственного достоинства, которое не столько внушало трепет, сколько забавляло. Просияв, он высоко поднял свой бокал. Хотя он улыбался вежливой улыбкой дипломата, глаза его смотрели так, будто он только что увидел на стене день и час своей смерти,— эта угрюмость казалась особенно привлекательной Питеру, который был не чужд мелодрамы и только прошлой зимой прочитал Эдгара По.

— Я не хотел бы приписывать Бэрдену всю заслугу...— начал Блэз.

— Естественно,— перебила его жена. Мягкость и приветливость Фредерики Сэнфорд позволяли новым знакомым чувствовать себя здесь как дома; каково же было их удивление, когда обнаруживалось, что Фредерика не только наделена острым языком, но буквально не выносит заминки или паузы в чьей-либо речи. Она была мастером неожиданных реплик — меткое словцо действовало как камень, пущенный из рогатки. А потому те, кто жил с ней, превратились в отличных говорунов, которые никогда не мешкали в поисках слова, боясь, что она вставит совсем не то, какое нужно.

Блэз продолжал говорить, пропустив мимо ушей реплику жены. Питер тем временем оглядывал комнату, желая установить, кто же отсутствует. На диване сидела дочь сенатора Диана Дэй, чьи ноги, ему показалось на мгновение, он видел при вспышке молнии. Нет, не может быть. Диана слишком застенчива. К тому же она такая некрасивая, не пользуется косметикой, а волосы у нее похожи на перья коричневой курицы.

— Но Бэрдену, мне и еще нескольким принципиальным людям...

— Ура! Ура! — откликнулась гостиная.

— ...Нам удалось обуздать нашего достопочтенного президента, этого пройдоху Франклина Делано Рузвельта!

Шумное одобрение и крики. Большинство гостей являлись врагами правительства, хотя, по обыкновению, пришло и несколько сторонников Нового курса, жаждавших показать Блэзу Сэнфорду, что рога у них съемные, копытами их наделила только молва, а жажда славы столь же неутолима, как и у всех прочих.

— Это большой день для нас. Для страны. Для нашей системы правления. Мы должны его запомнить. Двадцать третье июля тысяча девятьсот тридцать седьмого года.

— Двадцать второе июля, дорогой.

Блэз бросил на жену сердитый взгляд, но тут же рассмеялся. Как всегда, засмеялись и остальные.

— Я едва не заставил всех запомнить совсем не ту дату. Что ж, двадцать второго июля тысяча девятьсот тридцать седьмого года в сенате Соединенных Штатов был навсегда похоронен законопроект президента, направленный на реорганизацию Верховного суда и подрыв конституции. А это значит, что диктатуре, о которой мечтает мистер Рузвельт, поставлена по крайней мере временная преграда. И за эту отсрочку мы должны благодарить Бэрдена Дэя и его Юридическую подкомиссию. Леди и джентльмены, за сенатора Дэя!

Все выпили с очень серьезным видом, так как в Лавровом доме политика принималась всерьез. Питер был уверен, что его отец говорит то, что думает, поскольку он сам верил именно в эти принципы. Никогда Питер не подвергал сомнению злодейство президента или добродетельность его врагов, из которых Бэрден Дэй был теперь самой значительной фигурой.

На тост ответил сенатор Дэй, проявив скромность, не показавшуюся Питеру естественной в человеке, который только сегодня утром унизил президента на виду у всего мира.

— Блэз, друзья... Я не хочу сказать «друзья мои».— Он умел с поразительной точностью подражать Рузвельту, и все засмеялись.— Мы сделали сегодня большое дело. Если верить газетам, я выступил против президента, потому что не люблю его. Что ж, я действительно не люблю его. Но на карту было поставлено другое. И хотя я считаю себя хорошим демократом...

Сенатор сделал паузу и получил по заслугам.

— А что это такое? — вставила миссис Сэнфорд.

Гости снова засмеялись. Сенатор терпеливо улыбнулся. Затем он неожиданно заговорил о смерти своего друга Джо Робинсона, лидера большинства в сенате. Рассказал, как он помог Джо покинуть зал заседаний, когда тот почувствовал приближение сердечного приступа, который и сразил его ночью. Рассказал, как он сидел возле Джо, когда его положили в гардеробе сената, как Джо метался и ловил ртом воздух и как они говорили о законопроекте, провести который Джо поклялся президенту. Робинсон был уверен в поддержке большинства. Бэрден точно знал, что это не так, но, чувствуя, что Джо умирает, убедил его, будто принятие законопроекта обеспечено, так как «я любил Джо Робинсона. Мы все любили его».

— Мы похоронили Джо на прошлой неделе в Литтл-Роке. Я вряд ли выдам секрет, если расскажу вам, что в поезде на обратном пути в Вашингтон вице-президент заметил, обращаясь ко мне: «Ну, теперь Франклину конец. И я надеюсь, что вы, ребята, найдете какой-нибудь честный способ преградить путь законопроекту». Мы сделали это. Сегодня. У меня такое ощущение, что президент извлек сегодня урок, который он не скоро забудет. Урок состоит в том, что даже ему не удастся разрушить систему контроля и равновесия, которую наши праотцы...— Тут Бэрден Дэй, очевидно, спохватившись, что он забыл свою роль гостя и залез в дебри политики, поспешно закончил свою речь несколькими фразами о том, что без «Вашингтон трибюн» и Блэза Сэнфорда сейчас в Верховном суде уже могло бы быть тринадцать, а не девять членов. Его речь встретили аплодисментами, затем разговор стал общим.

Сидя в одиночестве у камина, Питер ел жареный картофель, запивая его фруктовой водой.

Внезапно в гостиной появилась его сестра Инид в желтом платье, обычно бледное лицо ее пылало, глаза расширились от удовольствия, в волосах блестели капли дождя, хотя она явно только что причесалась. Ее возвращение прошло незамеченным — факт сам по себе невероятный, так как весь смысл существования Инид заключался в том, чтобы всегда быть замеченной, без всяких усилий с ее стороны. Она стремительно подошла к бару и налила себе виски — тоже необычно: Инид пила редко. Питер заглянул в зал, ища того, кто с ней был. Но ее партнер либо ушел домой, либо появится позже, чтобы не вызвать подозрений. Питер отчаянно перебирал в памяти всех, кто присутствовал на обеде. Он даже закрыл глаза, желая лучше сосредоточиться.

Инид сзади схватила его за волосы с такой силой, что на глазах Питера выступили слезы.

— Перестань!— Он отшвырнул ее руку. Они были опытными мучителями друг друга.— Где ты была?

— В купальне.— Его поразила откровенность сестры, а затем и безмятежность ее лжи: — Я вышла пройтись после обеда и попала в грозу. Волосы до сих пор мокрые. Слышишь, как громыхает?

Но Питер ничего не слышал, кроме гулкого биения собственного пульса.

— С кем ты была?

— С любовником, с кем же еще?

Против своего желания Питер находил ее неотразимо последовательной.

— У тебя есть любовник? Здесь?

Инид засмеялась и снова запустила руку в его шевелюру — ощущение отнюдь не неприятное, но трудноперенosимое. Питер вскочил со стула.

— Кто он?

Инид пристально посмотрела на брата, уже без улыбки, взглядом скорее озадаченным, чем подозрительным.

— С кем, ты думаешь, я была, идиот? Я была одна.

— Одна?

У него был такой инквизиторский тон, что Инид не смогла удержаться от смеха.

— Что ж, может, и не одна. Я была с Гарольдом Гриффитсом. Мы занимались любовью под звуки радио на резиновом матраце в мужской раздевалке при купальне. Забыла, какая была станция. Ты доволен?

Питер бросил взгляд мимо нее на Гарольда Гриффитса, плоскогрудого коротышку с громадной львиной гривой и тусклыми агатовыми глазами. Это был поэт из Нью-Йорка, сотрудничавший в «Трибюн» в качестве критика. Он говорил почти без умолку, и Питер считал его одним из самых блестящих людей в Вашингтоне. Но он был уверен, что Гарольд не выходил из дому. Во всяком случае, не эти короткие кривые ноги он видел в купальне.

Питер покачал головой:

— Это был не Гарольд.

— И все-таки он. Кстати, я собираюсь за него замуж. После того, что случилось, ему предстоит сделать из меня порядочную женщину.

— Пошла к черту,— пробормотал Питер и отвернулся. Ему вдруг стало все безразлично. Он выбрал самую крупную картофелину и отправил ее в рот. В конце концов какое ему дело.

Он уже собирался выйти из комнаты, когда мать жестом предложила ему присоединиться к ней, сенатору Дэю и Диане. Все трое сидели рядышком на диване, как мишени в тире в парке Глэн-Эко. Питер вдруг пожалел, что у него нет ружья. Бах, бах, бах — и все трое падают вниз. Раз, два, три — и он выиграл мишку. А они снова поднимаются, готовые служить мишенью для следующего посетителя.

Он сел напротив — само внимание. Он знал: если мать предлагает ему присоединиться к взрослым, значит, обсуждаются Важные Вещи.

Сенатор говорил о президенте. Впрочем, Питер редко слышал, чтобы он говорил о чем-нибудь другом. Президент был для сенатора тем белым китом, которого ему суждено преследовать до самой смерти и даже после нее.

— Было бы упрощением сказать, что он хочет стать диктатором. По совести говоря, я не думаю, что он сам знает, чего хочет. Слава богу, у него нет генерального плана. Но все его импровизации, все жесты убеждают, что он хочет сосредоточить в своих руках всю власть.

— Зачем ему это? — Диана Дэй говорила редко и потому, задав вопрос, покраснела; она явно удивилась сама себе, зато доставила удовольствие отцу, тот просиял.

Миссис Сэнфорд изрекла:

— Такой уж он...

— Я хотела сказать,— Питер заметил, что Диана чуть-чуть заикается,— что он, наверно, убежден в своей правоте, как, например, в тридцать третьем году, когда он хотел дать людям работу.

— Тщеславный! —воскликнула миссис Сэнфорд, связывая эту свою реплику с предыдущей, как будто Диана не говорила вовсе.— Эта манера откидывать назад голову и эта ужасная улыбочка! А все потому, что он калека,— добавила она авторитетно.— Это знают все: *у него ведь затронут мозг.*

— Вы слишком упрощаете.— Сенатор Дэй крутил в руках стакан с виски то в одну, то в другую сторону.— Диана,— сенатор испытующе посмотрел на дочь,— я подозреваю, что ты тайная сторонница Нового курса.

Девушка покраснела до корней волос, на глазах ее появились слезы. Хотя Питер знал Диану с детства, он едва ли слышал от нее более двух-трех самых обычных фраз. Он всегда считал ее нудной и неинтересной. А она не так уж неинтересна, подумал он, глядя на повзрослевшую Диану, только чересчур застенчива.

— Я не считаю, что сам Рузвельт такой уж плохой,— сказал сенатор.

— Плохой! — миссис Сэнфорд добивалась наибольшего эффекта повторением, в другом ключе — и часто в другом значении — какого-нибудь слова.

Но сенатор знал, с кем имеет дело. Он продолжал:

— Хорошее и плохое — понятия относительные, конечно. Я лично нахожу его куда более беспомощным, чем принято думать. Мне кажется, что он скачет, оседлав ветер.— Питер вспомнил о молнии, ему почудилось, будто за тяжелыми шторами и розово-красными кирпичными стенами он слышит гром, вспомнил о купальне... Отчаянным усилием воли он попытался сосредоточиться на том, что говорил сенатор.— За это время исполнительная власть усилилась, а законодательная и судебная — ослабли.

— Они сами в этом виноваты, правда, папа? — Диана чуть запнулась на первом слоге слова «папа».

Сенатор кивнул:

— В известной мере. У нас нет сейчас таких руководителей, какие были в те времена, когда я впервые пришел в сенат.

— Мне нравится сенатор Бора.— Миссис Сэнфорд рассеянно оглядела комнату, желая убедиться, что гости смеются, сплетничают и толпятся, как им положено.

— Теперь начинают поговаривать, что это неизбежный процесс при нашей системе правления. Я так не думаю.— Питер почувствовал, что с той минуты, как все внимание матери переключилось на гостиную, сенатор обращается прямо к нему, и он смутился, понимая, что остался единственным объектом, на который обрушилась вся эта масса мудрости и обходительности.— Видите ли, я считаю, что наш тип правления — лучший из всех когда-либо придуманных. Во всяком случае, в своем первоначальном варианте. И когда президент забирает слишком большую власть, конгресс должен поставить его на место, восстановив равновесие. Пусть только он зайдет слишком далеко, и... — Длинная белая рука угрожающе нацелилась на Питера, и он вздрогнул, как будто и в самом деле то была рука тирана, хватающая власть.— Мы должны...— Другая рука сенатора, прямая, как нож, точно отрубила у запястья руку тирана. Вот она, власть, подумал Питер с ужасом. Но сенатор, к счастью, был слишком искусным актером, чтобы кончить на столь высокой ноте. Он снял напряжение шуткой:— Однако у ФДР в

рукаве запрятана еще тысяча разных фокусов. Остается только надеяться, что мы всегда сумеем управиться с ним так же, как сегодня.

На другом конце комнаты кто-то ударил по клавишам громадного рояля. Воцарилась тишина. Как в большинстве вашингтонских салонов, основная функция рояля заключалась в том, чтобы служить алтарем для выставления напоказ домашних богов в серебряных рамках — фотографий близких к семье знаменитостей. Божества Сэнфордов были весьма внушительны, главным образом — королевские особы, чьи автографы смелыми косыми линиями пересекали фотографии от левого нижнего до правого верхнего угла, в отличие от автографов президентов и других демократических деятелей, предпочитавших длинные, подразумевающие интимную близость надписи.

Теперь за этим алтарем сидел вашингтонский корреспондент одной лондонской газеты, и гости сгрудились вокруг него. В честь сегодняшней победы исполнили «Боевой гимн республики», хотя никто, кроме англичанина, не знал всех слов.

Миссис Сэнфорд присоединилась к поющим, оставив Питеру сенатора и Диану.

— Чем же,— начал сенатор, и Питер уже знал тот ритуальный вопрос, который за ним последует,— ты думаешь заняться, когда...— он сделал паузу с той милой нерешительностью, которая так располагала к нему, и, щадя самолюбие Питера, вместо традиционного «подрастешь» произнес более учтивое:— окончишь школу?

— Я и сам хотел бы это знать.— Питер посмотрел на Диану, как бы ища поддержки. Она ободряюще кивнула.— Политикой, наверно...

— Ни в коем случае! — В притворном ужасе сенатор откинулся на спинку дивана, белые руки неодобрительно разрезали воздух.

— Но мне нравится политика.

— Все равно не надо ею заниматься. Из всех возможных занятий политика самое... самое...— На этот раз пауза не была рассчитана на эффект. Сенатор и в самом деле подыскивал слово.— ...*самое унизительное* занятие.— Улыбка исчезла с его лица. Питер верил ему.— Ты обязан принимать любого дурака, который захочет тебя видеть: тебе нужен его голос, и ты не можешь наплевать на него. Вудро Вильсон любил повторять, что самое худшее в должности президента — это необходимость все время выслушивать то, что ты уже давно знаешь. То же самое происходит со всеми нами. А потом, в конце, твое место занимает кто-то другой, и о тебе забывают, и ничто из того, что ты хотел осуществить вначале, не кажется близким к завершению. Счастлив тот, кто умирает победителем, подобно Линкольну, хотя и у него была неосуществившаяся мечта... мм... Что-то такое насчет корабля в ночном море, потерявшегося вдали от берегов.— Он умолк, вспоминая, с чего начался разговор.— Если тебе нравится политика, Питер, то издавать «Вашингтон трибюн» — отличный способ ею заниматься, к тому же безболезненный.

Питер усмехнулся:

— Не думаю, что отец скоро позволит мне управлять газетой.

— Ну, Пит, я вижу, ты не скучаешь! — раздался голос Клея Овербэри, помощника Бэрдена Дэя.— Сенатор рассказывал тебе одну из своих историй?

— Нет, к сожалению,— ответил сенатор.— Я докучал ему разговорами о том, что власть горька, а владычество — ужасно.

— Конечно, если иметь в виду нашего нынешнего президента.

Клей сел на диван рядом с Дианой. Хотя он был всего только помощником сенатора, его часто приглашали в именитые дома, главным образом из-за внешности: густые вьющиеся светлые волосы, фиалковые

глаза, короткий, слегка сплющенный нос — результат падения с лошади на охоте в Уоррентоне прошлой осенью. Атлетически сложенный, умеющий терпеливо слушать, он, по мнению всех, должен был далеко пойти — хотя бы в качестве будущего мужа Дианы Дэй. Никто не видел в нем ничего, говорящего не в его пользу,— за исключением Фредерики, заметившей однажды, что он слишком красив, как будто это столь же предосудительно, как коричневые туфли с синим костюмом или манера президента вставлять сигареты в мундштук. Питер, однако, был расположен к Клею, и тот, в свою очередь, относился к нему по-приятельски.

— Насколько я знаю,— сказал Клей, улыбнувшись Диане, ответившей ему улыбкой,— президент уехал кататься на своей яхте.

— Остается выяснить, — вздохнул сенатор,— не потонула ли она.

— Мы можем лишь надеяться.

Клей вытер потное лицо, хотя в комнате совсем не было жарко. Кто-то открыл балконные двери, и в комнату потянул прохладный, пахнущий дождем воздух. Питер прислушался, надеясь услышать гром, но стояла тишина. Гроза кончилась, запела какая-то вечерняя птица, ее звонкий голос был отчетливо слышен, несмотря на громкое пение Гарольда Гриффитса, выводившего «Однажды жили четыре Мэри». Гарольд знал на память сотни песен и готов был исполнять их все подряд своим драматическим, слегка гнусавым тенором.

— Перед отъездом он успел открыть телевизионную студию в Вашингтоне. *Телевидение!* Он все-таки поразителен. Он сказал, что через год или два мы сможем не только слышать, но и видеть новости.

— А ему невтерпеж, я уверен.— Сенатор печально покачал головой.— Представьте себе: видеть его каждый день! Достаточно слышать этот его ужасный покровительственный тон. Почему он кажется мне таким невыносимым?

— Потому что он — президент.— Со стороны Дианы такая прямолинейность прозвучала неожиданно.

Сенатор посмотрел на дочь с уважением.

— Надеюсь, что ты ошибаешься, хотя, возможно, ты и права. Я никогда не любил президентов. Должно быть, потому, что слишком хорошо знал их всех. К тому же мы естественные антагонисты — сенат и Белый дом.

Клей с готовностью кивнул: видимо, этот аргумент был ему хорошо знаком.

— Я только что слышал по радио...

— Слышали — *где?* — Питер насторожился.

— По радио. Президент собирается назначить...

— По какому радио?

Фиалковые глаза Клея расширились от возмущения.

— В библиотеке твоего отца.— Он рассказал сенатору о том, что слышал, а Питера восхитила смелость, с которой лгал Клей. В библиотеке нет радио. Внизу тоже нет радио. Радио есть в купальне. Питер увидел дождевую каплю, отделившуюся от золотистых вьющихся волос и покатившуюся, точно капелька пота, совсем рядом с ухом вниз, к подбородку,— даже капризная природа взяла Клея под защиту.

Клей и сенатор заговорили о делах на завтра, и Питер, торжествуя победу, подошел к роялю, где стояла Инид. Бесконечный репертуар Гарольда Гриффитса наконец утомил гостей. Они пришли, чтобы петь песни, а их превращали в слушателей, и теперь они разбрелись по гостиной — все, кроме Инид, которая, казалось, и в самом деле наслаждалась пением Гриффитса. Она облокотилась о рояль, ярко выделяясь в своем желтом платье на фоне темного дерева.

— Развлекаешься? — с легкой издевкой спросила она брата.— Доливал виски в кока-колу?

— Конечно, и теперь парю, точно коршун.— Голос его звучал нежно и вкрадчиво.— Но знаешь, я одного не понимаю...

— Только одного? Ну ладно, помолчи. Гарольд, спойте ту французскую рыбацкую песню. Как она называется?

Гарольд ответил и запел в минорном ключе средневековую песню с припевом «Mais sont-ils morts?» *.

— Я не понимаю одного...— Однако его нарочито нежный, вкрадчивый голос не мог состязаться с пением Гарольда.

— Питер, замолчи и послушай! — Инид сердито нахмурилась и стала вдруг похожа на отца.

— Так вот что я хочу сказать,— Питер повысил голос,— я не понимаю, почему Клей не снял туфель, когда вы лежали с ним на резиновом матраце в раздевалке?

Инид повернулась к нему и посмотрела пристальным, ничего не выражающим взглядом, которого он не смог вынести. Слова «Mais sont-ils morts?» звенели в его ушах, когда он выбежал из гостиной.

Питер запер дверь своей комнаты и несколько мгновений стоял в каком-то оцепенении, сжав ладонями виски, точно пытаясь сдержать кровь в набухших, готовых лопнуть артериях. И несмотря на невыносимую муку, он с холодным любопытством все же спрашивал себя, почему у него такое ощущение, будто его предали.

## II

Из окна ванной Джеймс Бэрден Дэй смотрел на зелень Рок-Крик-парка, уже с утра подернутого дымкой летней жары. В доме, к счастью, было прохладно. Сложенный из прочного серого камня дом отвечал самым строгим требованиям. Стены, которые выстоят столетия, комнаты с высокими потолками и окнами, выходящими в сад. Дэй не мог назвать себя богатым человеком, но никогда не сожалел о своем решении выстроить дом, который, во всяком случае, помог ему устоять на ногах в период депрессии. Именно по этой причине он своевременно избавился от биржевых акций и вложил деньги в камень, раствор, дерево, шифер, стекло, создал нечто прекрасное, то, что будет жить вечно, несмотря на вздорожавшую недавно страховку. Мысль о деньгах заставила его нахмуриться, рука дрогнула, бритва полоснула по подбородку, и кровь окрасила белую мыльную пену.

— А, черт! — сказал он, увидев на своем лице что-то похожее на розовый крем в торте.

Бэрден вымыл лицо и заклеил порез кусочком туалетной бумаги. Потом стянул с себя ночную рубашку и стоял некоторое время, бесцельно вращая в воздухе руками и закрыв глаза, чтобы не видеть старческое тело, всегда вспоминавшееся ему таким, каким оно было в дни прекрасной и могучей юности, задолго до того, как мускулистые руки одрябли, на похудевших ногах проступили голубые вены, а некогда плоский живот начал выпирать тяжелым эллипсом плоти. Но, конечно, это явление лишь временное, говорил он себе, одеваясь. В любой момент время можно обратить вспять. Диета, физические упражнения и пересадка козлиных желез вновь туго натянут кожу, укрепят мышцы, пробудят секс. Остается только решить, когда выделить месяц-другой

* Да умерли ли они? *(Франц.)*

для этой метаморфозы. Невозможно представить себе, что он уже не будет больше молодым.

Но пока, размышлял Бэрден, совсем не плохо понежиться в лучах неожиданно свалившейся на него славы. Никогда еще президент, одержавший такую грандиозную победу на выборах, не был столь решительно отвергнут в конгрессе своей собственной партией. «Я свалю его»,— сказал он зеркалу, прикалывая галстук-бабочку в горошек — непременную принадлежность туалета сенатора, извечную мишень для карикатуристов. В превосходном настроении он спустился вниз завтракать.

За высокими окнами столовой виднелась косматая зелень сада. Теплый ветерок шевелил тяжелые занавеси. На подоконнике сидела птичка кардинал, ожидая, когда ее накормит супруга Бэрдена. К ней подлетали дикие птички из сада. Люди — увы! — не обращали на нее никакого внимания.

Бэрден уселся за пустой длинный стол, и слуга Генри, черный, строгий и чопорный, подал ему завтрак. Генри боготворил сенат Соединенных Штатов. Он читал все, имеющее отношение к сенатским делам («имеющее отношение» было любимым его выражением), и с еще большим, чем даже сам Бэрден, подозрением относился к Белому дому, считая главу исполнительной власти постоянной угрозой величию и приоритету верхней палаты конгресса.

Улыбка или любое другое проявление чувств были не в характере Генри, но Бэрдену показалось, что он заметил легкое дрожание руки, когда Генри положил рядом с его тарелкой утренние газеты. С первой полосы верхней из них на Бэрдена глядело его собственное лицо.

— Что ж, Генри, хорошенькую взбучку задали мы мистеру Рузвельту!

— Да, сенатор, думаю, что так. А что же будет теперь с законопроектом о Верховном суде?

— Исчезнет в комиссии. Навечно.

Генри усмехнулся с зловещим видом, выражая этим свое удовлетворение, и незаметно удалился, оставив сенатора наедине с газетами. Со свойственным ему тактом он положил «Вашингтон трибюн» поверх остальных.

— Интересно, что ты ощущаешь,— в столовую неожиданно вошла Диана,— когда тебя так хвалят, так превозносят?

— Не более, чем я заслуживаю.— Он был в веселом расположении духа.— Один раз в десять лет меня оценивают по заслугам.— Севшая по другую сторону стола Диана казалась его близоруким глазам похожей на громадную розу в лучах золотого утреннего света.

— *Мы* ценим тебя всемерно и ежедневно. Ты собираешься на Холм?

— Как ты могла подумать, что я туда *не* собираюсь? Я же хочу погреться в лучах славы.

Генри подал завтрак Диане и задержался, прислушиваясь к разговору.

— Президент уже комментировал это?

— Пока нет. Сомневаюсь, скажет ли президент что-нибудь вообще. Он уплыл на яхте.

В кухне зазвонил телефон, и Генри медленно удалился, чтобы снять трубку.

— Ты довольна вчерашним вечером? — Бэрден взглянул на розовое пятно, которое сжалось, а затем стало расплываться.

— Да, я люблю Сэнфордов. Особенно Инид. Вот бы выглядеть так, как она. Она выглядит как... как Судьба.

— Как же выглядит Судьба?

— Как Инид. Темная, суровая, чувственная. Мужчины от нее без ума.

— От Судьбы?

— Нет, всего лишь от Инид. Я бы хотела, чтоб они были без ума от меня.

Бэрден нахмурился. Он знал, что Диана считает себя непривлекательной, а с такими мыслями мужчин и вправду не привлечешь. Как сказать ей, что умение привлекать к себе — простой трюк, которому можно научиться, усилие воли, если хотите. Он сам начал с подражания тем, кто умел угождать толпе; намеренно имитировал их манеру говорить, улыбаться, их походку, пока наконец не научился нравиться людям. Но все же, несмотря на искусное лицедейство, он не переставал быть самим собой.

Вошел Генри с телефонным аппаратом, волоча за собой шнур.

— Из вашего кабинета, сенатор. Это мистер Овербэри.

В голосе Клея слышалось возбуждение:

— Вы видели утренние газеты? А нью-йоркские и того лучше. Да, еще звонили из вашего штата, от губернатора. Он собирается выставить вашу кандидатуру в президенты! — Сердце Бэрдена застучало.— Потом еще звонил некто по фамилии Нилсон. Он хочет встретиться с вами. Это по поводу...

— Я знаю, по какому это поводу. Передай, что я не хочу его видеть. Скажи ему, что он негодяй. Хотя, пожалуй, не надо этого говорить.

— Я как-нибудь перефразирую.

— Скажи, что я очень занят. Отбей у него охоту звонить. Я приеду через полчаса.— Бэрден положил трубку.

— Кто такой Нилсон? И почему он негодяй?

Бэрден взглянул на розу, сиявшую, точно солнце.

— Какой-то подозрительный тип. Явился на прошлой неделе в мой кабинет и сказал, что хочет купить у индейцев сто тысяч акров земли.

— Нефть?

— А как же! Утверждает, что министерство внутренних дел не будет поднимать шума...

— Но он знал, что шум поднимешь ты.

— Вот именно. Он хочет, чтоб моя подкомиссия не возражала против покупки земли за малую долю того, что она стоит.

— А индейцы согласны?

— Конечно! Они же идиоты.

— Тогда ты должен защитить их.

— Я буду защищать их и тем заслужу их смертельную ненависть. Ни одно благое деяние не остается безнаказанным.

— Но делая то, что нужно, получаешь удовлетворение.

— Не уверен. Не будь такой праведной,— посоветовал он вдруг.— Не будь похожей на меня. Помни, что сказал Цицерон...

— Нет таких идей, которых не развивал бы Цицерон, и ты знаешь их все,— пошутила Диана, но Бэрдену было невесело, так как он не умел с юмором относиться к самому себе, а сознавать, что он лишен этой самой американской из добродетелей, было отнюдь не легко. Для общественного деятеля он был и слишком чувствителен, и слишком уязвим.

— Цицерон сказал: «Допустимо чуть-чуть приспособляться, но если пробил твой час, его нельзя пропустить!»

— Да, но как знать, что твой час пробил?

— Цицерон, во всяком случае, знал это безошибочно. Они пришли с мечами и отрубили ему голову.

— По-моему, лучше вообще не приспосабливаться. Тогда человек всегда готов к худшему.

— Чтобы выжить, нужно приспособляться. Знать, когда не делать этого,— вот секрет величия.

— Ты великий.

Он был тронут:

— Дочери всегда высокого мнения о своих отцах.

— Но ты на самом деле такой. Потому что ты не боишься быть...— Она запнулась, и Бэрден ждал, какой эпитет она выберет: сильным, мудрым, честным? Должно быть «честным», решил он, пытаясь телепатически внушить это слово дочери. Но она выбрала другое: «непопулярным» — сомнительная добродетель, легко обратимая в порок.

Однако прежде, чем он смог что-либо сказать, в комнате появилась его жена и ее мать. Маленькая, смуглая, светлоглазая Китти Дэй вышла к столу непричесанная, в старом халате.

— Мама, *почему* ты считаешь своим долгом так выглядеть утром? — спросила Диана, не скрывая отвращения.

— Как выглядеть, дорогая? — Китти была абсолютно невосприимчива к критике. Бэрден встретил ее во время своей первой политической кампании, и меньше чем через полгода они поженились. Она окружила его любовью, и он любил ее изо всех сил, но их было немного, так как он был занят целые дни, а иногда надолго уезжал из дома. Но когда он возвращался, она всегда ждала его, нежно привязанная к нему, но вызывающая раздражение, так как она отличалась крайним простодушием и не отдавала себе отчета в том, какое впечатление производит на других. Хуже того, в последние годы у нее развилась опасная привычка: она стала говорить то, что думала, или, точнее,— то, о чем думала в данную минуту.

— Так или иначе,— сказала Китти, перебивая дочь,— кардинала нужно покормить.— Раскрошив кусочек поджаренного хлеба, она подошла к подоконнику.— Доброе утро! Ты сегодня прекрасно выглядишь,— сказала она птичке, которая принялась жадно и бесстрашно склевывать крошки с ее ладони.

Отец и дочь восхищенно наблюдали за этой сценой. Что бы Китти ни делала, она всегда целиком отдавалась своему занятию, отчего все вокруг начинали чувствовать себя праздными бездельниками. Насытившись, птичка улетела.

— До завтра,— сказала Китти птичке, скрывшейся в листве.— Будь осторожна. Держись подальше от проводов высокого напряжения.— Она не сюсюкала, не меняла голоса, разговаривая с животными.— Ненавижу эти провода,— сказала она мужу тем же тоном.— Не могли бы вы что-нибудь сделать с ними?

— Сенат бессилен,— начал было он, пытаясь придумать какой-нибудь каламбур.— Наверно, можно повесить предупреждение: «Не садись — убьет». Что-нибудь в этом роде.

— Они не умеют читать,— серьезно возразила Китти. Затем задала свой обычный утренний вопрос: — Что пишут в газетах?

Прежде чем он попытался кратко изложить ей новости, в разговор вступила Диана:

— Мама, тебе следовало бы прочитать хоть *одну* газету, ну хотя бы сегодня. Папу прочат в президенты, это общее мнение.

— Очень мило,— мягко сказала Китти, поворачиваясь к Бэрдену.— Да, да, это так мило, что люди хотят видеть тебя президентом. Пожалуй, я и в самом деле прочту *одну* газету.— Она взяла ближайшую, подержала ее минуту, явно не зная, что с ней делать, затем рассеянно опустила газету в масло.— Кто сейчас звонил?

— Клей, из сената. Мне уже пора двигаться.— Бэрден встал из-за стола и позвал Генри. Ответа не последовало, так как Генри ушел, чтобы сменить белую куртку на синюю и подогнать машину к подъезду.

— Надо будет на днях пригласить Клея к обеду,— сказала Китти с полным ртом.

— Он слишком занят,— ответила Диана, приподнимая попавшую в масло газету.— Этим летом у него так много светских обязанностей. Он все время с Сэнфордами.

— Такой милый юноша. Я уверена, Блэз и Фредерика любят его не меньше нас.— Китти медленно ела яйцо всмятку. Бэрден не знал никого, кто ел бы так медленно, как его жена. Китти подносила ложку ко рту, но тут же, о чем-нибудь задумавшись, снова опускала ее.— Я понимаю, почему ему там нравится больше, чем у нас. Инид так привлекательна и богата.

Бэрден попытался предотвратить то, что должно было последовать:

— Расскажи нам, Китти, о новой клетке для птиц. Когда она будет готова?

— Не раньше, чем на следующей неделе. Ты знаешь, какой мямля Генри. Конечно, он очень хитер и ужасно хочет сделать карьеру, и Диана совершенная дура, если собирается за него замуж, потому что он не принесет ей ничего, кроме неприятностей.

— Мама! — крикнула Диана и, отшвырнув салфетку, выбежала из комнаты.

— Что с ней такое? — неподдельно изумилась Китти.

Бэрден кашлянул, подошел к жене, поцеловал ее в щеку, вдохнув знакомый утренний запах крема и сна.

— Ничего, дорогая.— И, не удержавшись, добавил: — Быть может, ты что-то такое сказала.

— Я говорила только о Генри и о клетке для птиц.

— И о Клее.

— Я ничего такого не сказала о Клее, но — только между нами — она без ума от него.

— Только между нами?

Китти кивнула.

— Я никогда не подавала виду, что замечаю. По-моему, родителям не следует этого делать. Пусть дети сами ищут свою дорогу... в известных пределах, разумеется.

— Тебе нравится Клей?

— Очень. И он так помогает тебе. И такой красивый. Я люблю красивых мужчин, ты же знаешь.

— Конечно знаю. За одного из них ты вышла замуж.

И оба рассмеялись этой старой шутке.

■

Под бронзовым щитом солнца новое административное здание сената Соединенных Штатов сверкало белизной на фоне капитолийской зелени. Когда Бэрден подошел к главному входу, несколько граждан Республики (в критические моменты он воспринимал жизнь как трагедию Шекспира) задержали его, чтобы пожать ему руку, и он невнятно, еле слышным голосом поблагодарил их, придав лицу любезное и доброжелательное выражение.

Швейцар, к удивлению Бэрдена, поднялся ему навстречу:

— Добрый день, сенатор.

«Сплошные сюрпризы»,— подумал он, подходя к двери красного дерева с простой табличкой «М-р Дэй».

В приемной перед его кабинетом стояли кожаные стулья, два письменных стола и сидели две секретарши — мисс Перрин, молоденькая и полненькая, с непокорной прической (она была помолвлена, и ее жених, человек со слуховым аппаратом, изредка заходил за ней в конце рабочего дня) и миссис Блейн, уже немолодая женщина, приятная во всех отношениях, кроме голоса: она слегка шепелявила.

— Пресса других городов — потрясающая! — Она показала на кипу газет, лежавшую на стуле около ее стола.— Вам обязательно нужно прочитать редакционные статьи!

— Непременно, непременно,— подтолкнув вращающуюся дверь балюстрады, отделявшей вход в его кабинет от приемной, Бэрден рассеянно взглянул на отчаянный хаос прически мисс Перрин, как будто надеясь увидеть в нем целый выводок птиц, требующих, чтобы Китти их покормила. Затем он вошел в свой кабинет, один из самых лучших в здании — дань уважения не только его возрасту, но и многолетнему членству в Клубе. Кто принадлежит к Клубу, точно не было известно, так как члены его отрицали, что он вообще существует, но все знали, кто *не* принадлежит к нему. Клуб всегда был закрыт для выскочек, крикунов и смутьянов, для тех сенаторов, которые слишком грубо рвались в президенты. Члены Клуба предпочитали действовать спокойно и переизбираться без фанфар. Они ненавидели президента из принципа, и Клуб, вопреки власти этого магната, управлял сенатом на свой лад и в своих целях, обычно не совпадающих с целями президента.

Бэрден стал своим в Клубе с того дня, когда впервые появился в Вашингтоне. Члены Клуба сразу же поняли, что он свой — веселый и сдержанный, умеющий вежливо уступить, когда это необходимо. Хотя ему не было еще и сорока, в Клубе приняли его, объяснили механизм власти и позволили даже время от времени самому приводить его в действие. Члены Клуба следили за тем, чтобы другие, более сомнительные личности, не обошли его и чтобы он заседал в нужных комиссиях. Когда дома, у него в штате, появлялись соперники, Клуб делал все, чтобы именно Бэрдену поставили в заслугу сооружение плотины, дороги, открытие почты — те необходимые дары, какие сенатор должен преподнести избирателям, чтобы обеспечить себе их голоса.

Его письменный стол стоял между двумя высокими окнами; он сидел спиной к ним. На противоположной стене висел портрет Джеффферсона. Повсюду были разбросаны председательские молоточки, значки, надписанные фотографии — обычные сувениры политического деятеля; единственным необычным украшением комнаты служил бюст Цицерона в натуральную величину, на деревянной подставке.

Как всегда, оставшись один, Бэрден приветствовал Цицерона. У этих двух республиканцев было немало общих тайн. Одна из них заключалась в том, что почти все в сенате были убеждены, что это бюст Уильяма Дженнингса Брайана *.

Бэрден вызвал Клея и в ожидании его принялся просматривать почту. За последние дни — когда в сенате шли схватки вокруг законопроекта о Верховном суде — его почта утроилась и была, как правило, благожелательной. Он неизменно получал удовольствие от похвал, хотя за ними почти всегда следовала какая-нибудь просьба по принципу: я тебе — ты мне.

С газетами в руках вошел сияющий Клей.

— Вот наша цель теперь,— сказал он, указывая рукой на полоску зелени, отделяющую Белый дом от сената.

---

* Брайан, Уильям Дженнингс (1860—1925) — реакционный американский политический деятель, три раза выдвигался на пост президента от демократической партии и все три раза терпел поражение.

Бэрден покачал головой, не желая искушать судьбу.

— Многое может случиться за три года,— произнес он с чувством.

— Нужно только не выпустить инициативы из рук, и мы — там. Не дать умереть этому импульсу.

— Не дать умереть,— одобрительно пробормотал Бэрден, нащупывая свой любимый талисман, расплющенную пулю, которую извлекли из плеча его отца после битвы при Шилоу, которую этот желчный и грубый старик сохранил в память о героическом времени. Теперь капрал армии конфедератов был мертв, и после него остался только этот кусочек металла, сплющенный от столкновения с ныне уже мертвой костью.

— Не дать умереть,— повторил Бэрден, нежно поглаживая указательным пальцем изломы металла. Какой частью пуля прикоснулась к плоти — этой? Взбешенное лицо отца непрошено возникло где-то между Джефферсоном и письменным столом. Он видел желтые прокуренные зубы, злые серые глаза, кожу в красных пятнах и читал презрение на бесплотном лице: «Ты присоединился к этим мерзавцам, которые погубили нас. Ты сам один из них, *сенатор!*» Он вспомнил, как прорычал этот титул отец, когда они встретились в последний раз, вскоре после избрания Бэрдена в сенат и незадолго до смерти отца от рака. Бэрден до боли сощурил глаза — лицо исчезло.

Он выпрямился, чувствуя прилив энергии, и быстро дал Клею несколько указаний. Журналисты должны все разнюхать. Редакторы — написать членам конгресса. Потом надо добыть денег. При мысли о деньгах он задумался.

— Это самое сложное. Это может остановить нас.

Клей отрицательно покачал головой.

— Толстосумы неплохо к вам относятся.

— Сегодня. Но, возможно, не завтра. Правда, едва ли сыщется такой консерватор, который угодил бы им и...

— И был избран в президенты,— выпалил Клей, не задумываясь, но попал в точку.

— И был избран в президенты. Но никто не может стать президентом... *я* не могу стать президентом... без их помощи. В этом вся проблема. Ну что ж, у нас есть еще три года, чтобы достать деньги.

— А до тех пор вы объездите с речами все штаты.

Они строили планы, замышляли, предполагали, надеялись. Но Бэрден знал, что планирование в политике слишком часто — не более чем форма взаимоуспокоения. Предвидеть будущее совершенно невозможно. Клей показал ему поздравительные телеграммы и приглашения выступить с речами. Несколько раз в комнату с новостями врывалась миссис Блейн. Верховный суд (разумеется, неофициально) выражал свое удовлетворение, а вице-президент просил уделить ему несколько минут для разговора.

В сопровождении Клея Бэрден спустился на лифте в подвал, и вагончик нелепой, но удобной подземной железной дороги повез их в Капитолий. Вместе с ними ехал недавно избранный сенатор и три его избирателя, которые чувствовали себя на вершине счастья от встречи с Бэрденом Дэем. Все счастливы видеть Бэрдена Дэя, подумал Бэрден Дэй, тепло приветствуя избирателей, уверенный, что и авторитет молодого сенатора заметно поднимется в глазах его земляков, так как он знаком с самим Защитником Конституции. Мысленно Бэрден решил взять шефство над новым сенатором.

Они поднялись в Капитолий. Бэрден, как всегда, наслаждался подземными коридорами, в которых пахло камнем, едким мылом и, он был уверен, деревом, сожженным англичанами в 1814 году. Несмотря на

усиливавшуюся жару, в глубинах Капитолия все лето сохранялась прохлада.

Поднявшись на этаж, где находится зал заседаний сената, Бэрден и Клей прошмыгнули мимо туристов в сенатскую туалетную комнату, величественное помещение с громадными писсуарами. Когда Клей намылил лицо и руки, Бэрден как бы между прочим спросил:

— Можешь прийти к нам сегодня обедать?

Клей покачал головой:

— У меня свидание.

Бэрден кивнул. Он не хотел столкновения, боялся отказа. Но долг отца заключался в том, чтобы добыть для дочери мужа, о котором она мечтала. Хоть Диана и старалась не подавать вида, было очевидно, что она влюблена, и притом безнадежно.

Клей изо всех сил вытирал лицо, пока розовая кожа не заблестела.

— ...меня пригласила Инид Сэнфорд. В Чеви-Чейс. Какая-то вечеринка с танцами у ее приятеля из Нью-Йорка. Я сказал, что приду.— Клей оправдывался.

Инид очаровательна. Ясно, что он предпочитает Инид Диане, и с этим уж ничего не поделаешь. Бэрден поправил волосы — так, чтобы одна прядь изящно пересекала бровь. Через минуту он войдет в зал заседаний сената, на галерее его узнают, встретят, наверно, аплодисментами. По крайней мере *это* еще осталось. Настроение его улучшилось.

— ...восхитительная девушка. Хотя с ней не так-то легко. Вот доказательство.— Клей печально дотронулся до своего чуть сплющенного носа.— Это случилось в Уоррентоне, мы скакали верхом в дождь через этот проклятый лес, и я упал с лошади. Вы бы слышали, как она хохотала. Из меня хлестала кровь, как из зарезанной свиньи, а она хохотала. Мне хотелось ее убить.

Да, подумал Бэрден, тебя поймали на крючок.

— Богатая девушка,— сказал он.— Деньги Сэнфордов очень пригодятся молодому человеку, который захочет послужить стране своим участием в ее высших собраниях.— Бэрден изъяснялся в несколько витиеватом стиле своих выступлений в сенате.

Покраснев, Клей шагнул к двери:

— Она просто любит весело проводить время. Вот и все.

Они вышли в коридор.

— Что ж, приходи все-таки к нам как-нибудь на днях. Диана почти не видела тебя после возвращения в Вашингтон.

— Обязательно. Непременно приду.

Долг исполнен, подумал сенатор, направляясь к двери, которая выходила в раздевалку. Клей должен ждать на галерее. Они заранее оговорили жест (прижать левую ладонь к щеке), которым сенатор вызовет его.

Расправив плечи, сделав глубокий вдох (интересно, почему так прерывисто стучит сердце?), Бэрден кивнул дежурившему у двери верзиле-полицейскому и вступил в царство сената.

Раздевалка, узкая, как коридор, протянулась во всю длину зала заседаний. Здесь, возле запирающихся шкафов для одежды, на черных кожаных диванах и у столов сплетничали и делали политику сенаторы его партии. Бэрдена встретили шутливой овацией. Южанин в длиннополом сюртуке издал клич мятежника, размахивая маленьким знаменем конфедерации. Два сторонника Нового курса ретировались в дальний конец кулуаров, притворяясь, что изучают повестку дня. Возбужденный, Бэрден пил содовую воду и принимал поздравления.

Подошел старший сенатор от штата, который представлял Бэрден,— Джесс Момбергер. Высокий, худощавый, он носил похожие на сомбреро

шляпы и грубые ботинки вроде сапог. Он любил загадочно упоминать в разговоре знаменитых преступников Запада, делая вид, будто знает больше, чем говорит.

— Коллега,— он взял руку Бэрдена своей неожиданно вялой рукой: как-никак завоевание Запада завершилось еще в прошлом веке.— Вы будете президентом. Это так же очевидно, как ослиный зад в полдень. И потому я хотел бы дать вам один совет...

Бэрден улыбнулся, приготовился слушать. Но тут к нему подошел сенатский посыльный в бриджах:

— Вице-президент в зале заседаний. Он хотел бы поговорить с вами, сенатор.

Ускользнув от своих поклонников, Бэрден остановился на мгновение перед ведущей в зал стеклянной дверью, чтобы поправить галстук и волосы. Затем, толкнув вращающуюся дверь чуть-чуть сильнее, чем следовало, он вошел в зал заседаний и сразу почувствовал себя как рыба в воде.

Не глядя на галерею, он прошел по проходу к своему креслу, высоко задрав подбородок, чтобы быть узнанным. Его узнали. Вспыхнула овация и тут же утихла, усмиренная председательским молоточком. Он занял свое место, делая вид, будто изучает разложенные перед ним бумаги. Но он не был в состоянии прочесть ни строчки. Наконец украдкой взглянул на галерею. Несколько человек сидело в ложе прессы, галерея же была заполнена на одну треть — факт знаменательный, так как ни дебатов, ни голосований не ожидалось. Очевидно, люди пришли поглазеть на него и на сенат, который унизил президента.

Несколько сенаторов приветствовали его преувеличенно размашистыми жестами: каждый знал, что за ним наблюдают сотни глаз.

Бэрден увидел вице-президента. Он не сидел на своем председательском месте, а стоял рядом, беседуя с группой сенаторов. Бэрден помахал рукой и торжественно двинулся к нему. Галерея заметно оживилась, знатоки зашептались, гадая, о чем они будут говорить. Конечно, ответить никто не мог. В лучшие свои минуты вице-президент любил выражаться афористически. Но Бэрден знал: в политике самое существенное то, что не произносится вслух. Они перебросились несколькими дружескими фразами, на вид лишенными всякой уклончивости. Детали прохождения законопроекта в комиссии — ничего больше. Но значение этого обмена любезностями понимали лишь те, кто знал, как действует Клуб. Крошечный человечек с красным лицом и зубами, как черный жемчуг, объявил себя союзником Бэрдена Дэя. На время они объединились, как куски металла под действием огня.

Довольный, Бэрден вернулся в раздевалку, забыв подать сигнал Клею. Дела шли лучше, чем он ожидал. Раз вице-президент на его стороне, он может победить в 1940 году.

Через толпу туристов он двинулся к выходу, принимая на ходу поздравления, выслушивая слова одобрения; уже у двери его нагнал Клей.

— Что сказал вице-президент?

— Он с нами. До конца.

Они заговорили о предстоящем дневном заседании комиссии. Бэрден не будет на нем присутствовать. Клей должен позвонить соответствующему сенатору.

— Где вы будете?

Бэрден пожал плечами.

— Я хочу исчезнуть. Мне надо подумать. Позвони мне вечером домой.

Бэрден задержался под каменными сводами Капитолия в ожидании, когда Генри подаст машину, и сощурился от яркого сияния дня. Жара

становилась просто невыносимой. Надо было ему остаться в прохладном здании, но он упрямо и безрассудно хотел побыть наедине со своим триумфом.

— Недурно поработали, сенатор.— Голос был чрезвычайно приятный, но не ассоциации, с ним связанные.

Сенатор оглянулся и увидел приближавшегося к нему стройного, уверенного в себе человека в коричневом габардиновом костюме. Правая рука Бэрдена рефлекторно потянулась навстречу, но он вовремя спохватился и прочертил ею в воздухе неловкую дугу, словно разминал затекшее плечо.

— Я жду машину,— сказал он самым нейтральным тоном.

— Разумеется.— Мистера Нилсона явно забавляло произведенное им впечатление.— Я только что видел вас вместе с вице-президентом. Он, должно быть, весьма обрадован ходом событий.

Бэрден обернулся в надежде увидеть подъезжающий «паккард». Но ничего не увидел. Приятный голос не умолкал:

— Вами сейчас довольны буквально все. Знаете ли вы, что газеты Херста собираются выступать за вашу кандидатуру в президенты?

Он был несомненно хитер. Бэрдену не удалось скрыть свою заинтересованность.

— Откуда вам это известно?

— Я никогда не раскрываю источников моей информации, сенатор,— усмехнулся Нилсон.— Вы еще убедитесь, что это мое лучшее качество.

Бэрден кашлянул и снова хотел обернуться, но голос Нилсона (южанин он или северянин?) остановил его.

— Но *я могу* вам сказать, что кампания «Дэя — в президенты» начнется с завтрашней редакционной статьи: ее пишет сам старик.

— Это чрезвычайно интересно, мистер Нилсон.

— Я думаю, что вы будете замечательным президентом. Я, конечно, проголосую за вас.

— Мистер Нилсон...

— Да, сэр?

— Кто вы, черт возьми?

— Друг.

— Нет, вы не друг.

— Тогда я хотел бы им быть. В конце концов, мы выбираем друзей потому, что они непохожи на нас. Я никогда не буду государственным деятелем, как вы.— В его словах удивительным образом сочетались ирония, коварство, правда.— Я могу лишь позавидовать вам, и поскольку человек не в состоянии одновременно быть всем на свете, я выбираю своих друзей с таким расчетом, чтобы через них быть политиком, журналистом, художником...

— Преступником?

— Да, даже преступником.

— Но *чем* же вы занимаетесь?

— Я бизнесмен. Я говорю с вами прямо. И абсолютно откровенно.

— Да, да. А вам известно, какое наказание предусмотрено за подкуп... за попытку подкупа члена конгресса?

— Среди моих многочисленных друзей есть юристы.— Разговор и вправду начал забавлять Нилсона. Бэрден снова почувствовал, что теряет над собой контроль: гнев и раздражение овладевали им.— Мне известны наказания, предусмотренные законом. Но также и вознаграждения этого мира. Я надеюсь, вы серьезно подумаете о том, что́ я предложил вам на днях.

— Мне не о чем думать. Я не беру...— Бэрден почувствовал, что инстинктивно понижает голос, хотя их никто не мог подслушать,— ...взяток.

— Но другие...

— Меня не интересует, что делают другие.

— Разве капиталовложение в вашу карьеру — взятка? Вклад в избрание вас президентом — разве это взятка? Вы вообще представляете себе, откуда берутся деньги для проведения национальных предвыборных кампаний? Во всяком случае, если мне придется вложить деньги в ваше будущее, я потребую от вас значительно меньше, чем, скажем, Конгресс производственных профсоюзов или Национальная ассоциация промышленников.

— Я не продаюсь, мистер Нилсон.— Помпезная пустота собственных слов ужаснула сенатора, и он в отчаянии подумал о том, куда исчезла вдруг его знаменитая способность находить одну-единственную уничтожающую фразу. Он стоял молча, с таким ощущением, будто мозг его парализовало и он способен лишь на банальные, прописные истины.

— Я не собираюсь покупать вас, сенатор.— Этот спокойный голос был теперь холоден, как и его собственный.— Я дам вам деньги, которые нужны вам, если вы позволите мне купить то, что нужно мне. Это законная сделка. Слово, которым я назвал бы ее, возможно, покажется вам странным. Поэтому я произнесу его медленно и отчетливо. Это слово — «бизнес».

В эту минуту подъехал Генри на «паккарде», и Бэрден сел в машину, не сказав ни слова. Пепельно-серый лимузин отъехал от портика Капитолия, облюбованного скворцами.

— Куда, сенатор?

— Куда? — переспросил, очнувшись, Бэрден.— На виргинскую сторону. Там поглядим.

Генри прекрасно понял, куда захотелось поехать сенатору. Неподалеку от Бычьего протока лежало поле, где земляные укрепления времен Гражданской войны извивались, как громадная змея в высокой траве. Бэрден любил сиживать здесь и размышлять о прошлом, о днях, когда его еще не было на свете, мечтать о том, что было бы, если бы ему довелось родиться вовремя и принять участие в этой славной войне...

Через мост Чейн-бридж они пересекли Потомак, обмелевший, сузившийся от жары. На виргинской стороне реки начался лес, густой и довольно прохладный. Бэрден опустил стекло, набрал полные легкие воздуха, закрыл глаза и впал в дремоту.

— Мы приехали, сенатор.

Бэрден проснулся и увидел, что машина остановилась на лужайке; где-то над головой ветки деревьев соприкасались, фильтруя своей зеленью убийственные лучи солнца. В конце лужайки начиналось большое поле, где конфедераты строили свои укрепления.

— Останься в машине, Генри. Я ненадолго.

С трудом переводя дыхание, он подошел наконец к своему излюбленному месту над земляным укреплением и уселся на покрытый лишайником камень в тени молодых деревьев.

Умиротворенный, разомлевший, он взвешивал на ладони пулю, как делал уже много раз. Теперь, говорил себе Бэрден, он должен подумать, составить план на будущее, выработать программу действий, которая начиналась бы с этого самого момента и кончалась в тот ноябрьский день 1940 года, когда его выберут президентом. Прежде всего следует поговорить с Блэзом о деньгах. Затем он пойдет к Уильяму Рэндолфу Херсту и разъяснит, что... Мысль его вернулась к Нилсону: как бы ни было смело его предложение (и то, что под ним подразумева-

лось), он, Бэрден, никогда в своей жизни не брал взяток. В худшем случае он принимал деньги для избирательных кампаний, смутно сознавая, что в один прекрасный день сможет быть полезным тому, кто эти деньги жертвовал,— ситуация неприятная, хотя и вполне обычная в республике. Но Нилсон предложил прямую взятку, а ни один честный человек не может на такое пойти. Да и самое дело — лишить индейцев земли — жестоко и бесчестно.

Но что такое честь? Пальцы, державшие пулю, сжались в кулак. Обычный ответ: делать то, что ты обязан делать, чем бы это ни обернулось для тебя лично. На практике же такое благочестие мало применимо. Ведь не всегда знаешь, что должно делать. Если страна больше всего нуждается в президентстве Джеймса Бэрдена Дэя, а стать президентом он сможет лишь в том случае, если возьмет деньги у мистера Нилсона, то разве не должен он их взять? В конце концов, защитник конституции, берущий взятки, морально предпочтительнее неподкупного президента, стремящегося подорвать республику. И наконец знакомый невеселый вопрос: какое все это имеет значение? Недавно ему показали проект его собственного надгробия в Капитолии штата. «Мы предусмотрели место для четырех имен,— любезно объяснил архитектор.— Конечно, миссис Дэй захочет лежать рядом с вами и ваша дочь, наверно, тоже». Со временем никто не будет знать — да и к чему знать? — которая горстка пыли Билл, а которая — Джо.

Разморенный жарой Бэрден снова восстановил в памяти разговор у дверей Капитолия, поражаясь уверенности Нилсона в том, что он, Бэрден, не попытается привлечь его к ответственности. Единственно возможное объяснение сводилось к тому, что этот Нилсон — прирожденный искуситель, смелый провокатор, который инстинктом безошибочно определил, что Бэрден не из тех, кто поднимает шум.

Пытался ли он подступиться к другим сенаторам? Об этом стоило поразмыслить всерьез. Но солнце вконец разморило Бэрдена, и он закрыл глаза, погружаясь в темно-красное царство ночи. Сенаторы редко обсуждают подобные вещи. Он вспомнил, как все они были растеряны, когда после смерти очень известного, но бедного члена Клуба вдова обнаружила в его сейфе восемьсот тысяч долларов ассигнациями. «Мм... да»,— сказал Бэрден своему коллеге сенатору за тарелкой бобового супа в сенатской столовой.— «Мм... да»,— ответил коллега. Одни берут, другие — нет. Он — нет. И не возьмет.

Бэрден открыл глаза в ту минуту, когда из-за деревьев вышел человек с длинным ружьем в руках.

Человек осторожно приблизился. Остановился у подножия земляного укрепления. Он стоял теперь настолько близко, что Бэрден почувствовал исходивший от него запах пота и мог подробно рассмотреть его странную одежду: бесформенную куртку, рваные брюки, дырявые башмаки, из которых торчали черные пальцы.

Охотник навел ружье на Бэрдена и усмехнулся. Затем вдруг протянул жилистую коричневую руку, и в ее сжимающихся пальцах Бэрден узнал смерть прошлую, которую он уже где-то видел, и смерть грядущую. Он вскрикнул и проснулся как раз в тот момент, когда уже начал было сползать с земляного укрепления вниз, на камни.

Это всего-навсего театральное представление, разыгравшееся в его сознании, лишенное всякого смысла, подумал он, но все же лицо солдата армии конфедератов выглядело знакомым: тогда и лицо смерти вряд ли будет совсем уж чужим — ведь это его смерть приставила ружье к его груди. При мысли о своем чудесном спасении Бэрден встал и тут же заметил тускло мерцавшую в траве пулю, сразившую его отца. Наклонившись, он выкопал пальцами углубление, положил туда пулю и

засыпал сверху землей. Довольный тем, что сделал, он спустился с земляного укрепления и направился через поле к машине.

## III

— Да, сэр, завтра с утра я первым делом наведу о нем справки.— Клей Овербэри сидел за письменным столом сенатора.— Почему он вас так интересует? То есть, быть может, вас интересует нечто определенное?

Голос сенатора в ответ пробурчал что-то невнятное.

Зажав телефонную трубку между щекой и плечом, Клей закурил сигарету.

— Понимаю,— сказал он, решив, что либо он пропустил какие-то слова мимо ушей, либо пропускать было нечего. Далее сенатор со свойственной ему ясностью дал несколько указаний. Клей, как всегда, подивился способности старика помнить массу различных деталей. В отличие от Клея, которому вечно приходилось все записывать, сенатор ничего не забывал.

Клей позвонил мисс Перрин в приемную и попросил принести ему справочник «Кто есть кто в Америке». Удобнее откинулся в кресле. День подходил к концу. Клей вздохнул и застегнул рубашку, мечтая, чтобы вечер принес прохладу. Напротив него последний луч солнца осветил трагический рот Цицерона. Надо как-нибудь на днях почитать Цицерона, сенатору это будет приятно.

Появилась мисс Перрин, безуспешно пытаясь привести в порядок прическу и сделать из нее симметричную рамку для своего миловидного личика. Она передала Клею толстый красный том и подождала, пока он разыщет нужную фамилию. «*Нилсон, Эдгар Карл,* род. 1881 г. Хавр-де-Грейс, Мэриленд; женился на Люси Уэйвелл в 1921 г. (развелись в 1932)». Ученые степени не указаны. «Член совета директоров ряда корпораций: освоение земель, газ, нефть. Состоит в одном из лучших нью-йоркских клубов». Это интересно. «Адрес: 1106, Пятая авеню, Нью-Йорк». Он вернул справочник мисс Перрин.

— Наведи справки о каждой из этих компаний. Если потребуется помощь, запроси Торговую палату. Наведи также справки в фирме «Дан и Брэдстрит». Сенатору это нужно завтра.

— Слушаю, сэр.— Она искоса посмотрела на него, но он сделал вид, что не замечает взгляда. И мисс Перрин на своих опасно высоких каблучках двинулась к двери.

Были уже сумерки, когда Клей вышел в сад Капитолия.

У подножия Капитолийского холма он поймал такси. Шофер был навязчиво разговорчив и не обращал ни малейшего внимания на то, что Клей его не слушает, тем более что речь шла о «черномазых»,— Вашингтон был буквально одержим этой темой. *Они* нахлынули в город с Юга, и вот результат: на улицах стало небезопасно.

Такси остановилось у ресторана на Коннектикут-авеню, над которым в четырехкомнатном пансионе жил Клей вместе с тремя другими холостяками. Стоила комната дешево, а район был удобным: отель «Мэйфлауэр», в котором встречались действующие за кулисами политиканы и лоббисты, находился всего в минуте ходьбы.

Соседей своих Клей видел редко, но поддерживал с ними хорошие отношения. Это все были преуспевающие люди, и Клей изо всех сил стремился не отстать от них. Он давно заметил, что честолюбивые молодые люди тянутся к тем, кто уже обладает властью; это естественно и необходимо, но слишком часто они не обращают внимания на тех, кто

не достиг еще этой власти — то есть на себе подобных,— однако рано или поздно может ее достичь. Клей предпочитал думать о себе как о человеке, который смотрит далеко вперед. На самом же деле он просто существовал день ото дня, ожидая, когда перед ним распахнется заветная дверь. А тем временем плел широкую паутину связей, которые когда-нибудь ему пригодятся.

Квартира Клея представляла собой меблированную комнату с двойным окном, выходящим на Коннектикут-авеню, широкую трассу, обсаженную деревьями, с невысокими домами по обеим сторонам, похожую скорее на главную улицу маленького городка, чем на центральную магистраль столицы страны. Клей все не мог забыть, как он недоумевал, обнаружив, что Вашингтон всего лишь провинциальный город. Если не считать громадных, претенциозных правительственных зданий, улицы своим знакомым обликом радовали глаз провинциала. Любопытно, что столица родного штата во многих отношениях казалась ему больше похожей на крупный город, чем Вашингтон с его замедленным южным темпом жизни.

Стоя в центре комнаты, Клей скинул брюки, швырнул нижнюю рубашку на сломанный торшер, на котором уже висела пижамная куртка, забросил в темный угол туфли, наступил на кончики носков и, не нагибаясь, стянул их, швырнул трусы высокой дугой через всю комнату, так что они точно опустились на ручку двери в ванную и повисли, словно белое в зеленую полоску знамя. Затем рухнул, как подкошенное дерево, на незастеленную кушетку. Легкий ветерок высушил его тело, пока кожа не стала похожей на теплый сухой пергамент, готовый лопнуть от любого движения. Он и не двигался. Прижатому к подушке глазу все вокруг представлялось передержанной фотографией. Несколько минут он спал с открытыми глазами.

Легкий стук разбудил его. Не одеваясь, он подошел к двери, чуть приоткрыл ее, ожидая увидеть одного из своих соседей-холостяков. За дверью стояла мисс Перрин, возбужденная, с блестящими глазами.

— О,— сказал он без энтузиазма,— Долли.

— Я была поблизости. Я в восемь часов встречаюсь с Мэнсоном в «Континентале» — это в одном квартале отсюда, и я подумала...

Он распахнул дверь и тем прервал ее щебетанье.

— Входи,— сказал он.— Я думал о тебе.

Она охнула, увидев, что на нем ничего нет.

— Простудишься,— сказала она, краснея, но не отступая.

Он закрыл за ней дверь и повернул ключ.

— В такую-то жару? Заходи и вылезай из своих раскаленных одежд.— Он поцеловал ее. Она ответила поцелуем, прикусив ему нижнюю губу своими маленькими острыми зубками. Клей вскрикнул от боли. Долли Перрин где-то вычитала, что такой поцелуй означает страсть. Клей безуспешно пытался разуверить ее в этом, когда она приходила к нему, обычно перед свиданием с Мэнсоном, ее женихом, у которого была повреждена барабанная перепонка и который работал в фирме, производящей мятную жевательную резинку. Она собиралась за него замуж, потому что он был добр, рассудителен, постоянен; но не могла отказаться и от Клея, который как-то случайно привел ее к себе в первую же неделю ее службы у сенатора. Сначала она сентиментальничала, но Клею это было ни к чему. Он просто сказал ей, что она отличная девчонка, которая делает то, что хочет, и что он вовсе не совращал ее с пути истинного вероломством и обещаниями. «В этом нет ничего серьезного. Ничего, кроме удовольствия».

«А любовь?» — прошептала она сквозь волосы, в беспорядке рассыпавшиеся по лицу.

Он ответил довольно крепким ругательством, и она немножко поплакала; но он хоть и был хорошим адвокатом, не пытался ничего представлять в ложном свете. Он считал, что каждая из сторон должна полностью понимать, как обстоит дело. Он не любил лгать, не выносил сцен, презирал эмоциональную несдержанность. Его привлекали нейтральность и удовольствие. Долли Перрин приносила удовольствие. Что касается нейтральности, он старался следить за тем, чтобы ее помыслы не слишком отдалялись от главной цели — Мэнсона, его мятной жевательной резинки и маленького домика на Вермонт-авеню, который они собирались купить.

— Ну и беспорядок,— сказала она, оглядывая комнату глазами жены, какой она станет, когда истечет срок помолвки и из куколки пятилетнего ухаживания они вместе с Мэнсоном выпорхнут в мир одной громадной домашней молью.

— Это все я, — сказал Клей, наливая в пыльный стакан виски. Сам он пил редко, но знал, что виски и Долли отлично сочетаются. С каждым глотком их любовь будет радостнее и острее. Конечно, это была *любовь,* но разве так она представляла себе эту великую страсть? Два ослепительной красоты лица, раз в тридцать больше натуральной величины, спроецированные на киноэкран, готовые разделить друг с другом каждую мысль, каждую мечту, на которую способны только увеличенные в тридцать раз мозги. Клей же жаждал удовольствия — и ничего больше. Но для него был важен и сам факт победы. Ему все время не хватало побед над женщинами и, косвенным образом, над мужчинами, которые этих женщин любили. Всякий раз, побеждая Долли, он побеждал вместе с ней и Мэнсона.

Клей смотрел, как она раздевается,— медленная процедура, связанная с расстегиванием множества пуговиц, крючков и молний. Его всегда развлекала метаморфоза раздевающейся женщины. Одетая, она заключена в броню и замаскирована, ноги удлинены высокими каблуками, бедра и бюст уменьшены эластиком. То, что было высоким и изящным, у обнаженной женщины вдруг укорачивается, грубеет; сразу обнаруживается, что она хоть и миниатюрна, но сложена плотно, мощно, точно вылеплена из земли. Мужчина в сравнении с женщиной — хрупкий, нервный инструмент, сотворенный из огня и воздуха, не способных тягаться с землей и водой. Жалуясь, что в комнате светло и он, как всегда, не задернул занавеси, Долли подошла к постели, и эти четыре стихии на какое-то время слились воедино.

■

Когда Клея впервые пригласили в загородный клуб Чеви-Чейс, он был разочарован его простым деревянным крыльцом, выходившим на неприглядную улицу. Но, очутившись внутри, он сразу почувствовал себя так, будто перенесся в другое столетие: просторные комнаты наводили на мысль о неторопливом веселье, высокие часы никогда, казалось, не отбивали время, и каждый шаг был подчинен ритуалу.

Сегодня он явился рано и решил выйти на террасу; здесь, под полосатыми зонтиками, доиграв последние партии, сидели теннисисты и игроки в гольф, пили и болтали. Пора бы им уже и разойтись, недовольно подумал Клей, хотя открывающийся с террасы вид никак не вязался с мрачными мыслями: справа, за деревьями — теннисные корты и плавательный бассейн. Слева — сочно-зеленая, как английский парк восемнадцатого века на литографии, среди очаровательных холмов, долин и рощ, чуть синеватая на фоне вечернего неба, извивалась площадка для гольфа. В темных уголках рощи метались светлячки.

— Чего только нет у богачей, не правда ли?

Клей обернулся и увидел полного низкорослого человека, который пел на приеме у Сэнфордов накануне вечером. Клей пожал ему руку, всем видом стараясь выразить удовольствие: он не забыл, что это постоянный автор «Вашингтон трибюн», который к тому же так нравится Инид. Но как же его зовут?

— Почему я здесь? Я сам хотел бы это знать. Может быть, вы скажете? Что я здесь делаю? Здесь, с этими людьми?

Клей как бы между прочим заметил, что загородный клуб Чеви-Чейс — место ничего себе, и в ответ нежданно хлынул поток слов:

— Я ненавижу богатых. Я не терплю политических деятелей. Я презираю расчетливых молодых людей. — Клей почувствовал, как багровеет под воротничком его шея. Он надеялся, что гости, сидевшие под зонтиками, не решат, будто у него есть что-то общее с этим крайне неприятным типом, к тому же наверняка коммунистом.— Больше всего я ненавижу политику. Я ненавижу президента. Я ненавижу конгресс. Особенно омерзителен мне Верховный суд. Я не переношу военщину. Дипломатический корпус следует уничтожить — предпочтительнее при помощи отравленных бутербродов. Мне ненавистен Вашингтон, округ Колумбия, этот болотный рай, увитый смертоносным плющом, кишащий пиявками, где люди набивают себе желудки поджаренной на свином сале капустой и неудобоваримой виргинской ветчиной с привкусом наростов на киле затонувшего корабля. О, моя ненависть, пошли мне красноречие! Давайте выпьем.

Последние слова были произнесены тоном настолько нормальным, что Клей едва их расслышал.

— Пожалуй,— сказал Клей,— я...

— Я бы мог выпить, хотели вы сказать. Но за что?

— Нет,— сказал Клей, начиная закипать.— Я хотел сказать, что я бы не отказался.

— Ну, значит, я все это придумал,— усмехнулся собеседник, которого Клей уже ненавидел.

Они вошли в тускло освещенный бар. Каждый заказал выпить. Клей решил держаться вежливо, что бы ни случилось. Этот человек так нравился Инид... Все-таки ужасно, что он не помнит имени собеседника. А тот знает, как его зовут, и это дает ему преимущество, потому что имена обладают магической силой.

— У вас открытое лицо, Клей. Не допускайте, чтобы жизнь закрыла его. У вас есть политическое честолюбие?

— Есть.— Клей предпочел ответить резко и кратко.

— Никак не пойму, почему все вы стремитесь к должностям. Вот, например, этот мошенник Джеймс Бэрден Дэй.

— Я помощник сенатора Дэя.

Коротышка расхохотался:

— Знаю. И вы, конечно, ему преданы.

— Да.

— Я назвал его мошенником не потому, что он — единственный в своем роде. Я не вкладываю в это слово оскорбительного смысла. Да это и невозможно в Вашингтоне. Я имел в виду, что он такой же, как и все, только более удачливый. Ведь вам же не очень приятно было бы работать у бунтаря, который не хочет походить на остальных, правда?

Коротышка отпил большой глоток виски. За многие годы никто еще не вызывал в Клее такой неприязни.

— Согласен, у него весьма приятный голос, у вашего сенатора. И манеры. Я изучал его вчера вечером на приеме. Я не знал его — во плоти, так сказать. Но я его быстро раскусил. Актер! Он актер. Как он

владеет своим голосом! Как расставляет ударения! Как пародирует президента! Как эффектно меняет интонацию! В настоящий момент он играет Брута, но мог бы с таким же успехом сыграть и Макбета и Лира, а если бы ему очень уж не повезло — даже Тимона. Он может играть кого угодно, кроме себя, так как у него нет своего «я». Вас не утомляют ссылки на Шекспира? И вообще книги? Я часто замечал, что любая ссылка, которая не ассоциируется с чем-нибудь знакомым, например, с тем, что напечатано в утренних газетах, крайне нервирует местных жителей: они сразу начинают метаться в поисках ближайшего выхода.

— И я понимаю почему.— Клей был очень горд от того, что высказал ему это. Коротышка снисходительно рассмеялся.

— Вы выиграли. Я зануда. Я надоел самому себе больше, чем всем остальным, особенно в этом омерзительном городе.

— Почему же вы не уедете?

— Нет денег. Я беден. Я должен работать. Моя работа здесь. Представляете себе: я хожу днем в кино — привычка глубокопорочная, это даже хуже, чем нюхать героин, и столь же заразительно, так как я люблю то, что вижу на экране. Я плачу из-за Джоан Кроуфорд. Боже, как они с ней обращаются! Свиньи! И малышка Джин Артур, которая так потешно морщит носик... так правдоподобно. Знаете, все, что я вижу в этих темных, пропахших носками и жареной кукурузой кинотеатрах, кажется мне более правдоподобным, чем все это вокруг! — Он обвел комнату причудливым движением руки, и точно по волшебству в дверях возникла Инид.

— Что вы здесь делаете вдвоем? — В серебряном платье, прямая, стройная, она выглядела как индийская принцесса.— Пошли, прием начался.

— Я рассказываю мистеру Оверборду, как я люблю Вашингтон.

— Овербэри.

— Он отлично знает, как тебя зовут. Мне кажется, тебя сегодня следует наказать, Гарольд.

— Меня наказывают хозяева... и любовницы.

Клей резко поднял глаза на Инид, но она потащила его в соседнюю комнату, предоставив Гарольду, высоко подняв стакан, провозглашать тост за законное правительство Испании, осажденное в Валенсии.

— Вот сукин сын!

— Гарольд? Не нужно принимать его всерьез. Он обожает выводить людей из себя. Для смеха. Послушай...

Но Клею не удалось ничего услышать, а Инид — рассказать, так как их внезапно остановила бледная близорукая молодая женщина, увешанная бусами.

— Инид Сэнфорд! Ну до чего хороша в этом серебряном платье! Этот цвет так вам идет.

— Спасибо, миссис Блох.

— В воскресенье у меня небольшой прием, очень intime *.— К явному удовольствию Инид, французское произношение миссис Блох было ужасающим.— Приходите часов в шесть. Это в честь...— Она назвала имя престарелого члена Верховного суда.— Он такой милый.— Клей не смог удержать улыбки. Как сказала однажды Инид, при приближении этого старикашки даже калеки швыряют свои костыли и спасаются бегством.— Он любит отдохнуть в обществе родственных душ.— Все были уверены, что у судьи роман с миссис Блох, последний старческий взлет перед окончательным закруглением.— Он так восхищен вами, Инид. Он обожает молодежь.

— Обязательно постараюсь прийти, миссис Блох.

---

* Интимный *(франц.)*.

— В любое время после шести.

— Позвольте вам представить...— Инид хотела познакомить ее с Клеем, но миссис Блох это было явно ни к чему. Она заметила какого-то посла и исчезла.

— Интересно знать, как попала сюда эта чертова еврейка? — сказала Инид.

— Если верить газетным сплетням, она бывает везде.

— Это потому, что она знакома со всеми репортерами светской хроники. Я уверена, она платит им, чтоб о ней писали. Ну, уж у нас ей не бывать, а мы не переступим порога ее дома. Бедняжка. Сидела бы себе в Нью-Джерси или откуда она взялась. Вашингтон не для нее. Послушай, я насчет вчерашнего вечера.

— Сожалеешь?

— Конечно нет! — В темных глазах Инид отражался свет люстры. До чего же она хороша, подумал Клей, чувствуя, что он ей не пара.

— Питер знает.

— Какой Питер и что он знает?

— Мой брат. Я не смогла вчера тебе рассказать. Он видел нас. В раздевалке.

— О боже! Почему я не запер эту проклятую дверь!

— Ну, поздно жалеть, но я не знаю, что теперь делать.

— Он расскажет отцу?

— Не думаю. И потом он такой лгунишка, ему не поверят.

— Лгунишка? — Для Клея это было новостью.— А где сейчас отец?

— Он где-то здесь. Вон там.

Их окружили друзья Инид. Девушки целовали ее в щеку, молодые люди здоровались за руку.

— Поговори с ним! — поверх их голов крикнула Инид Клею.

Блэз Сэнфорд сидел в углу комнаты в обществе двух мужчин в серых костюмах, обсуждая, разумеется, политические проблемы. В соседней комнате начались танцы. Хотя прием был устроен для молодежи, присутствовали и пожилые люди. Подобно хору, они сидели в глубоких креслах, наблюдая, как движутся в сложном рисунке танца их преемники, зная, что со временем им придется уступить место в этих глубоких креслах молодым танцорам, которые, в свою очередь, должны будут освободить комнату для танцев другим, еще более молодым. «Что нужно сделать, чтобы тебя не забыли? — подумал Клей...— Как сохранить за собой жизненное пространство?» Этот вопрос задавало его честолюбие, но он не находил ответа.

— Мистер Овербэри? — Стройный блондин с легкой проседью стоял между ним и танцующими.— Меня зовут Эдгар Нилсон, я друг... точнее — будущий друг сенатора Дэя.

— Знаю,— Клей многозначительно улыбнулся и крепко пожал протянутую ему руку.— Вы из Нью-Йорка. Но ваша родина — штат Мэриленд.— Он знал, что обнаруживает, вероятно, излишнюю осведомленность, но тем хуже для сенатора, раз он решил что-то скрывать от Клея.

— Я вижу, мною уже интересовались. Но, к счастью, мне нечего скрывать. Все улики уничтожены.

Клей засмеялся: вы очень хладнокровны, мистер Нилсон, очень уж хладнокровны.

— Я хочу купить землю у индейцев, но боюсь, сенатор не очень расположен мне в этом помочь.

— Может ли он отнестись к этому иначе?

— Индейцам это не повредит. Да и цена приличная.

— Бусы, ожерелья из ракушек, огненная вода?

Нилсон расхохотался:

— Вы сообразительны, мистер Овербэри. Но на сей раз ошибаетесь. Я плачу настоящую цену. Наличными.

— Но меньше, чем эта земля стоит?

— Кто знает?

— Вы знаете — иначе вы не захотели бы ее купить.

— Я готов помочь сенатору в выдвижении его кандидатуры на президентских выборах сорокового года.

— Что он вам ответил?

— Ничего.

— Чем же вы можете ему помочь?

— Деньгами. Влиянием. Кстати, вот и наш друг Блэз Сэнфорд...— Нилсон подвел Клея к креслу, в котором сидел Блэз.

— Эдгар! Что вы здесь делаете? Садитесь. Здравствуйте, Клей,— холодно добавил он.

— Добрый вечер, сэр. Кое-какие дела, Блэз,— ответили они одновременно, усаживаясь по обе стороны издателя в кресла, еще теплые после его недавних собеседников.

— Жаль, я не знал, что вы в городе. Вчера у нас был прием. Вам следовало быть на нем. В честь поражения мистера Рузвельта.

— И победы сенатора Дэя.— Нилсон улыбнулся Клею.

Проницательные глаза Блэза внимательно оглядели обоих.

— Какие же у вас дела?

Нилсон ответил с присущим ему спокойствием:

— Я хочу, чтобы сенатор Дэй в сороковом году был избран президентом.

— Неплохая идея. Что вы скажете, Клей? — И в сторону, Нилсону: — Пристрастное свидетельство.

— Конечно,— сказал Клей.— Но разве я могу желать другого? И сегодня это уже представляется возможным. Мы говорили с вице-президентом.

Как большинство сенатских помощников, Клей предпочитал говорить «мы» в тех случаях, когда вообще-то следовало сказать «он»,— привычка, которую он не выносил у других, но прощал себе.

Блэз посмотрел на него с интересом:

— Вы перетянули его на свою сторону?

— Да.

— Это хорошо.

Нилсон поднялся.

— Я позвоню вам завтра, Блэз.

— Обязательно. Приходите к нам на ленч. Покупаемся в бассейне. Завтра снова будет жарко.

Нилсон скрылся в танцевальной комнате. Клей понимал, что другие страстно желают занять его место рядом с издателем, пожать ему руку, урвать свою долю славы. Ему следовало уйти, но он предпочел остаться.

— Кто он такой, этот мистер Нилсон? — смело спросил Клей. В конце концов, ему нечего терять, кроме Инид, миллиона долларов и поддержки могущественного газетного магната.

— Кто такой мистер Нилсон? — повторил Блэз таким тоном, словно хотел сказать: «А кто такой Клей Овербэри?» — Что ж. Это мой друг. Он занимается нефтью. Не знаю, чем еще. Бэрден должен с ним подружиться. Это пошло бы на пользу им обоим.— Блэз посмотрел вокруг, как бы ища поддержки.

Клей сидел точно на горячих угольях.

— Сэр, я хотел спросить вас насчет Инид...

— Что насчет Инид? — Темные глаза вдруг впились в него. В искривленном гримасой красном лице Клей увидел сходство с Инид.— Так что же?

— Мы довольно часто встречались с ней этим летом.

— Нет,— отрезал Блэз.

— Что нет?

— Вы на ней не женитесь.

— Я не сказал, что собираюсь на ней жениться.

— И не помышляйте об этом.

Клей почувствовал ужас и одновременно гнев. Гнев возобладал.

— Почему нет? — Голос его задрожал. От напряжения, не от страха, сказал он себе.

— Я не обязан вам отвечать.

— Но и я не обязан выслушивать оскорбления.

— И потому наш разговор окончен, не так ли?

— Да.— Клей встал. Голова у него кружилась.— Окончен,— сказал он,— до поры до времени.

Но Блэз уже подзывал к себе кого-то из гостей.

Клей вошел в танцевальную комнату. Ему казалось, что он готов убить Блэза. Он взял предложенный лакеем стакан с виски и залпом выпил его. Сразу же стало тепло. Впервые он понял, что люди пьют для того, чтобы вынести невыносимое. Он погрузился в веселье, поплыл между танцующими и не вылезал на берег до полуночи, когда опустели глубокие кресла и настала пора для настоящей выпивки и откровенных ухаживаний.

— Что будем делать? — Перед ним на балконе под навесом стояла Инид. В темноте парка прогуливались парочки, их путь в ночи обозначался устойчивыми огоньками сигарет, не похожими на пульсирующее мигание светлячков.

— А чего бы тебе хотелось? — Он не желал брать ответственность на себя. В один прекрасный день, подсказывал ему его юридический ум, дело будет разбираться, и он должен быть в состоянии доказать, что не прибегал к давлению. Выбор должна сделать она, а не он. И она сделала его.

— Поедем куда-нибудь на ночь.

— В купальню? — Он улыбнулся.

— Нет, только не туда! После этой истории с Питером... Поедем... в Мэриленд.

— В Элктон? — Наводящий вопрос: именно в Элктоне быстро и без формальностей венчались обычно вашингтонские парочки.

— Ты говорил с отцом?

— Это необходимо?

— Он умеет быть неприятным.

— Таким он и был.

— Он не любит молодых людей. Для него они недостаточно значительны.

— А для тебя?

— Я не ищу значительности. Ведь все было тогда в первый раз.

Он уже слышал это вчера во время грозы; слова произвели впечатление, хотя он и не был уверен, что она говорит правду. Но, возможно, так оно и было. Во всяком случае он не мог доказать обратное. Начиная с зимы, они встречались изредка на вечеринках, менее случайными были их встречи в конце недели. В тот вечер, когда он сломал себе нос в Уоррентоне, она впервые принадлежала ему. Его боль доставляла ей какое-то озорное наслаждение, и она требовала, чтобы он снова и снова целовал ее, невзирая на нелепую, громадную, идущую через все лицо

повязку. Но только вчера вечером они принадлежали друг другу «до конца», как выразилась Инид.

— Что же будет с Дианой? — Выражение лица Инид вдруг напомнило Клею ее отца.

— С Дианой? — переспросил он, делая наивные глаза.

— Она ведь, кажется, влюблена в тебя.

— Я работаю у ее отца. Она мне нравится.

— Ты спал с ней?

Он отрицательно покачал головой:

— Нет. Ни на резиновом матраце, ни на полу.

Инид засмеялась:

— Я, наверно, не пережила бы этого.

Клей любил ее, а сейчас она ему даже нравилась. Иногда она говорила о себе с грубоватым юмором: девушки, которых он знал, не обладали такой способностью.

— Мы это еще обдумаем,— сказала она наконец.— А теперь идем танцевать. Ты знаешь, я ужасно молодо выгляжу. Даже для моих лет. Так говорят все.

Они вернулись в комнату. Возбужденные парочки танцевали под шумную, энергичную музыку. Ну что ж, подумал Клей. Нужно время, чтобы победить Блэза. Нужно также как-то сказать Диане, что он не может на ней жениться. Хотя он многим обязан ей и еще большим — сенатору.

## IV

Две луны поднялись над равниной, посеребрив башню. Это был сигнал. Он посадил планер. Затем, завернувшись в особый плащ, который дал ему Великий Мург, зашагал обратно в город, где его ждало войско.

«Мне плевать, чего она хочет! Важно, чего хочу я».

«Но, Блэз, будь благоразумен. В конце концов это уже свершилось».

На главной площади древнего города, более древнего, чем История, выстроилось войско тарков. Увидев его, узнав плащ Великого Мурга, они приветствовали его криками.

«Мы расторгнем брак».

«Но как, если они... если она...»

Он долго смотрел на это море приветствующих его тарков. Он чувствовал, как все его существо наливается силой. Он взглянул на балкон, где стояла Тувия в гелиевой короне древней империи. Она помахала ему рукой. Он салютовал ей из винчестера, который подарил ему отец к рождеству.

«Я говорила, что надо было уезжать в июне в Уотч-Хилл. Это ты виноват, Блэз, мы застряли здесь из-за твоей проклятой политики. А теперь она сбежала, и дело сделано. Вышла замуж за политического деятеля. Ты должен быть доволен».

Раздался звон разбитого стекла. Питер попытался включить его в свою фантастическую историю, но безуспешно. Видение Тувии и тарков разлетелось на кусочки, как тот высокий стакан, который отец, вероятно, швырнул в мать или на пол. Он заглянул в открытое французское окно. На полу между родителями лежали осколки разбитого стакана, содержимое которого пятном растеклось по ковру.

— Смотри, что ты наделал.

— К черту ковер.

— К черту все. Вот чего ты на самом деле хочешь.— Это прозву-

чало неожиданно. Фредерика обычно держалась на краю сцены. Всякого рода прямые заявления были не в ее стиле.

— Что ты предлагаешь? — в упор спросил Блэз.

— Плесни воды на ковер. Это растворит пятно.

— А потом?

— О, что хочешь.— В ее голосе уже не было решительности.— Но постарайся быть любезным, когда они приедут.

— Мне надо бы велеть его арестовать за совращение несовершеннолетней.

— Она совершеннолетняя — по закону Мэриленда, и он не совратил ее, а женился на ней.

Ранним утром Инид и Клей поженились в штате Мэриленд. Она сообщила эту новость по телефону, когда вся семья находилась за завтраком. Каждый повел себя соответственно. Фредерика поинтересовалась, где они провели ночь (в автомобиле). Блэз сказал, что не желает больше знать их обоих, на что Инид ответила: «Не говори глупостей, мы будем дома к ленчу». Питер считал, что после случившегося в купальне такой конец выглядит слишком уж банальным. Он перемотал пленку фильма и снова просмотрел в несчетный раз, как будто сам был его участником. Но банальное или нет, это событие во всяком случае ломало рутину повседневной жизни семьи. Хотя бы за это он был им благодарен.

— Так или иначе, ты сам в этом виноват,— повторила Фредерика свой единственный аргумент.— Если бы мы уехали в Уотч-Хилл, вместо того чтобы...

— ...остаться здесь, мы с Клеем никогда бы не поженились. Это чистейшая правда.— Инид вошла в комнату в измятом серебряном вечернем платье и серебряных туфлях. Прихрамывая, подошла к столу.— Я потеряла каблук в Элктоне. Сломала его на ступеньках дома мирового судьи. Клей ждет в машине. Я сказала ему, что пойду вперед и посмотрю, что здесь делается. Я уже все поняла.— Она скорчила гримасу.— Папа, почему ты считаешь, что тебе обязательно нужно устроить сцену?

— Я еще не произнес ни слова.— Блэз говорил поразительно дружелюбным тоном.

— Но ты ужасно грозно разговаривал со мной по телефону. А теперь посмотри на свое лицо! Мама, что нам с ним делать?

— Вы *спали* в машине? — Фредерику больше всего волновали обстоятельства.

— Мы сидели в машине. И не спали ни минуты. Но мне необходимо вылезти из этого платья и переобуться.

— Нет,— сказал Блэз. Тут он увидел в окне Питера.— Проваливай отсюда! — закричал он, как фермер, увидевший птицу, садящуюся на только что засеянное поле.

Питер исчез. Он обошел вокруг дома и, продравшись сквозь густые заросли самшита, вышел на шоссе, где сидел в своем «плимуте» Клей, читая «Трибюн».

— Очевидно, мне полагается вас поздравить.— Питер пожал Клею руку, заметив, что она влажная и что отросшая за сутки щетина несколько изменила контуры классического подбородка. Но даже с красными от бессонной ночи глазами Клей был, как всегда, красив.

— Все произошло так неожиданно,— сказал Клей.— Что там делается?

— Здесь это тоже было неожиданностью.

— Как воспринял отец?

— Он расстроен. А почему, собственно?

— Не знаю. А ты?

Питер покачал головой.

— Может быть, он хотел, чтобы она вышла замуж за... не знаю, за кого-то другого.

— За богатого?

— Не думаю. Не знаю. Он бывает странным.

— Что ж, что сделано, то сделано.

Из двери, прихрамывая, выбежала Инид.

— Клей, заходи. Ах, это ты,— безразлично бросила она Питеру.— Наслаждаешься суматохой?

— Не больше, чем ты.

Инид пропустила это мимо ушей.

— Он хочет поговорить с тобой,— сказала она Клею.— Посмотрим, сможешь ли ты с ним сладить.

## V

Это была нелегкая задача хотя бы потому, что Клей не мог понять, с чем надо сладить. Блэз вежливо поздоровался с ним, предложил выпить. Затем, учитывая, что приглашенные к ленчу гости будут только через час, он спросил, не хочет ли Клей искупаться в бассейне. Фредерика и Инид были сбиты с толку его тактикой, как, впрочем, и сам Клей.

У входа в купальню Клей вдруг на мгновение почувствовал себя виноватым. Но Блэз приветливо взял его под руку.

— Я полагаю, вы не раз бывали здесь этим летом.

Интересно, рассказал ли Питер, подумал Клей. Но если Блэз и знал что-либо, он был слишком сосредоточен на своем намерении держаться дружелюбно и не подал вида, будто знает.

— Вам, наверно, известно, какие трусы вам будут впору.— С вешалки для шляп свисала дюжина купальных трусов. Клей взял одни из них. Блэз — другие. Затем оба, перебрасываясь ничего не значащими фразами, разделись.

— Вы хорошо знаете сенатора Беркли?

— Да, сэр, довольно хорошо.

— Я лично поддерживал кандидатуру Пэта Хэррисона на пост лидера большинства. Но надо иной раз дать и Франклину выиграть какую-нибудь битву.

— Сенатору Дэю нравится Беркли, но он считает его слабым.

— Резиновый штемпель в руках президента?

— Да, сэр.

Завязывая тесемки купальных трусов, Клей взглянул в зеркало: Блэз наблюдал за ним с такой чудовищной ненавистью, что он почувствовал ее физически, как раскаленное железо, неожиданно коснувшееся его спины между лопаток. Но когда Блэз заговорил, голос его был снова приветлив:

— Захватите свой стакан. Давайте посидим в тени. Хотя в такую жару и тень мало что дает. Но это ваша вина, сами знаете.

— Моя вина? — Начинается. Клей напрягся, готовый к удару.

Блэз улыбнулся:

— Вина конгресса — прозаседали весь июль.

— Вина президента, который хотел силой навязать нам законопроект о Верховном суде.

Блэз кивнул, подвел Клея к шезлонгам, расставленным у бассейна.

— Этот Гарри Гопкинс, безмозглый осел, хочет быть президентом. Но разве можно стать президентом, если путаешься с розовыми и социалистами. Бедный Гарри полагает, что сороковой год будет *его* годом. Как и Бэрден.

— Я думаю, что у сенатора есть шансы.

— Возможно.— Блэз вытянул свои короткие прямые ноги. Голубые варикозные вены извивались на икрах.— Откуда вы возьмете деньги?

— У нас есть немало сторонников на Западе. Кое-кто из нефтяного бизнеса.

— Я имел в виду вас лично. А также Инид.

Клей почувствовал себя идиотом: как мог он так промахнуться?

— Моего жалованья хватит для нас обоих.

— Для Инид?

— Вы так не считаете?

— Вы ждете, что я дам вам денег. С какой стати?

— Почему бы и нет?

Блэз пристально посмотрел на Клея.

— Что ж, справедливая постановка вопроса. Я не одобряю этого брака, потому что Инид слишком молода. Ей следовало повидать мир за пределами Вашингтона. Повидать людей.

— Что вас не устраивает во мне?

— Отсутствие денег.

— Но у меня будут деньги. А пока нам хватит того, что есть.

— Каким вы представляете свое будущее?

— Блестящим.

— А именно?

— На поприще политики.

— Занимаясь политикой, деньги тратят, а не зарабатывают.

— Меня это не пугает.

— Меня тоже. Послушайте, если бы я дал — ну, скажем, сто тысяч долларов,— вы согласились бы расторгнуть брак?

Клей невольно рассмеялся:

— Не знал, что такие вещи говорят на самом деле. Нет.

— Вы любите Инид и не можете без нее жить? — с издевкой спросил Блэз.

Во взгляде Клея сквозила такая ненависть, что ее нельзя было не заметить; Блэз вдруг выпрямился в шезлонге и закинул ногу на ногу.

— Я ни слова не говорил о любви, мистер Сэнфорд. Но если вы хотите знать мое мнение, могу сказать, что я не собираюсь портить себе биографию расторжением брака, так как этим смогут воспользоваться мои будущие политические противники.— Клей посмотрел на старика с усмешкой, которая, как он себе представлял, означала победу, по крайней мере — в данной ситуации.— Вам придется придумать что-нибудь еще... сэр.

Блэз промолчал. Отпил из своего стакана. Он изучал сгнивший пень, превращенный муравьями в громадный, причудливый город.

— Я не люблю, когда меня используют.— Такой вульгаризм прозвучал странновато в устах Блэза.— Я знаю, что вы собой представляете. Бедный юноша из провинции, который приезжает в столицу, чтобы найти свою судьбу. Потом женится на богатой девушке и живет припеваючи на ее деньги. Вот только она несчастна. Клянусь, с Инид этого не произойдет.

— Каким вы представляете себе ее мужа?

— Таким, как я.

— С деньгами?

— С происхождением.

— Вы сноб, сэр.

— Никогда этого не отрицал. И позвольте вам заметить, что этот город — Голгофа для сноба, для любого, кто хоть что-то собой пред-

ставляет, так как он вынужден якшаться со всякими шарлатанами и клоунами, которые обманом заставляют народ голосовать за них...

— Но ведь не все клоуны.

— Остальные еще хуже. Они жаждут власти ради нее самой. Как Франклин.

— Как вы.

— Знаете, почему я здесь? Меня забавляет возможность баламутить это болото.— Он посмотрел на дерево.— Вы, конечно, уже спали с ней. Она беременна?

— Насколько мне известно, нет.

Блэз рывком встал на ноги, пересек вымощенную кирпичом площадку и нырнул в воду. Клей последовал за ним, но не торопился: от разговора его бросило в пот. Согнувшись, он оттолкнулся от доски, распрямился в самое последнее мгновение перед тем, как коснуться воды, и открыл глаза навстречу прохладной, смутно-зеленоватой толще. Он проплыл под водой всю длину бассейна, нехотя вынырнул на поверхность и увидел, что Блэз сидит на краю и наблюдает за ним.

— Я был в команде пловцов Йельского университета.— Блэз отпарировал несколько показной прыжок Клея.

— А я никогда не был ни в какой команде. Я должен был работать, чтоб кончить школу. Я топил печи.

— Браво.

— Я не хотел хвастаться.

— Зато я хотел. Инид... великодушная девушка. Не знаю, почему она вышла за вас замуж, быть может, она хочет дать вам то, что вам нужно; деньги, например.

— Мне нужны деньги, но не настолько.

— Вы их не получите.

Клей подумал, что́ будет, если он ударит своего тестя. Это было бы неплохо. Последующие отношения будут хоть и прохладные, но, по крайней мере, честные. Усилием воли он взял себя в руки.

— Вы, однако, не назвали ни одной разумной причины своего несогласия на мой брак с Инид.

— Я против потому, черт побери, что не хочу облегчать вам все это.

— Что именно?

— Все. Игру, которую вы начинаете. Вы хотите подняться по лесенке, а я этого не хочу .

— Почему же?

Но Блэз не ответил. Он встал и направился к раздевалке. Клей крикнул ему вслед:

— Потому что сами вы не поднялись высоко? Не смогли? — Клей осмелел.— Потому что вы были слишком богаты, чтобы работать локтями, как все? — Но Блэз уже скрылся за дверью.

Клей выждал, пока Блэз оденется. Затем вошел в раздевалку. Блэз причесывал свои редкие волосы. Он не обращал на Клея внимания. Клей быстро оделся. Перед тем как выйти, Блэз обернулся к нему.

— Я сам добился власти.

— У вас были деньги — для начала.

— Как я добился власти — несущественно. Существенно то, что у меня есть власть, а вы к ней стремитесь.

— Не к такой власти.

— Все едино, как вы сами узнаете. Что ж, не слишком-то вам будет легко, а? — Он от души веселился.— Нас ждет ленч, во время которого мы объявим радостную новость. Приедет сенатор Дэй. Я сказал, чтобы он взял с собой Диану. Думаю, вам это будет приятно.

Шагая по дорожке между кустами самшита, Блэз взял его под руку с такой нежностью, что это произвело бы впечатление на любого.

# VI

Ленч был сплошным кошмаром. Раз или два Клей пытался предупредить сенатора и его дочь о случившемся, но Блэз следил за тем, чтобы ему не представилось такой возможности. Объявление, сделанное за десертом, прозвучало как выстрел. Бэрден невольно поднялся, чтобы подойти к Диане, сидевшей напротив. Но она если и нуждалась в утешении, то не подала вида, и Бэрдену пришлось подойти к Клею и поздравить его. В этот момент поднялись и остальные.

В гостиной Блэз принялся играть свою любимую роль тамады. Он произнес речь:

— Не скажу, что я не был удивлен. Я был удивлен. Мы все были удивлены. Но нынче поступают именно так. Впрочем, мы должны быть благодарны им — хотя бы за то, что теперь никто не обязан делать им подарки. Серебро и все прочее. Ничего.

Кто-то засмеялся. Бэрден заметил, что у Инид усталый и мрачный вид. Только Блэз откровенно наслаждался происходящим, забыв, казалось, обо всем. Он пожелал молодым долгой, счастливой супружеской жизни. Были произнесены торжественные тосты. Затем гости вышли на террасу.

— Я говорил вам, что у меня много разных друзей.— Мистер Нилсон сверкнул улыбкой, глядя на Бэрдена.

— Вижу.— Тот, как в ловушке, стоял на террасе со своим искусителем. У края лужайки, под вязом, остановились Клей и Диана. Она была бледна и молчала. Клей с горячностью что-то ей объяснял.

— Между прочим, я здесь и для того, чтобы поговорить с Блэзом о вас.

— Вы очень добры.— Бэрден хотел сразу же уехать, но Диана должна была объясниться с Клеем, и вот он оказался в руках Нилсона.

— Мы готовы начать кампанию «Дэя — в президенты».

Бэрден посмотрел на него взглядом, который говорил, что это забавно, но неправдоподобно,— от такого взгляда обычно становилось не по себе свидетелям, дававшим показания в комиссиях сената. Но мистера Нилсона, очевидно, ничто не могло вывести из равновесия.

— Мы, наверно, создадим нашу первую организацию в Вашингтоне. Для рекламы понадобится несколько известных имен. Блэз, например. Я — нет, не беспокойтесь. Я, как всегда, останусь за кулисами в должности неофициального казначея.— На последнем слове он с легкой усмешкой сделал ударение.— Двести пятьдесят тысяч долларов — с такой суммой в кошельке ваша кампания плавно тронется с места. Конечно, это только для начала.

Диана отвернулась от Клея. Он, по-видимому, не договорил того, что хотел ей сказать. Он протянул руку, желая удержать ее, но Диана уже быстро шла через лужайку к террасе. Сын Блэза остановил ее на ступеньках и что-то сказал ей, она попыталась улыбнуться. Бэрден увидел, чего это ей стоило, и извинился перед Нилсоном. Он подошел к Диане и Питеру.

— Поедем? — спросил он.

— Пожалуй, да. Где Инид?

Питер пожал плечами:

— В постели, я думаю. Они не спали всю ночь.

— Передай ей, как я... за нее рада.

— Хорошо.

Бэрден взял дочь под руку. К его удивлению, ситуация начинала ему нравиться. «Отец утешает обманутую дочь». Жизнь очень часто представлялась ему в виде серии старых фотографий с такими, напри-

мер, подписями: «Государственный деятель на берегу залива», «Смерть в семье», «Поруганная честь». Трудно, конечно, переживать за других. Но он пытался, так как искренне верил, что человек должен быть добр. Во всяком случае, его никто не упрекнет в том, что он не пытался. К несчастью, хотя он любил свою дочь, он любил и Клея, и это очень затрудняло положение, особенно сейчас, когда Клей, тяжело дыша, остановился между ними и дверью в гостиную. Он, очевидно, бежал.

— Простите, сенатор. Я не предупредил вас. Но это случилось так неожиданно. Мы этого не планировали.

— Это очевидно.— Слишком холодно, решил Бэрден.— Я знаю, как это бывает. Она необыкновенно привлекательна. Поздравляю.

Клей первничал, и это доставляло Бэрдену удовольствие. В их довольно сложных взаимоотношениях Клей всегда сохранял хладнокровие, а Бэрден под воздействием чувств кидался из одной крайности в другую. Но теперь-то Клей отнюдь не хладнокровен, и Бэрден понял, чего он боится: что он, Бэрден, его уволит. Какую-то секунду он забавлялся этой мыслью. Конечно, это порадовало бы Диану, не лишенную — он это знал, так как видел в ней себя,— мстительной жилки. Но Клей может быть спокоен за свое место: Бэрдену без него не обойтись.

— Увидимся в понедельник.— Он неопределенно улыбнулся Клею и направился с дочерью в гостиную, чтобы проститься.

Фредерики не было. Она наверху, с мисс Инид, сказал лакей.

— Объясняет ей кое-какие истины, могу поручиться! — Перед ними неожиданно возник Блэз.— Уверен, что ты не преподнесешь отцу такой сюрприз, какой преподнесла мне Инид.

— Я не очень-то умею делать сюрпризы. Да и не вижу такой возможности. Непохоже, чтобы мною кто-то интересовался.

— Ну, пошли, пошли,— встревожился Бэрден.— У тебя же есть поклонники.— Он повернулся к Блэзу.— И я, по-твоему, должен их ненавидеть? Неужели молодой человек, который любит твою дочь, представляет собой такую страшную угрозу?

— В нашем доме это уже не угроза, а реальность.— Блэз вдруг нахмурился.— Надеюсь, вам больше повезет. Вам обоим. Да, Эд Нилсон просил кое-что вам передать. Не знаю, что это. Наверно, любовная записка. Он вас обожает.— Блэз протянул Бэрдену конверт.

— Спасибо за ленч,— сказал Бэрден.— И за сюрприз,— не удержавшись, добавил он.

— Если быть точным, это не мой сюрприз.— Блэз помог им сесть в машину, которую Генри подал к подъезду.— Но мы должны принимать то, что сваливается на нас.— Бэрден и Диана отъехали, и Блэз долго махал им вслед, точно не надеялся больше их увидеть.

— Он поступил поразительно жестоко — так я считаю,— сказал наконец Бэрден, зная, что рано или поздно придется затронуть эту тему.

— Он влюблен в нее. Почему же ему не жениться?

— Я говорил не о Клее. Я имел в виду Блэза.

— Я этого как-то не заметила.— Она старалась не смотреть на него; машина везла их мимо зеленых зарослей Виргинии.

— Ты хотела выйти замуж за Клея.— Как хирург, которому приходится оперировать без анестезии, Бэрден сделал первый быстрый разрез. Кожа лопнула. Больной охнул, но выдержал.

— Да. Так можно сказать.

Странная формулировка, подумал Бэрден. Сказать можно все.

— Что он говорил тебе сейчас на лужайке?

— Не помню.

— Прости. Это не мое дело, конечно.

Она посмотрела на отца сухими, блестящими глазами: у больного началась лихорадка.

— Да нет. Я и в самом деле не помню. Я не могла сосредоточиться. Он все говорил, а я все думала: он женится на Инид, а что будет со мной? Кажется, он просил прощения. Не знаю. Он нервничал, а я никогда не видела, чтобы он нервничал.

— Перед деньгами, должно быть, нельзя устоять.

— Нет! — горячо воскликнула Диана.— Уверена, что это не из-за денег или не только из-за них. Это из-за Инид. Посмотри на нее. Кто может с ней сравниться? — У пациента начался рецидив. Рыдания были так прерывисты, что скорее напоминали икоту.

Диана отодвинулась, закрыла лицо руками. Она опустила их, лишь когда машина пересекла Чейн-бридж. Молча они проехали мимо зловонного канала, по которому в летней дымке медленно двигались баржи на конной тяге. Когда на окраине Джорджтауна возникли первые полуразвалившиеся жилища негров, она сказала:

— Ты что-нибудь сделаешь? С Клеем?

— Уволить его? Нет. Он мне нужен.

— Я хотела бы этого.

— Уволить его?

— Да! — Она сжала челюсти. Как она похожа на него! Кровь не умирает! Ничто не умирает, никогда. Эта мысль пьянила. Значит, он будет жить в ней.

— Ты не хочешь этого. Ты не так мелочна.

— Хочу, и я так... взбешена. Я б хотела, чтобы он умер.

— Диана...— Он попытался вспомнить, как звали отца Медеи.

— Я переживу это. Прости, что я устроила сцену.

— Он когда-нибудь... говорил, что хочет жениться на тебе?

Через стекло машины Диана смотрела на темно-красные кирпичные дома Джорджтауна.

— Да,— сказала она в окно.— Говорил. На рождество. В клубе Салгрейв. Перед танцами. На мне было мое первое черное платье. То, которое не понравилось маме. «Ты выглядишь в нем лет на тридцать,— сказала она,— и как будто в трауре». Но мне нравилось, как я выгляжу. Очевидно, Клею тоже. Мы собирались пожениться этой весной, как только конгресс распустят на каникулы. Но конгресс все заседал и заседал, и Инид его заполучила. В июле.

— Сессия закончится на следующей неделе.— Бэрден намеренно уходил от больной темы.— Поедем куда-нибудь на север? В Мэн? Ты бы хотела? В Бар-Харбор?

Но Диана его не слушала. Она ушла в себя. Больной потерял сознание, остальное должна сделать природа. Как и все доктора, Бэрден полагался в конечном счете на силу организма.

Тут он сообразил, что все еще сжимает в руке конверт, который вручил ему Блэз. Он вскрыл его, заранее зная, что содержимое возмутит его. Так оно и случилось. В конверте лежал чек на двести пятьдесят тысяч долларов, подлежащих выплате комитету «Дэя — в президенты». Чек был подписан Эдгаром Карлом Нилсоном, казначеем. Он бросил быстрый взгляд на Диану, чтобы убедиться, видела ли она чек. Она ничего не видела. Он быстро порвал чек на мелкие кусочки и выбросил их, как конфетти, в окно машины.

Он будет президентом, но без помощи Нилсона. Если он перестанет быть самим собой, он — ничто. Старое видение возникло перед глазами. Вспомнилась хрестоматия Макгаффи, которую он читал в детстве. На каждой ее странице были нравоучения. Несмотря на все, что он узнал впоследствии, он продолжал в них верить. Честность — лучшая политика. Тише едешь — дальше будешь. У каждого своя цена. Нет! Неправда! Он скомкал конверт и стрельнул бумажным комком в брон-

зовую статую адмирала. Полный вперед! Так-то лучше. И затем, 20 января 1941 года: «Я, Джеймс Бэрден Дэй, торжественно клянусь...» Все будет хорошо.

## Глава вторая

### I

— Очень хорошо! Очень, очень хорошо!

Лицо миссис Фоскетт сияло улыбкой. Короткие пальцы слегка постукивали по картам, словно передавая им зашифрованные сообщения.

— Что хорошо?

Бэрден глядел на расклад. Бубновая дама была единственной картинкой. Вспомнилось, что бубны — это к деньгам.

— Последнее время вы очень волновались из-за денег.

— Все волнуются.

— Нет, не все. Вовсе нет. Некоторые очень бедные люди никогда не думают о деньгах, а некоторые очень богатые думают только о них. О, я бы могла написать целую книгу!

— Боже упаси, миссис Фоскетт! Ни в коем случае!

Он воскликнул это с притворным ужасом, но он всегда не на шутку боялся, что в один прекрасный день миссис Фоскетт выдаст какие-нибудь тайны — а ей были известны тайны чрезвычайно важные. Он знал по меньшей мере десяток сенаторов, которые захаживали в этот старый кирпичный дом на Калифорния-стрит попытать судьбу. А один из министров, прежде чем решиться на какой-либо шаг, всегда справлялся у миссис Фоскетт по телефону, благосклонны ли к нему звезды. Просто удивительно, до чего суеверны могут быть видавшие виды люди. В глубине души он не верил, что будущее можно предсказывать: ведь завтрашний день — это нечто абстрактное, нечто такое, чего, строго говоря, не существует. И тем не менее человек то и дело испытывает потребность в подсказке, и он лично — да и не только он один — находил, что многие из наитий миссис Фоскетт были весьма кстати. Она пользовалась наибольшим успехом среди всех своих собратьев из бесчисленной орды гадалок, графологов и астрологов, не без выгоды для себя поселившихся в столице страны, пока еще не одухотворенной новой религией.

— Ваши денежные дела скоро поправятся.— С минуту она разглядывала карты.— Быть может, еще в этом году.

Лицо Бэрдена хранило непроницаемое выражение. Он старался никогда ничего ей не подсказывать.

— Что еще... О, как славно! В ближайшие три недели вы получите весть, которая вас очень, очень обрадует. Это будет...— Она нахмурилась, как бы недоумевая, и бросила на него быстрый взгляд, но он упорно не желал давать ей никаких намеков. Она ловко перетасовала колоду, затем ее смуглые пальцы открыли несколько карт.— Это имеет какое-то отношение к вашей карьере, так что скорее всего это кампания за выдвижение вас кандидатом в президенты в будущем году. Вот видите: туз, а с ним рядом...

— Меня выдвинут?

Он еще ни разу не задавал ей вопроса так прямо.

— Господи! Все-то вы хотите знать! Только ведь говорят-то карты, а не я. Сами знаете, как с ними бывает. Иной раз тютелька в тютельку сойдется, другой раз не разбери поймешь.— Она остановилась и по-

смотрела, что же в конце концов получается.— Кто-то из ваших близких очень вас огорчает.

Это была почти правда. Диана сняла себе квартиру поблизости от Библиотеки конгресса — она там сейчас работала. Когда она наведывалась в Рок-Крик-парк, она была послушна, но необщительна. Он ничего не знал о том, с кем она видится, чем занимается. Желая избежать встреч с Клеем и Инид, она бросила своих старых знакомых и завела себе друзей среди безвестных сторонников Нового курса, служивших в различных вновь созданных учреждениях.

— Вашей дочери следует обратить серьезное внимание на свое здоровье. В особенности на почки. Я понемножку составляю ваш гороскоп, и открываются очень интересные вещи, право, очень интересные! Особенно мне нравится вид вашего Солнца. У вас хорошее Солнце. Я дам вам знать, как только все выясню.

Она проводила его к выходу. Он заплатил ей, как всегда, с таким чувством, словно выходил из публичного дома.

— Надо полагать, вы будете на приеме в честь короля и королевы?

— А что, карты молчали об этом? — не мог удержаться он.

— Да. Мне просто попалось ваше имя в списке приглашенных британским послом — сегодня утром, в газете.

— Да, я там буду. А вечером мы идем на обед в Белый дом.

Он сам удивился, зачем он это сказал. Это выглядело как хвастовство. В конце концов его приглашают не потому, что таково желание президента,— просто присутствие сенатора Бэрдена желательно по соображениям этикета.

■

Пенсильвания-авеню была уже отгорожена веревками, чтобы кортеж мог беспрепятственно проследовать от вокзала к Белому дому. Бэрден не получил приглашения на вокзал, где президент и министры встречали короля и королеву. Но это его ничуть не задевало. Его дела и так шли достаточно хорошо. Сегодня вечером он будет присутствовать на обеде в Белом доме, впервые после столкновения в сенате по вопросу реорганизации Верховного суда два года назад. Занятно будет увидеть соперников, собранных в одном месте, ибо президент, несомненно умышленно, пригласил в Белый дом почти всех, кто метил на его пост в 1941 году, кроме молодого Дьюи.

В приемной Бэрдена встретили новостью, что «Дьюи получил на четыре процента больше, чем Рузвельт, при предварительном опросе избирателей Институтом Гэллапа*!» Клей ликовал:

— Президент не сможет выставить свою кандидатуру на третий срок, если даже захочет. Республиканцы побьют его.

— В стране намечается сдвиг вправо. Это несомненно.— Бэрден посмотрел на Цицерона, как бы ища у него подтверждения своим словам.

Зазвонил телефон. Клей взял трубку.

— Да, сенатор здесь. Нет, он занят. Он будет на приеме. Да. Я передам ему. Спасибо.

Клей положил трубку.

— Кто-то от Херста. Интересуются вашим мнением о результатах опроса, проведенного Институтом Гэллапа. Позвонят еще раз завтра насчет интервью.

Бэрден подошел к стенному шкафу и достал смокинг.

— До чего же не хочется влезать в эту штуку сегодня.

— Я рад, что мне не надо быть на приеме.

* Институт Гэллапа — организация по изучению общественного мнения.

— А Инид разве не пойдет?

— Едва ли.— Клей быстро перевел разговор на другую тему: он никогда не обсуждал с Бэрденом свою семейную жизнь, и тот был признателен ему за это.— Я иду в административный корпус палаты представителей. Один из техасцев собирает у себя всех, кого не пригласили в посольство.

— Узнай там, какого они мнения о Гарнере.— Воротник жал. Хмурясь, Бэрден посмотрелся в зеркало.

— Я как раз подумывал об этом.

— И обо мне.— Бэрден улыбнулся своему отражению в зеркале.

— Затем я туда и иду. На мой взгляд, из всех консерваторов у нас наилучшие шансы.

— Когда я впервые явился в Вашингтон, меня назвали радикалом.— Бэрден оправил на себе смокинг. Он слишком плотно облегал бедра.— Я требовал национализации железных дорог и удара по трестам. Ну, а теперь...— Он вздохнул, спрашивая себя, кто больше изменился с 1914 года — он или окружающий мир.

В дверях показалась мисс Перрин.

— Мистер Овербэри, вас просит к телефону жена.

— Я возьму трубку здесь.

— Вы прекрасно выглядите, сенатор,— улыбнулась своему шефу Перрин.

— Спасибо, дорогая. По сенаторским стандартам, я, наверно, выгляжу прекрасно.— Она хихикнула и закрыла за собой дверь.— Только, к сожалению, сенаторские стандарты не самые высокие,— добавил он, желая польстить Клею, но тот не слышал его, занятый разговором с женой.

— Хорошо. Нет, я понимаю. Увидимся попозже.— Клей положил трубку и сказал: — А она все-таки идет на прием. Надо полагать, это будет событие исторических масштабов.

Бэрден часто размышлял о женитьбе Клея. Внешне все было так, как и должно было быть. Они снимали небольшой домик на Н-стрит. У них была дочь, ее звали Алиса-Фредерика. И вообще было все, кроме денег: Блэз оставался неумолим.

Бэрден хотел осторожно спросить, как обстоят дела в Лавровом доме, но тут Клей сказал:

— Я забыл дать вам новое расписание ваших выступлений,— и вышел из комнаты.

Через некоторое время Клей вернулся, неся несколько скрепленных вместе листков.

— Все устраивается как нельзя лучше. Весь сентябрь вы неотступно следуете за президентом. Там, где он выступает, через несколько дней выступаете вы. Он объезжает Западное побережье — и вы тоже. Он глядит на Большой Каньон и говорит о необходимости беречь природу — и вы тоже.

Бэрден углубился в расписание; придется много выступать — это радовало, если б не мысль о переполненных, прокуренных залах, новых знакомствах и бесчисленных рукопожатиях.

— Да, Франклина это раздосадует. Вне всякого сомнения.

— Как вы думаете, заговорит он с вами сегодня вечером?

— «Привет, коллега Дэй!» — Бэрден воспроизвел знаменитый голос во всей его звучной отработанности.— И на этом точка, разве что обдаст раз-другой своим ледяным взглядом. Он ведь умеет ненавидеть, ты знаешь.

— Но и его тоже ненавидят.

— Я — нет.

Клей посмотрел на него с искренним удивлением.

— Вы в самом деле не питаете к нему ненависти после всего, что он с нами сделал?

— Посмотри, как я веду себя по отношению к нему в сенате. Никаких личных выпадов. По крайней мере, с моей стороны. Столкновение двух идей — только и всего. Он полагает, что правительство должно заниматься всем, а я не вижу, каким образом оно может взять на себя больше того, что входит в круг его нынешних обязанностей, если мы намерены сохранить в стране хоть какую-то личную свободу. Ни один из нас по-настоящему не прав, но я думаю, что мои убеждения точнее отражают правду жизни и изначальные принципы, заложенные в основе нашей государственности.

— Зато, быть может, он вернее отражает настроение людей в наши дни.

Некоторое время Бэрден задумчиво изучал лицо Клея, затем кивнул.

— Да, конечно, это преследует меня, как кошмар. Колесо фортуны поворачивается во мраке ночи, и никто ничего не знает.

— Не следует ли вам выступить с несколькими либеральными речами? Не слишком либеральными, конечно...

Клей всегда отличался практичностью, и Бэрден сомневался, верит ли он во что-нибудь вообще. Его опыт свидетельствовал о том, что вопреки ходячей легенде идеалисты среди молодых людей встречаются редко. Молодые жаждут наград, возвышения, ради этого они идут на все и послушно откликаются на пустопорожнюю риторику дня. Идеализм приходит позднее, если он приходит вообще.

Бэрден отдал сотрудникам последние мелкие распоряжения. Затем надел цилиндр и покинул здание сената.

Генри запустил мотор.

— Английское посольство, сенатор? — спросил он просто так, ради удовольствия спросить.

— Да, Генри. Ты очень красивая, Китти.— Бэрден поцеловал жену.

— Ах, как мне хотелось, чтобы Диана получила приглашение! Господи, король и королева! Вот уж не думала, что доведется встретиться и разговаривать с такими людьми. А ты думал?

— Конечно,— ответил Бэрден, никогда не исключавший такой возможности. Интересно, что скажет Китти королю или, еще опаснее, президенту. Надо будет присматривать за ней.

Они свернули на Массачусетс-авеню — там уже стояла толпа. На протяжении мили с лишком люди стояли вдоль улицы, пристально вглядываясь в автомобили, где впереди сидел шофер, а сзади — хозяева.

— Диана снова говорила о Нью-Йорке, говорила, что хочет уехать и жить там. Едва ли это серьезно, но ты знаешь, какая она, если ей что взбредет в голову. Она даже просила Эда Нилсона подыскать ей в Нью-Йорке работу. Он очень заинтересовался.

— Какую работу? — Бэрден внезапно насторожился и повернулся к жене, перестав разглядывать толпу.

— Любую. Эд спрашивал, браться ли ему за это дело. Он такой милый, такой добрый. Ведь добрых людей так мало. Я сказала, чтобы он ничего не предпринимал, пока мы не поговорим с ней.

— Мы поговорим с ней.— Что ей сказать — это уже другой вопрос.

Взопревший полисмен просунул голову в окно автомобиля:

— Вы по приглашению, сенатор?

Бэрден показал приглашение Их Британских Величеств.

— Каждый так и норовит пролезть зайцем.

— Приглашены многие,— сказал Бэрден и взял руку Китти.— Но мы в числе избранных.

## II

У министерства финансов собралась такая толпа, что Питер не мог не только перейти улицу, но и вообще двигаться дальше. Люди толкались на месте, горя желанием увидеть короля и королеву, которые скоро должны были проследовать от вокзала к Белому дому. Над их головами торчали картонные перископы. Фотоаппараты были нацелены. Спасаясь от толкотни, Питер вскарабкался на ограду министерства финансов и был незамедлительно вознагражден возможностью лицезреть сиятельных особ. Король и президент восседали на заднем сиденье открытого автомобиля. Толпа вежливо приветствовала их. Президент помахал рукой. Рядом с его крупным розовым лицом лицо короля — к тому же спрятанное под большой адмиральской треуголкой — казалось совсем маленьким.

Они проехали, и все кончилось. Люди начали расходиться, и Питер спросил себя, остались ли они довольны. Едва ли, а впрочем, кто их знает! Люди вообще не представлялись Питеру чем-то реальным. Они болтались сами по себе и тем не менее, казалось, были вполне довольны своей неприкаянностью. Проталкиваясь сквозь толпу разгоряченных неприкаянностей, Питер вошел в отель «Уиллард».

Диана ждала его в вестибюле.

— Глупо было назначать тебе встречу здесь. Я совсем забыла про этот проклятый маскарад.

— А я наблюдал его, видел короля.

— Ну, и как он?

— Маленький. У тебя что-нибудь срочное? Почему ты не хотела сказать по телефону?

— Не хотела и все. Кто-нибудь мог подслушать. У тебя есть деньги?

— Долларов двадцать наберется.

— Нет, я спрашиваю про настоящие деньги.

— Нет. Впрочем, сотни две, наверно, есть. А что?

— Я думала, ты богатый.

— Богатый у меня отец. А я — нет.

— У тебя не будет ничего своего, пока он жив, так, что ли?

— Ты задаешь жутко щекотливые вопросы.— Питер был озадачен. Откровенность в делах секса была уже довольно обычным явлением среди его сверстников, но вот о деньгах никогда не говорили.

— Я должна знать.

— На меня записан капитал, но он в руках попечителей — пока мне не исполнится двадцать один год. А какой будет с него доход, я не знаю.

Он знал все совершенно точно. Он будет получать тридцать тысяч долларов в год. Капитал был положен на его имя бабкой Дэллакроу, когда он родился. Такой же капитал был записан и на имя Инид, с условием, что доход ей начнут выплачивать, только когда ей исполнится двадцать пять лет. Бабка исходила из того, что если на девушке захотят жениться ради денег, то за несколько лет, проведенных в ожидании их, она сможет вполне разобраться, что к чему. Однако зловредность бабкиного расчета не удержала Инид от замужества. Она тратила, сколько вздумается, а потом заставляла Блэза платить по счетам. Отсутствие денег нисколько не портило ей жизнь.

— Я-то думала, у тебя уже есть деньги. Ну ладно, он тебе все равно понравится. Он сейчас в баре.

— Кто — он? О чем ты говоришь? — Питер еще не успел привыкнуть к Диане, столько в ней было нового. Самостоятельная жизнь из-

менила ее к лучшему. За пять минут она ни разу не покраснела, скорее даже наоборот: заставила краснеть его.

— Билли Торн.

Она сделала артистическую паузу.

— Ну и что?

— Да ты же знаешь его! Гражданская война в Испании. Он потерял там ногу и написал книгу о бригаде Линкольна — об американцах, сражавшихся против Франко. Он герой, а сейчас он хочет издавать журнал, политический журнал.

— И дело только за деньгами?

— Какой ты догадливый!

Диана коротко рассмеялась. Она нравилась Питеру. Но он вовсе не был уверен, что ему понравится Билли Торн, чья деревянная нога громко скрипела при ходьбе. Он был тощий, невысокого роста, и в нем не было ничего героического, разве что громовой бас.

— Деньги нас режут,— сказал Билли Торн Диане, когда она сообщила ему печальную новость.— Ну да ладно, как-нибудь выкрутимся.

Он бросил на Питера острый, подозрительный взгляд, словно деньги у Питера были, но он их зажимал.

— У меня нет ни гроша,— сказал Питер. Затем, решив, что это звучит так, будто он оправдывается, добавил: — И потом, если б даже у меня и были деньги, я вовсе не уверен в том, что стал бы вкладывать их в политический журнал. Кстати, какого он будет направления?

— Либерального,— сказала Диана.

— Социалистического! — прогудел Билли Торн. Несколько бизнесменов, сидевших за соседним столиком, оглянулись.

— Какой из меня социалист,— сказал Питер, в данный момент веривший лишь в божественное право королей, при условии, конечно, что он сам — король в расшитом золотом синем мундире и парадной треуголке, и уж он не допустил бы, чтоб какие-то там огромные розоволицые президенты высились над ним, словно башня, когда он в блеске славы проезжает по улицам Вашингтона. Ну, а реальную власть он охотно уступит каждому, кто дозволит ему играть роль номинального владыки.

— Питер реакционер,— сказала Диана.

— Его отец — во всяком случае. Хуже Херста.

Питер вскипел. Он повернулся к Диане.

— Ну, а твой отец, наверно, крепостное право — и то не отменил бы.

Билли Торн буйно расхохотался в знак одобрения и вспугнул официантку.

— Здорово он тебя, а?

Диана вспыхнула. Да, она по-прежнему была все той же Дианой.

— Он консерватор, конечно, но на многие вещи у него чертовски широкие взгляды.

— Ну, например? — Билли подмигнул Питеру.

Диана принялась оправдывать отца.

— Так или иначе, журнал нужен,— подытожил ее речь Билли.— Он должен быть смелее «Нейшн», живее, как раз для молодежи.

— Мне кажется, журналы издают исключительно в Нью-Йорке. С чего это вам вздумалось заняться этим здесь?

— Билли служит в министерстве торговли. Статистиком. Ему нельзя бросать службу, пока все не будет налажено.

— Я уйду, непременно уйду, как только дело пойдет на лад. Я и приехал-то сюда только из-за Нового курса. Но теперь с этим покончено.

— Покончено? — Для отца Питера это была бы новость.

— Ну, разумеется. В следующем году президентом изберут либо демократа-консерватора, либо республиканца, и Новому курсу конец.

— А вдруг Рузвельт выставит свою кандидатуру на третий срок?

— Он этого не сделает,— быстро сказала Диана, отражая надежду своего отца.

— А если даже и выставит,— подхватил Билли,— он кончился как либерал. Впрочем, он никогда им особенно и не был.

— А что это такое — либерал? — спросил Питер.

Билли пустился в пространные объяснения. Его голос гремел. На улицах выросли баррикады. Пролетариат с оружием в руках завоевал право на труд. Было введено общественное здравоохранение. Налог на наследство положил конец огромным состояниям, природные богатства были национализированы. Богатые стали ходить на работу; добродетельные бедняки получили длинные отпуска. А в центре всего этого яростного принижения одних и возвышения других стоял Билли Торн и руководил операциями; его деревянная нога скрипела, голос гремел. Тем часом бизнесмены за соседним столиком обратились в бегство — явно для того, чтобы доложить Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, что враг захватил ресторан отеля «Уиллард».

Когда Билли умолк, Питер увидел в глазах Дианы экстаз и решил, что она либо влюблена, либо лишилась рассудка, при условии, что это не одно и то же.

— Вот зачем нам нужен журнал,— заключил Билли.— Нам необходима трибуна, с которой мы могли бы следить за тем, чтобы говорилось и делалось то, что нужно.

В эту минуту в зал вошел какой-то чиновник из министерства торговли, и Билли Торн окликнул его. Последовала церемония знакомства, и Питер воспользовался ею, чтобы распрощаться. Диана проводила его до выхода.

— Мне очень жаль, что я втянула тебя во все это.

— Ничего. Он... интересный человек.— Большего Питер просто не мог из себя выжать.

Диана улыбнулась, в ней вдруг проглянуло что-то озорное:

— Слов нет, бедняга Билли действует на нервы, но у него блестящий ум. Я пришлю тебе его книгу об Испании. На нее были чудесные рецензии, конечно, за исключением тех, которые писали фашисты.

— Ну что ж, надеюсь, денег вы раздобудете.

— Я тоже. Быть может, нас выручит мистер Нилсон. Он как раз подыскивал для меня работу в Нью-Йорке, но тут я встретила Билли. Теперь я останусь здесь.

— Ты, случайно, не собираешься за него замуж?

— Не думаю, чтобы такие люди, как Билли, женились.

— Он в это не верит?

— Что-то вроде этого. От него веет свежим ветром. Никогда не встречала таких людей. Ну да ладно, ты, конечно, его презираешь.— Она засмеялась.— Хочешь, попробуем снова? Ты где будешь этим летом, здесь?

Питер кивнул:

— Ладно, попробуем. Я позвоню тебе.

Диана вернулась к своему революционеру, а Питер вышел на Пенсильвания-авеню.

Толпы больше не было. Уличное движение вошло в нормальную колею. Он сел в такси и назвал шоферу адрес Инид. Он не видел ее с пасхальных каникул. После ее замужества и его собственного преображения из юноши в мужчину они редко бывали вместе. Но как бы трудно

с ней ни было, она была ему дороже всех тех, с кем связывала его жизнь, и он часто спрашивал себя, по-прежнему ли она чувствует к нему то влечение, какое он против воли чувствовал к ней, пусть даже их разделяет навеки непреодолимая река общей крови.



## III

Техасцы здорово шумели, когда пришел Клей. Несмотря на то, что хозяин был заядлым приверженцем Нового курса, он радушно заключил Клея в объятья и представил его тем немногим, с которыми тот еще не был знаком.

— А мы тут уже давно выпиваем.— Хозяин, член конгресса, подтолкнул его к столу, заставленному рюмками и бутылками. Все присутствующие были без пиджаков, включая и одного министра, который отвернулся, услышав, что Клей работает помощником у Бэрдена Дэя. Хотя Клей и забрался в стан врага, однако ему, как зятю Блэза Сэнфорда, выказывали известное почтение. А то, что после свадьбы он не виделся с Блэзом и пяти раз,— этого никто не знал.

Техасцы были в радужном настроении и болтали о чем попало. Особенно занимал их вице-президент. Хотя родом он был тоже из Техаса, лишь немногие считали, что он может сменить президента на его посту.

— Во всяком случае,— сказал один из конгрессменов,— ему никто не обрадуется.

— Потому что он из Техаса.— И все рассмеялись над этой их общей бедой.

Хозяин покачал головой.

— Ему никто не обрадуется потому, что его банк дает ссуды из двенадцати процентов, понимаете? Спрашивается, кто станет голосовать за человека, который сдирает со скотовода двенадцать процентов?

— Любой республиканец,— откликнулся Клей. Его слова были встречены смехом. Несмотря на свою службу у Бэрдена, он отлично ладил с техасцами хотя бы уже потому, что профессиональные политики склонны к взаимной терпимости: они отлично сознают, что убеждения одного являются ересью для другого, из чего следует, что лучше вообще не иметь слишком много убеждений. Во всяком случае, ярые догматики редко избирались в сенат, хотя и назначались в различные учреждения. Клей терпеть не мог сторонников Нового курса, в особенности министра, который только что так откровенно выказал ему свое пренебрежение.

— Каков сукин сын, а? — Один из конгрессменов, пожилой человек, кивнул на министра.

Клей встревожился: неужели его неприязнь так заметна? Он решил прибегнуть к одному из любимых ходов Бэрдена:

— Можно сказать, он по всем статьям собака, вот только верным его не назовешь.

Конгрессмен рассмеялся:

— В том-то и дело, что он верен. Но кому? Президенту! Ну да, слава богу, нам больше не придется иметь с ним дело — ни с ним, ни со всей их компанией. Еще одни выборы — и пожалуйте обратно в Нью-Йорк, где вам и место.

— Если только президент не выставит свою кандидатуру на третий срок.

— Не выставит. Подите-ка сюда, что я вам скажу.— Конгрессмен отвел Клея в уголок, и по его широкой улыбке тот догадался, что при-

имею время поинтриговать.— Дело вот в чем,— сказал конгрессмен, понизив голос так, что никто, кроме Клея, не мог его слышать.— Я за Бэрдена.

Клей был поражен: нет, этого не может быть. Он знал, что его собеседник поддерживает государственного секретаря Корделла Хэлла. Сделав вид, что он не принимает этого заявления всерьез, а считает его лишь любезностью, сказанной просто так, прежде чем перейти к чему-то другому, Клей кивнул и стал ждать продолжения.

— Многие из присутствующих могли бы поддержать его, если бы он дал себе труд немножечко поухаживать за ними.— Интересно, подумал про себя Клей, что разумеет этот старикан под ухаживаньем. Неслыханное дело, чтобы один политик помогал другому. Под словом «они» обычно подразумевалось «я». Конгрессмен вытер лоб цветастым платком. Вне всякого сомнения, на трибуне во время предвыборной кампании он был бы для них полезной подпоркой. Клей попытался представить себе округ, от которого был избран его собеседник: нефть, скот, тополя, индейцы.

— Кстати сказать, небезынтересны отношения Бэрдена с неким Эдом Нилсоном.

— А что в них такого? — невинно моргая, спросил Клей.

— Вот именно: что в них такого? — Хитрое красное лицо неожиданно близко придвинулось к его лицу. Клей невольно отступил назад и наткнулся на стол.

— Тут не о чем особенно и говорить.— Металлический верх стола больно врезался Клею в ноги.— Эд пришел к сенатору... постойте... да, года два назад. Он вызвался нам помочь — и помог. Он оказал нам неоценимую услугу.— Все, что Клей сказал, было истинной правдой.

— Видите ли, в моем округе проживают индейцы.— Голос конгрессмена стал проникновенно-мечтательным.— Он соль земли, этот народ... по правде сказать, я и сам на одну восьмую индеец.— С тех пор как пошел в гору юморист Уилл Роджерс, среди уроженцев Запада стало модным притязать на одну-две капли индейской крови в роду. Это давало им право называть себя «коренными американцами».— Так вот, эти славные люди, которых я имею честь представлять...— На губах сенатора играла неуловимо сардоническая усмешка, и от этого слова, обычно произносимые с рукой на сердце, теряли все свое благочиние...— продали большой участок земли компании, владельцем которой является некто Эдгар Нилсон.

Клей понимающе кивнул:

— Я слышал об этой сделке. Она тогда еще встретила некоторые возражения в министерстве внутренних дел, но в конце концов была одобрена.

— Возражения, и немалые, целую бурю протестов, которая стихла лишь после того, как одна сенатская подкомиссия, не глядя, санкционировала это тухлое дело, и с ее легкой руки богатые земли за спасибо перешли к некоему Эдгару Нилсону, который потом словно по волшебству стал казначеем комитета «Дэя — в президенты».

Клей почувствовал, как на висках у него выступил пот.

— Мне кажется, я не вполне вас понимаю.

— Наш общий друг Бэрден был председателем той сенатской подкомиссии.

— Но ведь он был за границей, когда это дело слушалось в подкомиссии. Помнится, он был в Канаде и...

— Это так. Но как раз перед отъездом в Канаду Бэрден позвонил одному члену подкомиссии и объяснил ему, как важно, чтобы мистер

Нилсон получил разрешение на покупку земли. Так вот, хотя сенатора, которого он столь доверительно проинструктировал, уже нет в живых, его секретарша, чистое золото, недавно перешедшая ко мне на службу, рассказала мне, что на прежней службе у них было звукозаписывающее устройство, подключенное к личному телефону сенатора,— этакая чертовская штуковина, которая может всех нас угробить.

У Клея похолодели руки, засосало под ложечкой. Его политическая карьера кончилась, едва успев начаться.

— Так вот, у меня есть возможность достать этот — как, собственно, следует его назвать? — кусок разговора, который — я в этом твердо убежден — не должен ходить по рукам и служить возможным источником неприятностей для моего доброго друга и — как знать? — будущего президента. О нет, ни в коем случае, сэр! Нельзя допустить, чтобы им завладели посторонние люди.

— Он может быть ложно истолкован.— Клей вошел в игру. Ему просто не оставалось ничего другого.

— Совершенно верно.— Лицо собеседника озарилось улыбкой, обнажившей пеньки обломанных зубов, коричневых от табачной жвачки.— Так вот, один мой приятель заинтересован в продаже нескольких акров не бог весть какой земли, прилегающих к разработкам мистера Нилсона, и, мне кажется, будет справедливо, если мистер Нилсон купит этот участок — за разумную цену, конечно,— и получит в придачу к неразведанной сокровищнице недр запись разговора Бэрдена.

Не так страшно, как он думал.

— Идет.— Клей не хуже своего собеседника умел держаться существа дела.— Сегодня вечером я переговорю с Эдом.

— Скажите ему, чтобы он заглянул ко мне. После смерти жены я продал наш большой дом и живу теперь в «Олбэн-Тауэрс». Слишком уж одиноко мне было без моей Маленькой Непоседы — это я так ее называл: Маленькая Непоседа — такая крошечная она была, с такими огромными глазищами. Ах, как я по ней тоскую! — Конгрессмен налил себе виски.— Итак, я жду к себе Эда.

— Он не замедлит явиться. И если вы столкуетесь...

— Я в этом уверен. Он славный старикан, этот Эд, а мой приятель не такой уж жадный.

— Смею надеяться. Так вот, когда вы договоритесь о цене, дайте мне знать. И я заберу... эту самую... запись.

— Вы не хотите, чтобы она осталась у Эда?

— Нет, не хочу.

Конгрессмен рассмеялся:

— Я вас не осуждаю. Ну что ж, если он не потребует ее — в конце концов платит-то он,— она ваша. Меня можно застать в «Олбэн-Тауэрс» в любой вечер. Я ведь теперь никуда не выхожу. Зачем в мои-то годы? Топчусь на месте и жду, когда наступит время присоединиться к моей Маленькой Непоседе, да будет на то воля божья. Приятно было иметь с вами дело, мой мальчик.

После этого Клей разговорился с членом конгресса от Оклахомы и принялся обстоятельно толковать о том, есть ли у Корделла Хэлла шансы быть выдвинутым на пост президента. Во время этого разговора Клей вспомнил, как пренебрежительно обошелся Бэрден Дэй с Нилсоном накануне своего отъезда в Канаду. «Не желаю иметь ничего общего с этим человеком». А потом, несколько месяцев спустя, Нилсон сформировал комитет «Дэя — в президенты». Он, Клей, не заподозрил тогда ничего неладного, и сейчас это беспокоило его больше всего. Бэрден обвел его вокруг пальца. Это было невыносимо. В конце концов, если он

не научился понимать человека, с которым проработал шесть лет, сможет ли он понять кого-либо вообще?

— А ну-ка, подающий надежды молодой человек,— как нельзя более кстати обратился к нему хозяин, беря его под руку.— Я только что побился об заклад, что через десять лет вы будете на Холме среди нас, в числе избранных представителей народа.

— Или в Белом доме — сотрудником президента Дэя.

— Ну, уж за это я не ручаюсь. Как правило, я вкладываю свои деньги в надежные предприятия.

— Вы думаете, что сенатор Дэй не будет выдвинут?

— Я не хочу, чтобы он был выдвинут.

— Это не одно и то же.

— Как компромисс Бэрден подойдет. Но на кой черт он нам сдался, этот компромисс!

Вот оно как! Ну что ж, выяснить отношения никогда не мешает. Значит, кандидатура Бэрдена не исключается.

Вернувшись домой, Клей позвонил Нилсону, который ничуть не удивился его звонку. Но в конце концов в проявлениях своих чувств Нилсон вообще никогда не выходил за рамки вежливой заинтересованности.

— Время от времени такое случается.— Голос в трубке звучал безмятежно.— Я зайду к нему.

— Вы купите у него эту... мм-м... землю?

— Что поделаешь.

— Вы не думаете, что он может снять копии с записи разговора?

— Едва ли. Раз я покупаю землю, он у меня в руках. Все, что он вздумал бы использовать против меня, я могу обратить против него самого. Надо же, как устроена жизнь! — Происшедшее, казалось, искренне забавляло Нилсона. Он никогда еще не производил на Клея такого сильного впечатления.— Да, кстати,— продолжал Нилсон,— Бэрдену об этом, по-моему, лучше не говорить. Это его только понапрасну встревожит. Впрочем, оставляю это на ваше усмотрение. Вы знаете его лучше, чем я.— Они договорились, что, как только деньги будут уплачены, Клей заберет запись. Еще раз успокоив Клея, Нилсон положил трубку.

Клей в раздумье поднялся наверх. Он заглянул в детскую. Его дочь спала на полу в своем загончике. Нянька-негритянка спала на стуле, уронив на колени иллюстрированный журнал. С минуту Клей наблюдал обеих. Рот няньки был полуоткрыт, по темно-коричневому подбородку сбегала не очень-то привлекательная струйка слюны. Его дочь выглядела не лучше. Пухлая и светловолосая, с сыпушками потницы на коже, она лежала, свернувшись, как собачонка, среди своих игрушек, тяжело дыша полуоткрытым ртом. Огорченный этим не слишком привлекательным зрелищем, Клей вошел в свою спальню.

Вещи Инид валялись повсюду. Столкнувшись с ее неопрятностью, Клей стал аккуратным, выковывая новое оружие в происходившей между ними войне. Их брак был войной, в этом не оставалось сомнения. Как главнокомандующие двух враждебных армий, обозревающие поле битвы, они высматривали друг в друге признаки слабости. Первый выстрел раздался в Элктоне — это был их форт Самтер *: она обвинила его в том, что из-за него у нее отвалился каблук, а он совершенно логично возразил, что если бы она смотрела себе под ноги... С отвалившегося каблука все и началось. Враждебные действия велись без передышки, лишь время от времени они заключали перемирие, чтобы перегруппиро-

* Самтер—правительственный форт в штате Южная Каролина, с осады которого южанами (12—14 апреля 1861 г.) началась Гражданская война в США 1861—1865 гг.

вать силы, проложить новые коммуникации, подтянуть осадную артиллерию. И все же брак их был счастлив, пусть даже, подобно всем женщинам, которых знал Клей, Инид не удовлетворяла его; но, в отличие от других, она никогда не переставала его интересовать, и хотя он по-прежнему развлекался на стороне, он всегда с радостью возвращался к ней, зная, что, какой бы бешеной она ни была, она всецело принадлежит ему. Он сознавал, что не очень-то последовательно с его стороны отказывать ей в той свободе, какую разрешал себе он, но он был воспитан в убеждении, что женщина — существо совсем иное, чем мужчина, и может сохранять верность, если она влюблена, а потому, вопреки всем внушительным свидетельствам в пользу противного, он видел основу их брака в том, что, будучи влюблена, она никогда не изменит ему, а он, тоже влюбленный, но при этом мужчина, не станет отказывать себе в развлечениях, в то же время в основном сохраняя себя для нее.

Внезапно почувствовав, как его измотала жара и дневная беготня, Клей бросился на кровать, словно это была Инид, обхватил руками подушку, хранившую ее запах, и заснул.

Когда Клей проснулся, перед ним стояла она, и, язвительно улыбаясь, дергала его за штаны.

— Перестань, ради бога! — хватая ртом воздух, проговорил он и попытался высвободиться.

— Кто тебе снился?

— Не твое дело. Который час?

— Не ранний. Уж конечно это была не я.

Клей выпрямился и сел на кровати.

— Как ни странно, это был конгрессмен из Техаса. У меня с ним кое-какие дела.

— Ничего себе дела творятся у вас на Холме! — Инид вдруг бросилась к нему на кровать, как была, в своем длинном вечернем платье, и они сплелись в любовном объятье, крутясь и извиваясь,— это было одно из тех перемирий, которые придавали еще более глубокий смысл их войне, когда она возобновлялась.

Потом Инид лежала в ванне, вытянувшись во весь рост среди скачущих пузырьков, отсвечивавших всеми цветами радуги в последних отблесках дня.

— Слушай, я тебе уже говорила: я собиралась сегодня вечером с Дэвисами на обед к Маклинам. Они были на приеме в посольстве. Ты не возражаешь?

— Без меня?

— Отец тоже там будет.

— Тогда я не пойду.

— Ты не сердишься? — Она бросила на него взгляд из-под густых бровей, подозревая подвох.

— Ты выходишь без меня уже третий раз на неделе.

— Но при отце ты чувствуешь себя так неловко.

— Отца не было в тот раз в Джорджтауне, во вторник. И еще...

Клей с легкостью переходил от обвинения к обвинению, а Инид со свойственной ей изворотливостью готовила оборону, по обыкновению внезапно бросаясь в контратаку, которая всегда заставала его врасплох, несмотря на то что они уже целую вечность жили вместе. Временами ему просто не верилось, что он женат. Иногда он просыпался среди ночи, видел рядом с собой в кровати спящую Инид, темное пятно ее волос на подушке, и его вдруг охватывал страх: что я здесь делаю? Как захлопнулась ловушка? Неужели это приговор на всю жизнь? Но потом он закуривал сигарету и, пока догорала спичка, вспоминал, что

из всех женщин, которых он знал, она одна никогда не нагоняла на него скуки.

— ...Питер тоже так говорил.

Клей явно прозевал какую-то особенно порочащую улику.

— Питер? — переспросил он, как бы взвешивая свидетельскую достоверность этого молодого человека.

— Да, он заходил сегодня.

Не вдаваясь в подробные объяснения, Инид вылезла из ванны — гладкое, водяное животное,— подобрала с пола скомканное полотенце, брошенное ею после утреннего купанья, и завернулась в его влажные складки.

— Хочется выпить,— сказала она и вышла из комнаты. Клей двинулся за ней, начисто лишенный собственной воли. Кролик перед удавом, толпа, жадно внемлющая демагогу,— примерно так он чувствовал себя вдвоем с Инид, спускаясь следом за нею по узкой лестнице в столовую снятого ими дома. Инид всегда во все горло выкрикивала перед посетителями: «снятый», желая отмежеваться от обстановки, столь непохожей на ту, к которой она привыкла в Лавровом доме. Тухленькие виды Неаполя под стеклом; потемневшее красное дерево; старые ситцевые занавески; светлый кофейный столик, на котором было множество кружков всевозможных размеров — дань многоразличному богатству рюмок и чашек в «снятом» буфете.

Инид сделала себе мартини. Она совсем недавно открыла этот коктейль и, по ее словам, могла пить его сколько угодно не пьянея. Это было похоже на правду. От спиртного она делалась лишь оживленной, веселой и ласковой, и в такие моменты Клей любил ее — особенно на приемах, когда все мужчины тянулись к ней, а она целиком принадлежала ему.

— Питер заглядывал к нам. Я даже не знала, что он в городе. Его университет — самый настоящий деревенский клуб.

Клей сидел на своем обычном месте, задрав ноги на кофейный столик, Инид с блеском в глазах потягивала мартини.

— Зачем приходил Питер?

— Ни за чем. Зашел просто так. Этим летом он собирается работать в газете.

Она вскинула свои длинные ноги на столик. Рядом с ними, словно вырезанными из темного, дорогого полированного дерева, светлый столик казался банальной плотью.

— Надеюсь, ты понимаешь, что если бы он не увидел нас в тот первый раз, в купальне, я бы ни за что не пошла за тебя.

— Спасибо.— Клей взглянул на нее с внезапным отвращением.

— Я не это хотела сказать! — В ее голосе звучало искреннее раскаяние. Это было так на нее похоже: больше всего она ранила тогда, когда вовсе этого не хотела. Она залезла ногой ему под брюки и стала щекотать его большим пальцем ноги.— Я рада, что в конце концов так получилось. Ну, а он — гадкий шпион!

— Это была чистая случайность.

— Случайность? Как бы не так! С какой стати посреди ночи в грозу выскакивать из дома? Конечно, он выслеживал нас! — Инид поносила брата; Клей защищал его. Во-первых, он любил Питера; во-вторых, Питер был важным стратегическим пунктом в войне между ними, и тот, кто им владел, получал господство над местностью.

— Кстати, Питер передал мне, что́ сказал отец вчера вечером: мы все равно разведемся задолго до того, как мне исполнится двадцать пять.

— Что за славный старик этот Блэз,— вздохнул Клей.— Ну и семейка!

— Мне кажется, мы с тобой какие-то одержимые.— Инид помешала пальцем мартини.— Но отец в конце концов окажется прав.

— Не все ли равно? — сказал Клей, хотя ему было отнюдь не все равно. Чем больше он узнавал жизнь, тем тверже убеждался в том, что без денег — больших денег — ему никогда не добиться тех заманчивых благ, которыми Республика так щедро наделяет богатых, так случайно — бедных. До тех пор пока Блэз непримирим, все возможности к продвижению для Клея закрыты.

— Да, Питер говорил что-то о твоей прежней подруге.— Клей ухом не повел, до того старо это было.— Похоже, у Дианы роман с коммунистом, он собирается издавать журнал.

— С коммунистом? Ты ничего не напутала? — насторожился Клей.

— Ничего,— ответила Инид.— Они хотят, чтобы Питер вложил деньги в журнал, будто у него есть деньги. Но он, конечно, получит свою долю раньше меня. А еще...

Клей прервал ее:

— Это может быть очень важно. Для сенатора.

Инид посмотрела на него непонимающим взглядом. То, что занимало других, включая шефа ее мужа, всегда было для нее чем-то нереальным.

— Ты абсолютно уверена в том, что правильно поняла Питера, будто друг Дианы — коммунист?

— Да, именно так он сказал, но ведь Питер такой врун, ему ни в чем нельзя верить.

— Пожалуй, надо позвонить сенатору.— Клей поднялся.

— Не уходи! — Она была как малый ребенок, не желающий, чтобы его оставляли одного.— Я совсем тебя не вижу, когда заседает этот ваш ужасный сенат.

— Ты могла бы быть со мной сегодня вечером.

Поняв, что она подставила под сокрушительный удар целую дивизию, Инид поспешно отступила со всех позиций и широко раскинула руки, так что полотенце упало на пол; затем, признав свое полное поражение, перешла на детский язык, каким они разговаривали в минуты интимности:

— Поцелуй свою киску и скажи, что ты не сердишься на нее за то, что она такая бяка, бяка, бяка!

Клей поцеловал ее и сказал, что он не сердится на свою бяку, бяку, бяку. Ощутив ее пахнущие джином губы, он, наверно, позабыл бы позвонить сенатору, если бы в эту минуту не вошла нянька с девочкой на руках.

— Господи боже! — закричала Инид.— Почему ты не стучишься?! Почему ты всегда словно подкрадываешься?

— Ничего, Энни,— встряхнувшись, успокоил ее Клей. Но Энни уже исчезла, и только проклятья Инид неслись ей вслед.— Прекрати! — Голос Клея звучал резко. Очарование минуты рассеялось, он опять был самим собой.— Иначе она уйдет от нас, как ушли другие. Нельзя так кричать на людей.

— Нет, можно! Буду делать все, что мне вздумается, черт подери! — Инид допила из серебряного смесителя остатки мартини, завернулась в полотенце и пошла наверх. Клей знал, что завтра утром она опять будет весело хихикать вместе с нянькой. Как бы ужасно ни вела себя Инид, она была незлопамятна. К тому же она со всеми разговаривала запросто и ничего не умела держать про себя, и хотя это чистосердечие составляло едва ли не самую подкупающую черту ее натуры, Клей научился никогда не делиться с ней ничем таким, что он хотел бы скрыть от своего злейшего врага. Что касается новой няньки, до сих пор

ликовавшей по поводу того, что с ней обращаются как с равной, она пока еще не понимала, что за интимность надо платить, и не умела сносить внезапные вспышки ярости Инид, ее утонченные оскорбления, возмутительную жестокость. При этом сама Инид всегда искренне обижалась, когда впоследствии ее жертвы упрекали ее. «Но вы ведь меня просто не поняли, я к вам со всей душой!» Возможно, они в самом деле ее не понимали, а, возможно, она — их.

Клей позвонил сенатору. Ему ответила миссис Дэй.

— Бэрден прилег вздремнуть. Этот прием его измотал. Такая жарища! А вечером еще обед в Белом доме. У вас что-нибудь срочное? Разбудить его?

Клей сказал, что дело терпит, пожелал им приятно провести вечер в стане врага и положил трубку. В угрюмом расположении духа он открыл свой портфель и, увлекшись работой, не заметил, как вошла Инид. Она громко крикнула, так что он выронил из рук бумаги.

— Не смей этого делать!

— А мне нравится, когда ты подскакиваешь, точно старая дева. Ну, как я выгляжу, хорошо?! — Она выглядела хорошо, и он так и сказал ей. Но она его не слушала. Она была одинаково глуха и к правде, и к лести.— Слушай,— сказала она,— я чувствую себя так погано: ведь я иду в гости и оставляю тебя одного.

— Ничего, все в порядке.

— Ничего не в порядке! Меня куда-то несет, и я говорю «да», когда надо сказать «нет». Я не понимаю, что со мной творится. Если ты хочешь, чтобы я осталась, я останусь.

Окончательно побежденный, он сказал, чтобы она шла в гости. Он останется дома и будет работать. Его киска бяка, бяка, бяка, сказала она. Он согласился, но добавил, что иной он и не хочет ее видеть. Она ушла, заверяя, что очень перед ним виновата, и он не преминул отметить, что единственно, когда она может заставить себя сказать «виновата»,— это когда она не чувствует за собой никакой вины. Он добавил к своему арсеналу это ценное новое оружие. Их война была любовью. Или, наоборот, их любовь была войной. Так или иначе, лишь воюя, они по-настоящему обретали друг друга. И он не мыслил себе жизни без Инид.

## IV

Жена президента подала знак, и дамы поднялись. Предводительствуемые миссис Рузвельт и королевой, они оставили мужчин в парадном зале. Когда распорядитель закрыл за ними дверь, Бэрден, сидевший с самого края на левом крыле подковообразного стола, направился к центру, где сидели президент и король. Пустое кресло слева от короля проворно захватил вице-президент. Теперь он, к явной досаде президента и тайной радости Бэрдена, оживленно похлопывал по плечу малорослого Георга. Президент и его преемник по конституции, если не по политической линии, были между собой на ножах.

Подали коньяк, задымились сигары. Бэрден сел между Блэзом Сэнфордом и англичанином, которого звали не то лорд Попкин, не то лорд Бобкин. Разговор начался с жалоб на жару.

— Президент против кондиционированного воздуха.— Блэз жевал кончик сигары.— Говорят, это плохо отразится на его здоровье. Его здоровье, черт подери! А что будет с людьми, которые тут работают? Что будет с нами? Сердечные приступы, вот что с нами будет.

— Возможно, ему все равно.— Как все в зале, Бэрден старался не смотреть в сторону президента, который выглядел прекрасно и был раз-

ве чуточку полноват. Его знаменитая улыбка то появлялась, то исчезала, словно повинуясь невидимому переключателю. В начале приема, когда Бэрдена и Китти представляли королю, президент наградил сенатора широчайшей улыбкой, а затем, повернувшись к королю Георгу, сказал театральным шепотом: «Он тоже хочет тут жить!» Король явно не знал, как отнестись к этой шутке.

Впоследствии Бэрдену сказали, что президент аттестовал так всех своих соперников, большинство которых были тут,— Хэлла, Ванденберга, Фарли, а также чахлого Гарри Гопкинса, который сейчас, после ряда искусных маневров, уже сумел приблизиться к заветному центру стола. Дело пахло дракой, но Бэрден был уверен в себе, как никогда. Из опроса, проведенного Институтом Гэллапа, явствовало, что Хэлл — первый возможный претендент от партии, а он — второй, но поскольку Хэлл южанин и его не могут выдвинуть... Бэрден мысленно представил себя в центре стола, но тут же вспомнил свой зарок: никакого мечтательства. Он прислушался к тому, что говорит Блэз.

— Очень даже возможно, что он хочет, чтоб у нас были сердечные приступы. Во всяком случае, у некоторых из нас.— Блэз коротко рассмеялся.

Лорд Попкин улыбнулся и заметил, обращаясь к Бэрдену:

— Вам, должно быть, часто приходится здесь бывать, сенатор.

— Ничего подобного! — ответил за него Блэз.— Они ненавидят друг друга,— добавил он довольно громко, так что президент мог его услышать.

Но президент не услышал, всецело занятый вице-президентом, который мял плечо короля, словно тесто. С застывшей на лице улыбкой президент холодными серыми глазами в упор смотрел на вице-президента, но тот, полный веселого озорства и спиртного, не замечал его испепеляющего взгляда.

Лорду Попкину (он имел какое-то отношение к английскому министерству иностранных дел) объяснили, что хотя Бэрден и президент и состоят в одной партии, тем не менее они политические противники.

— Никак не могу разобраться в вашей политике,— сказал англичанин.

— А не мешало бы попытаться,— холодно отозвался Блэз с тем же раздражением, которое вызывали и в Бэрдене эти британцы, кичащиеся тем, что не знают, или, хуже того,— делающие вид, будто не знают, как работает американская политическая машина.

— Да, конечно, следовало бы это знать.— В голосе лорда Попкина звучали извиняющиеся нотки.— Все дело в том, что верность партии вошла у нас в привычку. Я хочу сказать, что в парламенте вы должны поддерживать вашего партийного лидера или выходить из игры.

— А мы не поддерживаем,— сказал Бэрден,— и не выходим из игры. Пока нас не попросят.

— Правда, иногда мы даем лидеру отставку,— зловеще сказал Блэз, пуская голубой дым в лицо лорду Попкину.

— Ну и жарища,— сказал англичанин.

Блэз и лорд Попкин заговорили о своих общих друзьях-англичанах. Лорд Попкин (нет, немыслимо, чтобы его действительно так звали) уверял Блэза, что какой-то их старый приятель на самом деле вовсе не сумасшедший.

— Он просто не любит людей, но ведь это так естественно. Он живет один в деревне и читает Карлейля свинье.

Тут Бэрден окончательно вернулся к действительности:

— Свинье?

— Да. Обычно он читал Гиббона, но стиль не понравился.

— Вашему другу?

— Нет, свинье.

Бэрден был потрясен. В глубине души он не питал неприязни к англичанам, в отличие от многих своих сенатских коллег, которым претило первородство Англии. Южане до сих пор с горечью вспоминали, как Англия предала конфедерацию, а в городах на Севере любой политикан, у которого ничего нет за душой, всегда мог сорвать аплодисменты ирландцев угрозой дать в рыло королю Георгу. Бэрден глядел на длинное благородное рыло короля Георга, и ему хотелось вступиться за него. Король казался таким хрупким, таким благородным. В этом году, решил Бэрден, надо непременно съездить в Европу и в ходе своего турне напроситься на интервью с Гитлером. Гитлер примет его в Берхтесгадене, и он, Бэрден, скажет ему, что говорит он не от имени сената, а от себя лично, во имя мира во всем мире. Рейхсканцлер насторожится, когда Бэрден набросает свой план действий, учитывающий законные интересы Германии, однако не идущий вразрез с доброй волей западных держав. Бэрден будет говорить, а Гитлер будет делать заметки, время от времени бормоча: «Ja, ja *».

— Мне кажется, этим летом будет война.

Греза Бэрдена рассыпалась в прах. Он повернулся к англичанину, который произнес эти слова, ничуть не изменив интонации; он мог с таким же успехом делать обзор литературы для свиней. Блэз нахмурился:

— Не думаю.

Лорд Попкин пускал дым из широких, плавно изогнутых ноздрей.

— По нашим предположениям, в середине июля. Маленький человечек сделает с Польшей то же, что он сделал с Чехословакией.

— А что сделаете вы? — спросил Бэрден.

— Я думаю, на этот раз мы будем драться.

— Чем? — презрительно спросил Блэз.— У немцев девять с половиной тысяч самолетов в полной боевой готовности. А сколько у англичан?

— Наверно, ни одного. В этом-то и состоит одна из прелестей демократии — быть вечно неподготовленными.— Он улыбнулся.— А сколько самолетов у янки?

— Нам не надо ни одного, мы не собираемся ни с кем драться.— Голос Блэза звучал убежденно.

— Да, я читаю вашу газету. Но ведь Гитлер уже сказал: сперва Франция, потом Англия, потом Америка.

— Он просто блефует, да и кто бы не стал блефовать на его месте? Надо быть сумасшедшим, чтобы не требовать еще и еще при таких уступках с вашей стороны.

Бэрден перестал слушать: начался обмен давно знакомыми аргументами. Он знал их наперечет. Сам он по существу был изоляционист. Он не видел оснований для Нового Света опять ввязываться в кровавые дрязги Старого. Но он также знал, как трудно будет оставаться в стороне, в особенности если президент жаждет играть роль на мировой арене. Как Вильсон, думал Бэрден, глядя в сторону президента, который что-то шептал на ухо королю. Да, вот чего хочет Рузвельт: перешептываться с монархами, замазывать внутренние неудачи пышными приемами иностранцев при дворе. Все это ясно как день.

Войны быть не должно. Уже хотя бы потому, что в таком случае президент выставит свою кандидатуру для переизбрания, и никто в партии не сможет обуздать его. Бэрден обвел взглядом зал: из всех его коллег ни один не сможет нанести поражение президенту на съезде. Им остается только молиться о том, чтобы европейцы сохранили мир

---

* Да, да *(нем.)*.

до ближайшего съезда, который (он сосчитал на пальцах) соберется через четырнадцать месяцев.

— Нет,— сказал он, чтобы подбодрить себя,— я согласен с Блэзом. Гитлер слишком хитер, чтобы начать войну... этим летом,— добавил он, как всегда послушный голосу прирожденной осторожности, не позволявшей ему желать чего-либо всей душой.

— Надеюсь, вы оба окажетесь правы,— сказал лорд Попкин.

В центре магнита возникла суета. Сын президента увозил отца от стола, и, как всегда, Бэрдена потрясло напоминание о том, что его враг — калека с иссохшими ногами, замкнутыми в тяжелые металлические оковы. Мучительно было смотреть, как президент встает или садится. Однако сам он, казалось, своей увечности не замечал. Лишь однажды довелось Бэрдену наблюдать, как она застала президента врасплох. Это было на церемонии вторичного выдвижения его кандидатуры. Он с трудом шел к трибуне, когда вдруг кто-то случайно толкнул его. Он, словно башня, рухнул и распластался бы на полу, если бы помощники не подхватили его под руки, но листки с его речью разлетелись во все стороны. И теперь, как бы Бэрден ни презирал его, он испытывал невольную жалость к этому человеку, который управлял могущественной страной, но не мог ходить без посторонней помощи.

Блэз взял Бэрдена под руку, и вместе со всеми они прошли из зала в беломраморный вестибюль, в дальнем конце которого, в Восточной комнате, их ожидали дамы. Скоро должны были начаться танцы.

Блэз почти во всем сходился с Бэрденом:

— Войны быть не может. Гитлер не так уж глуп. Но если даже он сглупит, англичане не будут драться. Они насквозь прогнили.

— Не забывай, что в случае войны наш хозяин останется здесь еще на четыре года.

Блэза передернуло:

— Лучше не напоминай мне об этом. Но если он снова выставит свою кандидатуру, я выступлю за... вас, сенатор.— Блэз хлопнул по плечу сенатора Ванденберга. Тот сначала удивился, затем просиял.— Молю бога, чтобы республиканцы выставили кандидатом вас, Артур.— Ванденберг ответил, что он сам молится примерно о том же, и подмигнул Бэрдену — своему одноклубнику. Блэз и Бэрден на минуту задержались перед входом в Красную комнату.

— Эд неплохо тебе помогает?

— Похоже, что да. А как по-твоему?

— Первый класс, так я считаю. Но...— Блэз нахмурился.

Сердце у Бэрдена приостановилось. Казалось, еще немного — и он испустит дух тут же, на приеме в Белом доме.

— Но? — повторил Бэрден, удивляясь, что он в силах еще говорить.

— Один из газетчиков. Можешь догадаться, кто. Жаждет твоей крови. Заподозрил, что у тебя с Эдом шахер-махер в связи с какой-то нефтяной сделкой. Это так?

— Нет.— Бэрден знал, что в тех редких случаях, когда ему приходится лгать по крупному счету, он умеет быть как нельзя более убедительным.

— Я этому не верю. Я сказал, что, во-первых, это на тебя не похоже, а, во-вторых, если бы что и было, уж ты бы сумел замести следы! — Блэз посмотрел на него долгим пронизывающим взглядом. Затем оба рассмеялись и вошли в Восточную комнату.

Китти уже сидела под огромной центральной люстрой, необычайно оживленная и прямо-таки помолодевшая. Бэрден подсел к ней и взял ее за руку.

— Разве это не предел мечтаний? — воскликнула она.

— Вот именно,— произнес он нараспев.

— Я разговаривала с королевой.

Что она сказала? Сердце Бэрдена опять дало осечку. Сейчас, вот сейчас он мешком осядет на пол, ловя гаснущим взором огни люстры над головой.

— О чем?

— О ее детях, о Диане. О том, о сем. И о жаре тоже. Под конец она призналась, что ей страшно жарко.

— Мне тоже.— Бэрдену казалось, что шею ему стягивает не воротничок, а железный обруч.

— Знаешь, она ужасно нервничает.

— По ее виду не скажешь.— Он посмотрел на королеву, которая сидела теперь между президентом и вице-президентом.

— Нет, правда! — вмешалась в разговор Фредерика Сэнфорд, садясь перед ними.— Я все время наблюдала за ней, пока представляли гостей. У нее в руке был платок. Так вот, когда настало время садиться за стол, платок был изорван в клочки!

— Да, это, наверно, большое нервное напряжение,— согласилась Китти.— Все время быть на виду. Как все это гадко и безнравственно. Уж мы-то знаем, чем занимаются царственные особы у себя дома.

— Чем? — Фредерика не верила своим ушам.

Китти просияла улыбкой, даже не подозревая, что опять ее подсознание вылезло наружу, и Бэрден поспешил вмешаться:

— Как Инид, как Клей?

— Вы видитесь с Клеем чаще, чем я. И с Инид вы, наверно, тоже видитесь чаще. Я ничего не знаю. Надо полагать, у них все в порядке. Инид бывает с девочкой у нас дома. Очаровательное дитя. Блэз от нее без ума.

— По-моему, Блэз поступает с Клеем ужасно.— Это с равным успехом могло идти как от сознательного, так и от подсознательного «я» Китти.

— Китти...— Бэрден всю жизнь старался — и по большей части это ему удавалось — избегать столкновений на личной почве.

— ...права,— с необычной порывистостью докончила за него Фредерика.— Вы только подумайте, кого Инид могла притащить домой! Коммуниста или какого-нибудь прощелыгу, а то, чего доброго, и еврея! — Фредерика перебила сама себя.— Они ведь тоже не без еврейской крови.— Она указала на короля.

— Не может быть! — Китти была уязвлена до глубины души.

— Он-то во всяком случае,— сказала Фредерика, в упоении от мысли, что она первая разбила иллюзии Китти относительно Их Британских Величеств.— Отец принца Альберта был еврей. Наверно, поэтому король и спелся так легко с нашим Франклином Розенфельдом.

Бэрден с беспокойством огляделся вокруг — не слышал ли кто-нибудь. Но замечание Фредерики потонуло в общем шуме рассаживающихся по местам людей. Он заметил, что Гарри Гопкинс все время вертится возле президента. Ходил слух, что Гопкинс уже не жилец. Но вот жилец не жилец, а все его честолюбие при нем. Он тоже метил в президенты. Еще сегодня вечером, в начале приема, Бэрден подтрунивал над ним за то, что он купил ферму в Айове — «милое место», заявил он представителям прессы, «где будет расти моя дочь». Вашингтонцы немало потешались над этой дерзкой претензией выдать себя за простого фермера со Среднего Запада. Гопкинса не считали представителем от какого-либо штата — он был избранником президента.

— У всех будут снимать отпечатки пальцев. Это что-то чудовищное!

Бэрден обернулся. Один из министров, сильно напившийся, беседовал с помощником президента, не замечая, что к их разговору прислушиваются.

— Кого-то в министерстве юстиции, Гузера, что ли, осенила блестящая идея, что у каждого правительственного служащего следует снять отпечатки пальцев, и президент клюнул на это.

— Ну, не знаю,— осторожно отозвался собеседник,— так ли уж безоговорочно он на это клюнул...

— Безоговорочно! Он уже распорядился начать снимать отпечатки пальцев в моем министерстве, хоть я и сказал, что это неслыханное посягательство на свободу личности. Гитлеровские штучки.

А что, если поднять об этом вопрос, подумал Бэрден. Ведь консерваторы, в страхе перед коммунизмом, повсюду видят шпионов и, наверно, с одобрением отнесутся к идее снять отпечатки пальцев у всех, кроме них самих. Удивляло лишь то, что президент одобрил эту затею. Он сам ее не одобрял. Каждый должен иметь право скрываться.

— Блэз полагает, что ему следует подправить себе нос. Это все, что он сказал о нем за последние несколько месяцев.

— Кому это? — спросил Бэрден.

— Клею. Он разбил нос во время прогулки верхом. Блэз считает, что раньше его нос был красивее.

— А по-моему, он и так ничего,— вступилась Китти за Клея.— Он мне очень нравится.

Перед гостями запела толстая женщина. Голос у нее был неприятный, и Бэрден переключил свое внимание на президентский затылок — большая шарообразная голова, седые редкие волосы, розовая лысина. Президент выглядел необыкновенно крупным рядом с тихим маленьким королем, который очень походил на оживший экспонат из музея восковых фигур мадам Тюссо. Интересно, подумал Бэрден, несмотря на зарок, который он себе дал, будет ли он когда-нибудь сидеть в этом кресле. Вчера Нилсон сказал — да. «Вы очень популярны. Весь Юг и Средний Запад видят в вас героя. И к тому же вы не слишком консервативны — как раз того типа, какой любят в больших городах. Вы несомненно побьете Дьюи».— «А если он снова выставит свою кандидатуру?» — «Тогда все остальные претенденты выбывают из игры. Но это маловероятно. Вот разве что будет война». Пусть будет мир, молился Бэрден, а толстая певица уже садилась под аплодисменты, но последняя пронзительная нота ее сопрано еще висела в душном воздухе.

— Приятный голос,— сказала Китти,— для такой толстой особы.

— Самый заурядный,— сказала Фредерика, но худшее ждало ее впереди: запела Мариан Андерсон.— Цветная! — воскликнула Фредерика.— Этого еще не хватало! — свирепо зашептала она.— Как будто у нас в стране мало *белых* певцов.

Бэрден сделал вид, что не слышит. Он сидел, закрыв глаза, пока пела Мариан Андерсон. Еще совсем молодым ему довелось переспать с цветной шлюхой, и, к своему огорчению, он убедился, что она ничем не отличается от белой женщины. Ведь есть же мужчины, предпочитающие черных белым и находящие между ними разницу. Когда Бэрден впервые пришел к Нилсону в отель, он застал у него в номере стройную девушку с желтой кожей. Она лежала на софе. Без тени смущения она поднялась и стала надевать туфли: «Я говорила тебе, что это не коридорный». Затем, едва заметно кивнув Бэрдену, прошла в спальню — в тот самый момент, когда явился коридорный. Все было проделано с такой невозмутимой деловитостью, что Бэрден диву давался — уж не привиделось ли ему это во сне. Но долго раздумывать над этим ему не пришлось.

«Блэз хочет, чтобы мы были друзьями,— начал Нилсон.— Он хочет выдвинуть вашу кандидатуру на президентских выборах в сороковом году. Он думает, что я могу вам помочь».

«Я тоже так думаю»,— сказал Бэрден.

Все было легко, удивительно легко. Никакого драматизма, никакого запаха серы, никакого договора, скрепленного кровью, и ангел не подавал ему сквозь жалюзи отчаянных знаков: «Не смей этого делать».

Бэрден отправится в длительную поездку в Канаду, будет выступать в Оттаве. В его отсутствие один покладистый сенатор устроит так, чтобы продажа земли была одобрена без обсуждения. Если даже впоследствии и поднимутся толки, Бэрден со спокойной душой может сказать, что подкомиссия приняла решение без его ведома. Тем временем в Вашингтоне будет учрежден комитет «Дэя — в президенты», а Нилсон соберет для финансирования предвыборной кампании двести пятьдесят тысяч долларов, «из разных источников, все совершенно законно».

Деньги были собраны, как условлено, и должным образом израсходованы. Результаты получились обнадеживающие. Консервативная пресса считала его единственным государственным деятелем, способным защитить конституцию и в то же время сохранить мир, а что касается Блэза, то он был уверен, что кандидатура Бэрдена «пройдет как по маслу». Но несмотря на исключительную тактичность Нилсона («Я всегда хотел, чтобы вы были президентом, еще до того, как мы с вами познакомились»), Бэрден не мог отделаться от чувства вины, хотя он отлично знал, что надо либо вести игру по всем правилам, либо вовсе не вступать в нее. Лишь один раз за всю свою карьеру Бэрден попробовал изменить правила. Во время своей первой предвыборной кампании он был поражен, узнав, что для него покупают голоса. Когда он попытался заявить протест своему менеджеру, тот ответил: «Но ведь именно так побеждают на выборах».

«Тогда я предпочитаю проиграть». Ему до сих пор слышался собственный голос — высокий и полный праведного негодования.

«Что предпочитаете вы — это абсолютно никого не интересует. Тысяча с лишним человек в округе рассчитывают получить свои два доллара в день выборов, и мы не собираемся их разочаровывать».

Бэрден капитулировал. С тех пор он всегда, хотя и без особой радости, покорялся существующему порядку вещей. В этом он был схож с женой президента, которая рассказывала ему, как однажды, в дни своей невинной юности, она пришла к мужу и сказала: «Франклин, для тебя прямо здесь, в округе Датчес, покупают голоса!» На что президент рассмеялся и ответил: «Не беспокойся, дорогая, республиканцы делают то же самое».

В конечном счете все дело в том, как далеко ты готов пойти. Ни президент, ни Бэрден не несут ответственности за развращенность избирателей. Пусть так, но правильно ли и дальше терпеть эту развращенность? Вопрос звучал глупо. Надо делать все, для того чтобы победить, а сюда входит и купля-продажа голосов. Когда он согласился взять деньги Нилсона, он продал свой голос, и в моральном плане это было ничуть не хуже, чем общепринятый обычай покупать голоса. Он утешал себя мыслью, что на его месте любой другой политический деятель сделал бы то же самое.

«Но я не любой другой»,— сказал он себе, когда зал зааплодировал Мариан Андерсон. Он верил в честь. Родись он вовремя, он с радостью отдал бы жизнь за конфедерацию. То, что южане сражались за неразумное, неправое дело, лишь заставило бы его драться еще упор-

нее, и если бы та пуля у Шилоу попала в него, он упивался бы своей болью, в отличие от отца, который не видел ничего хорошего в человеке, считал человечество грубым, жестоким и обреченным и потому сам был обречен на безумие. Но он все же был отмечен белым рваным шрамом, который тянулся от ключицы к левому плечу, и за это почетное отличие Бэрден отдал бы жизнь.



## Глава третья

### I

— С Новым годом.

Китти Дэй подставила Клею лицо для поцелуя.

— С Новым годом. Где Инид?

— На вечеринке. Где же еще ей быть?

— О, какой стыд! Я надеялась, что она придет сегодня. Она никогда у нас не бывает.— Китти провела Клея в гостиную, где возле затухающего камина сидели Бэрден, Эд Нилсон и судья Хьюи, председатель демократической партии штата.

— Клей явился один,— сказала Китти.— Инид загуляла.

— Не беда. У нас деловая встреча.— Нилсон подвел Клея к камину; Китти извинилась и оставила мужчин одних.

— Простите, что я так поздно,— начал Клей, повернувшись к Бэрдену, но тот перебил его:

— Не имеет значения. Да к тому же и судья только что пришел со званого обеда.

— Видел на прошлой неделе вашу матушку,— сказал судья, посмотрев на Клея так, будто надеялся услышать от него признание nolo contendere *.

Мать Клея служила в банке в столице штата; вдовья доля ее скрашивалась небольшой пенсией и четырьмя детьми сестры Клея, которые давали ей массу поводов для жалоб и вместе с тем — для радости. Каждую неделю она усердно исписывала множество листов бледно-розовой бумаги мелким готическим почерком, стремясь укрепить в сыне желание преуспеть.

— Вам следует чаще писать ей,— сказал судья, вынуждая Клея занять оборонительную позицию. Разговор обещал быть нелегким.

— Я знаю. Письма — ее сильная сторона.— Он повернулся к сенатору.— То, что мы слышали, подтвердилось. Белый дом готовит законопроект.

Бэрден покачал головой.

— Меня это не удивляет. Его последняя речь должна была бы нас насторожить. «Когда дом вашего соседа в огне..» — Как всегда, Бэрден удивительно точно имитировал голос Рузвельта.

— Какой законопроект? — спросил Нилсон.

Клей рассказал, что Белый дом готовит законопроект о предоставлении помощи западным демократиям, который будет внесен на рассмотрение как палаты представителей, так и сената; таким образом англичане смогут получить деньги и вооружение. Клей говорил, все вре-

---

* «Не стану спорить» (*лат.*)— заявление обвиняемого в уголовном процессе, которое, хотя и не заключает в себе признания вины, позволяет осудить его, но не лишает его права отрицать справедливость обвинения в последующем судебном разбирательстве.

мя наблюдая за судьей: его интересовало, как тот воспримет новость. Пока это было неясно. Судья, очень маленький и сдержанный, сидел в большом кресле около камина. Казалось, эта тема его нисколько не интересует. Европа для него — семечки в сравнении с Четвертым избирательным округом, где республиканцы набирали силу, или с Третьим, где они должны набирать силу, или с Первым, где внезапно появился кандидат, который свел на нет всю многолетнюю и тщательную работу судьи, пытавшегося застраховаться от любых случайностей в ходе избирательной кампании. Судья терпеть не мог сюрпризов в день выборов.

Бэрден был против любой помощи англичанам:

— Во-первых, они банкроты. Это признает даже лорд Лотиан*. А раз так, то мы выбросим деньги на ветер, потому что если англичане и победят, они все равно никогда не сумеют с нами расплатиться.

Ему ответил Нилсон:

— Мы не можем допустить, чтобы победил Гитлер.

Ответ заинтриговал Клея: Нилсон никогда прежде не противоречил сенатору.

— Как мы можем его остановить? — Бэрден был мрачен.— Джо Кеннеди ** утверждает, что англичанам конец. Думаю, что он прав.

— Все равно я за то, чтобы помочь им.— Нилсон продолжал стоять на своем. Почувствовав, что назревает спор, он обычно улыбался своей лучезарной загадочной улыбкой и под ее блистательным прикрытием с быстротой молнии менял занимаемую позицию. Но сегодня он даже не попытался сделать шаг в сторону этого укрытия.

Уступить позицию пришлось сенатору:

— Быть может, вы правы, Эд. Кто знает?

Бэрден, как заметил Клей, все больше и больше считался с Нилсоном. Началось это с заявления президента о том, что в связи с ситуацией в Европе (Франция разбита, Англия осаждена) он будет добиваться выдвижения своей кандидатуры на третий срок. Это означало, что хотя комитет «Дэя — в президенты» и будет продолжать свою деятельность, цель его теперь уже не президентство, а лишь вице-президентство. За неделю до партийного съезда сенатор без предварительного приглашения, просто после телефонного звонка посетил Белый дом. Клей так и не узнал, что там обсуждалось, однако сенатор вернулся в великолепном настроении и сказал своим сторонникам, чтобы они не слишком нажимали на съезде, намекнув, что Рузвельт предложил ему пост вице-президента, хотя даже Клею — но не сенатору — было ясно, что президент никогда не возьмет Бэрдена Дэя или любого другого консерватора вторым в свою упряжку. Оставалась одна надежда: получить в первом туре такое количество голосов в пользу кандидатуры Бэрдена в президенты, чтобы Рузвельт вынужден был предложить ему пост вице-президента. Но Бэрден проявил сдержанность; президент добился выдвижения своей кандидатуры, встретив лишь жалкое подобие сопротивления, и предложил пост вице-президента мечтательному Генри Уоллесу. Когда на съезде объявили имя Уоллеса, раздался взрыв негодования, недовольны были даже самые преданные сторонники Рузвельта. В своем номере в отеле «Блэкстоун», увешанном плакатами «С Дэем — преодолеем!», сенатор зло стукнул кулаком по радиоприемнику. «Сукин сын»,— сказал Джеймс Бэрден Дэй, и Клей так никогда и не узнал, кого он имел в виду: президента или Генри Уоллеса.

---

* Филип Генри Керр, лорд Лотиан — британский посол в США в 1939—1940 гг.

** Джозеф Патрик Кеннеди — американский посол в Англии в 1937—1940 гг., отец Джона Ф. Кеннеди.

Сенатор почти не принимал участия в предвыборной кампании. Он присутствовал на нескольких собраниях в своем штате, но отказался агитировать за кандидатов партии на два высших выборных поста. Клей был убежден, что Бэрден проголосовал за взбалмошного, но симпатичного Уэнделла Уилки, который штурмом победил на съезде республиканской партии, а в дальнейшем вел свою кампанию под лозунгами Нового курса.

Все это время Нилсон оставался, как всегда, верен ему и внимателен. Он чисто по-деловому ликвидировал комитет. Погасил все неоплаченные долги и распустил войско. Надежда рухнула или отодвинулась на неопределенное время. Несмотря на явное разочарование сенатора, Клей видел, что на уме у него уже выборы 1944 года. Нилсон тоже думал о них: к удивлению Клея, Нилсон действовал так, будто цель еще достижима. Он оставался частью их жизни, вечно предупредительный, разве только что не сегодня. Но сенатор не был расположен к ссоре. Он лишь улыбнулся своей трагической полуулыбкой.

— Государственные дела подождут. Дом пока еще не горит. Садовые шланги могут полежать.— Движением руки он откинул со лба знаменитую прядь волос.— Итак, мы собрались здесь, чтобы обсудить вопрос о дополнительных выборах в палату представителей по Второму избирательному округу. И о Клее.

Клей возликовал. Так или иначе, жизнь его теперь, безусловно, изменится.

— Как вам известно, судья, Клей уже некоторое время присматривается к этому месту в палате. В округе его знают. Между прочим, он там родился. И вот уже несколько лет втайне от меня он подготавливал почву.— Полуулыбка расплылась в улыбку.— Теперь, когда наш старый друг Макклюр ушел на федеральную службу, его место освободилось, и Клей хотел бы его занять. Но...— Бэрден повернулся к судье Хьюи и широко раскинул руки, словно собираясь обнять его — ...он не сделает, не может, не должен сделать ни шагу в нашем штате без вашего согласия.

Надолго воцарилась тишина. Поленья потрескивали в камине. Ветер на улице шумел среди деревьев. Клей вдруг почувствовал, что ему стало прохладно, как будто где-то открылась дверь и потянуло сквозняком. Бюро прогнозов предсказывало снег.

Судья низко опустил голову и прижал подбородок к целлулоидному воротничку, который исчез в дряблых складках кожи. От воли этого человека зависело теперь будущее Клея. Наконец судья произнес одно-единственное слово:

— Джесс?

Клею сначала даже показалось, что судья просто кашлянул. Но сенатор отреагировал моментально. Джесс — это Джесс Момбергер, старший сенатор от их штата, политический вольнодумец, который в той же мере поддерживал президента, в какой Бэрден ему противодействовал, и умудрялся при этом сохранять хорошие отношения с консервативным большинством штата.

— Джесс даст свое благословение, когда придет время.

— В этом округе любят Джесса,— сказал судья таким тоном, словно его это огорчало. Он в первый раз повернулся к Клею.— Вы знаете, что вам придется бороться с достойным соперником, который хочет этого места и по справедливости должен был бы его получить?

— Да, сэр. Я это знаю. И я готов к борьбе.

— Ох уж эти новоиспеченные претенденты,— пробормотал судья, глядя в огонь, и сердце Клея упало.— Я не могу вам помочь,— сказал он наконец.

В мозгу Клея мелькнула даже мысль о самоубийстве, но тут сенатор снова взял разговор в свои руки:

— Надеюсь, что другому кандидату вы тоже не станете помогать?

Судья усмехнулся — отвратительное зрелище,— обчажив неправдоподобно громадные зубы.

— Нет, нет. Я никого не буду поддерживать.

Сенатор хихикнул:

— Старая хитрющая лиса — любую гончую запутает.

Клей снова восхитился той легкости, с какой сенатор находил общий язык с провинциальными политическими боссами. Он никогда не угождал, не заискивал, никогда не принимал неверный тон. Работая с Бэрденом бок о бок в Вашингтоне, где он далеко не всегда отличался политической мудростью, Клей начинал упускать из виду, что его патрон — искуснейший политик их штата.

Судья повернулся к Клею:

— Все будет зависеть от вас.

— Спасибо, судья.— Клей взял безжизненно-вялую руку и с чувством пожал ее.

— Вы должны победить,— умирающим голосом произнес судья.— А теперь мне надо вздремнуть. Я давно пропустил свое время. Кстати,— добавил он вдруг, остановившись на полпути к двери.— У вас, кажется, богатая жена?

Пока Клей раздумывал, какой дать ответ, Нилсон пришел к нему на помощь:

— Да.

— Вам это будет стоить двадцать, а может, и тридцать тысяч долларов. Куда больше, чем в доброе старое время, когда начинали мы с Джимом.— Судья был одним из немногих, кто называл сенатора по имени.

— Я думаю, Клей достанет денег.— Разговор, как всегда, явно забавлял Нилсона.

— Да уж, пусть постарается,— буркнул судья.— У нас также принято жертвовать жалованье за первый год службы в пользу партии — своего рода вложение капитала в будущее.

— Конечно,— чересчур быстро согласился Клей.

— Ну что ж, прекрасно,— сказал сенатор, просовывая руку под локоть судьи и провожая его к двери.— Не могу понять, зачем я это делаю. Я вовсе не хочу, чтобы Клей ушел от меня. Поэтому было бы куда разумнее интриговать против него.

Клей не слышал, что на это ответил судья, так как они были уже далеко. Он вытер вспотевшие ладони о брюки.

— Нервничаешь? — Нилсон замечал все.

— Этот судья — упрямый черт.

— Очевидно. У меня, правда, нет опыта общения с этими провинциальными типами. Где же ты возьмешь деньги?

— Что-нибудь придумаю.— Клей еще не решался сказать что, поскольку Блэз настроен все так же враждебно, его единственная надежда — Нилсон.

— Судья с нами! — Сенатор появился в комнате, сопровождаемый потоком холодного воздуха. Он торжествовал, как будто сам одержал победу.

— Слава богу! —просиял Клей.

— Знаете, что он сказал в дверях? «Я не причиню ему вреда». Именно такое обещание нам и было нужно.

— Как это вы соглашаетесь отпустить Клея? — вдруг спросил

Нилсон. Клей повернулся к нему, почуяв опасность.— Ведь он же ваша правая рука.

Жест сенатора, как всегда, доставил Клею эстетическое наслаждение. У большинства людей такой жест выглядел бы как непроизвольное телодвижение, судорожное подергивание или тик, но жесты сенатора, при всей их отработанности, были отменно красноречивы. Теперь он демонстрировал это свое искусство. Голова чуточку склоняется набок — душевное уныние; руки опускаются вниз ладонями наружу — смирение; затем все тело медленно погружается в стоящее у камина кресло — покорность судьбе, неотвратимо приближающей человека к золотому концу долгой жизни.

— Они все уходят — рано или поздно.

Слова были излишни. Клей любил старика — именно так, как требовалось по роду службы.

— Но вы бы могли ему воспрепятствовать.— Нилсон подмигнул Клею, чтобы показать, будто он шутит, но это лишь доказывало обратное.

— Никогда!

Вместе с этим словом в комнату снова ворвался поток ледяного воздуха.

— Здравствуйте, Клей. Не знала, что вы здесь.— Диана уже шагнула назад, готовая обратиться в бегство. Но бежать решил Клей, которому никак не улыбалась эта встреча.

— Я уже ухожу.

— Нет, ты останешься! — гаркнул Билли Торн. Он был пьян.

— Билли, нам лучше подняться к себе. У них совещание.

— Заговор против народа, сенатор?

Клея всегда поражала способность Билли брать неверный тон. Трудно было удержаться от неприязни к этому человеку. Сенатор вздрогнул, это заметили все, кроме Билли.

— Ну, что вы, дорогой Торн, я же выбран народом.

Сенатор иначе как Торном не называл своего зятя. Клей просто не понимал, как он вообще разговаривает с ним. Однажды накануне рождества Диана бросила работу и вышла замуж за Билли. А на другой день после рождества Билли объявил, что его уволили из министерства торговли. Никто не знал почему. Бедные молодожены жили теперь в мансарде.

— Вашингтон полон людей, которые занимают выборные должности и являются убежденными врагами народа. Подумайте о том, сколько членов конгресса представляют не народ, а нефть! Грандиозные гейзеры, выбрасывающие доисторическую нефть, собственность людей с каменными лицами, которые обожествляют прибыль. Как поживаете, мистер Нилсон?

Клея удивляла самоубийственная смелость Торна.

— Пытаюсь надеть на свое каменное лицо благородную маску,— сказал Нилсон.— Диана, поцелуй старика по случаю Нового года.

— Вы хороший! — Диана нежно обняла Нилсона.— Мы были на новогодней вечеринке. Я не знала, что уже так поздно. Нам пора, Билли.

Но Билли не мог остановиться:

— Сенатор, я побился об заклад в Белом доме, что, выступая против законопроекта о ленд-лизе, вы скажете: «Пусть англичане сами таскают свои каштаны из огня».

— Мои слова так легко предсказать? — спокойно спросил сенатор. Он был мастер отвечать на неожиданные выкрики из зала.

— В каком-то смысле — да.— Билли налил себе виски. Все наблюдали за ним с тем восхищением, с каким публика следит за движения-

ми акробата, выступающего без предохранительной сетки.— Вы, конечно, будете голосовать против законопроекта?

— Не знал, что такой законопроект существует.— Сенатор сделал невинные глаза.

— Еще как существует. Мы... они работают над ним сейчас в Белом доме.

Против своей воли Клей злорадно усмехнулся этой ошибке в выборе местоимения. Билли был тесно связан со сторонниками Нового курса, но с кем именно и каковы были эти отношения, никто не знал; такая неизвестность придавала Билли авторитет в вашингтонских салонах. Легко было назвать его лжецом, но и опасно: всякий раз на приеме неизбежно появлялся Гарри Гопкинс, брал Билли под руку и увлекал в угол для долгой беседы. Считалось, что Билли участвует в составлении речей для президента. В данный момент он претендовал на внимание к себе в качестве редактора «Американской мысли». Макет журнала существовал уже два года, но из-за отсутствия денег первый номер еще не вышел в свет. Билли время от времени впадал в отчаяние; Диана — никогда. Издание «Американской мысли» стало ее мечтой, и она не собиралась с ней расставаться. К несчастью, все возможные денежные родники немедленно пересыхали под горячими лучами неумения Билли ладить с людьми. Последней надеждой был Нилсон, но и он совсем недавно отказал им в помощи.

По указанию сенатора Клей пытался выяснить, что произошло в министерстве торговли. Но никто ему ничего не сказал. Министерство отказалось ответить и на прямо поставленный вопрос: «Он что — коммунист?»

Билли покачивался на своей деревянной ноге, держа в руке стакан с виски, пока сенатор читал ему лекцию о конституции:

— Законы должны исходить только от конгресса. Законопроекты, связанные с финансами — а ленд-лиз как раз такой и есть,— подготавливаются палатой представителей. В конституции нет такого пункта, который разрешал бы исполнительной власти выступать инициатором законодательства.

— К счастью, исполнительная власть все же выступает инициатором новых законов. Что было бы с нашей страной, если бы она этого не делала? Что было бы с вами? Каждая строчка закона Дэя—Мортимера была написана в министерстве сельского хозяйства, а ваш вклад состоял лишь в том, что в нужный момент вы подбросили его в сенат, не читая, конечно.

Вот оно, подумал Клей. Сенатор побледнел. Клей вмешался.

— Это неправда, Билли.— Клей подчеркнул уменьшительный суффикс имени Торна.— Я это знаю, потому что помогал сенатору писать законопроект. Что касается министерства, то оно лишь снабжало нас статистическими данными.

— Я слышал совсем другое,— сказал Билли.

— Нас всех время от времени неправильно информируют.— Сенатор умел держать себя в руках. Он был холоден.— Во всяком случае, я никогда не выдвигал законопроекта, который был бы подготовлен для меня исполнительной властью. В конце концов, если лишить нас нашей законодательной функции, нам вообще нечего будет делать.

— Вполне возможно, что такому сенату, как ваш, действительно нечего делать.

Нилсон поднялся.

— Бэрден, мне пора. Клей, меня, надо полагать, пригласили, чтоб я дал свое благословение. Что ж, даю.— Они тепло пожали друг другу

руки.— Держись, Диана.— Нилсон поцеловал ее в щеку и повернулся к Билли.— Надеюсь, вы скоро найдете себе работу, мистер Торн.

Оскорбление было нанесено тем же тоном, каким он желал остальным спокойной ночи. Минуту никто не верил своим ушам. Нилсон был уже у двери, когда Билли взревел:

— Вы сукин сын!

— Спокойной ночи,— ответил Нилсон и вышел.

— Пойдем лучше наверх, дорогой.— Диана повернулась к Клею.— Очень рада была снова с вами встретиться.— Она держалась подчеркнуто формально. Он подумал, что она, наверно, с досады решила выйти замуж за Билли.

Супруги Торн с достоинством удалились, оставив Клея наедине с сенатором, который воздел руки к потолку, вложив в этот жест все свое мимическое искусство.

— Что мне с ним делать? — Впервые он выражал при Клее свое возмущение браком Дианы.

— Найти ему работу, наверно. Все, что угодно, лишь бы выставить его из дома.

— Я пытался. Но он согласен далеко не на всякую работу.

Сенатор проводил Клея до парадной двери.

— Я очень доволен тем, как все складывается,— сказал Бэрден.

— Я тоже.— Клей повернулся к сенатору, ощутив вдруг горячий прилив благодарности к нему.— И это сделали вы.

— Вряд ли. Не забывай Нилсона. Он поможет.

— А взамен?..

Сенатор взглянул на него непонимающим взглядом. Какой первоклассный актер, подумал Клей.

— Взамен? — Сенатор произнес это слово, будто слышал его впервые.

— Я должен буду что-то... сделать для него?

— О, не думаю,— последовал мягкий ответ.— Он, естественно, заинтересован в разрешении на разработку нефтяных ресурсов, но в этом заинтересованы и мы с вами. Это не будет противоречить...— улыбнувшись, он выбрал наиболее подходящую концовку: — ...ничьим интересам.

Они обменялись теплым рукопожатием. Клей сел за руль своего старенького «плимута» и поехал домой под холодным моросящим дождем первого дня нового года.

Было два часа ночи, Инид еще не вернулась. Она уходила и приходила, когда ей хотелось,— Клей обычно не возражал. Она любила бывать на приемах, он — нет. Она занималась своими делами, он — своими. Сделка удовлетворяла обе стороны, за исключением тех случаев, когда Клей желал ее, как сейчас, а Инид не было дома. Он разделся, чувствуя себя одиноким, заброшенным, лег в постель и, положив, как ребенок, руку между ног, мгновенно заснул.

Ему приснилась вода, он проснулся, посмотрел на часы — без четверти пять. В ванной горел свет и текла вода. Ощутив снова желание и одновременно злость на Инид, он открыл дверь в ванную и застал Инид за процедурой.

— Я думала, ты спишь.— Инид заговорила первая.

— Нет.— Семейной жизни пришел конец.— Кто это был?

— Ужасно, да? — Тон ее был деловито-спокоен.— Прошу прощения.

— Я его знаю?

— Не думаю.— Она вдруг рассердилась.— Пожалуйста, не стой здесь и не пяль на меня глаза.

— Что ты хочешь, что бы я сделал — всыпал тебе как следует?

— Не посмеешь, даже если б и захотел.

Он ударил ее, чем доставил удовольствие ей, но не себе. Забрал одеяло и в темноте спустился в гостиную. Не зажигая света, лег на диван и завернулся в одеяло. Попытался призвать на помощь сон, убедить себя, что все это ему приснилось, но звук воды, спускаемой в уборной, стук двери и шаги в спальне наверху не оставляли сомнения в том, что все произошло наяву и что жизнь нуждается в срочном ремонте.

## II

Искусственное освещение придавало краскам неправдоподобную яркость, как будто цветы были сделаны из бумаги и блестящего воска. Поражаясь теплу этого тесного стеклянного мира (на улице шел снег), Питер прошел между двумя рядами деревянных столов, сходившихся где-то в дальнем конце оранжереи, как в упражнении на перспективу. На столах в горшках стояли тысячи растений. Он остановился около гардений, которые любил с детства, когда Фредерика построила оранжерею, потому что «это будет такая экономия, в самом деле,— выращивать собственные цветы». Была она, конечно, как Фредерика и рассчитывала, бесполезной роскошью, но приносила Питеру столько же удовольствия, сколько и старому садовнику, обходительному виргинцу, который всегда носил в помещении соломенную шляпу и аккуратно закатывал рукава рубашки. Именно он объяснил Питеру латинские названия растений, а также их названия по-английски; Питер узнал, что гардения — неправильное название, но продолжал им пользоваться. Осторожно, чтобы не сломать плотные белые лепестки, он дотронулся до самого крупного цветка. На фоне темно-зеленых листьев он сверкал, как звезда в ночном небе.

— Вот ты где! Отойди от этих гардений. Не переношу их запаха. У меня болит от него голова. И чего они так нравятся матери.

Инид обмахивалась маленькой вечерней сумочкой. Она была в черном и выглядела эффектно, хотя и необычно. Цветы выделялись на фоне ее платья, как драгоценности на черной бархатной подушке. Она казалась спокойной, хотя, когда просила Питера встретиться с ней сразу после обеда, была взволнована. Теперь же, отделенная от него только бегониями, она неторопливо потягивала виски с содовой и лишь спустя некоторое время, нахмурившись, рассеянно спросила:

— Эта девушка из Нью-Йорка — ты ведь не собираешься на ней жениться?

— Нет. Кто это тебе сказал?

— Мать, кто же еще?

— Я пока ни на ком не собираюсь жениться.— Это была правда.

Питер заметил, что рука Инид, державшая стакан, дрожала; она пила, закрыв глаза, как будто стремилась заменить внешний мир другим, более удобным, существовавшим внутри нее. Какие-нибудь неурядицы с Клеем, решил Питер, довольный, что после нескольких лет необъяснимого охлаждения она все же выбрала именно его, чтобы облегчить душу. Конечно, жизнь развела их в разные стороны. Он теперь студент колледжа, частица той безликой армады, за которой охотятся хозяйки салонов с дочерьми на выданье, а Инид превратилась в «молодую светскую матрону», занятую хождением по гостям и воспитанием ребенка.

— Никогда не женись! — Инид смотрела на него широко раскрытыми глазами.

— Никогда?

— Это все из-за Клея,— ответила она несколько бессвязно и поставила стакан между корней какого-то растения с красно-зелеными листьями.

— Что случилось? — Питер ощутил смутную радость от мысли, что брак Инид оказался неудачным. Как старый поклонник, который надеется на возвращение возлюбленной, он готов был ее утешить.

— Все. В ванной.— Она рассеянно смотрела куда-то мимо него.

— Что в ванной?

— Я их поймала. Клея с этой девкой. Они занимались любовью.

— На полу или в самой ванне? — Питера сразу же заинтересовали подробности.

— В постели! — Она говорила раздраженно.— Они ходили в ванную. Ну... после... и я застала ее, когда она пользовалась моими принадлежностями.— Теперь Инид говорила спокойно, она снова владела собой.— Я сказала: «Вот так ситуация, а?» Девка открыла рот и пялила на меня глаза, а Клей ответил: «Да, пожалуй», и я сказала: «Мы, надо полагать, разводимся», и он сказал: «Потом поговорим об этом», и тогда я сказала: «Вы могли хотя бы пойти куда-нибудь, а не делать это в нашей постели».

— А что она сказала?

— Кто? Что она могла сказать? Она, эта сука, ничего не могла из себя выдавить, только пялила на меня глаза. Хорошо бы она забеременела.— Инид запустила руку в джунгли растений и достала свой стакан виски с содовой. Закрыв глаза, принялась пить.

— Кто... она?

Прекрасные глаза Инид открылись, приспосабливаясь к нелепости окружающего мира.

— Девчонка. Из Южной Америки. Не знаю. Чья-то жена. Жена дипломата. Клей думал, что меня в этот день — первый день нового года — не будет дома. Ясно? Но у меня разболелась голова, я рано вернулась домой и застала их, и теперь...

— Но если это просто какая-то девка, чего ты так беспокоишься? — Питер вполне разделял снисходительное отношение вашингтонцев к неразборчивости мужчин и моногамии женщин: и те, и другие обычно соответствовали стереотипу.

— Но послушай, они занимались этим в моей постели! Ты не знаешь, что это значит для женщины!

— Он хочет развода?

— Конечно нет! Но я хочу. Я не могу больше жить с ним. После этого. Это так чертовски несправедливо!

В ее глазах были слезы. Он обнял ее. Она обхватила его за поясницу, прижалась лицом к смокингу, хрипловато всхлипывая. Он чувствовал себя на вершине блаженства.

— Ты говорила отцу?

Она покачала головой:

— Это его только обрадует. Кроме того, он что-то такое задумал. Они с Клеем теперь заодно.

Питер был удивлен, увидев за обедом Клея. Никто не мог ничего понять. По словам Инид, «это произошло абсолютно неожиданно. Мы не разговаривали целую неделю, Клей и я. Он спит на диване внизу. Я на этом настояла. И вдруг этим утром он говорит мне: «Твой отец пригласил нас в Лавровый дом на обед». «Нас обоих?» — спросила я. «Да, обоих»,— сказал он и посмотрел на меня ледяными глазами, какие у него бывают, когда он по-настоящему ненавидит, а ненавидит он всех.

— Ну, перестань.

— В самом деле. Особенно тебя. Он считает, что ты всего-навсего богатенький сынок-дилетант. Он говорил это тысячу раз.

Питер остолбенел. Он думал, что Клей хорошо к нему относится.

Но Инид не замечала его огорчения, так она была занята собственными бедами.

— Он, должно быть, звонил отцу. Что-то сказал ему. Чтобы настроить против меня.

— Но что он мог сказать?

— Не знаю. Что это я ему изменила или что-нибудь в этом роде. Он ведь способен на все.

— Тогда скажи отцу правду.

— О чем? — Вопрос Фредерики прозвучал своевременно, как и все ее реплики. Она стояла у входа в оранжерею.— Что вы здесь делаете вдвоем? Я увидела свет.

— Беседуем, мама.— Инид потянулась к стакану и допила его содержимое.— Пошли,— сказала она Питеру.— Расхлебывать кашу.

— Какую кашу? Что произошло?

— Инид все драматизирует, только и всего.— Питер не хотел рассказывать матери то, что услышал от Инид.— Какие-нибудь нелады с Клеем, наверно.— Он бросил наживку, надеясь, что рыба не клюнет. Но она клюнула.

— Я так и знала.— Фредерика машинально сорвала высохший листок с дерева. С годами она все больше и больше времени проводила в оранжерее или под открытым небом, придумывая новые террасы, цветочные бордюры, украшая сад скалами, аллеями.

— С чего ты это взяла?

— Это и так ясно — достаточно посмотреть на них сегодня. А потом, когда Клей позвонил вчера Блэзу, я сразу поняла: что-то произошло.

— Клей звонил отцу? — Инид была права. Готовится заговор.

— Да, и отец тут же пригласил его на сегодня к обеду.

Фредерика выключила свет. Снег кружился за серым стеклом. Питер нащупал стебель самой большой гардинии и сорвал ее. Зажав цветок между большим и указательным пальцами, он последовал за матерью в гостиную.

Блэз сидел в углу с Клеем.

— Когда был снят запрет? — спросил Питера Гарольд Гриффитс.

— Не знаю. Я сам удивился, увидев Клея за обедом.

— Я думаю, что их свела политика.— Гарольд говорил о Блэзе и Клее.— Инид сегодня какая-то странная, тебе не кажется?

— Странная? Нет.

Питер наблюдал за тем, как его отец разговаривает с Клеем. Это было необычно: Блэз слушал, а Клей что-то быстро говорил ему. Интересно, сдолеет ли Клей отца на этот раз. Такую возможность нельзя исключать. По твердому убеждению Питера, жестокость Блэза объяснялась просто: Клей своим браком с его дочерью грубо напомнил ему, что сам он стареет, уступает поле боя, умирает — вопреки бешеной жажде власти, которая стучала в его груди, как второе сердце.

— Но что же ты собираешься делать? — неожиданно спросил Гарольд. Способный актер, он инстинктивно чувствовал, когда внимание аудитории ускользало от него.— Пойдешь работать в газету?

Питера сразу же охватил ужас — так всегда бывало при мысли о будущем, о тяжелых решениях, которые ему предстоит принять.

— Я не думаю. Во всяком случае, не в газету отца. Что я могу там делать?

Два лета бессистемной работы в отделе городских новостей привели его в отчаяние. А уж в смысле деловой стороны издания он был вов-

се безнадежен, иными словами, он ею не интересовался. Тем не менее Питер не сомневался, что его посредственные успехи даже радовали отца и тот был бы счастлив, если бы сын полностью провалился: это значило бы, что одним молодым конкурентом стало меньше.

— Я, наверно, поеду в Нью-Йорк,— неопределенно заявил Питер. Нью-Йорк всегда служил синонимом свободы, опасности, реального мира, так не похожего на набивший оскомину Вашингтон.

— Ты, конечно, можешь,— зло ответил Гарольд.— У тебя есть деньги.

— Будут, когда мне исполнится двадцать один. В сентябре.— Половину прожитых им лет он ждал того дня, когда наконец сможет делать, что ему заблагорассудится. Но теперь, когда срок этот был уже близок, он начал испытывать тревогу. Он будет свободен — но для чего?

— Я хочу чего-нибудь выпить,— сказал он и покинул Гарольда. На подставке за спиной отца стояли бутылки. Наливая себе содовой воды, он услышал, как Клей упомянул про «дополнительные выборы», и понял, что муж его сестры собирается совершить большой прыжок на политическую арену.

— Питер.— Блэз посмотрел на сына.— Садись. Прими участие в семейном совете.

Питер повиновался. «Семейный совет» — значит, Клей делает успехи. Но вид у него не радостный. И не молодой. Правда, Клею сейчас не меньше тридцати (по мнению Питера — средний возраст), и на лицо его жизнь успела наложить свой отпечаток, в то время как лица Питера она еще не коснулась.

— Клей меня сегодня основательно взбудоражил,— улыбнулся Блэз, что было большой редкостью.

— А что случилось? — Питера разбирало любопытство. Со стороны отца это неслыханное проявление доброты — так вот моментально снять запрет.

— Я получил некоторую информацию.

У Клея был измученный вид, и Питер подумал, что измены, видимо, сильно утомляют.

— Государственные тайны? — спросил он в ту минуту, когда в комнате раздался громкий хрипловатый смех Инид.

— Завтра это перестанет быть тайной,— сказал Блэз, игнорируя дочь. Он, казалось, был очень доволен, но Клеем или самим собой, Питер не мог определить.— Я же все-таки журналист.— Это было явное преувеличение.— Клей сообщил мне об интересной встрече президента с некоторыми сенатскими лидерами, во время которой он пытался всучить им ПП 1776*, известный нашим читателям под названием Законопроекта о ленд-лизе, или, иными словами: «Растранжирим Америку по частям».

— По-моему, пресса должна знать, что он замышляет.— Если Клея заботила этическая сторона его поступка, то он этого никак не показал. Он держался с совершенно безразличным видом, и это должно было произвести отличное впечатление на Блэза, который терпеть не мог моральной скрупулезности и излишней обходительности. Не обладая этими качествами, он с подозрением относился к тем, кто был ими наделен. Мысль о том, что Клей и его отец еще могут стать союзниками, чем-то разочаровывала Питера, который не любил разбавленных страстей. Но, очевидно, даже ненависть не является священной.

Сотрудник бывшего польского посольства в Вашингтоне подошел к Блэзу проститься. Поляк был высокого роста, носил монокль, жена его

* ПП — палата представителей конгресса США. Цифра означает порядковый номер законопроекта.

тоже была очень высокая — и тоже с моноклем. Вместе с ними подошла маленькая бледная женщина, которую Питер где-то видел, но не мог вспомнить ее имени. Пока поляки щедро расточали хозяину благодарности, их бледная спутница восхищалась комнатой.

— Я здесь впервые,— сказала она, как будто дом был не просто дом, а достопримечательность, осмотрев которую, можно поставить галочку в путеводителе.

— Что вы говорите! — Блэз отсутствующим взглядом смотрел на нее.— Вы из Вашингтона?

— О да, конечно. Меня зовут Ирен Блок.

Свое имя она произнесла на французский манер — Блок, а не Блох, и Питер сразу вспомнил, кто она такая, и понял значение ее визита в Лавровый дом, так как его мать не выносила выскочек и евреев, за исключением разве что Ротшильдов и Варбургов, которые, часто с изумлением говорила она, «такие же, как все». Антисемитизм, в атмосфере которого был воспитан Питер, исчез в университете под воздействием его друга — преподавателя истории, но вопреки своему новому либерализму он отвергал мысль об Айрини Блох в гостиной Лаврового дома. Обществу все же необходимы принципы. Евреи, хоть и интересны в интеллектуальном отношении, все же не такие, какими люди должны быть. Они и выглядят не так, и ведут себя неподобающе, как миссис Блох, которая заставила поляков взять ее с собой в дом, где ее не хотели видеть.

— Спокойной ночи, миссис Блэк,— оживленно откликнулся Блэз, намеренно искажая ее фамилию.

Поляки откланялись, так и не ведая о своей ошибке, и двери Лаврового дома закрылись за ними навсегда.

Перед Блэзом вдруг возникла Инид. Питер заметил тревогу в глазах Клея. Это доказывало его вину.

Инид стояла, чуть покачиваясь, со стаканом в руке. Она слишком много выпила, чего с ней не случалось раньше.

— Папа, как ты нашел сегодня Клея?

— Мы беседуем,— нейтрально отозвался Блэз.

— Он сказал тебе, что выдвигает свою кандидатуру в конгресс и что ему нужны твои деньги?

— О деньгах разговора не было.— Блэз держался спокойно.

— Еще будет. Не волнуйся.

Клей поднялся:

— Пошли, Инид. Пора.

— Пошли? А я не собираюсь с тобой никуда идти. Я остаюсь здесь. Можно мне остаться, папа?

— Если хочешь,— холодно сказал Блэз.— Но поскольку Клей твой муж...

— Нет уж, увольте. Ты сделал все, чтоб мы были несчастны.— Эта новая линия предвещала весьма содержательную драму. Клей взял ее за руку, но она оттолкнула его.

— Не прикасайся ко мне, сукин сын,— сказала она мужу.

Блэз с ревом вскочил на ноги.

— Ты напилась! Убирайся вон!

Наступила тишина. Гости слышали. Инид долго смотрела на отца. Затем повернулась к Клею:

— Забери меня домой.

Клей и Инид вышли из комнаты в сопровождении Фредерики. В гостиной возобновился нервный разговор. Отец и сын стояли лицом друг к другу, но глаза Блэза смотрели вслед дочери.

— Как ты думаешь,— сказал наконец Блэз, как будто Питер был

не сын, а гость и его нужно было развлекать,— может законопроект о ленд-лизе пройти в палате представителей?

Питер изобразил из себя гостя:

— Думаю, что пройдет. Значительным большинством.

— Я, наверно, выступлю в пользу законопроекта — с соответствующими поправками, конечно,— сказал Блэз, все еще глядя на дверь, в которую вышла его дочь.

Посмотрев на отца, Питер понял, до какой степени Инид нарушила мужское согласие, установившееся между Блэзом и Клеем. Раздраженный, Блэз был беспощаден, и если он захочет покарать, то Инид не поможет никто, кроме Клея, который не станет этого делать, и Фредерики, которая не в состоянии ей помочь. Никто не придет ей на помощь, кроме меня, подумал Питер и взял с ближайшего серебряного блюда мятную конфету.

— Мы же не хотим, чтобы Франклин разбазарил всю страну, правда?

— Нет,— ответил сын.— Мы этого не хотим.

## III

Бэрден сидел в зале заседаний сената, держа в руке ПП 1776. Сенаторов выкликали одного за другим по списку. Голосование по законопроекту началось рано. Галереи были переполнены. Прямо над ним сидели Китти и Клей, в ложе прессы величественно красовался Блэз Сэнфорд. Даже самые легкомысленные сенаторы отдавали себе отчет в важности момента. С мрачными лицами, торжественно поднимались они, чтобы сказать «за» или «против», и голоса гулко отдавались в залитом зеленым светом зале.

Это был тяжелый для изоляционистов месяц. Один слишком откровенный сенатор ничем не помог делу, обвинив президента в том, что он «стремится выкорчевать каждого четвертого американского парня». С другой стороны, сторонники вмешательства ничего не выиграли от беспечного заявления Уэнделла Уилки, который, объясняя свой внезапный переход в ряды тех, кто стоял за помощь Англии, назвал свои недавние речи против поджигателей войны — деятелей Нового курса — «предвыборной демагогией».

Тем не менее законопроект, составленный министерством финансов и переданный лидерам большинства на рассмотрение обеих палат, должен был наверняка пройти. Напрасным оказался бешеный вой организации «Америка прежде всего». Именитые хозяйки салонов злословили о секретном сговоре Рузвельта с англичанами. Католические монахи заявляли, что Гитлер, в конце концов,— последний надежный щит против антихриста Сталина. Все было бесполезно. Законопроект должен был пройти.

— Мистер Глэппер.

Приближалась буква «д». Бэрден представил себе на минуту, какое оцепенение охватит всех в зале, если он проголосует «за». Он попадет в заголовки газет, но проиграет предстоящие выборы, хотя, как он подозревал, в душе жители его штата далеко не такие изоляционисты, как их представители в конгрессе Люди не столь уж твердо стоят за принципы, над которыми им не приходится слишком часто задумываться. Вообще-то они недолюбливают Европу, но достаточно нескольких газетных сообщений об изнасиловании бельгийских монахинь, и они ринутся в бой.

— Мистер Гейвз.

Нет, Бэрден не может проголосовать «за». Слишком уж прочна его репутация изоляциониста. И тем не менее он до некоторой степени желал

англичанам победы, а Гитлеру — поражения, в отличие от ряда своих коллег, ненавидевших Англию и тайно поддерживавших Гитлера по причинам, никем еще толком не изученным. В крайнем случае Бэрден хотел внести в законопроект поправки, которые ограничивали бы право президента раздавать вооружение и оказывать материальную помощь. Но его поправка провалилась, и он понял, что не сыграл сколько-нибудь значительной роли в этих великих дебатах. Еще год назад он считался консервативным преемником президента, и его обхаживали все. Теперь он был одним из девяноста шести сенаторов. Почувствовав вдруг необходимость в утешении, он посмотрел вверх на Китти, которая помахала ему рукой.

Никуда не уйдешь от того, что в тот момент, когда ему следовало бы повести за собой сенат, он этого не сделал. Конечно, этого не сделал и никто другой. Накануне обсуждения законопроекта он отправился в Белый дом с группой лидеров конгресса. За время этого совещания никто ни разу не спросил его мнения. Кроме сенатора Беркли, выступившего по поводу политической стратегии, все были молчаливо послушны — и он в том числе.

В конце этой встречи Бэрден пожал большую руку президента и сказал:

— Я отлично провел время в Чикаго.

Президент посмотрел на него ничего не выражающим взглядом. Бэрден не удержался и повернул винт еще на один оборот.

— Мистер Уоллес — отличный выбор с вашей стороны, он не очень популярен, быть может, но я уверен — именно его вы с самого начала имели в виду.

Президента спас сенатор от Техаса, который заставил его торжественно поклясться, что линкор «Техас» никогда не будет отдан англичанам. Президент поклялся.

Конечно, в Чикаго президент обвел его вокруг пальца. Когда унялась первая боль, он даже восхитился искусству, с каким это было проделано. Во время их частной встречи в Белом доме президент держался дружелюбно, говорил явно откровенно, абсолютно доверительно. В пространных выражениях он заявил, что, учитывая значительность и своенравность консервативного крыла партии, кандидатом в вице-президенты почти наверняка должен быть консерватор. Президент назвал несколько возможных кандидатур — первым из них был Бэрден, и он немедленно угодил в ту самую ловушку, какие с непревзойденным мастерством умел ставить другим: наобещать всяческих благ, которые и не собираешься предоставлять, с тем чтобы тот, кому их обещают, сохранял самое приятное и оптимистическое расположение духа. Покидая Белый дом, уверенный, что будет выдвинут кандидатом в вице-президенты, Бэрден свернул свою избирательную кампанию. Если бы он этого не сделал, то мог бы серьезно повредить президенту во время съезда, до крайности обострив конфликт между левыми и правыми. Но он бездействовал, что и нужно было президенту. Вспомнив тот день в отеле «Блэкстоун», когда он услышал новость по радио, он почувствовал, как у него поднимается давление и ему становится трудно дышать. К счастью, в этот момент клерк выкликнул его имя, и Бэрден, крикнув «против», облегченно вздохнул и получил за свою непримиримость вспышку аплодисментов с галереи. Лучше малое признание, чем никакого.

При окончательном подсчете голосов оказалось шестьдесят за ленд-лиз, тридцать один — против. Президент снова выиграл.

День был ясный, но прохладный. Весна запаздывала. Обычно в марте уже цвели нарциссы. Но в этом году зима, против обыкновения, затянулась. Лужайки и сады Капитолия были унылого коричневатого цвета. Вместе с Клеем Бэрден шел в административное здание сената.

Пикетчики, агитировавшие против нацизма, за оказание помощи Великобритании, разошлись по домам, и лишь флаги организации «Америка прежде всего» одиноко мотались в воздухе: ими размахивали сердитые молодые люди и хорошо одетые матроны.

— Так я и предполагал.

— У нас не было шансов,— небрежно бросил Клей.

Бэрден подозревал, что Клей хотел участия Америки в войне. Никто из этих молодых людей не представляет себе, что такое современная война. Но он это знает. В качестве вновь избранного сенатора он совершил поездку по полям сражений во Франции, видел трупы, гнившие в грязи, повисшие на колючей проволоке, слышал свист и разрывы снарядов, дышал отравляющими газами. Как это не похоже на битву при Шилоу, где человек с винтовкой мог сражаться за свою честь на равных условиях с другим точно так же вооруженным человеком, вдохновляемым такой же идеей. Теперь все иначе. Ничего похожего.

Один из пикетчиков организации «Америка прежде всего» сердито взмахнул своим плакатом прямо перед лицом Бэрдена.

— Я сенатор Дэй,— чарующе улыбнулся сенатор в надежде, что молодой человек узнает в нем союзника.

— Это вы, проклятые евреи, хотите втянуть нас в войну! — крикнул фанатик.

— О господи! — Бэрден поспешил прочь, следом за ним шел Клей, которого немало позабавила эта сцена.— Спаси нас, боже, от наших обожателей.

Но только очутившись в своем кабинете, надежно защищенный миссис Блейн как от толпы журналистов, которые требовали комментариев, так и от толпы сторонников, которые требовали утешения, Бэрден смог наконец взять себя в руки и высказать то, что хотел сказать всю эту неделю. Стоя возле бюста Цицерона с газетой в руках, будто в ней были заметки для его речи, он спросил:

— Это правда, что Инид ушла от тебя?

Клей ответил незамедлительно:

— Нет. Она уехала на две-три недели в Нью-Йорк. Повидать друзей.. Вот и все.

Бэрден почувствовал облегчение, хотя знал, что способен радоваться бедам тех, кого любил. Он положил газету, повернулся спиной к Цицерону и лицом к Клею, который уселся на край письменного стола, поигрывая ножом для бумаги.

— Рад слышать. Но ты должен что-то предпринять, чтобы остановить слухи.

— Что же это за слухи?

— Что ты...— Бэрден почувствовал себя неловко. Он не привык обсуждать с кем бы то ни было, а особенно с другим мужчиной, сексуальные проблемы,— ...спутался с какой-то женщиной, и что Инид поймала вас flagrante delicto*, так сказать.

Лицо Клея даже не дрогнуло.

— И кто же эта женщина?

— Как будто бразилианка. Жена дипломата. Послушай, я лишь повторяю то, что слышал, а уж если я это слышал, значит, слышали все, потому что я не бываю... среди молодежи или среди посольской публики.— Фраза доставила ему удовольствие, за ней вставал образ обходительного старомодного государственного мужа с лицом Эмерсона и привычками праведника.

— Это неверно.— Клей сделал паузу, словно подыскивал нужные слова. Само собой разумеется, он лжет, подумал Бэрден.— Но сколько

* На месте преступления (*лат.*).

об этом ни тверди, делу не поможешь, так? Какое отношение имеет правда к репутации, а мы ведь говорим о репутации, да?

Бэрден кивнул:

— Тебе предстоит трудная борьба. Если Инид затеет скандал, она сведет к нулю твои шансы на выборах.

— Не думайте, что я этого не понимаю.— Клей вдруг стал очень несчастным и совсем юным.

А Бэрден, жаждавший выразить ему свое сочувствие, говорил почему-то очень резко:

— Семья священна, особенно во время выборов в твоем округе, где полно этих озверелых баптистов, погрязших в мыслях о грехе. Ты должен выставить свою кандидатуру как добрый, безукоризненный семьянин.

— А стоит ли игра свеч? — Крик сердца, но бывает, что сердце тоже лжет, подумал Бэрден.

— Конечно, стоит,— сказал он.— Как Блэз?

— Похоже, мы теперь в хороших отношениях. Он даже приглашал меня обедать в Лавровый дом.

— Ты говорил с ним о выборах?

Клей кивнул.

— Он заинтересовался. Или сделал вид.

— Но если Инид расскажет ему о твоей неверности...

— Я думаю, она уже рассказала.

— И он ничего не сказал?

— Мне — ничего. Он почему-то зол на нее.

— Странный человек. На твоем месте...— Бэрден задумался. Он не любил давать советы, особенно хорошие советы, так как они-то и отвергаются прежде всего,— ...я бы постарался восстановить отношения с тестем. И извинился бы перед Инид.

— Извиниться? — Клей холодно посмотрел на него.

— Ты хочешь, чтобы она развелась с тобой?

Клей не ответил.

— Конечно, ты этого не хочешь. Не сейчас, во всяком случае, когда ты только начинаешь.

— Мне кажется, я угодил в ловушку.

Бэрден сдержался и не сказал, что ловушка была расставлена самим Клеем. Женатый человек, который приводит к себе в дом любовницу,— дурак. Он вдруг подумал, что, может быть, он переоценил Клея. Но видя, в каком тот жалком состоянии, проявил мягкость.

— Если сомневаешься, не предпринимай ничего. Я уверен, что, если Блэз будет на твоей стороне, Инид никуда не денется. Кроме того, есть и ребенок.— Именно это принято говорить в подобных случаях, подумал Бэрден; правда, ему, как адвокату, было отлично известно, что благополучие детей — главное оружие, хотя и последнее соображение, которое принимают в расчет родители.

Затем Бэрден дал Клею инструкции: встретить двух избирателей на вокзале Юнион-стэйшн и проводить их к нему в дом, где ими займется Китти. Сам он присоединится к ним не позже шести.

— А теперь я иду к доктору.

— Вы нездоровы?

Бэрден, который никогда не чувствовал себя лучше, не смог удержаться от загадочной улыбки.

— Давление, слишком много сахара, затвердевшие артерии — обычные радости шестидесятилетнего человека.— Он помахал ему на прощание рукой. Закрывая за собой дверь кабинета, он не забыл сделать вид, будто каждый шаг дается ему с трудом.

Выйдя на улицу, Бэрден быстро дошел до ближайшей стоянки такси и назвал шоферу адрес в Джорджтауне. Настроение у него было необычайно приподнятое.

Немузыкально насвистывая себе под нос (у него абсолютно не было слуха), Бэрден расплатился с таксистом, щедро дав ему на чай. «Спасибо, сенатор». Обычно он был рад, когда его узнавали, но только не сегодня. Тем не менее он добродушно похлопал шофера по руке, решив про себя, что в следующий раз назовет совсем другой адрес, а затем пройдет пешком к дому, перед которым он сейчас стоял. Это было здание восемнадцатого века из розового кирпича, со ставнями и классической свежевыкрашенной черной парадной дверью. Предварительно посмотрев направо и налево, Бэрден поднялся по ступенькам и нажал кнопку звонка. Негр-дворецкий в белой куртке впустил его, улыбаясь во весь рот от удовольствия, что видит сенатора.

Бэрден поднялся за ним по лестнице и был введен в обшитый деревянными панелями кабинет со стеллажами, на которых стояло, пожалуй, чересчур много книг в кожаных переплетах. В камине горел огонь. Перед камином стоял накрытый для чая столик — все богато и изысканно, быть может, чересчур изысканно для Бэрдена, привыкшего к собранным на скорую руку завтракам Китти.

Она вошла в комнату, слегка запыхавшись, протягивая к нему руки.

— Милый! — воскликнула она своим приятным голосом, утратившим почти все признаки ее происхождения.— Ты пришел слишком рано. Нет, как раз вовремя. Минута в минуту. Это я опоздала.

Она поцеловала его в щеку. Он встрепенулся от ее запаха. Да, сегодня все будет в порядке. Он был уверен в этом, возбужденный, как всегда, ее манерой держаться (внимательной и даже заботливой) и ее фигурой (ладно и аккуратно скроенной).

— Садись. Будем пить чай.

Бэрден занял свое обычное место на диване возле огня. Вот уже год, как они встречались время от времени, и их близость не оставляла желать лучшего. Время от времени, так как они предпочитали встречаться, когда ее мужа не было в городе, хотя тому это было безразлично, Бэрден предпочитал предаваться чаепитию спокойно, в уверенности, что им не помешают. Ее муж был князем от коммерции, и это производило на Бэрдена впечатление. К счастью, князь боготворил свою княгиню и предоставлял ей полную свободу, зная, что она никогда не скомпрометирует его и не поставит в неловкое положение. И он был прав. Она вела себя необычайно осмотрительно. Лишь самые злоязычные вашингтонские дамы могли бы увидеть в их нерегулярных дневных встречах в Джорджтауне нечто большее, чем проявление открытой дружбы между дамой с претензиями на светскость и известным сенатором, в благоразумии которого не приходилось сомневаться. На худой конец, их встречам могли приписать политический смысл. Для лавочника было бы весьма заманчиво влиять через жену на сенатора, довольно беспечно управлявшего округом Колумбия с помощью маленькой сенатской комиссии, нерадивым председателем которой он являлся (что без особой гордости сам признавал), служа мишенью для нападок со стороны общественных организаций. К счастью для него, в их разговорах ни разу не всплывали такие замысловатые вопросы, как автономия округа Колумбия или налог на товарооборот. Только великие мировые проблемы обсуждались здесь за чаем, к которому подавали тщательно уложенные сандвичи с кресс-салатом и шоколадное печенье от Губерта.

С нежностью, в тон его настроению, она стала вспоминать их первую встречу. Какое впечатление он на нее произвел! Он же, со своей

стороны, не мог вспомнить, когда они встретились впервые. Ему казалось, что он всегда знал ее и видел в самых разных домах. И вот в один прекрасный день, незадолго до чикагского съезда, она пригласила его на чай. Усталый и раздраженный от запутанных политических маневров, целью которых было попасть в вице-президенты, он встретился с ней в розовом саду за домом, и после мятного чая со льдом они чуть не стали любовниками.

Он слегка нахмурился, ожесточенно вгрызаясь в сандвич с огурцом. На первых порах он был обескуражен. Но положение спасла ее тактичность. Она была во всех отношениях чудесна. С тех пор их свидания напоминали русскую матрешку. Ни тот, ни другой не знали, будет ли он способен на самое главное, но эта неопределенность не сковывала его, а лишь придавала еще больше пикантности любовной игре. Во всяком случае, у нее было столько достоинств, она была так чутка, так все понимала.

При мысли о любовной игре Бэрден испытал острое желание и внезапный подъем всех чувств. Это будет памятная встреча, сказал он себе. Нет сомнения. Он едва мог дождаться того момента, когда она поведет его в спальню, где стояла кровать с четырьмя столбиками, а из окна было видно буковое дерево, которое время от времени стучало своими ветвями по оконному стеклу, напоминая ей о том, что их надо подрезать, а ему — о всецело забытом внешнем мире.

— Как Клей?

Ей сперва надо было пройти через положенный ритуал: как поживает тот, видел ли ты этого. Торопить ее не следовало. Он ответил, что Клей в отличном настроении, но она нахмурилась.

— Странно. Я видела их недавно вечером в Лавровом доме.

Бэрден изумился. У него было такое впечатление, что с Сэнфордами она незнакома.

— Ты была там? — почти бестактно спросил он.

— Да, после обеда. Заглянула ненадолго. С друзьями. Я люблю Блэза, а уж их дом и подавно. Ma foi.*

На Бэрдена всегда производило впечатление, но и немножко коробило то, что она время от времени вставляла в свою речь французские фразы, которым, по ее словам, выучилась за одно лето в Париже в школе для jeunes filles **. Хотя Бэрден ни слова не знал по-французски, все же по некоторой интонационной вялости фраз и странным носовым звукам он мог догадаться, что произношение у нее не блестящее. Но ему импонировало ее честолюбие. Столь немногие из вашингтонских дам делали усилия чему-либо научиться. Они основательно пили, громко смеялись, знали все сплетни, дискредитирующие великих мира сего,— и на этом точка: деревенские бабы, живущие не в городе, а в сверхдеревне.

— У меня сложилось впечатление, что она... что Инид была немножко навеселе.

— Я еще помню те времена, когда женщины не пили на людях.— Бэрден нудно долбил свое, хоть и знал, что эта нехорошая привычка — верный признак старости.

— Я никогда не пью.— Робко промелькнувшая улыбка свела к минимуму самодовольство ее слов.

— Как ты говоришь, Инид была пьяна?

— Я не знаю ее достаточно хорошо, чтоб утверждать наверняка, но мне так показалось. Как видно, они с Клеем не в ладах.— Она смотрела на него проницательным взглядом, зная, что он все знает.

---

* Ей-ей *(франц.)*.

** Молодых девушек *(франц.)*.

— Не в ладах? — Прирожденная осторожность проявлялась даже сейчас.

— До меня дошло — люди ведь любят болтать языком,— что у Клея была связь с замужней женщиной, какой-то латиноамериканкой.

— Что-то не верится.— Бэрден спрашивает себя, неужели Клей и в самом деле такой дурак. Ни одна женщина не стоит того, чтобы пожертвовать ради нее голосами избирателей, а уж тем более карьерой.

— Мне говорили, что после того, как я ушла, в Лавровом доме была жуткая сцена и Блэз ударил Инид на глазах у всех.

— Ударил? Вот уж этому никак не поверю.— Блэз вспыльчив, но, как и он сам, без ума любит дочь. Бэрден старался не думать о Билли Торне; давление у него и без того поднялось.

— Но это было! Люди видели!

— Люди часто преувеличивают. Что сделала Инид?

— Уехала вместе с Клеем. Ах, как все это огорчительно.

— Я думаю.— Внезапно почувствовав прилив сил, он обнял ее, стал целовать в губы, в шею. Она ответила ему с такой горячностью, что из пряди волос, прикрывавшей ее правое ухо, выпала шпилька. Каким-то сверхъестественным образом она почуяла это и поправила ее одной рукой, а другой оттолкнула от себя столик.

Бэрден вскочил на ноги, чувствуя, какими неожиданно гибкими стали его мышцы. Секс омолаживает. Бернар Макфадден прав. У него кружилась от желания голова.

— Я не в силах ждать,— сказал он.

Внезапно лицо ее побледнело. Когда он протянул руки, чтобы обнять ее, глаза ее расширились от ужаса. Она попятилась, словно перед ней был палач.

— Что случилось, Айрини? — Его голос звучал слабо и как бы издалека. «Что случилось?» — спросил он себя, почувствовав вдруг, как лицо его оледенело и он медленно, не спеша осел на пол, схватив по дороге скатерть и стянув на себя чашки и блюдца. Какой-то бесконечно долгий момент он лежал на дне бездны, и ему казалось, будто волны какого-то огромного потока уносят его, что, впрочем, не лишено было приятности. Высоко над ним светлело белое лицо, сквозь шум прибоя собственной крови слышался голос:

— Скорее! Сенатор... Вызовите врача! Он в обмороке!

Чувствуя себя как нельзя более покойно и нисколько не встревоженный, Бэрден уплывал по течению. Если это смерть, вяло подумал он, то ничего страшного в ней нет.

## Глава четвертая

### I

Сквозь голые зимние деревья — белое солнце. Верховая тропа густо усыпана прелыми листьями, скользкими и коварными: под ними таятся камни. Лошадь Питера вдруг оступилась и чуть не упала.

— Осторожней! — сказала Диана.

Он разозлился.

— Что — осторожней?

— Тут повсюду камни,— робко сказала она.

— Ну и что? Мы либо сломаем себе шею, либо не сломаем.

Им попался ручей, приток Рок-Крик. Лошади осторожно ступили на мелководье. Учащенно дыша, взяв в шенкеля бока лошади, Питер ждал: вот-вот она поскользнется, упадет, и череп ее разлетится на куски.

Но его смирный мерин не выказывал ни малейшей склонности к авантюрам. Они благополучно перебрались на тот берег; тут в рощице стояли столики для пикников, они никогда не убирались и выглядели весьма сиротливо в этот декабрьский день.

Питер облегченно вздохнул и вдруг почувствовал себя счастливым.

— Это мы хорошо придумали — отправиться на прогулку верхом.

— Я люблю кататься. Особенно по парку в это время года. Никого нет.— У Дианы недавно появилось отвращение к людским сборищам — отсутствие импульса к общению с незнакомыми людьми.— Да и день такой солнечный! Где-то здесь должен быть дом твоего отца.

Она указала на железного цвета холм, густо поросший бурыми деревьями:

— Вон там, наверху. Отец так любит свой дом. Он построил его сам, ты знаешь. Еще до кризиса.

— Как его здоровье? — Для Питера не существовало никаких других домов, кроме Лаврового.

— Физически он в порядке. Никаких последствий удара не заметно.

— А что не в порядке?

Она нахмурилась:

— Мир, наверно. Он от него не в восторге.

— А ты?

— А я и подавно. Но такой уж он есть, приходится в нем жить. Беда только, отец, похоже, больше не верит, что живет...

— Мне кажется, мой отец хлопочет о том, чтобы выдвинуть твоего в президенты в сорок четвертом году.

— С этим покончено.— Ее голос звучал твердо и убежденно.

— Почему ты так уверена?

— Времена не те.— Она была безжалостна.— Он теперь для людей никто.— Но она умела быть и любящей дочерью.— Хотя он очень добрый, ты знаешь. Можно сколько угодно не соглашаться с его политической линией, но у него самые лучшие побуждения.

— Только не говори об этом Билли.

— Билли.— Она произнесла имя мужа как совершенно посторонний человек. Ее щеки зарумянились от свежего воздуха. На лошади, в седле, в брюках для верховой езды, она выглядела необычайно цветущей — пожалуй, ни с кем из своих знакомых, за исключением Инид, он не чувствовал себя так легко и свободно. Во-первых, они отлично ладили друг с другом, во-вторых, то, что между ними никогда ничего не было, делало их совместное пребывание приятно многообещающим.

— Билли доволен своей работой? — спросил Питер, ожидая услышать отрицательный ответ.

— Да.— Она сказала это как-то чересчур поспешно.— Мы так благодарны твоему отцу.

Проходив год без работы, Билли Торн устроился в «Трибюн» литературным правщиком. Почти одновременно Питер, бакалавр искусств, начал работать там же в отделе рекламы; ему поручили продавать пустующую площадь — пустое дело, в точности соответствовавшее своему названию. Но поскольку он не имел на примете ничего лучшего, а болтаться без работы считалось предосудительным, он продавал эту площадь и жил на свои доходы. В другое время он уехал бы в Европу, но Европа для туристов больше не существовала: Гитлер поглотил ее почти целиком. Лишь Иберийский полуостров оставался неоккупированным, но и его очередь настанет, как только сдастся Россия. Немецкая армия была в каких-нибудь тридцати милях от Москвы, конец Европы был предрешен. Подобно многим американским политическим тузам, отец Питера колебался между отчаянием в связи с бесконечными успе-

хами Гитлера и страхом перед возможностью поражения его армий в России.

— А как ты считаешь, Билли нравится то, что он делает в газете?

Питер ответил, что он редко видится с Билли,— это была правда,— «но все считают его способным работником».

— Ну, еще бы!

— И невыносимым.

— Ну, конечно, и это тоже.— В голосе Дианы слышалась не обида, а скорее усталость. Есть женщины, отметил про себя Питер, находящие удовольствие в том, чтобы иметь мужей, которых никто не любит. Но Диана не из таких. Ей хотелось быть женой издателя «Американской мысли», и то, что она вынуждена была довольствоваться столь малым, не вызывало у нее прилива любви к трудному мужу.

Переезжая через шоссе, они увидели две машины. В одной из них громко звучал приемник, пассажиры другой стояли поодаль и слушали. Лошадь Питера шарахнулась от шума. Питер сердито пришпорил ее.

Лишь в три часа дня, вернувшись в конюшню и сдав конюху взятых напрокат лошадей, они узнали, что японцы бомбили американскую военно-морскую базу Пирл-Харбор на Гавайских островах.

— Значит, теперь мы воюем! — У Дианы это вызвало ликование. Как Билли и все сторонники Нового курса, она с нетерпением дожидалась того момента, когда Соединенные Штаты вступят в войну.

— Да, теперь мы воюем,— отозвался Питер, стараясь говорить как можно спокойнее. Он был потрясен. Не может этого быть, чтобы хитрая маленькая страна Япония, известная лишь своими хитрыми маленькими игрушками, напала на избранную богом страну, породившую автомобиль, небоскребы, Боулдер-Дэм, извивающуюся Джефферсонову стену в Шарлоттсвилле, целлофан и рубленые бифштексы, которые они с Дианой ели на завтрак (и которые рекламировались как «не самые лучшие, но лучше остальных»). Ведь все это так крепко сколочено. И вдруг ему увиделись японские солдаты в апельсиновых рощах Калифорнии и немецкие фашисты на берегах Потомака. При мысли о национальной катастрофе у него дух занимался. На холмах долины Шенандоа он соберет партизанский отряд, чтобы задержать механизированные фашистские автоколонны, которые двинутся от Вашингтона на Норфолк, к новоявленному Германскому морю.

— Пойдем к отцу,— деловито сказала Диана.

Если кто и покажет нам героизм нового образца, подумал Питер, так это она.

Сенатор и Китти сидели у приемника в рабочей комнате наверху и испепеляли его взглядами.

— Этого не может быть! — сказала Диана.

— Боюсь, что это правда.— Сенатор поднял на нее глаза. Он был очень бледен.— Здравствуй, Питер.

— Не хотите кофе? — спросила Китти.— Вы хоть позавтракали как следует? Уж, наверно, нет. Наверно, ели какую-нибудь дрянь в закусочной.

— Ах, мама, замолчи, пожалуйста!

Питер и Диана уселись возле приемника.

«...Президент проводит сегодня ночью совещание министров, а также совещание лидеров обеих партий в конгрессе».

— Мне надо быть на Холме,— сказал Бэрден, вставая.— Мое присутствие на совещании необходимо.

«...и выступит завтра перед обеими палатами конгресса. Ожидают, что президент будет требовать объявления войны».

— И он своего добьется. Он всегда этого хотел.— Сенатора приводила в бешенство уже самая мысль о том, что правонарушитель-президент так коварно вовлек страну в войну, конец которой невозможно предугадать.

— Кто бы мог подумать! — Новость наконец-то дошла до Китти; теперь на какое-то время она будет озабочена не только тем, что происходит в узком кругу ее семьи.

Сенатор выключил приемник.

— Я буду в сенате.— Он поцеловал Китти.

— Мне пойти с тобой?

Это было до того неожиданно, что сенатор в равной мере растрогался и удивился.

— Нет, дорогая. Спасибо.

— А вдруг они будут бомбить Вашингтон? — голос Китти звучал тревожно.— Они это могут?

— Конечно нет,— не задумываясь, ответил Питер. Он повернулся к сенатору.— Ведь это невозможно, правда?

— Все зависит от того, где находятся их авианосцы и на какой риск они готовы идти. На мой взгляд, раз они могли разбомбить нашу крупнейшую военно-морскую базу, то и с беззащитными городами они могут сделать все, что им вздумается. Видишь ли,— он чуть заметно улыбнулся,— мы не подготовлены к войне. Несмотря на то что мы столько о ней болтали и... так ждали ее, нам нечем воевать.

На этой драматической ноте сенатор распрощался. Понимая, что до таких высот ему не дотянуть, Питер скромно вызвался проводить Диану. В торжественном сознании того, что как раз сейчас, в этот момент творится история, они вышли из дома, отказавшись от кофе и от пирога-перевертыша, который испекла Китти. Для Питера отказ от сладкого знаменовал начало новой, спартански суровой полосы в его жизни: леность и чревоугодие он сменит на силу и воздержание и скажет миру свое слово о том, что такое героизм.

## II

В административном здании сената собралось немало сенаторов и их помощников. Никто толком не знал, для чего нужно было сюда приходить. В конце концов война или не война, сегодня суббота, и все, что оставалось делать,— это сидеть возле приемника и ловить новости. Подобно солдатам, посланным на бастион, который нужно удержать во что бы то ни стало, они сошлись на Капитолийском холме и заняли позиции, предаваясь мрачным размышлениям о будущем страны, на которую замахнулся дерзкий и удачливый захватчик.

Отвечая журналисту в коридоре внизу, Бэрден сказал:

— Разумеется, мы все за президента. В эту субботу нет ни изоляционистов, ни интернационалистов. Есть только... американцы.— Он почувствовал, как встали дыбом коротко остриженные волосы у него на затылке, до того его прохватили собственные слова. Вот какой это великий, пусть даже опасный для всех момент.

Его остановила знакомая фигура, маячившая напротив двери в его приемную:

— Привет, сенатор.

— Привет, привет,— Бэрден забыл, как зовут этого старика, но помнил, что лет тридцать назад он был силой в сенате, внушительной личностью, каких ему редко приходилось встречать. Теперь, одряхлевший и неприкаянный, старик бродил по Капитолию, словно разыскивая свое прежнее «я». Как все бывшие сенаторы, он имел право свободного

входа в сенат и часто, когда зал заседаний был почти пуст, садился на свое старое место и, прямой как палка, с торжественным видом слушал какую-нибудь нудную речь. Досадуя на себя, Бэрден вспоминал и никак не мог вспомнить его имя, а потому в конце концов назвал его просто «сенатор», употребив звучный титул, который каждый из них, будь он еще у дел или уже на покое, пронесет до самой могилы.

— Я был поблизости...— начал старик.

— Заходите, сенатор. Рад вас видеть.— Испытывая непреодолимую потребность в обществе, все равно каком, Бэрден провел благодарную тень прошлого в свой кабинет.

— Чья же тут была приемная? — вслух размышлял старик, сдвинув брови и собрав в глубокие морщины бледный лоб. Бэрден пытался дозвониться Клею.— Уж не мистера ли Вардамена от Миссисипи? Похоже, что так.

Клея не было в номере, который он снимал в отеле «Уордмен-парк». Бэрден подумал, не позвонить ли Инид, но решил, что не стоит, и позвонил Блэзу.

— Ну что ж, этот мерзавец добился своего. Он втянул нас в войну.— Голос Блэза звучал хрипло, словно он перед тем много пил.— Я просматриваю телеграфные сообщения. Мы потеряли весь тихоокеанский флот. Между Лос-Анжелесом и Японией у нас ничего нет. Понимаешь, ничего! Ни лодки, ни пушки. Вот он какой военный гений!

Бэрден поинтересовался, что еще слышно нового; тревога его росла. Похоже, японцы наступали на Филиппинах, в Малайе, на Гауме, на острове Уэйк и в Гонконге, и ни англичане, ни американцы не могли их сдержать.

— Мы потеряли Тихий океан. Наше счастье, если мы сумеем остановить их у Скалистых гор. Поговорим попозже.— Блэз положил трубку.

У Бэрдена кружилась голова. Это было невероятно. Тут позвонил Клей и сказал, что сейчас приедет.

— Да, в девятьсот семнадцатом было совсем не то,— безмятежно рассуждал старик.— Конечно, мистер Вильсон тоже напрашивался на войну, вроде мистера Рузвельта.

Бэрден пытался дозвониться до лидера большинства, а старик продолжал говорить о первой мировой войне и вероломстве Вильсона, причем так, словно все это было только вчера, потом он перешел к нынешним временам и заговорил о том, как все изменилось.

Телефон лидера большинства был занят.

Дверь в кабинет открылась, показалась голова Джесса Момбергера.

— Я так и думал, что вы здесь. Я вам не помешал?

— Нет,— сказал старик, поняв, что настал момент изгнания духов. Он поднялся и взял руку Бэрдена своей невесомой, как бумага, рукой.— Вы должны зайти к нам, сенатор. Мы — я и жена — живем у Конгрешнл-армс. Все будет как встарь, когда мы обсуждали проект денежной реформы. Помните? Только теперь мне по-настоящему удалось решить эту проблему. Видите ли, у меня было достаточно времени, чтобы хорошенько подумать. Никаких условных денег, никакой бумаги. Только медная и платиновая монета. Вот ключ к здоровым финансам.— И он с изяществом предоставил живых их суете.

— Меня ждет та же участь,— сказал Момбергер,— если только бог не рассудит иначе. Да и вас тоже.

Бэрден отрицательно покачал головой:

— Когда я отсюда уйду, я уже больше не приду сюда. Слишком больно.

— Все так говорят, и все приходят. Вы уже получили уведомление?

Бэрден покачал головой.

— Я все пробую дозвониться до лидера большинства. Все линии заняты.

— И из Белого дома ничего?

— Ничего. Но я буду тут. На девять вечера назначено совещание лидеров конгресса. Так что я готовлюсь.

— Чудно. Вот не думал, что такое может случиться.— Рука Момбергера лежала на голове Цицерона — он считал его неудачным скульптурным подобием своего старого друга Уильяма Дженнингса Брайана.

— Похоже, он тоже не думал. Я имею в виду президента.

— Он изрядный стервец, но мне не верится, чтобы он умышленно угробил весь наш флот.— В душе Момбергер был приверженцем Нового курса. Естественно, отношения между ним и Дэем зачастую бывали натянутыми, тем более что президент оказывал старшему сенатору всяческую поддержку — обстоятельство, отнюдь не облегчавшее Бэрдену переизбрание в 1944 году.

— Даже Франклин может просчитаться.— Бэрден сказал это нейтральным тоном. Он мог себе это позволить. На президенте лежала прямая ответственность за величайшее поражение, нанесенное Соединенным Штатам со времени войны 1812 года. Чего доброго, его еще обвинят в государственном преступлении.— Мы все должны сплотиться вокруг него,— сказал Бэрден.

Они сидели молча: время словно остановилось на пороге этого зимнего вечера, и им оставалось только ждать, когда президент поведет их в бой.

— Как ваше здоровье, между прочим? — Голос Момбергера звучал по-дружески участливо, но Бэрден знал, что перед ним всего-навсего небеспристрастный политический деятель.

— Как нельзя лучше.— Это была почти правда.— Собственно говоря, у меня был не удар,— это уже была неправда,— а так называемая временная закупорка сосудов в мозгу, что-то вроде спазма.— Это было мягко сказано.— Неделю-другую были затруднения с речью, но этим все и ограничилось.— Ограничилось! Он до сих пор вскакивал среди ночи с кошмарной мыслью, что в мозгу у него лопнул сосуд, лишив его речи, зрения, возможности двигаться, а то и еще хуже — поселив безумие под сводом его черепа, ибо он знал теперь, что самые ужасные человеческие страдания могут быть вызваны каплей крови, просочившейся из отведенного ей русла в мозговую ткань.

Клей вихрем ворвался в приемную:

— Здравствуйте, сенатор.

Момбергер, с которым Клей обменялся горячим рукопожатием, сказал:

— Привет, конгрессмен.— Момбергер любил Клея и уже оказал ему молчаливую поддержку во время дополнительных выборов.

— Не конгрессмен, а капитан армии США Овербэри.— Клей повернулся к Бэрдену, словно желая извиниться перед ним.— Все уже оформлено.

— Так скоро? — только и мог сказать Бэрден.

— Последние полгода я поддерживал постоянный контакт с военным министерством, так, на всякий случай. Ну вот, теперь случай налицо.

— Стало быть, вы не собираетесь баллотироваться? — вдруг оживился Момбергер.

Клей покачал головой:

— Как можно, когда война?

— Молодец.— Момбергер повернулся к Бэрдену: — Надо бы дать знать судье.

Бэрден кивнул:

— Я зайду к нему сегодня вечером.

Момбергер направился к двери.

— Расскажете мне потом, о чем будет говорить президент.

Он вышел. Через несколько минут, подумал Бэрден, какое бы бедствие ни постигло страну, его коллега позвонит судье и предложит свою креатуру для баллотировки по Второму округу.

— Вы увидите президента?

— Да, наверно. По радио передавали, что все лидеры конгресса будут введены в курс событий сегодня вечером в Белом доме. Дай мне папку по Дальнему Востоку.

Когда Клей разложил бумаги, Бэрден спросил:

— Что говорят в Лавровом доме?

— Что это заговор, что же еще? Блэз полагает, президент сам отдал приказ взорвать корабли.

— Очень может быть! Инид там была?

Клей нахмурился.

— Нет. Насколько мне известно, она дома.

В открытой двери кабинета показался сенатский посыльный. Он быстро пробубнил:

— Сенатор, лидер большинства велел передать: завтра в двенадцать тридцать состоится совместное заседание обеих палат конгресса.

Мальчик уже вышел из приемной, когда Бэрден окликнул его:

— Постой, сынок! — Мальчик остановился.— Это все, что сказал лидер большинства?

— Да, сэр. Одно и то же сообщение всем сенаторам. Президент выступит завтра в двенадцать тридцать на совместном заседании.— С этими словами мальчик исчез.

Бэрден нахмурился:

— Клей, справься-ка на всякий случай у секретаря сенатора Беркли, когда и где мы заседаем сегодня.

Испытывая потребность в утешении, Бэрден позвонил в Нью-Йорк Эду Нилсону. Но Нилсон не утешил его: он был доволен, что Соединенные Штаты наконец-то определили свою позицию. С неожиданной горячностью Бэрден возразил:

— Я не хочу войны — никакой, никогда. На свете нет ничего дороже человеческой жизни.

В трубке раздался сухой смешок:

— Вы позволите вас цитировать, сенатор?

Бэрден, в свою очередь, рассмеялся:

— Нет, не позволю. Хотя я говорю это вполне серьезно.

— Но ведь Гитлера надо обуздать. А как это сделать без войны?

— Не знаю. Этого еще никто не знал и не знает.— Расстроенный звуком своего голоса, в котором вдруг послышалось отчаяние, он переменил тему разговора и сообщил о том, что Клей поступил на военную службу.

— Неплохая мысль,— ответил Нилсон.— С солдатским прошлым и хорошим послужным списком он будет сильным кандидатом.

— А если он погибнет?

Тут вернулся Клей, в полном неведении относительно того, что обсуждается вопрос о его смерти.

— Зачем загадывать на будущее? — Голос Нилсона звучал сухо.— Как ваше здоровье, между прочим?

Бэрден ответил так, как он обычно отвечал в подобных случаях, и положил трубку. Он выжидающе глядел на Клея, и наконец тот сказал:

— Похоже, вас нет в списке приглашенных в Белый дом.

— Нет в списке? — Бэрден был изумлен.— Но ведь сенатор Остин приглашен, а я несомненно выше его рангом...— Он резко оборвал себя, не желая выдавать свою боль. — Что ж, надо полагать, это месть Франклина.

Клей кивнул.

— Сенатор Беркли очень извинялся. Вы поймете, что это от него не зависело,— сказал он.

Бэрден простился с Клеем и вышел из здания сената. В холодных сумерках ему привиделся безвестный старый сенатор: он медленно брел к вокзалу, в гостиницу, где он жил, вне сомнения, в маленьких комнатенках, битком набитых кипами пожелтевших «Ведомостей конгресса», альбомами газетных вырезок, пахнущими старым клеем, и фотографиями с автографами забытых знаменитостей. Подавленный этим видением, Бэрден кивнул Генри, и тот с шиком распахнул перед ним дверцу.

— В Белый дом, сенатор?

— Нет, домой.

Садясь в машину, Бэрден вдруг понял, что его расстроило не столько оскорбление со стороны президента, сколько то, что он этого не предвидел. Человек, у которого до такой степени ослабло чутье, не долго продержится на политической сцене. «Неужели я начинаю сдавать?» — спрашивал он себя и ни в одном уголке сознания не находил достаточно убедительного отрицательного ответа.

## III

Если Инид и была удивлена, то ничем не выдала своего удивления. Она сидела одна в гостиной в старом шелковом кимоно и красила ногти каким-то составом, который пахнул клеем от детской модели самолета и был похож на кровь.

— Добро пожаловать.— Она нахмурилась, глядя не на него, а на ногти.

— Ты, конечно, слышала новость?

— Новость? — Она взглянула на него непонимающим взглядом.

— Ну, про Пирл-Харбор.

— А, вот ты о чем. Да. Это ужасно. Если ты пришел повидаться с дочкой, то ничего не выйдет. Она отправилась в кровать без ужина. Детям необходима дисциплина.— Она говорила вызывающе, словно ждала нападок с его стороны.

— Я пришел повидаться с тобой.

— А, очень приятно. Как папа? — Злость необычайно оживляла ее лицо.

— У него все отлично. Я поступил на военную службу.

— Тебе очень пойдет белый костюм, с такой штукой вокруг шеи, ну, тот, что вроде женского спортивного.

— Это флотская форма.— Клей и сам не знал, чего он от нее хотел. Заверения в любви, которое можно было бы холодно отвергнуть или принять горячо? Сейчас он был способен и на то и на другое.

— Во всяком случае, скучно тебе не будет. Мужчинам никогда не бывает скучно. Нравится тебе этот красный цвет? — Она показала ему свои коготки.

— Уж больно кровавый.

— Как раз под мое настроение. Сегодня я иду к Гарольду Гриффитсу. А ты? Ах да, конечно, ты не идешь, ведь он никогда не приглашает нас вместе. Он только что звонил, сказал, что хочет стать военным корреспондентом, если папа позволит. Представляешь Гарольда на

фронте? Глупее быть не может! — Она отхлебнула виски из стакана, в котором осталось уже только половина, и тут Клей сообразил, что она пьяна.

— Пьешь в одиночестве? — машинально дополнил он свое открытие.

— А себя ты пустым местом считаешь? Вот и выходит, что не в одиночестве, по крайней мере формально.— Она допила виски.— Налей еще,— попросила она и указала на бутылку, стоявшую на кофейном столике.— Эта штука еще не просохла.— Он наливал рюмку, а она помахивала в воздухе руками, чтобы лак быстрей высох.— Слушай,— сказала она и взяла рюмку.— Я не хочу развода. А ты?

— И я не хочу, да и никогда не хотел.— Ему нельзя было ответить иначе, и все же, в некотором смысле, он говорил правду.

— Так зачем же ты ушел от меня?

— А как я мог остаться? Да ты и сама этого хотела.

— Я этого не хотела! Зачем ты говоришь такие вещи? — Она смотрела на него с укоризной.— Ты ушел назло мне. Это тебя отец настроил, и не говори, пожалуйста, что он тебя не настраивал. Он хочет отомстить мне за то, что я вышла за тебя замуж. Он хитрый, как не знаю кто, никогда не забывай этого и, пожалуйста, не воображай, что ты можешь справиться с ним, как этот твой сенатор. Ты можешь справиться с кем угодно, только не с отцом. Это он вертит тобой, чтобы насолить мне. Почему бы тебе не пойти со мной к Гарольду? У него будет весело.

Клей до сих пор не мог привыкнуть к внезапным переменам в ее настроении, не говоря уж о ее поразительном образе мышления. Начав с ложной посылки, она возводила до того стройное здание логических доказательств, что в конце концов ты готов был уверовать в истинность самой посылки. Еще более виртуозными были ее внезапные откровения, всегда продиктованные эгоизмом, как правило лживые, но зачастую необычайно проникновенные. На первый взгляд, что могло быть абсурднее предположения, будто ее отец сблизился с Клеем для того, чтобы отомстить ей. Но Блэз был загадочной и пылкой натурой. Инид глубоко задела его самолюбие своим замужеством (так по крайней мере казалось), и, приняв сторону Клея против Инид, Блэз наконец получил возможность отомстить ей. За неимением лучшего пришлось принять объяснение Инид; в противном случае нельзя было бы понять Блэза, который поддерживал Клея, в то же время считая Инид пострадавшей стороной... Клей никому не открыл правды об измене Инид — по той простой причине, что люди презирают и стараются избегать не обидчика, а его жертву. Чем чаще Инид рассказывала об измене Клея: «В моей постели, когда в соседней комнате был ребенок»,— тем меньше сочувствия она встречала даже у тех совершенно незнакомых ей людей, которым после трех мартини она начинала поверять свои тайны.

— Нет. Я не могу пойти сегодня к Гарольду. Мне надо кое-что доделать. Для сенатора.

— Я была сегодня в магазине у Блоха. Там продаются чудесные детские вещи, и притом гораздо дешевле, чем у Вудворда и Лотропа. Сенатор все еще встречается с Айрини? — Как обычно, Инид с насмешкой произнесла это имя, ставя ударение на конечном «и»: так делали все ее знакомые, для которых Айрини Блох служила неиссякаемым источником развлечения.

— Не думаю, чтобы он вообще часто виделся с ней.

— Нечего его оправдывать! Это всякий знает! И поделом ему, старому козлу. И что только он в ней нашел, кроме денег? О! Ты знаешь, ее муж нисколько не интересуется, с кем она спит, лишь бы это была какая-нибудь важная особа. Разве не отвратительно? Ну да, впрочем, теперь этого всюду полно.

Она дала ему блестящую возможность для удара, и Клей не мог устоять.

— По-твоему, менее отвратительно, когда это проделывается не с важной особой, а с каким-нибудь зажигательным мальчиком?

— Не очень-то это мило с твоей стороны,— кротко сказала она, рассматривая на свет темно-золотистый напиток.— И как тебе только не надоест нудить про беднягу Эрнесто? Ведь я же попросила у тебя прощения.

— Как раз этого-то никогда и не было!

— Нет, было! Не говори, пожалуйста, что не было. Я старалась загладить свою вину. Но ты так все передергиваешь. Факт, я признаю, что твоя гордость была задета.

— Когда это случилось, у меня создалось впечатление, что ты не только не сожалеешь о сделанном, а наоборот, чувствуешь себя оскорбленной, будто я каким-то образом виноват в том, что ты легла под этого латиноамерикашку.

— Хорошенькое дело! Да разве я когда-нибудь говорила, что ты в этом виноват, хотя, конечно, ты виноват в этом не меньше, чем я. Совершенно ясно, раз ты не хотел никуда ходить со мной по вечерам, я рано или поздно должна была повстречать человека, который любит выходить по вечерам и развлекаться, не то, что ты, ты только и знаешь, что подлизываться, и все зазря... Ну, скажем, теперь-то уж не зазря, теперь-то уж видно, что вы с отцом ничего путного не придумаете... Ей-богу, вы один другого стоите, вот разве что ты импотент, не то что он... Что ты вообще ничего не можешь, это я с самого начала заметила.— Она сделала глубокий глоток.

Терпение, напомнил он себе.

— Ты пьяна.— По крайней мере этой констатацией всегда можно было воспользоваться как законным оружием для контратаки, и хотя этот ход никогда не приводил к нокауту, он всегда служил хорошим средством отвлечения противника.

— Это не оправдание,— твердо заявила она сквозь застилавший ее сознание дурман.— Нет, так легко тебе не отделаться. Факт, я хотела мужчину, а кого я получила взамен? Секретаря. Секретаря какого-то дяди! А почему я получила секретаря какого-то дяди?

Она сделала красноречивую паузу — и сбилась с мысли. Клей ответил за нее:

— Потому что ты впервые отдалась мужчине, потому что ты так воспитана и еще потому, что Питер увидел нас в купальне, ты вышла за секретаря какого-то дяди... Факт,— добавил он, довольный тем, что попал ей в тон.

— Как смешно! — Она вскинула ноги на кофейный столик. Ее халат распахнулся. Под ним ничего не было.

Клей поднялся:

— Я попросился на действительную службу. Теперь уж, наверно, мне не долго быть в Вашингтоне.

— Что же я должна для тебя сделать? Связать тебе свитер? — Ее голос звучал жестко, а дикция, которая начала было размазываться, вдруг прояснилась. Самым феноменальным в пьяной Инид была та быстрота, с какой она умела при желании трезветь. Не без удивления он вдруг понял, за что она его ненавидит — за то, что он разрешил ей эту измену.

— Нет. Я просто думал, тебе будет интересно знать. Только и всего.

— Перед тем как зашагать по дороге боевой славы, дай мне, пожалуйста, разрешение на продажу дома. Не бойся, я поделюсь с тобой.

— Где ты собираешься жить?

— Где-нибудь в Джорджтауне.

— Хорошо. Я пришлю тебе письмо.

Она вдруг вскочила на ноги, порывисто обняла его.

— Ах, черт побери! Зачем мы так ведем себя? — Она заплакала.— Не знаю, для чего я все это говорю. Я хочу, чтобы ты вернулся ко мне. Если ты этого хочешь, конечно. Если ты хочешь, я согласна.— Голос ее прерывался. Он хотел сказать ей, что по-прежнему любит ее, но леденящая гордыня сковала его язык, наказывая не ее, а его самого. Так стоял он, молчанием причиняя жесточайшую боль и себе, и ей.

Она отступила от него.

— Ладно,— сказала она, давясь слезами,— пусть так. Кажется, я запачкала тебе рукав лаком.

— Ничего.— Его голос звучал хрипло.— Мне лучше вернуться в отель.

— Ну, конечно. Знаешь, я ведь ничего не говорила отцу о том, что произошло между нами.

«Так ли это?» — спросил он себя.

— А ты говорил? — она подозрительно взглянула на него.

Клей покачал головой:

— Ни слова.

— Хотелось бы тебе верить.— Она промакнула слезы листком надушенной бумаги.

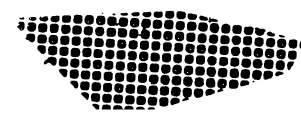
Его вдруг взорвало:

— Если ты ничего никому не говорила, почему же все думают, что я завел интрижку с женой одного латиноамериканца, а ты тут ни при чем?

— Ты же знаешь людей.— Она сделала неопределенный жест.— Смой лак чистым спиртом или бензином для зажигалок.

Они расстались, не подав друг другу руки.

*(Окончание следует)*



ХУВЕНСИО ВАЛЬЕ

# МЕЛОДИИ РОДИНЫ

*Перевод с испанского*
*РИММЫ КАЗАКОВОЙ*

## Юг Чили

Не ты ли, Юг Чили, гудишь, как мельница,
где смелется, где сменится все, что имеется!
Не ты ли, Юг Чили,— то сердце всеобщее сильное,
в которое влажные вены небес втекают, как реки синие...

Сюда пригоняет зима свои каравеллы —
в теплую бухту, подругу морей теплых.
Люблю тебя — в духоте дымов корабельных,
в бесстрастных иллюминаторах с изумрудами моря
на стеклах.

О, мой высокий собор, собрание, где давно
рвутся слиться в одно все воли и цели.
Не ты ли, Юг Чили, из полной бутыли зеленое цедишь вино!
Над головою — твои зеленые чуткие церкви.

По камням твоих улиц, волною облизанным кротко,
гарцуют твои бродячие короли,
проходят твои капитаны — вода им до подбородка,
солдаты грозят клинками, вырастая из-под земли.

От твоего берега в чешуйках трепетных
с потоком, повторяющим лепет их,
меч-рыба уносится, фыркая, пеной пыля:
босая дрезина, где — ничего, кроме
дышащей плоти и живой крови,—
без мотора, ветрил и руля.

Не ты ли, Юг Чили,— сверканье изумрудной кареты,
легкие и сердце чистейшей линии,
конь, слепленный из нетающего инея!
От востока до запада — всюду твои приметы:
след тяжелых колес и дыханье кометы.

## Песнь воде

Вода, голубая, и чистая, и хрустальная,
рождается вместе с потоком твоих волос
и, падая вниз, у ног твоих ищет пристанища.

Я воду пою, и запах воды, и тень ее,
ту светлую воду, ту свежую воду, что вверх
бессонною ниточкой тянется, словно растение.

Воду, воду пою я, громко и немо:
из темных глубин моих я предчувствую
воду-бокал, воду-ирис, воду-небо.

Пей, Мария, пей за глотком глоток,
отдай свой рот прохладному рту воды,
опусти свою жизнь в прекрасный этот поток.

Погрузись целиком — от теплых ног до волос —
в воду, цветущей розой — в букет ее роз.
Как живая слеза, растворись в хрустале ее слез.

Наклонись, и когда лоб твой коснется камня,
встань на колени, жаждущим ртом и руками,
плача, ищи корень воды в земле.

***

Меня наполняет музыка. Точно вода текучая,
она во мне поднимается, переплетаясь с ночью.
Под защитой высоких звезд река ее красок клокочет.
Весь мир в этот сонный миг ароматен и звучен.
Я знаю, звуки имеют цвет,
а каждая краска поет.
И поет аромат. И звучит, и поет все, что его пьет.

К руслу реки музыки я наклоняюсь, измученный.
С верой благоговейной спешу утолить жажду.
Душа моя, приникая к чаше ее излучины,
впитывает этот напиток нетерпеливо и жадно.
О, река утешения, все высокие гимны
я теперь принимаю, не даю им погибнуть.

Пан, порывистый Пан, сам помогает мне,
Пан — стремительный ветер, гнущий деревья,
Пан — дыханье листвы, плеск дождя в тишине,
Пан, великий и древний,
что дрожащими пальцами все сплетает тростник,
чтобы звук небывалый из новой свирели возник.

## Я прикладываю ухо к твоей груди...

Твой голос, как мельница, слышен, как глас аргонавта,
о старец, дарующий мне путеводную нить
в далекое детство, которое больно, как правда,
никак не устанет усталое сердце дразнить.
Я снова — в стране, где мои затерялись следы,
где девственный привкус пыльцы и семян у воды.

И что из того, что глаза твои, взгляда не радуя,
сродни перезрелым плодам, что вот-вот упадут,
и уши глухи, как холодные белые раковины,
и весь ты — как лес в листопад, что ветрами продут...
Пусть листья слетели и холодом веет с долин,
но, старое дерево, все еще ты — властелин.

Встаешь властелином, исполнен неведомой силы,
и мир — как помост, чтоб подняться ты мог во весь рост,
в одеждах сверкающих, неизъяснимо красивый,
взметнув над собою трезубец из перьев и звезд.
И бархатны щеки твои. И в твоих волосах
цветы расцветают и птицы поют, как в лесах.

Мой царственный старец, корить не устану себя я.
Покинул твой дом я, и сад, и скамью, где вчера
тебе я внимал, где, как ангел в раю, засыпая,
сны детства счастливым младенцем глядел до утра.
О сад, где плывет аромат твоего табака
под веером птиц перелетных, раскрытым слегка...

# Из стихов о лесе

## Воспевать тебя...

О, сколько времени пишу я о тебе,
и сколько времени под гнетом бремени земли и неба,
как стал твоим упрямым музыкантом.
Я твои струны трогал с лаской;
а сколько звонких орденов я приколол тебе на лацкан!

Ты вырастаешь в памяти моей
все выше — над домами и над дымом
и церковью становишься, и в ней,
над башнями ее, врываясь в память, звенят колокола
непобедимо.
Толпу грегорианских песнопений собрали твои стены...
О вечная моя любовь, единственная тема!

Я верил: ты — гигант со спутанною бородой,
хозяин удивительных богатств, монарх седой,
ревнивый сторож истинного рая.

Ты для меня всегда был — властелин
всего: от края и до края,
творец чудесных сказок и былин.

Ты был приютом девственниц и фавнов,
обителью опасной флейты Пана, чьи звуки жгли.
Я вижу вихрь божеств вдали,
зубов и винограда дикий танец
и таинство из таинств: дрожь зачинающей земли.

К тому, что означает — ты,
безудержно сводил я все свои мечты,
в размах твоих ветвей вплел свою маленькую ветку,
тянулся к твоему теплу и свету.
И понял, наконец, что ты — моя судьба.
И вот пришел к твоим кострам —
чтоб сжечь себя.

## Вверх по склону

Солнце являлось верхом на коне.
Луна на ослице приближалась ко мне.
Конь поедал маки.
Ослица вдыхала мяту.

В поле поутру, когда конь пасся,
цветы распахивали глаза,
из земли просачивалось масло —
девственная роса.

Между копытами ослицы
воды спешили разлиться:
тень луны, темноту тревожа,
чертила чудесные ложа.

Этот конь с солнцем в седле
был садом, подобным земле
той поры, когда время игры
буйных красок цветущей земной коры.

От ослиной стриженой гривы
простынями простирался свет далеко.
Луна роняла, подпрыгивая игриво,
на землю лазурное молоко.

Конь золотой, я жду, чтобы ты прискакал.
Серебряная ослица, не покинь меня в горе.
Я чистой водой наполняю бокал,
но она застревает в горле.

## МИГЕЛЬ ЭРНАНДЕС

### Полет

Летает влюбленный только. Но кто полюбил настолько,
Чтоб воплотиться в птицу и распрямиться в лете?
В ненависти погрязло все до последней дольки,
Жаждущей без оглядки взмыть опереньем плоти.

Любить... Но кто же способен? Летать... Но кто же способен?
Я в силах ворваться в небо, голодное от бескрылости,
Но внизу любовь задыхается, ибо в ненависти и злобе
Остается одно отчаянье и крыло не способно вырасти.

Существо, от желаний светлое, мечется, мечется, мечется —
Хочет вырваться, чтобы свобода стала гнездом над мерзостью,
Хочет забыть наручники, вросшие в человечество.
Существу не хватило перьев: оно утыкано дерзостью.

Иногда оно возносилось так высоко над сущим,
Что небо сверкало на коже, а птицы — внизу и рядом.
Душа, однажды смешавшаяся с жаворонком поющим
И потом упавшая градом в ад, пропитанный смрадом.

Ты знаешь теперь наверно, что жизни других — это плиты:
Живьем замуруют! Остроги — проглотят, как тварь, потроша!
Вперед, через груды и толпы тех, кто с решетками слиты.
Даже из клетки, где сыты, рвитесь и кровь, и душа!

Смешное жалкое платье, моя оболочка бренная.
Жрущая и вдыхающая огонь, пустая труба.
Изъеденный меч, затасканный от вечного употребления.
Тело, в тюрьме которого разворачивается судьба.

Ты не взлетишь. Ты не можешь летать, никчемное тело,
Блуждающее в галереях, где воздух меня сковал.
Льнущее к небу тело, которому дно надоело,
Ты не взлетишь. Все так же мрачен и пуст провал.

Руки — не крылья. Руки — может быть, два отростка,
Предназначенные для неба, для зеленого моря листьев.
Кровь тоскует от одиночества, ударяется в сердце жестко.
Мы печальны от заблуждений, предрассудков и лживых истин.

Каждый город, спешащий, спящий, обдает немотой казематов,
Тишиной сновидений, которые ливнем огненным канут в жижицу.
Все охрипло от невозможности улететь из этого ада.
Человек лежит, как раздавленный. Небо высится. Воздух движется.

## Прежде ненависти

Я целуюсь, как мрак со мраком.
Я целуюсь, как с болью боль,
Этим трагическим браком
Наградила меня любовь —
Посмел полюбить однажды
Двойственный лик земли.
Жажда, господи, сколько жажды,
А вода шелестит — вдали.
Сердце мое в бокале,
И я оттуда напьюсь,
Ни одна душа не узнает,
Какое оно на вкус.
Накоплено столько злобы
Только из-за любви,
Что тебя приласкать не могут
Руки, даже мои,
Данные мне свыше
Страстью, сестрой тоски.
Сегодня особенно слышно,
Как ломают крыла на куски —
Железом, грызущим вены,
Вымазанным в крови.
Судьба моя, птица, подбита
Безжалостно из-за любви.
Из-за любви проклятой,
Только из-за любви.

Любовь, как высок твой купол,
Я вечно — внизу, под ним,
Свеченьем твоим окутан,
Ничем, только им одним.
Посмотри на меня, закованного,
Оплеванного, отверженного,
На грани мрака, такого
Густого и неизбежного.

Голод и я — два брата
По духу и по крови.
Решетка, стена, ограда —
Только из-за любви.

Ласточка, солнце, лето,
Облако, воздух, весь
День в оперенье света —
Все то, что значило это
Прежде,— убито, вздето
На крюк и зарыто здесь.
Чаща, морские воды,
Гора, долина, пески,
Право духовной свободы —
Проносятся с воплем тоски
Сквозь тело мое, навылет,
Не задерживаясь в крови,
Но там они крылья взмыли
Только из-за любви.

Ибо я, окруженный адом,
Ожерельем стальных колец,
Неистребимым смрадом
Тюремщика, я — жилец
Каземата, как дух господен,
Весел, высок, свободен,
Я весел, высок, свободен —
Только из-за любви.

Говоря иными словами,
Мне попросту наплевать
На мир, придуманный вами:
Решетка, стена, кровать.

Где острог для улыбки?
Для голоса — где стена?
Ты — вдали, как смерть, одинока,
Там, без меня, одна.
Ощущая в руках уродство
Приговора меня к тюрьме,
В тех руках, где свобода бьется,
Прижимая меня к тебе,—
Там, на воле, в раю, пригодном
Для расправы людей с людьми,
Ощути же меня свободным.
Только из-за любви.

■ ■ ■

Пришел раненный трижды:
рана любви,
рана смерти,
рана жизни.

Раненный трижды идет на рассвете:
рана жизни,
рана любви,
рана смерти.

Я ранен трижды, все три:
рана жизни,
рана смерти,
рана любви.

■ ■ ■

Поцелуй был такой глубины и силы,
Что мертвых пронзил во мраке могилы.

Поцелуй возвратился, горяч и глубок,
И губы живых лихорадил и влек.

Поцелуй был слишком велик для губ,
Он чувствовал это, вонзаясь в глубь.

Тот поцелуй, который привык
Выкапывать мертвых и сеять живых.

■ ■ ■

Говорю после смерти, на тризне.
Молчишь, ты осталась жива.
Лучшее в смерти и в жизни —
Это бедные наши слова,
Вслух не сказанные, завязанные
Безмолвий крутым узлом.
Меж нами струна молчания,
Дрожащий, тугой излом.
Двумя стальными мечами,
Длинными до бесконечности,
Отточенными в молчании,
В объятьях, в тоске и вечности,
Наши тела отчаянно
Вместе взлетают ввысь,
Вместе падают вниз.
Терзаю тебя молчанием.
Пронзаешь меня молчанием,
Безмолвий сплошным звучанием.

*Перевод с испанского ЮННЫ МОРИЦ*

■ ■ ■

Когда этот луч перестанет струиться, терзая
мне грудь, где во мраке скрываются злые причуды,
где звери рычат и ржавеют чистейшие руды,—
за что это луч меня мучает, сердце пронзая?

Тот луч — сталактита разящего грива косая,
он пламя и меч, что меня настигает повсюду.
Когда отлучен от луча и от муки я буду?
Зачем этот свет излучается, не угасая?

Со мной зарожден, стал он болью моей
изначальной,
его не избуду, покуда не встречусь с могилой,
во мне коренясь, на меня же направил он бивень.

И нету исхода, и участи нету печальней,
и будет упорно, все с той же неистовой силой
пронизывать душу мою сталактитовый ливень.

■ ■ ■

Проходят по тропинке сокровенной
крестьяне, совершая круг свой тесный,
их кровь гудит под тяжестью отвесной —
под грузом зим и весен, рвущих вены.

Так, через труд вседневный, неизменный,
они приходят к поцелую, к песне,
и жадно впитывает воздух пресный
земную соль — мужицкий пот священный.

А я иду один своей дорогой,
и не приводит к счастью путь мой длинный,
и не разводит он меня с тоскою...

Под сводом лба заплакал круторогий
бык одинокий на краю долины,
забыв про естество свое мужское.

■ ■ ■

Смерть в бычьей шкуре движется, слепая;
рога и раны — вот ее обличье:
корриды упоительной добыча,
она пасется, тяжело ступая.

Звериный рев разносится, вскипая
любовью непомерной, жгучей, бычьей:
ей все живое обнимать в обычай,
кровь пастухов убитых искупая.

Бери мой луг, несытый зверь влюбленный,—
мою живую душу, горький плод мой,
коль горечи отведать захотелось.

Как ты, измучен я неутоленной
любовью ко всему, глухой, бесплодной,
и сердце скорбным саваном оделось.

■ ■ ■

Как муравьи в своей смиренной доле
влачат ярмо работы кропотливой,
натруженные жилы терпеливо
несут мое желанье — сгусток боли.

Я чую смерть, и жизнь моя — неволя,
когда перед глазами это диво —
грудь, возносящаяся горделиво,
с дыханьем колосящегося поля.

Как мертвецу последняя обитель,
ты мне пришлась, любовь,— и я немею
перед тобою, как перед святыней.

Своей голодной крови повелитель,
я, точно раб, в пустыню брошен ею,—
да, нет песков, но схвачен я пустыней.

■ ■ ■

В каком-нибудь селении высокий
бук или дуб, а может, альгарробо —
тот, что подарит доски мне для гроба,—
давно стоит, как сторож одинокий.

А может быть, свершился срок жестокий,
и ствол крушит пилы визжащей злоба,
и вот земная вздрогнула утроба —
упал мертвец, хранящий жизни соки.

А может, деревянная обнова
уже кроится мне — и подытожит
мне скоро все итоги древесина...

А темная земля всегда готова
(наверняка, без всяких там «быть может»)
принять последнее дыханье сына.

*Перевод с испанского А. ЯКОБСОНА*

■ ■ ■

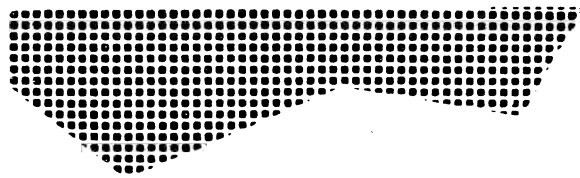
Прошла любовь, как лунная вода,
Долиной тел — долиною двух пальм,
Которым не обняться никогда.

Глубинный гул коснулся наших тел
И стал листвой в серебряных клубах.
Но замер стон и вздох осиротел
На восковых губах.

Нас поглотил серебряный огонь,
И стали мы прозрачнее стекла,
Но на ладонь бескровная ладонь,
Как мертвая, легла.

Прошла любовь печальною луной
По нашим покосившимся крестам —
И тени их, шагнув за край земной,
Не встретились и там.

*Перевод с испанского А. ГЕЛЕСКУЛА*



# ГОРЬКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ

## Писатели разных стран за «круглым столом»

*В этом году не только в нашей стране, но и во всем мире был широко отмечен горьковский юбилей. Книги и статьи, появившиеся в эти дни, высказывания писателей и деятелей культуры еще раз показали огромный интерес к творчеству великого русского писателя — буревестника революции, с именем которого неразрывно связаны возникновение и утверждение литературы социалистического реализма.*

*Зарубежные писатели из многих стран были гостями объединенного пленума Союзов писателей СССР и РСФСР, проходившего на родине писателя, в городе Горьком, 21—22 июня этого года. На волжском пароходе, на котором его участники, писатели из всех республик Советского Союза вместе с зарубежными гостями, плыли в город Горький, состоялась международная писательская встреча. «Круглый стол» — традиционный стол откровенных бесед на советской земле писателей разных стран и разных взглядов, разных поколений и разных творческих почерков — на этот раз был посвящен теме «Горький и современность». Писатели говорили о воздействии горьковских идей и образов его книг на свое творчество, на развитие своей национальной литературы, переводчики — о своей работе над горьковскими книгами и читательском интересе к ним, критики — о роли горьковских идей и его неумирающего наследия в современной идейной и эстетической борьбе. Встреча еще раз устами представителей самых разных народов подтвердила величие Максима Горького, славу его как художника и мыслителя, пролагателя новых путей в искусстве, актуальность его творческого и идейного наследия, значение его опыта, опыта писателя-революционера, для современности.*

*Сегодня мы публикуем материалы этой встречи. Выступления даются по живой записи, в несколько сокращенном виде. Наиболее полно мы стремились представить зарубежных участников этой встречи.*

### В. ОЗЕРОВ (СССР)

Один из мастеров нашей литературы заявил, что Горький лег мостом между русскими писателями конца девятнадцатого — начала двадцатого века и советской культурой. Мы не ошибемся, добавив: Горький — тот мост, который соединяет русскую и мировую классику с художественными исканиями сегодняшнего дня. Именно такой теме — Горький и художественный опыт современности — посвящается дружеская встреча советских и зарубежных писателей, участников горьковских торжеств.

Эта встреча проходит в знаменательный Горьковский год, который отмечает весь наш народ, отмечает все прогрессивное человечество. Думается, у нас есть полное право поговорить о глубокой современности творческого наследия Горького. В самом деле, гениальные творения основоположника социалистического реализма живы и острозлободневны уже потому, что их автор первым совершил великое художественное открытие, ярко показав миру нового человека. Не жертву среды, а борца и преобразователя.

Произведения Горького неувядаемы и потому, что они проникнуты подлинно современным художественным видением мира. В них предвосхищены многие проблемы, поныне волнующие человечество,— проблемы взаимоотношения общества и человека в эпоху социальных катаклизмов, проблемы выявления логики истории, которая пробивает свой путь сквозь противоречия действительности, утверждения гражданской активности личности в борьбе с представлениями о непознаваемости мира и бессилии разума и другие.

Мы знаем, что некоторые зарубежные художники предлагают самые разные решения вопроса о том, где выход для маленького, одинокого, затерянного в буржуазном обществе человека. Горький—участник неутихающего спора. Его кредо: вера в человека, который нашел свое место в рядах борющегося народа, обрел историческую активность, взял на себя ответственность за судьбы человечества, за строительство нового общества и потому духовно растет как личность, как хозяин истории. Пафос борьбы за новое — вот главный завет Горького советской литературе, призванной показать силу и привлекательность социализма, мира, где нет застоя, где люди сами строят свою судьбу в дерзновенных усилиях, преодолении трудностей, в победах над косностью, рутиной и темнотой прошлого.

Важно подчеркнуть: Горький неутомимо искал новые художественные средства, помогающие раскрыть сложность современного мира, закономерности истории, диалектические отношения личности и массы. Исключительно богата художественная палитра Горького. Недаром в горьковском русле развивались такие своеобразные таланты, как Шолохов, Фадеев, Леонов, Федин и многие, многие другие писатели. Нет возможности даже перечислить новаторские открытия Горького-художника, который нашел впечатляющие приемы, чтобы обессмертить пролетария-большевика Павла Власова, поднялся до реалистических символов, чтобы судом истории приговорить к гибели капиталистический род Артамоновых, достиг органического синтеза социально-философских обобщений с тончайшим психологическим анализом, чтобы показать в романе «Жизнь Клима Самгина» историческую неизбежность социалистической революции и обреченность эгоцентризма и политического ренегатства.

Перечитывая «Жизнь Клима Самгина», нетрудно убедиться в несостоятельности попыток представить Горького копиистом, признававшим якобы лишь изобразительные средства старого реализма. Как искусно сочетаются, например, в этом произведении авторские характеристики с речью персонажей, естественно переходящей во внутренние монологи и диалоги, а порой перерастающей в так называемый поток сознания. Или еще пример. Выдвинув в центр внимания идейную жизнь общества, философское и психологическое самосознание личности, Горький строит повествование так, что действительность освещается с точки зрения самых разных персонажей — и единомышленников и антагонистов. Если мы напомним к тому же о хронологических сдвигах в произведениях, о скрупулезности анализа и сознания и подсознания героев, о зеркальной системе образов, когда люди узнают самих себя в других,— станет еще более очевидным богатство изобразительной системы Горького. И вместе с тем ясно и другое: эта система служит совершенно иным идейно-художественным целям, чем те, которые мы находим в сочинениях декадентствующей литературы. В некоторых модных современных произведениях тот же поток сознания, множественность точек зрения, мотивы зеркальности и двойничества выражают бессилие разума, беспомощность личности, затерянной в хаосе событий. А Горький, показывая распад старого миропорядка, крах мироощущения Самгиных, в то же время утверждает другие, стойкие и цельные характеры, способные не только осмыслить сложный мир, но и перестроить его на разумных началах. Горький раскрывает отношения массы и личности в нашу эпоху, художественно утверждает воинствующий социалистический гуманизм в противовес мещанскому культу страдания, выводит на авансцену истории в качестве подлинного ее героя духовно богатую и многообразную личность строителя и творца.

Влияние Горького на современную литературу не в том, что ему бездумно подражают, стараются писать, «как Горький». Сила этого влияния в том, что оно пробуждает самобытные дарования художников, помогает им найти свое место в борьбе за высокое искусство, за благородные идеалы социализма и коммунизма.

Мы хорошо знаем и помним еще об одном: о страстном желании Горького объединить всех людей доброй воли на борьбу за мир, социализм, социальный прогресс, за великие гуманистические, интернационалистические ценности. Живы и современны художественные шедевры Горького. Живо и современно его обращение к интеллигенции всего мира—его знаменитые слова: «С кем вы, «мастера культуры»?»— с силами реакции или с силами прогресса, с теми, кто стремится разжигать новую войну или с теми, кто стремится ее предотвратить? События, происходящие ныне в мире от Вьетнама до Соединенных Штатов, от бастующей Франции до бурлящей Африки, требуют от всех нас прямого ответа на эти вопросы. Горький подсказывает такой ответ: да — свободе и прогрессу, нет — империалистической экспансии и антикоммунизму.

## Б. БЯЛИК (СССР)

В литературе XX столетия мало имен столь прославленных, как имя Максима Горького, и мало имен столь спорных, вызывающих в течение десятилетий такие острые дискуссии, такие противоположные, взаимно исключающие суждения. Даже у представителей передовой литературы нашего времени существуют разные мнения о роли и значении горьковских традиций сегодня. Недавно один из моих любимых поэтов — Пабло Неруда, заявив, что в литературе развернулся «грандиозный спор»

между «двумя величайшими тенденциями нашего века — реализмом и экспериментализмом», и назвав главным выразителем первой тенденции Горького, а второй — Маяковского, отдал явное предпочтение экспериментализму, считая, что именно в нем идут «смелые поиски в области искусства»*. Я не могу согласиться с такой постановкой вопроса потому, что она принижает значение Горького (разве он не подготовил почву для многих передовых писателей нашего века, в том числе для Маяковского, и разве он не осуществлял всю жизнь «смелые поиски в области искусства», оплодотворяющие литературу до сих пор?), и потому, что она принижает значение Маяковского (разве можно противопоставлять его поэзию реализму?).

Живая реакция на 100-летний юбилей Горького во всем мире явилась наглядным свидетельством того, что горьковское творчество и горьковские творческие принципы по-прежнему активно участвуют в развитии литературы, вызывая горячее сочувствие у одних и яростное сопротивление у других. Среди книг о Горьком, вышедших в последнее время в США, есть исследования, которые проникнуты искренним стремлением понять творчество писателя, и опусы, авторы которых не брезгуют никакими приемами фальсификации (книги Дэна Левина, Бертрама Вульфа и др.). Иногда может быть многозначительно и молчание. Известно, что в Китае давно знают и любят произведения Горького. Пять лет тому назад, когда в Китае отмечалось 95-летие со дня рождения Горького, китайская печать подняла большой шум вокруг этого юбилея. Всячески превознося значение горьковского творчества, она сделала попытку противопоставить ему советскую литературу наших дней, которая была обвинена в «ревизионизме», в отречении от горьковских традиций и т. п. Но вот пришел горьковский 100-летний юбилей, и китайская печать откликнулась на него... полным молчанием. Может быть, 100-летний юбилей — дата менее важная, чем 95-летний? Или, может быть, Горький изменился за последние пять лет? Очевидно, что изменился, вернее, окончательно обнажил свою истинную сущность кто-то другой.

Чем объясняется жизненность горьковского творчества, его непреходящее значение, чем объясняется то, что книги Горького вызывают к себе до сих пор самые разные отношения, кроме одного — равнодушия? Чтобы ответить на этот вопрос, надо «посмотреть в корень» — обратиться к самой действительности XX столетия. Горький был первым из художников слова, который показал в своем творчестве, что XX столетие принесло с собою нечто принципиально новое, изменившее все стороны человеческого бытия: началось «движение самих масс», а это значит, что кончилась предыстория человечества и началась его подлинная история. Из этого факта следовали выводы, имевшие решающее значение для искусства. Поскольку возникла реальная возможность непосредственного влияния людей на весь ход истории, изменения всего общественного устройства, постольку в огромной степени повысилась ответственность людей перед историей. К человеку, в том числе к человеку, угнетаемому капиталистическим строем, надо отныне относиться не просто с сочувствием и жалостью, а с уважением и требовательностью, с безграничной верой в его способность обновить мир, освободить все человечество от внешнего и внутреннего рабства. Так возникла, начиная с пьес Горького «Мещане» и «На дне», с его повести «Мать», новая постановка вопроса о гуманизме, различающая гуманизм пассивный, выражающий лишь жалость к человеку и неверие в его силы, и гуманизм активный, революционный, призывающий к беспощадной борьбе против всего враждебного человеку и человечности. И так родились, начиная с тех же произведений, новые творческие принципы, требующие от искусства, чтобы оно было бесстрашно правдивым, изображающим жизнь такой, какова она есть, со всеми ее драмами и трагедиями, показывающим, как сквозь все эти драмы и трагедии жизнь движется — пусть не легко и не прямо, пусть и с временными попятными шагами — вперед, к торжеству социалистических идеалов. Именно в этих требованиях (отбрасывая в сторону всякие схоластические построения, пытающиеся ограничить художественное многообразие передового искусства, свести его к сумме общеобязательных «признаков» и т. д.) и заключается сущность творческих принципов социалистического реализма.

Сегодняшние споры об этих принципах, зачинателем и крупнейшим выразителем которых был Горький, есть, в сущности, споры о том, что же представляет собою XX столетие. Если грубо схематизировать основные выводы, то они сводятся к следующему. Те, кто отрицает, что кончилась предыстория человечества и началась его подлинная история, и кто не верит в возможность такой перемены,— примыкают к различным течениям модернизма. Те, кто видит, что предыстория человечества подходит к концу, но еще не видит, не осознает в полной мере мощи тех сил, которые начинают подлинную историю,— развивают в новых формах принципы «критического реализма». А те, кто увидел, осознал, почувствовал весь кардинальный характер перемен, которые принес с собою XX век,— не могут не разделять на деле (даже если они и колеблются пока в выборе терминологии) новых творческих принципов.

Когда-то, в 90-е годы, в самом начале своего творчества, Горький заявил о своей солидарности со «старым смелым и благородным девизом реализма». Мы творим сегодня под новым смелым и благородным девизом социалистического реализма.

---

* П. Неруда. «Творческая интеллигенция и революция». «Проблемы мира и социализма» № 10, 1967, стр. 26.

## ИВАН ЦВЕТКОВ (Болгария)

Каждый из нас, думая о Горьком и его значении для нашей современности, исходит прежде всего из опыта своей национальной литературы. Мы стали ощущать присутствие Горького в духовной жизни Болгарии с самого начала нашего века, ощущаем его уже семь десятилетий, и по своему характеру, по своему размаху его влияние не имеет себе равных в истории мировой литературы. Еще в начале века болгарский критик-марксист Г. И. Бакалов говорил, что мало найдется болгарских писателей, кроме Христо Ботева, которые могли бы гордиться таким признанием, популярностью, уважением и любовью, какими пользуется «иностранец» Максим Горький среди болгарских рабочих. В 1901 году выходит первая книжка Горького на болгарском языке «О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины» в Варне; в 1903 году в трех переводах одновременно выходят пьесы «Мещане» и «На дне». Причем, пьеса «На дне» идет одновременно в трех театрах Софии, в 1903 году Горький изучается уже на семинарах Софийского университета, в 1904—1905 годах выходит первое трехтомное собрание сочинений Горького. Начиная с 1905 года крупнейшая болгарская газета «Болгарский торговый вестник» в течение двух лет на своих страницах печатает рассказы Горького и роман «Фома Гордеев».

Безусловно, большой популярности Горького в Болгарии способствовала его горячая заинтересованность в творчестве наших писателей, в судьбе страны. 14 декабря 1927 года Г. Бакалов обратился к Горькому с просьбой поддержать борьбу болгарских антифашистов против белого террора. Горький ответил ему письмом, напечатанным во всех болгарских прогрессивных газетах. Это было страстное, гневное обвинение фашизма. Оно было направлено против разнузданного террора, против людей, которые «так усердно и так безумно» воспитывали «в народных массах чувства ненависти и мести».

Велико значение Горького для современных болгарских писателей. Нельзя искать в современной литературе прямого подражания Горькому или прямого его влияния, потому что творчество Горького вошло в атмосферу литературной и идейной жизни. Оно является одним из главных факторов формирования того духовного климата, в котором развивается сегодняшняя наша литература. Поэтому можно сказать, что сегодняшние болгарские писатели — Е. Станев, Людмил Стоянов, Николай Хайтов, книга которого «Дикие рассказы» была в центре литературной жизни в прошлом и в этом году, К. Калчев и др.— не прошли мимо художественного опыта Горького. Это говорит об универсальности наследия Горького, о том, что Горький наиболее полно вобрал в себя черты нашей переходной эпохи, эпохи мучительного освобождения человечества от ядовитой плесени старого мира, как выразился наш национальный поэт Н. Вапцаров, расстрелянный фашистами в 1942 году. Вся деятельность и все творчество Горького показывают нам новый тип взаимоотношений между миром искусства и миром революции, и, может быть, как раз в этом больше всего выражается современность, актуальность Горького. Когда я читаю Мартина Лютера Кинга или выступление Эльзы Триоле о вьетнамских бойцах, я слышу в них голос Горького. Еще мало написано книг о художественном новаторстве Горького, об эволюции его стиля, о художественной структуре романов «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина», книг, которые бы показали нам место Горького в современной мировой прозе. Я не могу представить себе, как можно было бы иначе написать очерки Горького о Ленине или о Толстом, и мне кажется, что более новаторский метод, чем метод Горького и художественные приемы Горького в этих очерках, вряд ли можно придумать! Меня недавно попросили для болгарского детского журнала написать на тему «Горький и дети». Я перечитал рассказ «Страсти-мордасти» и вновь был поражен глубиной горьковского гуманизма. Горький принадлежит к тем явлениям, которые сопровождают духовное развитие человечества веками. Он один из вечных спутников борющегося и побеждающего человека, того человека, который является главным двигателем истории, который придает высокий смысл самому существованию человеческого рода.

## СИДНЕЙ ФИНКЕЛЬСТАЙН (США)

Первые произведения Максима Горького на английском языке были прочитаны в США вскоре после их появления в России и вызвали любовь и восхищение американского читателя. Это было в конце девятнадцатого и в начале двадцатого века — в период бурного роста американской промышленности и капитала. Большой интерес к России со стороны реакционных кругов того времени был вызван опасением, что Россия превратится в развитую капиталистическую державу и станет опасным соперником США на мировой арене.

Но, разумеется, интерес к Горькому в США не имел ничего общего с подобными настроениями. Это был период, когда стала очевидной иллюзорность «американской мечты» о США как едином великом, бесклассовом обществе, в котором все люди — братья. В то время миллионы американских заводских рабочих, шахтеров, фермеров начали понимать, что кучка алчных промышленников и банкиров разоряет страну и народ. Это породило широкую волну социальной критики в произведениях

*С. Финкельстайн (США), М. Р. Ананд (Индия), Дж. Уотен (Австралия).*

реалистического направления, в сочинениях Марка Твена, в полных тревоги эссе Уитмена, в романах и рассказах Уильяма Дин Хоуэлса, Хемлина Гарленда, Фрэнка Норриса, Стивена Крейна, Эдварда Беллами, Теодора Драйзера, Джека Лондона. Русскую литературу читали с жадностью, и она имела огромное влияние. Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов и — Максим Горький пользовались самой широкой известностью. Американские писатели испытывали чувство глубокой близости к гениям русской прозы.

Хотя произведения Горького не перестают любить в Америке и теперь, было бы ошибкой полагать, будто его изучают в школах и университетах, ссылаются на него в литературных статьях в той же мере, как это делалось в первые три десятилетия двадцатого века. Пожалуй, нет худа без добра. Официальная, так называемая «господствующая» литературная критика, американское литературоведение в настоящее время заняты главным образом поисками символов, фрейдизма, юнгианства, экзистенциализма — чего только здесь нет! Подобного рода критики считают Горького писателем старомодным. Но ратуя за так называемые новые творческие формы, они по существу стремятся втиснуть литературу в рамки субъективного и иррационального.

Горький ввел новые формы повествования, ввел новую, отличную от его предшественников архитектонику романа. Но эти новаторские приемы Горького не воспринимаются как нечто новое, поскольку они полностью соответствуют жизни, которую Горький воплощает в своих произведениях. Творческие методы Горького живы и сегодня, их требует сама жизнь. Писатели, учась у Горького, разумеется, будут вносить изменения в форму и стиль в соответствии со своим собственным видением жизни, в соответствии с национальными традициями, диктующими необходимость этих изменений. Поиски новых форм не могут увенчаться успехом в том случае, если они становятся самоцелью.

Настанет время, когда Горького снова будут широко изучать и читать в США, да и не только в США, а во всем мире. Читать и изучать настоящего, подлинного Горького, который с такой глубиной изображал страдания и борьбу русского народа и распад буржуазии, Горького — активного борца за социализм, который после утверждения социалистического строя посвятил себя созиданию социалистической культуры для народа.

Сегодня, в третьей четверти XX века, мысли Горького, выраженные с такой могучей силой, с такой художественной убедительностью, более живы и необходимы, чем когда бы то ни было. Что представляют собою эти мысли? Я назову лишь одну из них. Это страстное утверждение безграничных возможностей каждой человеческой личности, ее роста, творческого расцвета—возможностей, которыми особенно одарены наиболее угнетенные и эксплуатируемые люди. И вместе с тем ненависть Горького как художника к силам, которые убивают эти потенциальные возможности и таким образом обкрадывают мир. В связи с этим я хотел бы напомнить об одном рассказе Горького, может быть, не самом выдающемся, но о рассказе, который представляется мне значительным и глубоко трогает меня. Я говорю о «Супругах Орловых». В нем Горький показывает женщину, страдающую от двойного гнета — бедности и жестокости мужа. Угнетенная, бесправная труженица внезапно для самой

себя осознает, что она может стать настоящим человеком. Но не только она — возможность подобного пробуждения человеческой личности, ее расцвета заложена в каждом человеке.

Это и есть, на мой взгляд, вклад, сделанный Горьким в мировую литературу и в общественное сознание. Эта идея лежит в основе его самоотверженной революционной деятельности. Она пронизывает все творчество Горького. Та же тема повторяется и в выдающемся романе Горького «Мать». Горький показывает, что когда люди начинают осознавать в себе скрытые силы, как только они поймут, какова может быть жизнь, чем может стать человек, они обретают несокрушимую силу. Горький требует, чтобы миллионы душ были раскрепощены. И с неоспоримой силой убежденности он утверждает, что это может и должно случиться. Раскрепощая самого себя, человек начинает раскрепощать других. Сегодня и эта тема более жизненна и актуальна, чем когда бы то ни было. Горьковский призыв к раскрепощению относится к рабочему люду Европы, Северной Америки, к народам Азии, Африки и Латинской Америки. Он вдохновляет героический вьетнамский народ, отражающий атаки самого хитроумного, самого жестокого, самого разрушительного оружия, которое смог изобрести и произвести наиболее развитый, богатейший индустриальный комплекс мирового капитализма.

Одно из волшебств литературы заключается в том, что, читая Горького, даже когда он пишет о старой России, мы понимаем, почему сегодня народ Вьетнама несокрушим. Это глубокое проникновение в действительность, которым Горький обогатил общественное сознание, является в наши дни живой частью антиимпериалистической борьбы всего мира. Множится число раскрепощенных душ. Это и есть та причина, не говоря о многих других, благодаря которой произведения Горького будут читать и изучать с нарастающим интересом. Горький живет в наши дни для многих американцев, но число его читателей будет неизмеримо увеличиваться, поскольку в моей стране, как и во многих других странах мира, существует много душ, которые ждут раскрепощения. Горький, который сделал так много для прогресса человечества в прошлом, в будущем сделает неизмеримо больше.



## МАРИЯ-ТЕРЕСА ЛЕОН (Испания)

Я говорю от своего имени и от имени Рафаэля Альберти и хочу поделиться нашими воспоминаниями о Горьком. Мы познакомились с ним впервые на съезде советских писателей в 1934 году. Это был человек, умевший жить жизнью своего народа.

В один из этих незабываемых дней Матэ Залка передал мне от Горького букет цветов для испанских женщин. Мы, испанцы, уже читали его книги. В 20-х годах у нас впервые стали появляться переводы произведений Горького. Я не знаю, хорошие ли были эти переводы или плохие, но я знаю, они оказали на всех нас огромное влияние, и не только на нашу литературу — на нашу идеологию. В том же 1934 году Горький пригласил нас к себе в дом. Мы привезли ему в подарок альбом гравюр Гойи «Ужасы войны». Кому как не Горькому, всегда неуклонно боровшемуся за мир, могли сделать мы этот подарок? И снова Горький подарил мне цветы, с тем чтобы я передала их

*Р. Альберти и М.-Т. Леон (Испания).*

испанским женщинам. Я же была особенно горда вниманием Горького ко мне, ибо он заговорил со мной о моем рассказе «Корабль».

Сейчас, в современном мире идет много споров о литературных тенденциях, об основах литературного творчества и о том, полезен ли Горький для молодежи. Я лично не отвергаю ни одной тенденции, если она ведет нас вперед, ибо во вселенной литературы — много источников света, испускающих множество прекрасных лучей. Но я хотела бы рассказать вам еще один маленький эпизод. Однажды, в 1936 году, когда я, Рафаэль и Жан Кассу были на митинге в маленькой испанской деревушке, нам принесли телеграмму. В ней было всего три слова: «Максим Горький умер». И я тогда поднялась со своего места и начала рассказывать крестьянам моей страны, которые, может быть, даже не знали, где находится Россия, о великом русском писателе и о революции, давшей власть бедным, обездоленным людям. И я увидела, как испанские крестьянки подносили кончики своих головных платков к глазам и вытирали слезы. Да, о Горьком плакали испанские женщины. А немного месяцев спустя началась испанская война. Поэтому сейчас, когда я слышу о том, как кто-то принимает творчество Горького, а кто-то отвергает его, кто-то дискутирует, актуален он или нет, я повторяю: до тех пор, пока в мире существуют бедные, обездоленные, несчастные люди, как в Испании,— до тех пор нам будет нужно еще много писателей, подобных Горькому. И сейчас Испания, где еще много нерешенных проблем, от всей души, от всего сердца приветствует столетие Максима Горького. И молодые испанские писатели, поднимающие голос протеста, шлют Горькому свой привет.

## С. МИХАЛКОВ (СССР)

Мы ведем разговор о великом писателе, который впервые употребил термин «социалистический реализм». Этот писатель настолько велик, что говорить о нем можно бесконечно. Я не собирался здесь выступать, но решил сказать несколько слов после того, как болгарский писатель И. Цветков упомянул о том, что его попросили написать статью о Максиме Горьком и о детях. Я — детский писатель. Более тридцати лет своей творческой жизни отдал я созданию и утверждению советской детской литературы. Сегодня я могу сказать, что, может быть, эта на весь мир прославленная «большая литература для маленьких» не была бы такой, если бы Алексей Максимович Горький при своей жизни не думал о будущем нашего народа — о детях. Загруженный огромным количеством чужих рукописей, живо интересующийся жизнью страны, чувствуя свою ответственность за судьбу родной литературы, великий пролетарский писатель очень много сделал для детей. Он поддерживал все то новое, что появлялось из-под пера талантливых литераторов, ядовито высмеивал рутинеров, тормозящих процесс обновления литературы для детей. Это ему обязаны мы созданием издательства «Детская литература», которое по сей день, следуя горьковским заветам, является основным издателем того золотого фонда литературы для детей, о котором так пылко мечтал Горький.

Три миллиарда книг для детей и юношества издано в Советском Союзе за годы советской власти. У многих детских писателей — многомиллионные тиражи книг. Горький надолго вперед разработал план изданий для детей. Его слова о том, что нельзя научиться любить, не умея ненавидеть, живут во многих книгах для детей, книгах, которые воспитывают юных в духе любви к своей Родине, верности своему народу и партии, ненависти и непримиримости к врагам, к фашизму.

О величине дерева можно судить лишь тогда, когда оно лежит на земле. Когда оно уходит своей кроной ввысь и человек, стоя рядом, смотрит на него, он не видит, не ощущает всей его мощи. От нас ушел могучий писатель, и чем дольше мы живем, тем больше убеждаемся в том, какой это был великий человек и великий литератор. И если сегодня в некоторых странах «знатоки» русской словесности трудятся над тем, чтобы фальсифицировать историю советской литературы, скомпрометировать Максима Горького, взять под сомнение то или иное положение, связанное с его именем, то это только свидетельствует о бессмертии и боевом, наступательном духе горьковских идей сегодня.

## АЛЬФРЕДО ГРАВИНА (Уругвай)

Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что советские писатели считают роман Горького «Мать» краеугольным камнем социалистического реализма. Сам Ленин горячо благодарил Горького за роман «Мать», назвав его очень своевременной книгой.

Никто не станет оспаривать жизненность и жизнестойкость романа «Мать» в масштабах мировой литературы. Никто не станет спорить, что и другие достижения советской литературы, да и не только советской, подтверждают правомочность метода социалистического реализма. Но тем не менее в моей стране (а мы имеем данные, что и в других странах Латинской Америки) на протяжении нескольких лет так называемые левые независимые писатели — то есть писатели, не являющиеся членами политических партий,— видят в понятии «социалистический реализм» какое-то бранное слово, делают его синонимом «официального искусства», «управляемого искусства», «сталинизма» и «жестокой цензуры»...

Я допускаю, что в Советском Союзе и социалистических странах во имя утверждения метода социалистического реализма, или партийности литературы, или марксистской эстетики (назовем это, как вам будет угодно) были совершены ошибки, которые в конечном итоге ущемляли творческую независимость писателей или даже многих писателей (но не всех, и я это подчеркиваю). Но ведь под флагом «свободы творчества» в латиноамериканских странах совершаются ошибки, чреватые куда более серьезными опасностями.

Я всегда за эстетические искания, за новаторство в области формы и литературной техники. Но кто сказал, что новаторство по своей сути должно предусматривать презрение и враждебность к прогрессивной идеологии и прогрессивной ориентации искусства?

Кто не встанет на защиту свободы писателя? Но, спрашивается, о какой свободе идет речь? Свободе анархической, абстрактной, дутой? Или свободе, продиктованной необходимостью, свободе, которую мы рассматриваем в плоскости марксистской диалектики? Свобода первого типа, какую бы шумиху ни поднимали вокруг нее, лишена философской основы и в силу этого сопричастна все тому же отчуждению, порожденному капиталистическим строем. Немало писателей, имеющих литературное имя, публикуют нелепые, мертворожденные произведения, в которых или слишком поверхностно, или слишком претенциозно запечатлена реальная действительность. И этим писателям зачастую курится фимиам. В то же самое время намеренно замалчивается творчество молодых талантливых писателей, проникнутое критическим духом и моральным здоровьем. Не нужно обладать орлиным зрением, чтобы увидеть идеологическую подоплеку в тех эстетических теориях, которые считают идеологию чуждой силой по отношению к литературе, или даже в тех, где она признается закономерным ингредиентом в искусстве, где ее не топчут ногами, но на практике самым бесчестным и злоумышленным способом расщепляются художественное и идеологическое начала, с тем чтобы потом доказывать, что последнее погубило первое.

Говоря все это, я вовсе не хочу встать в позу защитника тех, кто якобы во спасение социалистического реализма доходит до всяких несообразностей. Я хочу всего-навсего выяснить, на какую ногу хромают самые заклятые враги социалистического реализма. Мне, разумеется, понятно, что в стане врагов оказались и многие честные, но сбитые с толку, растерявшиеся писатели.

Я считаю, что в Горьковские дни, все, кто чувствует в этом необходимость — пусть меня не заподозрят в том, что я сторонник нормативов,— обратят свой взор к истокам, к корням искусства, которого ждет от нас эпоха,— искусства без удушливого догматизма и без широко распахнутых дверей для оппортунизма.

Мне думается, что в нашу эпоху искусство обязано нести в себе конструктивные идеи сопротивления, борьбы, обличения, критики в то время, когда правящие круги США осуществляют политику геноцида во Вьетнаме и политику насилия у себя дома, когда в США и за его пределами совершаются убийства, чтобы не допустить каких-либо перемен в его агрессивной грабительской политике, когда в Латинской Америке совершенно в открытую устанавливаются диктаторские режимы и к власти приходят «гориллы», когда империализм прибегает к самым изощренным методам идеологической экспансии, направленной против студентов и интеллигенции Латинской Америки, когда США блокируют нашу социалистическую Кубу, над которой нависла угроза вооруженного вторжения.

Я повторяю, что готов приветствовать любые поиски в области формы, поиски более глубокого и оригинального выражения реальной действительности в ее любом аспекте, я приветствую все, что обогащает выразительные средства литературы. Не должно быть места риторике, академизму, ремесленничеству! Пусть всегда живет в литературе мятежный дух!

В моей стране, да и во всей Латинской Америке, поэзия в силу большего радиуса действия, чем у прозы, становится все более активной. Эта поэзия ведет борьбу, привлекая новые и оригинальные выразительные средства. Не знаю, нужно ли нам отказываться от понятия «социалистический реализм», искать новых названий и терминов, я знаю лишь то, что мы должны содействовать развитию передовых тенденций в литературе, ибо проводники идеологической экспансии изо всех сил пытаются нейтрализовать содержание искусства, лишить творческой самостоятельности писателей и деятелей искусства и стимулировать неприязнь к коммунизму среди левых и демократических сил. Мы, писатели и деятели искусства, члены Уругвайской коммунистической партии стремимся к тому, чтобы наши произведения обладали силой убеждения, чтобы они привлекали в нашу партию — а это отличная школа жизни — как можно больше наших коллег. Писатель должен жить борьбой. Он должен участвовать, обязательно участвовать в борьбе. Без этого любая теория бессильна.

## С. ЗАЛЫГИН (СССР)

Мне хочется выразить те ощущения и те чувства, которые я, как русский, как советский писатель, питаю в продолжение десятилетий к творчеству Горького. Крупнейшие русские писатели — Толстой, Чехов и Горький — одновременно жили и одновременно творили.

Для меня лично каждый из них действует как-то самостоятельно.

Толстой — это некий синтез. Он как бы завершает собой колоссальный период русской литературы, целый этап ее развития на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков.

Чехов — писатель, который учит анализу, анализу душевного состояния человека, вероятно, несколько вневременного.

Горький же для меня — писатель, который учит ощущать время. Он вносит эту категорию в свое творчество, у него нет героев, которых мы могли бы принять отвлеченно, без соотнесения с каким-то временем. Это вовсе не означает скоротечную злободневность. Нет, время осмысляется Горьким как совершенно необходимый элемент творчества.

У нас, в советской литературе, часто возникает такое выражение: писатель и время. Под этим понятием мы разумеем участие писателей во времени, его гражданственность, его настрой, о котором говорил мой коллега из Уругвая.

И когда я оглядываюсь назад и ищу того первого русского писателя, которому можно было бы адресовать эти слова, я останавливаюсь на Горьком. Горький в своем времени увидел массовый поиск правды и справедливости. Подчеркиваю — массовый. Горький соединил два понятия: социальной и нравственной идеи. Очень многое в искусстве сводится к такту. Искусство — это такт, и тогда, когда это сочетание социального и нравственного, очень сложное и трудное, нарушалось, то нарушался и принцип социалистического реализма, складывающийся из ощущения времени и правдоискания, и появлялся вульгарный социалистический реализм.

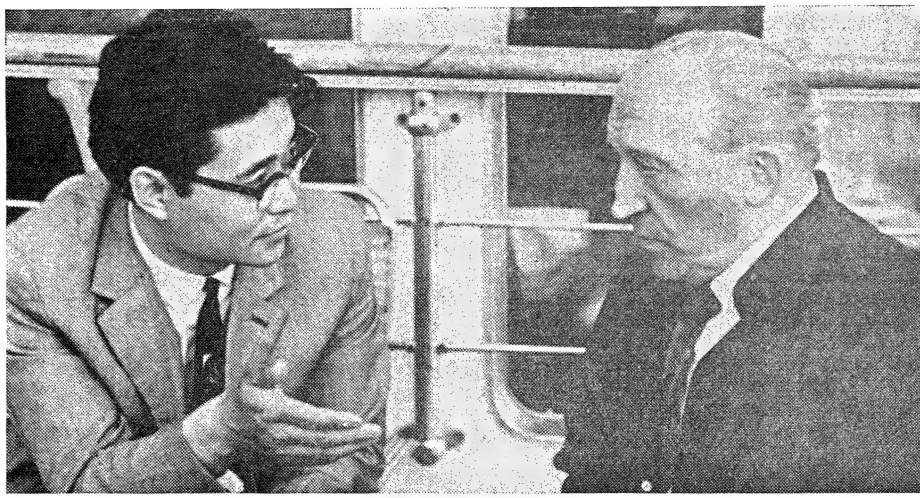
Если советская литература потерпела на этом пути какие-то неудачи и потери, то мы же и многому научились на этих потерях и ошибках.

Многие приемы художественного письма Горького отражают нравственно-социальный поиск писателя. (Целый ряд этих приемов мы обнаружили и в современной мировой литературе). Первые критики Горького в начале этого века упрекали молодого литератора в том, что его герои не столько говорят, сколько изрекают. Эта афористичность на первых порах казалась очень странной, но в дальнейшем такой сгущенный диалог получил все права гражданства. У Горького мы находим и то, что сейчас называют потоком сознания. Я думаю, что Горький не только применил этот прием, но показал в «Климе Самгине», к чему может привести гипертрофированный поток сознания, когда его герой спрашивает: «А был ли мальчик?» Горький никогда не ставил факт в полную зависимость от субъективного ощущения, но, напротив, утверждал, что и в потоке сознания никоим образом не должен утонуть реальный факт.

Мощь горьковского творчества продолжает питать советскую литературу. У нас принято говорить, что новые времена — это новые песни. Но часто бывает, что песни остаются старыми, а появляются только новые певцы. Горький, будучи новым певцом, исполнил и новую песню. И в этом, по-моему, он проявился сполна как человек и художник.

## ЛОДОЙН ТУДЭВ (Монголия)

Человеческую культуру нельзя представить себе без Горького, без его великих творений. Великий художник из художников, открыв новую страницу художественного развития человечества, связанную с новым творческим методом, социалистическим реализмом, тем самым стал личностью мирового и эпохального масштаба. Своим творчеством он поднял русскую и мировую литературу на следующую, высшую ступень. Традиции Горького оплодотворяют и обогащают новую культуру стран социализма. Весь мир, все человечество были когда-то объектом деятельности гениального мыслителя и художника, а теперь он сам стал объектом изучения и внимания всего мира, всего просвещенного человечества. Он всегда считал себя работником революционного мира и к этому неустанно призывал честных писателей всех стран. Горький пристально и ревниво следил за судьбами литератур многих стран, в том числе стран Востока. В 1925 году министр просвещения Монгольской Народной Республики Эрдени Батухан писал Горькому о культурных достижениях в Монголии, о новой монгольской литературе, спрашивал совета по отбору художественной литературы для перевода на монгольский язык. «Насколько я могу судить о душе монгола по книгам, прочитанным мною о Монголии,— отвечал Батухану Горький,— я думаю, что наиболее полезна была бы вашему народу проповедь принципа активности». Желание познать «душу монгола» пробудилось у Горького еще в молодости. «Очень интересны эти монголы»,— писал он В. Г. Короленко в 1895 году, прося его сообщить какой-либо источник по истории монголов. К этому времени Горький многое уже знал о монгольском народе, писал об историке-востоковеде Бохадур-хане, который дал интересное описание быта тюркско-монгольских племен. В первые годы Советской власти в числе выдающихся эпических произведений Востока в издательстве «Всемирная литература» был выпущен цикл монгольских сказок, а также монголо-арабский героический эпос. По предложению Горького были изданы и статьи,



*Л. Тудэв (Монголия), В. Хайнессен (Дания).*

посвященные литературам Востока, в том числе и монгольской. «Да не поколеблется во все дни вашей жизни крепкая вера в то, что вы начали великое и необходимое дело, — писал Горький в том же письме Батухану.— Нет на земле работы более важной, чем работа, мужественно начатая Вами, монгольской интеллигенцией». Эти слова вдохновили наших писателей, вчерашних пастухов, на смелый прыжок с темного дна кочевого мира в социалистический мир. Нужно было пробудить к действию народ, воспитанный в буддийском духе непротивления злу. С этой точки зрения принцип активности, рекомендованный Горьким новой монгольской литературе, приобретал огромное значение и остается главным принципом развития нашей литературы. У нас в Монголии живы традиции Горького. Они всегда обнаруживают себя там, где писатели глубоко, правдиво и художественно изображают жизнь с позиций партийности, с ее непрерывным обновлением, раскрывают богатый духовный мир нового человека. Литература стран социалистического содружества является коллективной продолжательницей горьковских традиций. Все значительные явления социалистической культуры мира связаны с художественным освоением опыта и традиций великого писателя. А развивать традиции Горького — это значит быть политически страстным в творчестве, быть художником-гражданином, художником-борцом, рассматривающим искусство как средство деятельного участия в жизни. Творчески развивая традиции Горького, писатели современности и будущего будут открывать новые чудесные страницы в истории литературы социалистического реализма. В борьбе за грядущее человечества великий гуманист Максим Горький всегда наш современник. Он стал человеком будущего, человеком коммунизма, еще задолго до его торжества. Да здравствует социалистическая культура, которая объединяет народы! Слава породившему Максима Горького русскому народу!

## ТЕОДОР ВЫРГОЛИЧ (Румыния)

Позвольте мне сказать несколько слов об откликах на книги Горького в Румынии и о переводах его на румынский язык. Румыния была одной из первых европейских стран, где появились горьковские произведения. Имя основоположника нового направления в литературе и книги этого самобытного писателя сразу же завоевали известность в Румынии. Многие румынские писатели, пришедшие в литературу в начале двадцатого века, развивались и росли под благотворным влиянием Горького! В печати публиковались многочисленные отклики на его произведения, отражающие новые условия существования человека в обществе. Так, в 1900 году вышла статья Штефана Петикэ. Вот что он пишет: «В литературе современной России ощущаются перемены. Горький, чьи произведения несут печать нового, еще не известен в Западной Европе, но уже пользуется заслуженной славой у себя в стране». Вот что пишет о Горьком наш крупнейший писатель Садовяну: «Во времена моей юности взрывно вошел в европейскую литературу Максим Горький. Книги его были переведены на все языки... Мир по ту сторону России получил возможность лучше узнать из книг Горького душу русского народа, мятущуюся в поисках смысла бытия». Первые переводы из произведений Горького были опубликованы в Румынии в 1900 году. В 1904 году была переведена

на румынский язык пьеса «На дне». В 1907 году появляются в печати первые отрывки из романа «Мать», а в 1910 году роман выходит полностью. Впоследствии количество переводов значительно возросло. В период 1900—1916 годов вышло в свет в Румынии свыше 30 произведений Горького. В румынской литературе есть писатели, на творчество которых мир книг Горького, его герои — обитатели дна, люмпен-пролетариат — оказали непосредственное влияние. Например, один из крупнейших румынских писателей периода между двумя войнами Ливиу Ребряну (сборник рассказов «Бродяги»). Сегодня творчество Горького широко известно в Румынии. В румынской литературе ощущается влияние той новой перспективы, которую впервые принес в литературу Горький.

*Л. Ребряну, Т. Выргопич (Румыния), Севунц (СССР), А. И. Гилия (Румыния).*

## ВАЦЛАВ БЕГОУНЕК (Чехословакия)

Горький за сто лет со дня своего рождения прошел проверку временем. И я полагаю, что он остается нашим современником, современным автором. А чем? Романтикой своих босяков, своей борьбой за права рабочего класса, ненавистью к фашизму и любовью к человеку. У нас, в Чехословакии, Горький появился в печати впервые уже на рубеже XIX и XX веков. Первым переведенным на чешский язык романом был «Фома Гордеев». Сейчас все его книги вышли в многочисленных изданиях. После войны было издано собрание сочинений Горького в 25 томах. Роман «Мать» впервые вышел у нас в 1908 году. И с того времени был издан 17 раз. Меня беспокоит одна вещь. Хорошо известно, как роман «Мать» был важен для литературы капиталистических стран и как он важен сейчас для развивающихся стран. Но почему же наша молодежь сегодня не читает романа «Мать»? В пятидесятые годы Горький был у нас канонизирован. Роман «Мать» стал обязательным школьным чтением, а молодежь всегда протестует против того, что заставляют ее делать насильно. Я думаю — это ошибка молодежи, а не Горького, и я верю, что молодежь современной Чехословакии вернется к Горькому. Пьесы Горького идут на сценах всех наших театров, начиная с Национального театра.

В последнее время у нас вышло несколько книг о Горьком. Это сборник статей «Наш Горький», в котором авторы выражают свое отношение к этому великому писателю. Затем книга Йозефа Кадлеца «Горький в Чехословакии» — о пребывании Горького в Праге и в Марианских Лазнях. Еще раньше вышла книга Мирослава Хенжмана «Рабочие в творчестве Горького». И я написал книжку о Горьком. Она называется «Максим Горький — классик социалистической литературы». Традиции Горького в Чехословакии богатые. Революционное творчество русского писателя имело большое влияние на наших писателей: Ивана Ольбрахта, написавшего роман «Анна-пролетарка»; Марию Майерову (на ее романы «Сирена» и «Шахтерская баллада»); чешского писателя, писавшего по-словацки, Петра Илемницкого; поэта Станислава Костку Неймана, который свой сборник стихов под названием «Сердце и туча» посвятил в тридцатые годы Максиму Горькому. Я мог бы назвать еще несколько писателей, на которых Максим Горький оказал большое влияние: например, народный писатель Карел Новый, который

жив по сей день, Ярослав Паулик, который погиб в концентрационном лагере в Драйберге, словацкий поэт Йозеф Таепски, Йозеф Угер, который написал книгу «О бродягах и другие рассказы», Карел Вик.

## А. САЛЫНСКИЙ (СССР)



Драматургия Горького стала классикой, но именно это замечательное обстоятельство говорит о том, что пьесы его живут и сегодня. Когда театры нашей страны и других стран мира обращаются к драматургии Горького, они ищут в ней ответ на волнующие вопросы современности. Человек двадцатого века подвержен воздействию величайших революционных бурь, но на него оказывают влияние и силы, противоборствующие прогрессу. Множество людей, выбирая свою собственную тропинку среди путей человечества, останавливаются где-то в мертвой зоне между фронтами революции и реакции или мечутся, ища спасения в отчуждении от общественных интересов. Пьесы Горького обращены не только к миллионам самоотверженных борцов за прогресс, но и к этим людям, ищущим, куда и с кем пойти.

Черты мещанства, его приземленного мышления, его меркантилизма, равнодушия, его ненасытности очень живучи. Они распространяются сегодня в мире, поддерживаются и культивируются широко разветвленной прессой, радио, телевидением, кинематографом, театром, книгами. Черты мещанства органически входят, как ни странно, в государственные доктрины больших и малых государств. Максим Горький начал свой путь и продолжает его победоносно — путь борьбы против мещанства, против его идеологии, против мещанской психологии в каждом человеке. Именно этим актуальна сегодня горьковская драматургия, именно в этом, на мой взгляд, наиболее остро выявляется ее революционный гуманистический смысл. Персонажи пьес Горького выходят на сцену театра, и возникает наэлектризованный горячий контакт со зрительным залом. Советский зритель ассоциирует мысли и чувства горьковских персонажей скорее в психологическом плане, нежели в социальном, ибо главная социальная задача у нас уже решена. Но мир, находящийся в орбите собственнических интересов, воспринимает Горького прежде всего как провозвестника прогрессивных социальных перемен. И как бы ни усложнял свою мимикрию индивидуалист, Горький срывает с него маску.

Самая распространенная маска мещанского индивидуализма — маска неприкосновенности личности. Петр Бессеменов, один из героев пьесы «Мещане», говорит: «Общество? Вот, что я ненавижу!.. Я — личность! Личность свободна». Эта декларация не просто фраза. Да, человек из рода мещан ненавидит общество, так как общество предъявляет ему свои требования. Современное мещанство воинственнее, чем прежде. Это закономерно. Чувствуя свою обреченность, оно яростно ополчается против теории и практики коллективизма — ведь людей, разобщенных, лишенных идеалов, легче поработить, нравственно и физически растоптать. Литература индивидуализма широко представлена и на сцене современного театра, она апеллирует к так называемому маленькому человеку, сострадает маленькому человеку, но не подсказывает выхода и, таким образом, убивает надежду и унижает достоинство человека. Горький подвергается ожесточенной критике именно за то, что он открывает человеку перспективу, дает ему надежду. К сожалению, даже у нас, у определенной части литераторов, в определенной среде литераторов, оптимистическое видение жизни считается иногда дурным тоном. Литератор — певец индивидуализма всегда не прочь поплакать вместе с маленьким человеком, своим героем, умилиться его горестям, его блужданиям. Но такая позиция писателя, живет ли он в буржуазном мире или в мире социалистическом, всегда в конце концов является предательством по отношению к человеку. В пьесе «Мещане» ее герой Нил, которому Горький отдает свои симпатии, воспринимает жизнь мещан Бессеменовых как «драматическую сцену из бесконечной комедии под названием «Ни туда, ни сюда». Вот это состояние «ни туда, ни сюда» вполне устраивает и современное мещанство. Однако сейчас у нас и за рубежом успешно развивается драматургия глубокой социальной мысли, привлекая все более широкий интерес публики. Персонажи Брехта, Кручковского, присутствующего здесь Фриша, Миллера и других драматургов восстают против засасывающей человека пошлости, против беспринципности в отношении к судьбам людей. Возвышение души обыкновенного человека—дело, которому служил Горький,—становится творческой программой многих и многих талантов. Значение Горького, создавшего потрясающие по своей силе образы, все возрастает сейчас, потому что человечество проникается все более острой и решительной нетерпимостью к насилию над личностью. Значение Горького возрастает потому, что пришло время, когда мещанский рубеж «ни туда, ни сюда» все отважней, все решительней, все настойчивей штурмуют миллионы и миллионы людей нашей планеты.

## А. КЕШОКОВ (СССР)

У каждого писателя есть своя вышка, с которой ему удобнее всего видеть мир и удобнее всего говорить. У меня тоже есть своя вышка, она стоит так, что мне видны все литературы, которые начались после Великого Октября. А таких литератур у нас в Советском Союзе больше чем полсотни. Я — представитель одной из них, кабардино-балкарской. И мне хочется сегодня сказать несколько слов с вышки литературы, кото-

рая родилась не более чем сорок-пятьдесят лет тому назад. Я хочу сказать об этом потому, что Горький имел самое непосредственное отношение к рождению таких литератур. Еще на первом съезде писателей нашей страны Горький, обращаясь к представителям только что рождающихся литератур, выразил уверенность в том, что они внесут свой вклад в нашу общую культуру. Сегодня Горького нет среди нас. Но мне хотелось бы ему доложить, что этот вклад сделали многие представители братских литератур, вышедших на высокую орбиту советской литературы. Влияние Горького на развитие национальных литератур не ограничивается его добрыми напутственными словами. Влияние Горького — это глубокое подпочвенное течение. Мы ощущаем, чувствуем его, хотя, может быть, не всегда ясно видим. В душе писатель каждой республики Советского Союза стремится быть Горьким для своего народа, для своей литературы. Горький велик тем, что его биография стала биографией века, биографией эпохи, и его судьба слилась с судьбой своего народа. Представители молодых литератур и наследники многовековой литературной традиции хотят быть так же полезны своим народам, как Горький — русскому народу, русской литературе. Вот в этом, мне кажется, сказывается великое и неодолимое влияние Горького на литературу нашей страны и литературу всего мира.

## КРИСТА ВОЛЬФ (ГДР)

Если бы я была специалистом по творчеству Горького, я могла бы изложить историю изучения и популяризации произведений Максима Горького в Германии или в Германской Демократической Республике. Я думаю, что это представило бы интерес. Кривая этой истории совместилась бы с общественными подъемами и спадами в нашей стране.

Первый подъем приходится на 20-е годы, когда было выпущено первое собрание сочинений Горького, второй подъем — это большой, разносторонний успех Горького у нас в ГДР, который начался сразу же после освобождения от фашизма и продолжается до сих пор.

Между ними — двенадцать лет фашизма, на них пришлось мое детство. Имя Горького я услышала впервые, когда мне было 17 или 18 лет. В этом возрасте надо было уже давно чувствовать себя в мире Горького как дома. Надо было уже прожить с ним в доме его деда, надо было разбираться во внутреннем мире ребенка и юноши, который открывается нам в большой трилогии о его детстве и юности и сегодня еще является мерилом удивительных возможностей человека, изо всех сил стремящегося к самоутверждению.

В том возрасте, когда я впервые встретилась с Горьким, надо было давно знать его пьесы и уже не один раз прочитать «Мать». Среди моих старых книг, которые я особенно берегу, есть тяжелое и неудобное издание Горького, вышедшее у нас в издательстве советской военной администрации сразу же после 1945 года. Тогда мы прочли «Мать», воспоминания Горького о Ленине, «На дне».

У каждого поколения есть, наверное, свои «основные книги», которым оно обязано своим мировоззрением. Такими книгами были для нас произведения Горького. Лишь позднее мы осознали их эстетическую ценность. В то время мы выбирали книги по принципу — помогут ли они нам жить дальше. До сих пор у меня бессознательно сохранился этот критерий по отношению к литературе; невольно я спрашиваю у новых книг, выстоят ли они в самых трудных жизненных обстоятельствах, окажутся ли они настоящими и правдивыми. Книги Горького были нам необходимы в полном смысле этого слова, они рождали уверенность, давали возможность восхищаться огромными человеческими свершениями.

Великого писателя каждый возраст воспринимает по-своему, открывает для себя заново. Таков и Горький. Он не подавляет тех, кто приближается к нему; его влияние живительно, он воодушевляет. Статистика никогда не сможет подсчитать, сколько молодых писателей благодаря ему нашло в себе мужество писать, нашло у него первые советы и поддержку, даже через много лет после его смерти.

Анна Зегерс, беседуя с молодыми писателями, часто напоминает о Горьком, прежде всего о точности и конкретности его наблюдений. Она любит ссылаться на «Мать». Нужно показать духовное рождение Павла. Он начал читать книги. Как дать понять, что в нем постепенно пробуждаются более тонкие чувства, прежде ему чуждые? Горький делает так: он показывает, как испугалась мать непривычной деликатности сына. Она, видевшая со стороны мужчин лишь грубость, по этому, кажущемуся незначительным признаку, понимает перемену, происходящую в душе будущего революционера.

Давно уже меня занимает одно горьковское начинание. В 30-х годах он был инициатором «Дня мира». Люди всех стран и всех профессий должны были описать определенный день своей жизни и таким образом дать материал для уникального исследования, документа огромной силы убеждения и большой жизненной достоверности. Эта идея волнует своей простотой и смелостью. Так мог мыслить только человек, для которого понятие «человечество» не фраза, который до глубины души верил в творческие силы простого человека на земле. Мне хочется, чтобы это начинание Горького, нашедшее в свое время громкий отклик, было продолжено.

Я часто думаю о словах Горького, которые сопутствуют мне много лет, как ключ к удивительным знаниям, ключ, который долго пришлось искать. Горький сказал однажды о полуреальном и полуфантастическом существовании человека. Постепенно начинаешь понимать, что он подразумевал, что именно среди многих само собой разумеющихся фактов человеческого существования виделось ему по-новому, казалось удивительным и достойным восхищения. Он отнюдь не был беспочвенным фантазером, но мы должны сказать ему спасибо за то, что он сохранил единственный вид фантазии, который дает возможность видеть подлинную реальность человека.

Мне кажется, что для нас нужнее всего эта творческая фантазия, этот всепроникающий взгляд, не довольствующийся поверхностной, внешней стороной существования человека, а способный увидеть в его реальном бытии элементы «фантастические»— стремление к добру, красоте, поэзии, правде, справедливости, которые не являются случайными на нашем долгом и трудном историческом пути и которые мы не смеем утратить, не подвергая риску наше реальное существование и предпосылки дальнейшей жизни человечества.

Современен ли Горький? Он так современен, что может сказать и сегодня свое слово в жизненно важных вопросах.

Недавно я была в Западной Германии, и мне рассказали о постановке пьесы «Мать» (в переработке Брехта и Вайзенборна) в одном из западногерманских театров. Когда в конце пьесы в руках матери вспыхнул красный флаг, часть публики встала и начала аплодировать. Кажется, в истории произведений Горького на немецкой земле открывается новая страница. Кажется, ему, Горькому, по-прежнему удается будоражить, беспокоить умы людей, загонять «ежа под череп».



## ГЕЗА МОЛЬНАР (Венгрия)

Литература любого народа, населяющего нашу планету, рождается и проистекает из духовной и материальной жизни общества, из определенных этических воззрений, из всего сложного комплекса общественного бытия. Стендаль сказал: «Литература подобна зеркалу, проносимому по большой дороге». Общественное бытие любого народа включает в себя и традиции прошлого, и устремленность в будущее. Какие именно традиции прошлого будут приняты настоящим для того, чтобы их сохранить и продолжить в будущем,— вот что важно. Не уподоблюсь Колумбу, если скажу, что наиболее счастливым периодом развития каждой национальной литературы были те периоды, когда литературы могли развиваться в благотворном взаимодействии, обоюдно обогащая друг друга. Наша венгерская литература, литература небольшого десятимиллионного народа, который вот уже более тысячи лет живет в самом сердце Европы, всегда была очень гибкой, чувствительной и восприимчивой к культуре и литературам соседних народов, к их традициям. Эти традиции, проходя через призму национального самосознания, приводили к созданию своих собственных, своеобразных и глубоко национальных произведений. Венгерская литература испытывала серьезное влияние со стороны классической русской литературы. В конце прошлого и начале нынешнего века на сценах венгерских театров, в книгоиздательствах весьма серьезную роль играли Тургенев, Толстой, Чехов и другие русские классики. И среди них с самого начала его появления на литературной арене, я хочу это подчеркнуть, был великий реалист Максим Горький. Венгерская литература и критика сразу разглядели и признали его значение и талант. Для Горького познание мира всегда и прежде всего было средством изменения этого мира. И мы, венгры, с благодарностью можем сказать, что Горький научил нас этому. Гениальная драма Горького «На дне» уже через год после постановки в Московском Художественном театре шла одновременно в нескольких театрах Венгрии. Успех ее был поистине огромен. После того, как в Венгрии узнали Горького, невозможно было смотреть на мир так, как смотрели на него прежде. И это не случайно. В Венгрии начала XX века назревали изменения громадного исторического масштаба. И Горький появился на венгерском горизонте как гордо реющий Буревестник грядущей очистительной революции 1919 года. Интересно, что его выдающийся роман «Дело Артамоновых» был переведен и начал публиковаться на страницах в то время наиболее прогрессивного журнала «Нюгат» даже несколько раньше, чем он вышел в свет на родном русском языке в Москве. Воздействие Горького так или иначе сказалось на творчестве всех без исключения современных венгерских писателей. И я мог бы с полным правом сказать, что после появления Горького, после того как мы узнали Горького, никто уже не мог писать так, как писал до него. Любопытное и характерное явление: в начале XX века некоторые из венгерских писателей подражали Мопассану, Золя, Анатолю Франсу. Но в стиле и в манере Горького, несмотря на его огромнейшую популярность, не писал никто. Больше того, никто даже не пытался ему подражать. Спрашивается, почему же? Да потому, что Горький был и остается неподражаем. Для того чтобы писать так, как писал он, нужно было повторить без остатка всю его жизнь, нужно было бы обладать его колоссальной эрудицией и хотя бы половиной его таланта. Только тогда можно было бы писать в манере Горького. И если мы говорим сегодня, что никто не мог избежать влияния Горького, то мы подразумеваем нечто иное. Родился, стал крепнуть и развиваться новый вид реализма в литературе, реализ-

ма, в центре которого встал горьковский Человек, человек с большой буквы, вера в этого человека, борьба за этого человека. Горький велик тем, что он отстаивал и будет отстаивать вечно достоинство человека.

В годы между первой и второй мировой войнами Горький был одним из самых любимых писателей венгерских рабочих и прогрессивной интеллигенции. Освобождение страны в 1945 году принесло Горькому новую популярность, неизмеримо расширило круг его читателей. Горький сделался любимым писателем и нашего крестьянства. Его произведения читают так, как если бы он был своим, венгерским писателем. Его понимает и любит народ. Может ли быть признание выше этого? Талант и знание жизни привели великого художника к выводу о необходимости ускорить ход революционных событий, привели Горького в рабочее движение, к пролетарской революции. Провозгласив программу защиты человека, Горький напряженно и постоянно искал: что же такое — человек? Он искал и как философ, и как писатель, и как революционер. Еще в начале девятисотых годов Горький заинтересовался произведением венгерского классика XIX века Имре Мадача, философской драмой в стихах «Трагедия человека». Имре Мадач стремился в этом произведении найти и сформулировать смысл человеческого бытия. Горький заказал перевод этой книги на русский язык, и в 1905 году она вышла в свет в издательстве «Знание» в переводе З. Г. Крашенинниковой. У нас в Венгрии по сей день не утихли споры вокруг этого произведения. Некоторые утверждают, что оно глубоко пессимистично и безнадежно, провозглашает бесцельность и безысходность человеческого бытия; другие, напротив, считают, что эта драма полна оптимизма, ибо изображаемый в ней Человек хоть постоянно гибнет, но и вечно возрождается. Можно предположить, что, прочтя это произведение, Горький приступил к созданию своей философской поэмы «Человек».

Горький-писатель неотделим от Горького-революционера, Горького-борца, Горького-гражданина. Все его творчество, труд всей его жизни сосредоточил в себе важнейшие проблемы человеческого бытия. И эти проблемы не потеряли актуальности и по сегодняшний день. Они обращены к литературе наших дней. В наши дни еще в значительной части земного шара технический и научный прогресс при данных общественных отношениях приводит лишь к подавлению личности, усилению индивидуализма. В литературе же появляется вновь и вновь образ пришибленного, униженного и оскорбленного человека, потерявшего всякие надежды. И я думаю, не пора ли снова обрести литераторам горьковскую веру в человека, веру в его силы и богатство духа, веру в человека действующего, борющегося и побеждающего, не пора ли вновь открыть для себя в литературе великую программу бессмертного Горького, программу, основа и цель которой — человек.

## *** (Испания) *

Произведения Горького были широко распространены в Испании в двадцатых годах, до начала гражданской войны. Творчество Горького оказало большое влияние на наших писателей — таких, как Пио Бароха или крупнейшая романистка Пардо Басан.

В настоящее время в Испании очень трудно отметить память столь революционного писателя, как Горький. Наши молодые писатели, те, которым было меньше десяти лет, когда началась гражданская война, или те, которые родились после нее, практически не знакомы с творческим почерком Горького. Наш контакт с ним начинается лишь тогда, когда мы встречаем его книги в букинистических магазинах. Разумеется, это издания предвоенные. Одним из первых произведений, с которым познакомился я лично, была изданная в Барселоне в 1923 году на каталонском языке книга его рассказов под названием «Бродяги». Несмотря на огромные трудности мы стремимся издавать произведения Горького. Правда, здесь нам, к сожалению, приходится считаться с испанской цензурой. Накануне столетия великого писателя мы вплотную занялись вопросом о публикации его произведений в Испании. Я, например, пытаюсь подготовить издание его книг в Барселоне на каталонском языке. Таким образом Горький будет издан в Испании на двух языках — на испанском и каталонском. Мне кажется, что хорошим началом этой нашей работы явится издание его знаменитой автобиографической трилогии, из которой книга «Детство» сейчас уже находится в производстве, а в будущем году выйдут остальные две части. Некоторые испанские писатели по своей инициативе решили напечатать серию статей о Горьком, посвященную его столетию. Часть их уже вышла в нашей прессе, остальные появятся в течение этого года. Но, пожалуй, самым сильным толчком, пробудившим в нашей молодежи интерес к Горькому, явились две театральные постановки пьесы «На дне». Их осуществили театральные труппы в Мадриде и в Барселоне.

Для нашей молодежи, для молодых рабочих, студентов появление на сцене этого произведения имело огромное значение. Мы открыли для себя Горького-драматурга. Нас поразила та сила, которую несет в себе его драма. Я видел постановку «На дне» в Барселоне на каталонском языке. Для меня это был волнующий день.

---

* Имя писателя, прибывшего из франкистской Испании, не было названо на встрече.

Группа полупрофессиональных артистов, у которой очень ограничены средства, очень скромны декорации, сумела донести до публики всю глубину драмы Горького. Мы почувствовали, что живем в атмосфере героев Горького. Для нас это был совершенно новый мир, но мы сумели понять все значение этого произведения для современной Испании. Сейчас, когда в западной литературе столько внимания уделяют чисто формальным поискам, Горький сумел показать нам, сколько силы может нести в себе отражение жизни простого человека, представленное в простых и откровенно обнаженных формах. Перед нами вдруг возник живой, сегодняшний Горький. Если говорить обо мне лично и об испанских писателях моего поколения, то для нас самой сильной стороной его творчества является борьба за человека, умение Горького изображать человека во всей его психологической сложности, исторической конкретности и в перспективе. Даже то немногое, что мы уже сделали в своей стране, помогает нам снова открыть для себя Горького, который был предан забвению по политическим причинам. И я знаю, что в душе испанского читателя и зрителя после знакомства с произведениями Горького останется многое.

Помнится, я читал критические статьи, в которых Горького определяли как пролетарского писателя. Мне кажется, что Горькому не понравилось бы это определение, ибо он вообще не любил классификаций. Но если придать этому термину положительное значение, как придавал ему сам Горький, то пролетарским писателем в настоящем понимании этого слова является тот писатель, который ненавидит все, подавляющее свободное саморазвитие человека, тот, кто умеет сделать своего читателя свободным и активным. И я хочу, чтобы из нашей новой встречи с Горьким испанские писатели вынесли бы в качестве основной идеи эту ненависть к тому, что подавляет и угнетает человека, а с точки зрения писательского мастерства — умение заставить читателей после прочтения наших книг действовать свободно и активно.



## ГЮНТЕР ВАЙЗЕНБОРН (Западный Берлин)

После своей первой пьесы «Подводная лодка С-4», направленной против войны и вызвавшей ожесточенный протест всей буржуазной печати, я уединился на ферме в глубине Южной Америки. Там я прочел роман Горького «Мать». Спустя некоторое время я вернулся в Европу, готовый к новому выступлению против продажного мира, подготавливавшего приход нацизма. Этим выступлением стала для меня пьеса «Мать». Я обратился к Горькому с просьбой предоставить мне право драматизации его романа, вскоре получил разрешение и сразу же начал работать.

В то время я очень часто встречался с Бертом Брехтом и Гансом Эйслером. Мы нередко работали вместе, много спорили.

Однажды я сказал, что работаю над пьесой «Мать». Брехт и Эйслер сразу же заинтересовались этим. Мы решили действовать вместе. Началась кропотливая и очень дружная работа. Мы прочитали много книг о дореволюционной России. Наша пьеса вышла за рамки обычной «аристотелевской» драматургии и начиналась с политических дискуссий. Не характер героев определял ход действия, а ход политического развития изменял характер героев. Когда занавес опускался, то для каждого мыслящего зрителя уже была подготовлена почва, дающая ему возможность обрести новый образ мыслей. Пьеса пыталась путем сценических примеров изменить идеологию зрителя. Брехт придал пьесе новые качества, введя «зонги», оказывавшие огромное воздействие благодаря великолепной музыке Ганса Эйслера. Мы стремились к научному театру, к воздействию на умы, к преодолению строя мыслей, характерного для мещанских палисадников, насыщенного предрассудками, крайне ограниченного и лицемерного. Эта цель и сегодня кажется мне наиболее значительной для писателя. Чтобы изменить мир, необходимо изменить и образ мыслей, а здесь может помочь писатель. Поэтому до сегодняшнего дня я считаю работу над пьесой «Мать» значительной, не говоря о том, что эта инсценировка была первым практическим осуществлением «эпического» театра, созданного Брехтом.

Должен сказать, что Брехт и Эйслер были прекрасными товарищами. Это было счастливое время, я любил вспоминать о нем в последующие плохие времена, в тюрьмах гестапо.

Премьера «Матери», состоявшаяся в Берлине, конечно, была встречена яростной критикой буржуазной прессы. Как обычно, нас ругали. С приходом же фашизма в Германии пьеса была запрещена. Сейчас «Мать» ставят во многих странах мира. В последний раз ее играли несколько недель тому назад в Кёльне, где она была восторженно встречена рейнской публикой.

Я счастлив, что имел возможность работать с великим драматургом Брехтом и великим композитором Гансом Эйслером, когда мы все были еще молоды, я счастлив, что нам был доверен драгоценный дар — роман Горького «Мать». Мы сделали из него в театре то, к чему, нам казалось, стремился Горький,— пьеса звала к изменению мира.

Сегодня мы едем на пароходе вниз по Волге, и на его палубе в память о Горьком собрались писатели всех континентов. Нельзя забывать, что Горький, уроженец

*А. Салынский (СССР) и Г. Вайзенборн (Западный Берлин).*

Нижнего Новгорода на Волге, бродил при царизме босой и нищий по этим берегам в то время, когда баржи еще тянули бурлаки. Этот человек вышел из низов, чтобы изменить мир. И как изменился мир! Новый мир уже не мечта, а увлекательная реальность. Мы видим его в огромных заводах на берегах Волги, в новых больших городах, оживленном судоходстве, высоких мостах через Волгу и во множестве судов на подводных крыльях, проносящихся мимо нас, и главное — в людях. Буквально на каждом шагу видишь, что новый мир стал сильным, уверенным, богатым и его ждет большое будущее.

Тридцать пять лет тому назад три театральных работника в Берлине своей работой над пьесой «Мать» немного помогли распространению идей Горького. Как один из них, еще оставшийся в живых, я позволю себе выразить благодарность от имени Брехта, Эйслера и себя этому новому, изменившемуся, полному жизни миру, окружающему нас здесь.

## Г. СЕВУНЦ (СССР)

Писателям, подобным Горькому, народы дают визу для перехода своих границ. Армянский народ такие визы предоставлял многим писателям многих стран, но Горький для нас больше чем писатель, пришедший по этой визе. Он проник в нашу национальную жизнь как великий друг, как великий советчик, поддержавший наш народ в самые трудные для истории дни. Горький вошел в армянскую национальную жизнь в самом начале XX века. В 1901 году под редакцией Степана Шаумяна, крупного революционера и соратника Ленина, был издан сборник рассказов Горького «Однажды осенью» на армянском языке. И вот уже более полувека произведения Горького издаются в Армении. Горький стал родным для армянского народа. В 1916 году он взялся за издание «Сборника армянской литературы» и осуществил это издание, хотя времена были трудные, царские власти, боясь революционных событий в России, всячески мешали выходу в свет произведений писателей, в которых содержались призывы к национальному освобождению, к борьбе за свободу. Некоторые произведения, вошедшие в этот сборник, ранее царской цензурой были запрещены. Мужественный Горький отстоял их. С помощью Горького в том же году был издан сборник армянской поэзии под редакцией Брюсова. В эти годы Османская империя проводила политику геноцида в отношении армянского народа. Классик армянской литературы Александр Ширван-заде из Америки обратился к Максиму Горькому с такой просьбой: «Я Вас считаю истинным сыном бескорыстного, честного и доброго русского народа. Поднимите же Ваш влиятельный голос в защиту настрадавшегося и наполовину уничтоженного армянского народа». Максим Горький тут же откликнулся на этот призыв и вместе с Ромэном Ролланом, Анатолем Франсом, Эмилем Верхарном выступил против угнетения армянского народа. Это высокий пример для писателей мира наших дней, когда такую же политику империалисты проводят в отношении вьетнамского народа. Лучше всего наши чувства и мысли о великом писателе Максиме Горьком выразил классик армянской литературы Аветик Исаакян. Он говорил, что Горький был цельным человеком. Слитными

были его слова и дела. Был он проповедником и деятелем, писателем и борцом, настоящим интернационалистом, любящим и уважающим все народы.

В 1905 году, когда Максим Горький был арестован в связи с январскими событиями в Петербурге, группа немецких писателей через газету «Берлинер тагеблатт» обратилась к писателям всего мира с призывом «Освободите Горького». К этому призыву присоединились писатели Франции, Голландии, Венгрии, Румынии, Норвегии, Португалии. Прошло более чем полвека. Мы, представители разных народов, разных континентов, говорим о Горьком. Мы можем констатировать, что за эти шестьдесят три года Максим Горький сделал для человечества столько, сколько не делают десятки писателей, вместе взятых.

Такие писатели рождаются, живут и, к сожалению, умирают, но свет их таланта доходит даже через тысячи лет. Мы сегодня как бы передаем свет таланта Горького в будущее, будущим поколениям, и он будет жить вечно.



## ЛЕОНЕ ПАЧИНИ-САВОЙ (Италия)

Перед отъездом из Италии у меня не было намерения выступать и мучить всех еще одной речью. Однако собрание наше пошло по такому интересному руслу, что я решил позволить себе выступить с маленькой импровизацией. Заранее прошу прощения за мой русский язык.

Тема наших сегодняшних разговоров—влияние, или, как очень удачно сказал здесь вчера наш болгарский коллега, «присутствие» Горького в современных литературах. Когда б я должен был рассказать вам, по каким причинам Горький «отсутствует» в современной итальянской литературе, разговор бы затянулся до бесконечности.

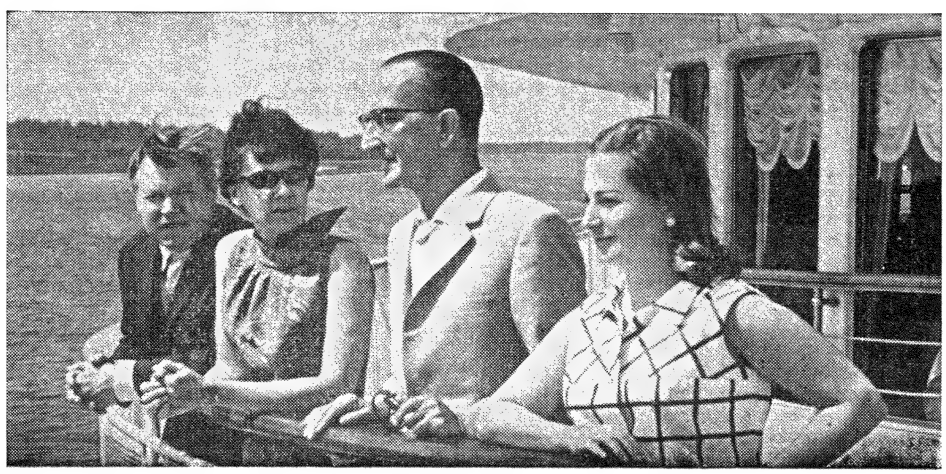
Проще и интереснее сказать, почему у нас любили и любят Горького. Как известно вам, Горький долго жил в Италии, в Сорренто, на Капри. Это дало возможность нам оценить его не только как крупного писателя, но и как замечательного, я даже сказал бы, потрясающего человека. Мы любили его, а он любил нас, итальянцев. Итальянцам он посвятил многие свои рассказы. В литературе появились неаполитанские рыбаки, простые люди из народа, с которым Горький сталкивался ежедневно, с которым он дружил и которому помогал чем мог.

Среди прочих бесчисленных итальянцев, знакомцев Горького, был один неаполитанский художник, совсем скромный, никому не известный. Этот художник слепил бюст Горького. Лет семь тому назад я нашел случайно этот бюст в одном неаполитанском доме и купил его. Потом подарил этот бюст горьковскому музею в Москве. Работа превосходная. Значит, Горький мог внушать людям такую любовь, что скромный самоучка сделал шедевр.

Горький был замечательным посланником русской культуры, русской литературы в Италии.

Был он и посланником русской души и русской сердечности. Многих из нас Горький заставил полюбить не только русскую литературу, но и русский народ. Я, к

*С. Залыгин, внучка А. М. Горького М. Пешкова (СССР), Л. Пачини-Савой и Ида Бонетти (Италия).*



слову сказать, убежден, что невозможно понять и оценить литературу или даже отдельного писателя, не полюбив народа, которому он принадлежит.

Мне приятно сказать здесь, за этим столом, что Россия давно стала неотъемлемой частью моей души. И этим чувством я обязан едва ли не прежде всего Горькому. И так, вероятно, бывает со всеми, кто соприкасался с Горьким, с русской литературой.

## ДЖУДА УОТЕН (Австралия)

Еще в начале двадцатого века австралийские любители литературы познакомились с произведениями Горького. В 1903 или 1904 году наш крупный романист и новеллист Вэнс Палмер написал о Горьком статью в австралийском литературном журнале. Это была одна из первых статей о Горьком на английском языке. После русской революции Горького широко стали читать рабочие и все прогрессивные люди Австралии. Рассказы Горького, выдержавшие множество изданий на английском языке, очень высоко ценятся в Австралии — особенно любят такие рассказы, как «Двадцать шесть и одна», «Челкаш». Мы считаем, что они находятся в одном ряду с самыми лучшими рассказами мировой литературы. Пьеса Горького «На дне» впервые была поставлена в Мельбурне в 1939 году. Постановка этой пьесы имела очень большое влияние на формировавшийся в то время новый серьезный театр в Австралии, а кроме того, она оказала большое влияние на молодых драматургов, которые обратились к серьезным темам в своей драматургии.

В Австралии, пожалуй, наиболее сильное влияние Горький оказал на развитие жанра новеллы. Например, Алан Маршалл часто говорил о том, что рассказы Горького были для него одним из главных источников вдохновения. Такие писатели, как Вэнс Палмер, Катарина Сусанна Причард, Джон Моррисон, Фрэнк Харди и другие многим обязаны Горькому. Они следуют за ним и в подходе к жизни, и в выборе тем и героев своих произведений. Я считаю, что Горький являлся и для меня одним из главных источников вдохновения. И не случайно в моем «Чужом сыне» одна из героинь читает своим детям произведения Горького. Можно сказать, что для австралийских писателей более старшего и моего поколения Максим Горький был в высшей степени привлекательным — это был человек из народа, который в один из периодов своей жизни, так же как наш писатель-классик Генри Лоусон, бродил по дорогам с мешком за плечами. Горький — писатель, который близок нашим лучшим традициям товарищества и уважения к трудовому человеку.

В конце тридцатых годов и в послевоенные годы взгляды Горького на литературу оказали заметное влияние на большую группу писателей в Австралии. В то время почти во всех штатах Австралии возникли группы писателей — социалистических реалистов, куда входили Катарина Сусанна Причард, Эрик Ламберт, Фрэнк Харди, Джон Манифолд и другие. До середины пятидесятых годов это направление было самым значительным в литературе Австралии. Нельзя сказать, что этот метод преобладает в Австралии сейчас, хотя безусловно направление социалистического реализма сегодня представляет собой заметное явление в австралийской литературе.

Двадцать-тридцать лет тому назад австралийские писатели знали Максима Горького так, как будто он был австралийцем. И широкие круги читателей также знали Горького очень хорошо. В Австралии были люди, которые посылали Горькому письма, так близок им он был как писатель и как человек. Мне рассказывали: когда в 1933 году фашисты попытались развернуть мировую кампанию антисемитизма, один из рабочих железнодорожного депо в Ньюкасле, промышленном городе в штате Новый Южный Уэльс, написал пьесу на эту тему и послал рукопись Горькому. Звали этого рабочего Том Хикки. Он был председателем рабочего комитета. Между прочим, эпилогом этой пьесы был первомайский парад на Красной площади в Москве. Я до сих пор не могу понять, как Горький успевал писать тысячи писем простым людям во всем мире, не говоря уже о людях его собственной страны. Он ответил Тому Хикки, сделал несколько замечаний, похвалил пьесу и вдохновил его на продолжение работы. В результате эта пьеса была поставлена в маленьком зале в Ньюкасле группой рабочей самодеятельности.

И сегодня произведения Горького популярны в моей стране, в особенности его рассказы, его воспоминания о Толстом, Чехове, Андрееве, его роман «Мать» и прежде всего и больше всего его «Детство». В самолете по пути в Москву я разговорился с австралийским докером, который летел в Сингапур повидать своего сына. Он узнал меня, ибо слышал, как я выступал в 1954 году в Перте. Он представился мне и спросил, куда я еду. Я ответил: в Москву, на празднование 100-летия со дня рождения Горького. «Это здорово,— сказал рабочий.— Я люблю Горького. Роман «Мать» — одна из самых моих любимых книг».

Я лично считаю, что взгляды Горького на литературу отнюдь не устарели. Его литературная теория применима к нашему времени. Она представляет собой ответ на пессимистические теории, которые преобладают в буржуазном обществе. Его теория, которая полна глубокого оптимизма, веры в человека, в то, что можно изменить условия его жизни, очень близка нашему времени. Так понимаю я взгляды

Горького на литературу. Еще в 1917 году Горький писал Уэллсу о том, что цель писателя — «внушить молодежи социальный романтизм, любовь и доверие к жизни и к людям. Мы стремимся научить их героизму».

Горький учил нас тому, чтобы литература была революционной, не только познавательной. Литература должна не только показывать несовершенства жизни. Она должна вдохновлять людей на то, чтобы исправить жизнь. Из этого логически следует, что писатель должен принимать участие в великой освободительной борьбе, он должен объединяться с рабочим классом, главным революционным классом нашего времени. Конечно, следует заметить, что понятие партийности литературы иногда очень сужается. И именно вот эта узкая трактовка вызвала непонимание взглядов Горького, одинаковый подход к оценке художественных произведений и журналистских репортажей. Горький отлично понимал различие между журналистикой и искусством, которое воздействует прежде всего на человеческие чувства. На протяжении своей жизни Горький всегда поддерживал подлинных художников-творцов, и часто именно он привлекал внимание читателей к новому писательскому имени. Но прежде всего его собственное творчество подавало пример своими полнокровными живыми образами, жизненными ситуациями. Он очень проницателен и глубок, показывая, почему его герои поступают так, а не иначе, ибо он черпал материал из подлинной жизни, из своего огромного жизненного опыта. Его творчество определяется качествами, необходимыми для любого настоящего писателя: опытом, наблюдением и богатым художественным воображением.

Я уверен, что литературные взгляды Горького и его социалистический гуманизм могут вдохновлять писателей и укреплять их веру в способность человека изменить те социальные условия, в которых он живет. Все больше и больше молодых писателей Запада, даже те, на кого влияли экзистенциалистские, мистические, нигилистические и чисто формалистические взгляды, начинают понимать свою ответственность перед другими людьми, живущими в мире. Они чувствуют, что тоже должны что-то сделать, чтобы предотвратить новую мировую войну, а если говорить конкретно, сегодня,— что они должны помочь прекратить жестокую войну Америки против вьетнамского народа. Многие из этих писателей ищут какой-то новый путь, более глубокое объяснение тревог и страданий, которые приносит современная жизнь. Безусловно, в ближайшем будущем еще больше писателей примут участие в борьбе против войны во Вьетнаме. Никогда еще на Западе не было положения, когда в литературе оказалось столько противоречивых течений, когда наблюдалось бы такое глубокое брожение среди писателей и художников. Максим Горький является маяком, который освещает путь писателям всего мира.

## ВЕРА МАРУШИАКОВА (Чехословакия)

Произведения Горького изданы у нас в Чехословакии почти полностью не только на чешском, но и на словацком языке. Мне хочется сказать несколько слов о том, каково лично мое отношение к Горькому, как его переводчика на словацкий язык. Переводила я лет двенадцать тому назад или пятнадцать. Но у меня до сих пор

*М. Фриш (Швейцария) на палубе парохода.*

сохранилось хорошее чувство от этой работы. Отношение переводчика к переводимому автору бывает иногда очень сложно. Он воспринимает его как реально существующего человека, с которым ему надо наладить душевную связь. А это иногда не так легко. Бывает так, что переводчик прочитает книгу, которую он намеревается переводить, она ему понравится, и автор ему покажется интересным. Но когда он начинает переводить фразу за фразой, когда начинает, так сказать, разбирать автора по косточкам — замечает недостатки, ему уже не все нравится, он разочаровывается. Автор попадает под микроскоп переводчика, и случается, что он не выдерживает этого испытания. Но бывает и наоборот, переводчик сперва никак не может войти во вкус, наладить с автором связь. Но в процессе работы над книгой вдруг раскрывается подлинная сила автора, наступает сближение с ним, и тогда работа становится чистейшим удовольствием. Вот такие чувства я испытывала, переводя Горького. Когда я приступала к работе над его книгами, то видела в нем честного, справедливого, немножко грустного человека; я не разочаровалась в нем и как художнике. Я переводила его с удовольствием, с желанием передать как можно лучше и точнее все то, что делает Горького большим и оригинальным писателем. Поэтому я до сих пор с волнением вспоминаю мое переводческое знакомство с Горьким. И я счастлива, что теперь имею возможность побывать в местах, где жил и работал близкий мне человек.

## ЛУИС ЭНРИКЕ СЕНДОЙА (Колумбия)

Какое чудо — находиться здесь, среди вас, писателей и поэтов России и всего мира! Мы все стали участниками события, символизирующего веру в человеческую солидарность, веру в общую, единую судьбу людей, веру в ясный и широкий путь от социализма к вершинам, еще более высоким и прекрасным. Мы приехали сюда, чтобы достичь намеченной цели, чтобы идти вперед. И если мы подвергаем здесь критическому анализу все те же вечные, не умирающие проблемы искусства, то это лишь способствует еще более глубокой убежденности в том, что в эпоху социализма строится новое, динамичное, уверенное в своем будущем общество.

Мой друг Альфредо Гравина и я много думали и спрашивали себя о новых толкованиях социалистического реализма. Мы хотели бы осмыслить его сущность, его историческую ценность и, что важнее всего, понять, в какой мере каждый поэт и писатель может способствовать углублению социалистического реализма как метода и тем самым совершенствованию литературы во всех ее аспектах и на всех географических широтах.

Прошлое передает писателям и поэтам новой эпохи свои заветы и свое наследие, потому что литература — это опыт тысячелетий. Но писатели и поэты новых поколений расширяют горизонты этого наследия.

То, что ушло в прошлое, и новое, вечное и преходящее — как бы составляют тезис и антитезис, ведущие к синтезу обновления.

Мы приехали сюда, чтобы воздать почести Максиму Горькому, в чьих творениях живет диалектическое и гуманистическое начала. Мы чествуем Горького, принявшего идею необходимости революции, Горького, осознанно выполнившего высокую миссию человека интеллектуального труда. Мы чествуем Горького, который выбрал судьбу, ставшую судьбой его родины. Слава ему!

И спасибо вам, русские друзья и товарищи, друзья и товарищи на долгие годы, труженики интеллектуального фронта, паломники, идущие к высоким целям, мечтатели на дорогах, заставляющие меня вспомнить бессмертного Антонио Мачадо. Спасибо за то, что вы объединили нас вокруг великого человека, вокруг Максима Горького. Спасибо ему за то, что он дал нам возможность встретиться с советскими людьми, одерживающими победу в борьбе за мир.

## В. КОРОТИЧ (СССР)

Большой украинский поэт Павло Григорьевич Тычина говорил, что корень Горького в каждом народе. Горький — явление интернациональное. Он пришел в литературу мира, как человек, рассказывающий о России, как человек, рассказывающий о жизни народа, который дал ему язык, который дал ему память и талант. Горький пришел к нам, как человек любящий, знающий свой народ,— и он стал важен для других народов. Именно как писатель, прежде всего, остронациональный, он стал интернациональным. В этом один из уроков Горького, о котором мне хотелось бы сейчас сказать.

То влияние, о котором писал сам Горький и которое он испытал, прикасаясь к Украине, было влиянием взаимным. Горький говорил об этом, вспоминая о своих встречах с Коцюбинским и другими украинскими писателями, Горький постоянно ощущал необходимость не только учить, но и учиться. Это важно помнить сегодня. Великий учитель не был бы таким, не пройди он сложной науки, не умей он не только давать уроки, но и брать их. Все лучшее в общественной мысли Украины бы-

ло связано с Горьким. Молодой писатель, придя в село Мануйловку, которое стояло в глубине Украины, начал с изучения украинского языка, чтоб прикоснуться к вершине украинской литературы — «Кобзарю» Шевченко и читать крестьянам стихи великого поэта. Горький удивительно умел находить точки соприкосновения с душой каждого народа. Его слова, сказанные об Украине, до сих пор не устарели и не выцвели ни одной из своих букв. Мне хотелось бы сказать и об умении Горького видеть человеческие лица в той массе людей, которая постоянно окружала его. Горький учил нас и продолжает учить пристальному вниманию к человеку, удивительному умению смотреть прямо в лицо и видеть главное, видеть доброе в человеческой душе. Он никогда не был расслабленным гуманистом, гуманистом «вообще». Горький был человеком воинственным в своем стремлении к добру. И в то же время уроки Горького — это уроки любви, это уроки удивительной человечности, и когда мы думаем об Алексее Максимовиче сегодня, мы не можем не сказать об этом. Горький пришел на Украину молодым человеком, который не знал еще всемирной славы. И с самого начала своей жизни до последних ее лет он остался человеком удивительно цельным, не изменился в основных чертах своего характера и в основных достоинствах своей души. Поэтому мне не хочется разделять Горького на молодого и старого, я хочу сказать о Горьком едином, который нужен нам постоянно, изо дня в день, Горький, преподавший нам великую науку любви к народу, к его языку, к его душе. Живя после Горького, мы принимаем на себя огромную ответственность, потому что писать после него, жить в литературе после него можно только очень ответственно и очень честно.



## К. НАИР (Индия)

Я счастлив, что мне удалось принять участие в празднованиях столетия со дня рождения Горького. Почти во всех больших городах Индии мы отметили это крупнейшее событие литературной жизни. Я очень рад, что присутствую здесь, среди вас, вместе с другими прогрессивными писателями со всех концов земного шара. От лица революционно настроенных писателей Индии приношу вам свой скромный братский привет. Мы благодарны великому Горькому за то, что он ведет нас, писателей Индии, по прогрессивному пути социалистического реализма. Я глубоко убежден в том, что Горький — отец социалистического реализма был гигантом, колоссом, гением. Он открыл нам основные принципы социалистического реализма. Каждая эпоха человеческой истории знает своих пророков, своих великих учителей, великих мыслителей, которые вырабатывали новые теории, прокладывали новые пути, которые были для человечества путями к прогрессу. В канун Великой Октябрьской революции в России появился великий Горький, сформулировавший основные принципы теории социалистического реализма. Личность Горького стала примером, которому должны следовать все прогрессивно настроенные писатели во всем мире. Мы, писатели Индии, восприняли Горького как могучий луч света, появившийся на северном горизонте и осветивший все ветви богатой индийской литературы. До этого у нас было очень много дискуссий относительно литературной формы, особенно в области поэзии. Постепенно и содержание стало привлекать внимание. Проза заняла подобающее ей место— авторы романов, рассказов, эссе получили права гражданства в нашей литературе, и их литературные достоинства были отмечены нашей отечественной критикой. Мы обладаем богатейшим литературным наследием, его нам оставила литература на санскрите и на других языках народов Индии. Но мы постепенно начали обогащать нашу литературу завоеваниями литератур Англии, Франции, России. Громадное влияние на индийскую литературу оказал Лев Толстой. Наш великий Махатма Ганди в своей автобиографии пишет о том огромном влиянии, которое оказал Толстой на формирование его мировоззрения. Я могу вам признаться здесь, что к Толстому меня тоже привел Ганди, мое знакомство с высказываниями Ганди о Толстом. Одновременно с открытием мировой литературы те представители нашей творческой интеллигенции, которые принимали участие в национально-освободительной борьбе народов Индии, начали знакомиться с идеями научного социализма, начали организовывать рабочих, крестьян, людей умственного труда. И это стало неотъемлемой частью общего национально-освободительного движения народа Индии за свободу от британского колониального господства. Атмосфера начала проясняться, и, к нашему великому счастью, мы увидели тот луч света, который пришел к нам с севера и позвал нас по пути, освещенному им. Этим лучом света была горьковская «Мать». Нам казалось, что Горький писал о нас, о нашей борьбе, и роман «Мать» вдохновлял нас. Для каждого молодого индийского рассказчика и романиста принципы горьковского творчества, его социалистический реализм стали обязательным примером. «Мать» Горького перевели на мой родной язык еще до того, как я стал достаточно образован, чтобы взять на себя этот почетный труд, но зато я перевел горьковскую трилогию «Детство», «В людях» и «Мои университеты». Меня, как переводчика, конечно, очень обрадовал тот прием, который Горький встретил у нашей читающей публики. Я перевел несколько горьковских пьес и множество рассказов. Сейчас я уже перевел свыше 3000 страниц произведений Горького, которые изданы в семи томах. Очень рад, что и я, переводя

произведения Горького, внес свой скромный вклад в формирование революционного сознания моих соотечественников, жителей штата Керала.

Вы знаете, Индия — многонациональное государство, в котором говорят на разных языках. К счастью, Горький существует в переводах на родные языки всех основных этнических групп, населяющих Индию. Издания Горького на языке хинди стали сейчас популярными и широко доступными по всей стране. Я сам многим обязан Горькому. Я присутствую здесь, потому что являюсь лауреатом премии Неру за литературную деятельность, укрепляющую взаимопонимание и дружбу наших народов. Здесь со мной присутствуют и другие лауреаты премии Неру. Я получил также специальную премию за свои переводы произведений Горького на язык моего родного штата Керала. Я очень рад, что мы сейчас приближаемся к городу, где родился Горький, человек, у ног которого я постиг искусство литературного творчества. Я низко склоняю голову перед великой памятью великого революционного писателя Максима Горького.

## МОХАММЕД ИТАНИ (Ливан)

Мы все отдаем дань уважения Горькому. В начале своего выступления я хотел бы передать горячий привет советскому народу и подчеркнуть великое значение того мировоззрения, ради которого боролся и творил автор «Песни о Буревестнике». Я хочу сказать несколько слов о роли Горького в жизни арабского народа, о влиянии Горького на арабскую литературу и, шире, на арабское революционное движение. Здесь можно отметить три периода. Был период — после 1907 года,— когда наш народ только начинал знакомиться с творчеством Горького; он сменился другим, когда у нас начали появляться произведения, написанные в духе критического и социалистического реализма. Мы можем говорить и о третьем периоде — о Горьком в нашей современности, о Горьком и нашем будущем.

Арабские читатели начали знакомиться с произведениями Горького после 1907 года — в то время, когда в России были созданы книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и роман Горького «Мать». Знакомство с творчеством Горького и влияние его творчества возрастало по мере расширения национально-освободительного движения в арабских странах. Это влияние сказывалось прежде всего в том, что писатели отвергали устаревшие формы и содержание, и литература стала переходить к действительно современному видению мира. Период этот был недолог, и следует сказать, что и тогда и позднее в двадцатые-сороковые годы нашего века произведения арабских авторов были оторваны от социальной жизни. Третий период характеризуется двумя моментами: опубликованием в арабских странах крупных произведений Горького и победой в литературе наших стран реализма, вдохновленного произведениями Горького и советским опытом.

То, что предсказывали Ленин и Горький, в наших странах еще предстоит осуществить; в этом залог будущего арабских стран.

Великая эстетическая, революционная и творческая сила произведений Горького помогает нам в нашей борьбе. И как всякое одухотворяющее начало, творчество Горького будет вечно жить в сердцах наших народов.

## Б. КЕРБАБАЕВ (СССР)

Горький не был в Туркмении, но сегодня он в каждом нашем доме самый милый друг. Наше издательство неоднократно издавало Горького. Издан 16-томник его произведений. Влияние Горького на нашу литературу и читателей огромно. У нас до революции в основном была развита поэзия, зарождались жанры драматургии, проза. В развитии туркменской прозы нам очень помог Горький. Начинающие наши прозаики шли по его путям. Я сам много переводил Горького, сначала — рассказы, потом роман «Мать». Я не только перевел Горького, я как бы прошел, работая над его книгами, университет литературы. Без этого я не мог бы взяться за свой многоплановый роман «Лежачий камень». И сегодня наша писательская молодежь многим обязана Горькому.

Дорогие друзья, я вам расскажу маленькую быль: два туркмена поехали из Ашхабада на своих верблюдах. Дорога была пятнадцатидневная. Четырнадцать дней ни один из них не проронил ни звука. Они молчали, как молчали их верблюды. Наконец на пятнадцатый день один из них воскликнул: «Слава аллаху! Приближаемся, вон виден высокий минарет». На что другой ответил: «Какой ты болтун! А я слепой, что ли?» Вот и я, наверное, из таких болтунов. Я хочу лишь провозгласить славу русскому народу, давшему миру величайших гениев — Ленина, Горького, Пушкина и многих других.

## ЮХАНИ КОНККА (Финляндия)

Я хочу рассказать о Горьком в Финляндии, знакомство с которым в нашей стране произошло в начале XX столетия. В 1904 году в Хельсинки поставили пьесу «Мещане», и Горький сам присутствовал на этой премьере. В Финляндии и сейчас есть люди, ко-

торые хорошо помнят Горького с того времени, особенно с 1906 года, когда Горький скрывался у нас от царских жандармов. Встреча Горького и М. Ф. Андреевой в Хельсинки была великолепной. Перед гостиницей, где они остановились, собралась масса народу, и все требовали, чтобы Горький вышел. Он вышел на балкон и закричал по-фински: «Да здравствует Финляндия!» Ликующие студенты отпрягли лошадей и сами везли Горького в санях по улицам Хельсинки на вечер, устроенный в честь великого писателя. Горький протестовал, но безуспешно! Все это мне рассказал недавно 85-летний финский судья, который был участником восторженной встречи Горького финским народом. Писателя преследовали агенты царской охранки. Самые известные финские писатели и художники помогали Горькому. Когда он скрывался у художника-скульптора Алпо Сайло, тот слепил бюст Горького. Два года тому назад умер очень известный финский писатель и археолог Сакары. Он мне лично рассказал, что тайными путями увез Горького из Хельсинки, откуда Алексей Максимович с одним известным финским поэтом направился в Берлин.

Влияние Горького на финскую литературу огромно. Он повлиял и на меня лично, на мою автобиографическую трилогию «Похождения бродяг». Шутки ради скажу, что творчество Горького повлияло даже и на мой внешний облик. Когда я начал в 1958 году переводить четырехтомник Горького, я отрастил себе бороду, как у многих его персонажей, потому что мне надо было для перевода достоверно знать, каким образом эти горьковские бородачи растили бороду, ухаживали за ней и т. п. В заключение хочу сердечно приветствовать нашу встречу за «круглым столом» от имени всех финнов, которые читают, любят и уважают великого пролетарского писателя Максима Горького.



## МУЛК РАДЖ АНАНД (Индия)

Я привез слова привета и любви всем участникам «круглого стола», который посвящен Горькому. Для моего поколения имя Горького было магическим, было легендой, мифом. Именно ощущение того, что Горький был гением, вдохнувшим жизнь во многое, что создано мной и другими индийскими писателями, и привело меня сюда, чтоб почтить память великого писателя России, одного из первых советских гуманистов и пророка великих перемен, которые преобразовали общество, разделенное классовыми барьерами, в социалистическое общество Советского Союза.

Помню несколько дней, проведенных мной в тюрьме в 1921 году за участие в одной из «кампаний несотрудничества», которыми руководил Ганди. В тюрьме один из революционно настроенных учителей дал мне маленькую книгу Горького, которая называлась «Бывшие люди». Все знают эту небольшую повесть о жизни «золоторотцев» — бездомных бродяг, людей, в ужасных пороках которых было повинно общество, подавлявшее их изначальное стремление жить нормальной человеческой жизнью. Эта маленькая книга явилась для меня откровением. Она была совсем не похожа на романы, которые я читал до сих пор. В ней исчезала граница между жизнью и литературой. В непосредственной, захватывающей дыханье, метафоричной и полной страсти прозе я слышал живой голос Горького. Эта книга открыла мне глаза на то, что можно писать не только о богатых леди и джентльменах, как это было в большинстве романов, прочитанных мной, но и о незаметных маленьких людях, ютящихся в улочках и переулках.

Горький учил нас писать. Он показал нам, что предметом литературы могут стать люди, находящиеся на самой низкой ступени социальной лестницы. Нам, писателям Индии, он помог сойти с небес на землю, обратиться к проблемам современности и современному герою.

Принципиальное значение имеет интерес Горького к кардинальным проблемам человеческого бытия. После Бальзака и Толстого ни один писатель не посвятил себя так, как Горький, единственной страсти — показать духовный рост личности.

Романист в силу специфики своей работы ограничен тем, что он должен только ставить проблемы, а не решать их. Горький не старался подчинить героя своей воле, а давал лишь толчок и направление развитию его характера. Писатель может вызвать в читателях сострадание или ощущение значимости своих героев, и это умение усиливает эмоциональный заряд произведения. Я, как индийский писатель, позволю себе назвать этот процесс «проникновением вглубь» и высказать предположение, что это не всегда ясное, интуитивное знание дано художнику и писателю в большей степени, нежели погруженному в абстракции философу или йогу. Писатель-романист в процессе собственного творчества способен уловить то, что происходит в глубинных слоях души человека. Он постигает тончайшие нюансы ощущений и раскрывает внутреннюю жизнь персонажа — где это возможно — в вечном движении. Задача романиста отнюдь не состоит в том, чтобы выдумывать героев для иллюстрации тех или иных отвлеченных понятий.

Горький развил великое открытие Толстого, заключавшееся в том, что роман должен показывать изменения, движение к добру или злу во внутреннем мире героя. И, продолжая идти путем, указанным его великими предшественниками, Горький, создавая образы своих героев, пользовался принципом динамики характера с удивительным умением. Начиная с «Макара Чудры», рассказа «Двадцать шесть и одна» и рас-

*Б. Кербабаев (СССР), М. Р. Ананд (Индия), М. Турсун-заде (СССР).*

сказа о проститутке, диктующей письма несуществующему любовнику, Горькому удалось заглянуть в самые глубины человеческой личности и открыть истину, обязательную для любого настоящего романиста,— истину, состоящую в том, что задачей романа является проникновение в самые потаенные уголки интуитивного и бессознательного движения человеческих страстей — чтобы осветить их, понять их и привести читателя к катарсису.

Настоящий писатель сознательно или бессознательно стремится к тому, чтобы утвердить дух братства, солидарности и единства, который, я думаю, и создает гармонию в мире. Литература и искусство служат средством для достижения этих целей.

Должно быть, Горький очень четко сознавал роль художественной литературы в жизни человечества и необходимость всеобщего братства, иначе бы он не назвал литературу «человековедением».

Горький видел жизнь как зрелый большой художник. Он явился предшественником современных психологов, раскрыв связь между внешним поведением отвергнутых обществом людей и глубокими психологическими их переживаниями в моменты душевных переломов и прозрений, увидев даже в самых низко падших людях чувство гордости и собственного достоинства. В его книгах стирается грань между литературой и реальностью. Но он понимает сложность человеческих отношений и не стремится создать учебник революции, давая лишь направление, в котором должны идти люди, ищущие свободу. Он всегда оставался великим гуманистом, который не позволял себе пользоваться готовыми формулами, стертыми словами, трескучими фразами. Он отбросил лицемерие и ложь и обнажил человека перед людьми.

Для доказательства того, что Горький был провозвестником новой жизни, я приведу вспомнившиеся мне злые и негодующие слова Эдварда Гарнета, который в снисходительном по тону предисловии к английскому изданию рассказа «Двадцать шесть и одна» писал, что вряд ли английский читатель воспримет грязь и убожество существования описанных Горьким людей. Подобное отношение английской критики выпало и на мою долю, когда я, вдохновленный «Бывшими людьми» и борьбой Ганди за предоставление равных прав неприкасаемым в Индии, написал роман «Неприкасаемый».

Горький выиграл битву за объединение нового поколения писателей Азии, Евразии и Африки, которые стали его последователями.

Ранний Горький дал своим обездоленным героям проблеск надежды. В воспоминаниях Горького есть место, из которого можно понять, как случайно брошенные слова Льва Толстого увеличили и без того бьющую через край любовь Горького к людям. Переход же к пониманию возможности радикальных перемен в жизни произошел под влиянием Ленина, превратившего революцию в искусство, Ленина, проникшего глубоко в дела и мысли людей и открывшего таящиеся в этих людях силы. Его оценка творчества Горького показывает, что Ленин видел, с какой силой таланта Горький изображал своих героев, их душевные переломы, вдохновленный тем, что даже самые падшие из них находили в себе силы подняться и стать лучше. Горький сегодня для нас не только настоящий русский революционер, не только гениальный писатель, продолжающий лучшие традиции русской литературы, не только великий гуманист, но и первый великий писатель Азии, первый провозвестник современного возрождения. Рассказ «Рождение человека» в творчестве Горького — пророческий символ

рождения нового мира. Горький понимал необходимость борьбы, приносящей боль и страдания, но страдания не ради страданий, как проповедовал Будда, а ради возрождения, ради рождения нового общества.

## Б. СУЧКОВ (СССР)



В заключение я хотел бы не подводить итогов нашей работы, а очертить некоторые вопросы, возникшие в связи с обсуждением роли Горького в современной жизни и в мировом литературном процессе. Несомненно, центральной темой «круглого стола» писателей стал вопрос, который очень ясно сформулировал наш испанский друг: какой пример может дать нам Горький сейчас? Вопрос этот возник не случайно. На многих международных симпозиумах и встречах писателей за последние годы обсуждались важные проблемы современной литературной и духовной жизни. Так, шли дискуссии о творчестве Кафки, о месте структурализма в науках, о духе и исследовании искусства. Признавая эти проблемы важными, мы, однако, должны сказать, что их значение отступает перед важностью тех, о которых мы говорили сегодня. Отступает потому, что сейчас снова на повестку дня становятся те проблемы, которые волновали Горького — революционного художника и всю ту литературу, которая возникла в борьбе с реакцией и фашизмом.

На наших глазах рухнул миф о способности неокапитализма разрешить конфликты современного общества. Миф этот растоптан ногами десяти миллионов французских пролетариев, бастовавших и протестовавших против голлизма и против социальной несправедливости. К чести реалистической литературы мира нужно сказать, что она давно обращала внимание на ту опасность, которую несет неокапитализм и его идеология человеку и народным массам. Такие писатели, как присутствующий за нашим «круглым столом» швейцарец Макс Фриш, японский писатель Кобо Абэ, итальянский писатель Гоффредо Паризе, западногерманский писатель Макс фон дер Грюн — я называю характерные имена,— давно говорили о том, что утонченная система эксплуатации, выработанная и применявшаяся неокапитализмом, грозит разрушить самые основы человеческой личности. И естественно, что усиление эксплуатации вызывает рост социального протеста масс. Поэтому сейчас из уст в уста, из одного края мира в другой перелетает слово «революция».

Да, революция — это великое слово, и с ним следует обращаться осторожно. Среди нас находится великий революционный поэт Рафаэль Альберти, творчество которого служит примером истинного понимания роли и места искусства в революционные периоды истории. Можно назвать выступавших здесь наших латиноамериканских друзей — поэтов, а также советских писателей, связавших свою судьбу с революцией. Для всех них она никогда не была абстракцией, митинговым или салонным словечком. Для них свойственно горьковское понимание революции, и в отношении к ней пример Горького ныне исключительно важен, потому что Горький знал, что революция может совершаться народом, для народа и во имя народа. Сейчас же, к сожалению, существуют такие «революционеры» или те, кто называют себя «революционерами», кто готов совершать революцию помимо народа и, если угодно, против народа. И для дальнейшего развития всей мировой литературы горьковское умение понимать душу народа, постигать все сложные ее движения имеет первостепенное значение, ибо только подлинная близость к народу позволяет художнику безошибочно оценить степень зрелости революционных настроений масс.

Еще на один животрепещущий аспект проблемы «Горький сегодня» хочу обратить внимание участников «круглого стола». Сейчас на Востоке и на Западе возникают силы, угрожающие культуре, ее основным, фундаментальным принципам. Во Вьетнаме льется кровь, американское общество фашизируется, в Западной Германии снова возрождается к жизни фашизм, тридцать лет тому назад начавший свой кровавый поход по всему миру. В свое время на каменистых плато Испании фашизм не был остановлен, и мир за это заплатил очень дорого. Сейчас приспело время задуматься над тем, чтобы остановить возрождающийся фашизм. И в современных условиях борьба за культуру, ее великие принципы, за подъем культурного уровня человека, народа и масс становится первоочередной задачей. В этом отношении сам Горький служит нам великим примером. Человек, поднявшийся из низов темной забитой массы на вершины культуры и литературы, он символизирует творческие потенции народа. Всю свою деятельность он посвятил тому, что мы вправе называть истинной культурной революцией в противовес тому чудовищному и отвратительному, что маоисты кощунственно именуют «культурной революцией».

Мы вступаем, и это очевидно для всех, в совершенно новый период истории. Не все ясно, что произойдет в самом недалеком будущем. Но ясно одно: для современного искусства полную силу сохраняет пример Горького, отчетливо выраженная им мысль о необходимости для художника, если он хочет остаться художником, уметь слышать не только голос своей совести, но и живой голос истории, не дать себя обмануть иллюзиям и мифам, которые одурманивают сейчас сознание многих миллионов людей. Глубочайшая историческая проницательность, прозорливость Горького, безус-

ловно, являются для нас живым уроком и живым примером, сохраняющим все свое значение для любых литератур мира. Искусство в нашем меняющемся мире сохранит свое значение только тогда, когда оно само будет меняться, следуя за движениями истории, когда оно само станет активной силой истории. И в этом отношении Горький дорог для нас всех. То направление, которое он открыл в мировом искусстве,— социалистический реализм — властно заявило о себе на нашем «круглом столе». Можно упомянуть в этой связи выступления наших индийских друзей, выступление австралийского романиста Джуды Уотена, нашего ливанского друга, в которых содержалась верная характеристика того значения, какое имеет новое направление для современного искусства и литературы. Я целиком согласен с А. Гравиной, который отвергал и справедливо критиковал то представление о социалистическом реализме, которое складывалось у писателей, не понявших его истинной природы. В сущности, социалистический реализм не требует от художника ничего иного, кроме понимания объективного хода исторического развития и умения отразить это движение в своем творчестве теми художественными средствами, какими художник располагает. Горький объединил нас всех, и это не случайно, потому что в такое сложное историческое время, как наше, необходимо обращаться к непреходящим эстетическим и этическим ценностям, к примеру таких великих художников, как Горький, для того, чтобы мы могли справиться с теми сложностями и задачами, которые каждый день ставит перед нами история.

*Пароход с участниками пленума и зарубежными гостями перед прибытием в г. Горький.*

Г. ГЛЕЗЕРМАН

# ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГУМАНИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

С тех пор, как четыре с лишним века назад Томас Мор предназначил золоту служить материалом для ночных горшков на острове Утопии и выразил горестное недоумение по поводу того, что в других краях «сам человек, через которого и на пользу которого оно получило такую стоимость, ценится гораздо дешевле, чем золото», проблемы гуманизма, отношения к человеку как к высшей ценности мира не исчезали из поля зрения общественной мысли.

Вместе со сменой исторических эпох изменялось и понимание гуманизма. Рождались новые гуманистические идеалы, с возникновением идеологии пролетариата появилось и новое понятие социалистического гуманизма, весьма отличного от буржуазного гуманизма эпох Возрождения и Просвещения. Понятие гуманизма все более связывалось в ходе истории с идеей социализма, с видением нового коммунистического строя, создающего условия для всестороннего развития личности каждого и призванного сменить капитализм, уже давно обнаруживший свою враждебность человеку и человечности.

Однако история гуманизма, весьма интересная сама по себе, лежит за пределами темы, обозначенной в названии этой статьи. Хотелось бы в рамках темы отметить лишь характерный для нашего времени рост внимания к вопросам о положении, судьбах, будущем человека. Я говорю здесь о гуманистической проблематике в широком смысле слова, имея в виду не только положение личности, взаимоотношения между индивидом и обществом, а и вопросы, касающиеся будущности широких масс, народов, самого человеческого рода.

Интерес к этим проблемам вытекает прежде всего из особенностей современной эпохи, революционной в двояком смысле. С одной стороны, это эпоха величайшей научно-технической революции, которая вооружает человека невиданными в прошлом средствами познания и преобразования мира; с другой стороны, это эпоха грандиознейшей в истории социальной революции, которая кладет конец классовому обществу с его эксплуатацией человека человеком, социальным и национальным гнетом и призвана обновить общество и человека.

Издавна известное представление о человеке как властелине природы приобретает сегодня новое содержание. Современная научно-техническая революция властно требует от общества учета последствий его собственной практической, особенно производственной, деятельности, ибо масштабы ее таковы, что их влиянием на условия существования человека нельзя пренебречь. Сознание этой необходимости пробивает себе дорогу и в капиталистических странах, где предпринимаются попытки прогнозировать рост городов, в какой-то мере регулировать развитие производства и т. д., хотя капиталистическому строю по своей природе чужда планомерность и он ограничивает кругозор своих деятелей узкими интересами извлечения прибыли.

В предисловии к сборнику «Социалистический гуманизм», изданному в Нью-Йорке в 1966 году, известный американский философ Эрих Фромм замечает, что гуманизм всегда возникал как реакция на какую-либо угрозу человечеству: религиозный фанатизм в эпоху Возрождения, крайний национализм и порабощение человека машиной и экономическими интересами в эпоху Просвещения. Возрождение гуманизма в наше время есть, по мнению Фромма, реакция на последнюю угрозу, дающую себя знать в значительно более интенсивной форме,— на опасение, что человек превратится в раба вещей, в пленника обстоятельств, которые он сам создал, и на совершенно новую угрозу

физическому существованию человечества, создаваемую ядерным оружием *.

По этому поводу можно сделать по крайней мере два замечания. В современной зарубежной литературе очень часто встречаются упоминания о том, что человек создал силы, которые угрожают его собственному существованию. Его уподобляют ученику чародея, который неосторожно вызвал духов, с которыми сам не может справиться. Однако такая постановка вопроса слишком обща и неконкретна. Кто, собственно, вызвал злых духов, угрожающих человечеству? Человек вообще или тот социальный строй, в условиях которого наука и техника оказались во власти сил, враждебных большинству общества? Даже вынужденный прогрессирующим обобществлением процесса производства рост элементов планомерности в капиталистической экономике и социальной жизни оборачивается против человека, который (мы имеем в виду широкие массы людей) становится объектом государственно-монополистического манипулирования, обезличивающего индивидуальность.

Несомненно также, что возрастание интереса к проблемам гуманизма, справедливо отмечаемое Э. Фроммом, имеет причины не только негативного, но и позитивного характера. Оно связано не только с угрозами человеческому существованию и развитию, порождаемыми государственно-монополистическим капитализмом, а прежде всего с потребностями нового, рождающегося социалистического строя. Идеи научного социализма всегда были внутренне связаны с гуманистическими идеалами. Высшей целью коммунизма является, как известно, расцвет человеческой личности, всесторонне развитый в духовном, нравственном и физическом отношениях человек. Однако путь к этой цели не является гладким и прямолинейным. Известно, в каких трудных условиях рождался социализм в нашей стране. Нам нужно было пройти через все испытания борьбы, чтобы завоевать победу социализма, преодолеть и объективные трудности, и последствия допускавшихся в ходе борьбы ошибок, чтобы создать материальные, социально-политические и духовные условия для развития личности, чтобы все более воплощать в жизнь идеалы подлинного гуманизма. Естественно, что современный этап строительства коммунизма в СССР и социализма в ряде других стран привлек особенное внимание к проблемам социалистического гуманизма. Это связано и с тем, что проблемы гуманизма стали ареной острой идеологической борьбы с буржуазной идеологией, с антикоммунизмом, который все чаще и чаще предпринимает свои атаки против социализма под прикрытием лживых, мнимо «гуманистических» лозунгов.

■

В атаках на марксизм его противники нередко пытаются опереться на... самого Маркса. Опубликование в 30-х годах ранее неизвестных «Экономическо-философских рукописей» Маркса, в которых большое внимание уделено проблемам гуманизма, отчуждения и путей его преодоления, было использовано для создания легенды о «двух Марксах». Один — ранний Маркс, гуманист, больше всего озабоченный проблемами освобождения человека, как такового, другой — поздний Маркс, создатель «Капитала», творец экономической системы, в которой якобы нет места человеку, а принимаются в расчет только классы. Одним из основателей этой легенды был известный ревизионист Г. де Манн, который еще в 1932 году в статье «Вновь открытый Маркс» утверждал, будто вершина марксистской мысли была достигнута в 1843 году и «подлинным» Марксом следует считать не Маркса — автора «Капитала», а молодого автора «Экономическо-философских рукописей».

В позднейшей марксистской литературе было показано, что в этой легенде о двух Марксах нет ни слова истины. Несостоятельно прежде всего противопоставление Маркса-экономиста Марксу-гуманисту. Занимаясь в «Капитале» и других произведениях зрелого марксизма анализом экономических отношений, классовой структуры общества, рассматривая буржуа, землевладельца и т. п. не как личности, а как персонификацию капитала, поземельной собственности, Маркс не уходил от познания человека и человеческих отношений, а, наоборот, нашел единственно правильный путь для раскрытия их общественной сущности. Это было уходом не от гуманизма вообще, а лишь от абстрактного и потому бессильного гуманизма фейербахианского толка, которому Маркс отдавал дань в начале своего творческого пути. В то же время Маркс закладывал основы нового социалистического гуманизма, базирующегося на материалистическом понимании истории и научном анализе капиталистической экономики с позиций пролетариата — единственно последовательного революционного класса, призванного, освобождая себя от эксплуатации, освободить все человечество. Борьба за освобождение человека от всех видов материального и духовного гнета — это высшая цель всей теоретической и практической деятельности Маркса, как в ранний, так и в поздний период.

Однако пути к этой цели, постановка и решение проблем, относящихся к ее достижению, далеко не всегда были одинаковыми. Маркс начинал свой путь, идя от революционного демократизма к коммунизму, от гегелевского идеализма к материализму, он продолжал его как идеолог пролетариата, творец принципиально нового, диалектико-материалисти-

* "Socialist Humanism". An International Symposium. Edited by Erich Fromm. Anchor books edition. New York. 1966, p. VIII.

ческого мировоззрения, являющегося теоретическим основанием научного коммунизма.

В ранних работах Маркса это мировоззрение предстает перед нами как бы в плавильном тигле или жерле вулкана. Оно уже выкристаллизовывается из расплавленной магмы. Мы находим здесь глубочайший философский анализ многих проблем, продолжающих занимать нашу мысль и сегодня, включая ставшую столь популярной проблему отчуждения. Но этот анализ носит еще общий, сравнительно абстрактный характер. Он лишен точности и конкретности работ зрелого Маркса, и его можно рассматривать поэтому лишь в качестве подготовительной к ним ступени. В то же время он сопряжен и с такими представлениями, которые присущи только ранним работам Маркса, и в дальнейшем были им преодолены как односторонние или даже ошибочные.

Однако именно подобные представления извлекаются ныне на божий свет многими противниками и «друзьями» марксизма и объявляются высшим достижением философской мысли. В упомянутом сборнике «Социалистический гуманизм» опубликована статья «Марксов гуманизм сегодня», автор которой некая Рая Дунаевская представлена редакцией как широко известный лектор в США, Западной Европе и Африке и автор ряда книг о марксизме. О политических позициях автора этой статьи можно судить уже по ее заявлениям о том, что венгерская контрреволюция 1956 года (которую она, конечно, именует не иначе, как «революцией») превратила гуманизм из академического в практический вопрос. Но оставим в стороне политические взгляды г-жи Дунаевской, обратимся к ее философии. «Марксов гуманизм,— заявляет она,— не был ни отвержением идеализма, ни принятием материализма, а истиной их обоих и вследствие этого — новым единством».

В ранних работах Маркса действительно встречаются высказывания, в которых он отмежевывается как от идеализма, так и от материализма, имея в виду, очевидно, тот материализм, какой в то время существовал. И вот теперь находятся люди, которые используют эти высказывания для того, чтобы поставить под сомнение или отклонить принадлежность к материализму Маркса, создателя новой формы материализма — диалектического материализма. Утверждают даже, правде вопреки, будто Маркс в своих зрелых работах вообще не называл себя сторонником диалектического материализма, что это наименование придумано-де Энгельсом, хотя работу последнего «Анти-Дюринг», излагающую принципы диалектического материализма, Маркс не только читал в рукописи, но и принимал участие в ее создании.

Присмотримся, однако, к тому, куда ведет и что означает в современных условиях тезис о том, что гуманизм — это не идеализм и не материализм, а их высший синтез. Действительный источник этой идеи в наши дни — не Фейербах и не ранний Маркс, а экзистенциализм с его попытками объявить основной вопрос философии — об отношении сознания к бытию,— как и другие вопросы, касающиеся мира, как такового, псевдопроблемами. Эта философия считает в сущности единственным предметом философии человека смысл его жизни и на этом основании отождествляет себя с гуманизмом. К такому толкованию философии и гуманизма склоняются ныне и некоторые люди, претендующие на то, чтобы считаться марксистами.

Югославский философ Гай Петрович в статье «Марксизм versus сталинизм», опубликованной в журнале «Праксис», подвергает справедливой критике некоторые проявления вульгаризации и упрощения марксистской философии. Однако вместе с тем под флагом критики «сталинизма» он пытается пересмотреть основы диалектического и исторического материализма. Чего стоят, например, его упреки традиционному изложению марксистской философии за то, что в центре диалектического материализма стоят такие понятия, как «материя», «природа», «сознание», «движение» и т. д., а в историческом материализме все вращается вокруг понятий «общество», «производительные силы» и пр. Ни диалектический, ни исторический материализм в их догматической трактовке не содержат, по мнению Г. Петровича, ни слова о человеке как человеке, тогда как одно из основных достижений югославской философии он видит в открытии того, что человек находится в центре подлинной марксистской философии *.

При всей справедливости утверждения о том, что проблемы человека должны быть в центре марксистской философии, никак нельзя согласиться с противопоставлением этих проблем основным категориям диалектического и исторического материализма. Может быть, уместна здесь аналогия. Говоря о методе политической экономии, Маркс заметил, что на первый взгляд кажется целесообразным начать с конкретного — с населения, которое есть основа и субъект общественного производства, и т. д. Но население вообще, если не известно, из каких классов оно состоит, есть пустая абстракция, точно так же, как производство остается такой же абстракцией без анализа имеющихся в обществе производительных сил и сложившихся на их основе производственных отношений. Возникает, следовательно, необходимость расчленить перво-

* „Praxis" № 1, 1967 г., стр. 64.

начально данное конкретное на известные стороны при помощи научной абстракции, выяснить взаимоотношение этих сторон, структуру целого, чтобы получить в конечном итоге богатое содержанием конкретное.

Точно так же обстоит дело и с познанием человека. Хотя Л. Фейербах, К. Грюн и др. провозглашали своим величайшим достижением открытие человека, как такового, этот человек вообще, рассматриваемый как общий знаменатель истории *, был лишь абстракцией. Разумеется, и в этой идее было известное конкретно-историческое содержание, а именно — идеалы буржуазного демократизма,— но сущность человека, рассматриваемого вне истории, вне отношений классов, не могла быть познана научно,— это исключалось самой постановкой вопроса.

Величайшая научная заслуга Маркса состояла в том, что он, покинув абстрактного человека Фейербаха, который, несмотря на свою чувственно данную конкретность, оставался в социальном смысле лишь абстракцией, подошел к раскрытию сущности человека конкретно-исторически, показал, что эта сущность не есть абстракт, присущий отдельному человеку, а представляет собою совокупность общественных отношений. Этим был дан ключ к научному познанию человека, взятого в рамках определенных общественно-экономических формаций, классов и т. д.

Это, разумеется, вовсе не означает, будто Маркс отбрасывает совсем понятие человека вообще. Если рассматривать вопрос в гносеологическом плане, то мы, конечно, имеем дело с сознанием человека вообще, анализируем присущие ему особенности постижения действительности, ее восприятия органами чувств и создания абстрактных понятий. Мы выясняем также место человека в мире, его появление как результат развития живой природы и т. д. Но надо признать очевидным, что научное решение этих вопросов невозможно, если оно не имеет своим исходным пунктом диалектико-материалистическую трактовку основного вопроса философии — об отношении сознания к бытию, если оно не опирается на третируемые Г. Петровичем категории «материи», «сознания», «движения» и т. д. Пренебрежение этими категориями не остается безнаказанным, что наглядно показывают дальнейшие рассуждения того же Г. Петровича, который с серьезным видом ставит на обсуждение вопросы о том, не исключает ли Марксова концепция человека как создателя своего мира, возможность диалектики природы, не преодолевает ли марксистская теория практики традиционную противоположность между материализмом и идеализмом. Сама постановка подобных вопросов знаменует собой разрыв с материалистическим тезисом, подтвержденным развитием всей науки, о том, что человек есть часть природы, исключает возможность научного подхода к анализу происхождения человека. Такая постановка вопроса не удивляла бы нас со стороны последователя экзистенциализма, но она звучит по меньшей мере странно для человека, претендующего на открытие подлинного марксизма.

Понятие человека вообще не отбрасывается Марксом и в его общесоциологическом анализе. В «Немецкой идеологии», в «Капитале», в работах как раннего, так и позднего периода Маркс выявил специфические особенности, отличающие человека от животного, указав, прежде всего, на роль производства, притом производства не только средств существования, но и средств производства. Вслед за Франклином Маркс называет человека животным, производящим орудия производства. Другое дело, что этот тезис, говорящий о сущности человека вообще (в противоположность животному), не может быть противопоставлен тезису о том, что сущность человека исторически изменчива, что люди различных эпох в корне отличаются друг от друга по своему облику, мировоззрению, нравственным устоям и т. д., ибо отражают в себе исторически изменяющиеся общественные отношения (отсюда тезис о том, что сущность человека есть совокупность общественных отношений).

Не менее важно для Марксова понимания человека рассмотрение его как деятельного существа. Уже в «Экономическо-философских рукописях» мы находим чрезвычайно важное в философско-социологическом смысле положение о том, что человек сам производит условия своего существования. Маркс совместил материалистический взгляд на людей как продукт социальной среды с признанием их активной роли в создании и преобразовании этой среды. Ключ к решению этой проблемы дает прежде всего Марксово понимание труда, производства как деятельности, в которой человек изменяет окружающий его мир и вместе с тем изменяет самого себя. Отсюда вывод о том, что **«вся так называемая всемирная история** есть не что иное, как порождение человека человеческим трудом, становление природы для человека», есть история порождения человека самим собою. Человек, по Марксу, сам создает условия своего существования и самого себя *.

---

* Так, например, последователь Фейербаха Карл Науверк писал: «Лишь в новейшее время открыли человека!.. Средние века знали королей, герцогов, рыцарей, священников, монахов, горожан и крепостных, но они не знали человека вообще. Только философская и практическая революция восемнадцатого века выделила то общее мерило, которое лежит в основе всех перечисленных сословий, выявила общечеловеческое и придала ему значение общего знаменателя мировой истории». (Цит. по кн.: П. Берлин. «Очерки общественной жизни и мысли в Германии», 1924, стр. 203.)

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 598.

Конечно, среди условий своей материальной жизни человек застает и такие, которые им не созданы, а именно — естественные условия, например, первозданную географическую среду. Но такие внешние условия не играют, вопреки натуралистическому взгляду, определяющей роли в истории. Решающее влияние на социальную жизнь человека оказывают не эти, от века данные, а исторически сложившиеся условия.

В археологии есть понятие «культурный слой». Им обозначают слой почвы, образовавшийся на месте селений человека из органических и строительных остатков. Чем древнее селение, тем толще этот слой — от нескольких сантиметров до восьми метров в центре Москвы и двух десятков метров в многотысячелетних городах Мессопотамии. Мы живем и строим на этой почве. Подобно этому человека в обществе окружает не только естественная, а главным образом созданная им самим искусственная, или культурная, среда. Каждое поколение застает определенные условия жизни — производства, быта и т. д.,— созданные самими же людьми, но людьми не этого, а предшествующих поколений. Эти условия выступают поэтому по отношению к данному поколению как объективные, не зависящие от его воли, хотя и созданные людьми. Им приходится так или иначе считаться с этими условиями и в то же время изменять их сообразно своим нуждам и потребностям. Таким образом, окружающий человека мир — это, по словам Маркса и Энгельса, «исторический продукт, результат деятельности целого ряда поколений, каждое из которых стояло на плечах предшествующего, продолжало развивать его промышленность и его способ общения и видоизменяло в соответствии с изменившимися потребностями его социальный строй»*. При этом в ходе истории расширяются масштабы деятельности людей, а сообразно с этим и возможности для дальнейшего преобразования окружающего их мира. В этом заложена основа социального прогресса.

Таким образом, вся постановка вопроса о социальной среде у Маркса принципиально отличается от воззрений домарксовых материалистов. Среда («обстоятельства»), формирующая человека, и деятельность самого человека, изменяющего среду, выступают как нераздельное единство, сливаются в практике. Благодаря этому активность субъекта, которая, кстати сказать, особенно возрастает в современную эпоху, не противостоит в философии марксизма его материалистическим основам, не находится в каком-то противоречии с материалистической теорией отражения, которая рассматривает познание человеком мира не как пассивное созерцание действительности, а как ее отражение в процессе и в целях ее преобразования. Точно так же в социальной философии Маркса положение о том, что человек есть продукт общественных отношений, не противостоит тезису о том, что человек есть творец этих отношений.

Выступая творцами социальных отношений, люди всегда уже застают определенные отношения, правда созданные самими людьми, но людьми не данного, а предшествующих поколений и поэтому выступающими по отношению к данным людям в качестве объективных, не зависящих от их воли условий («среды», «обстоятельств» и т. д.). Как бы ни относились люди к тем условиям, которые они застают,— принимают ли они их или самым радикальным образом отрицают,— их деятельность все равно обусловлена данной действительностью и ее противоречиями, которые они могут пытаться либо заглушить, чтобы сохранить существующие отношения, либо разрешить. Я уже не говорю о том, что условия общественной жизни, складывающиеся как результат деятельности всей совокупности людей, всегда выступают в качестве объективно данной среды, в которой формируется, живет и действует отдельный человек.

Все это показывает, что вполне правильный тезис об активной, деятельной сущности человека, о возрастающей роли субъекта в истории вовсе не требует умаления роли объективных условий, отрицания значения социальной среды. Это не лишне отметить, поскольку иногда допускается односторонняя трактовка вопроса. В такую односторонность впадает, на мой взгляд, молодой, способный советский философ Г. С. Батищев, когда он выступает против истолкования общества как существующей «наряду с индивидами» социальной «среды». Человек, по мнению Г. С. Батищева, должен рассматриваться в качестве «самопричины», подобно тому как Спиноза рассматривал субстанцию как causa sui. Человек выступает не просто как часть природы, а «как превращающий остальную природу в свою часть, в часть самого себя...» * Конечно, если общество рассматривается как социальная среда, существующая вне индивидов, в обособлении от них,— это метафизическая абстракция, лишенная реального содержания. Но это не значит, что понятие социальной среды должно быть отброшено вообще или что оно теряет значение, для объяснения условий, направления и мотивов деятельности людей, тех же индивидов. Равным образом успешное освоение человеком мира далеко еще не оз-

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, изд. второе, стр. 42.

* Сборник «Человек, творчество, наука». Философские проблемы. М., «Наука». 1967. стр. 91, 95.

начает, что вся остальная природа превращается в часть его самого.

Не уклонились ли мы, однако, вместе со всеми этими философскими вопросами о сущности человека, его активности и т. д. от своей темы о гуманизме? Нисколько! Дело в том, что теоретическими основаниями социалистического гуманизма являются, прежде всего, диалектико-материалистическое понимание места человека в мире, далее, марксистский взгляд на взаимоотношение деятельности людей и ее социальных условий, наконец, учение марксизма о взаимосвязи общества и индивида. Именно из этих теоретических предпосылок Маркс сделал вывод о том, что для изменения людей, их духовного обновления надо изменить обстоятельства их жизни, сделать их подлинно человечными, а для изменения обстоятельств требуется активная деятельность самих людей, передового класса общества. Совпадение изменения обстоятельств и изменения самих людей было постигнуто Марксом как революционная практика пролетариата, который своей борьбой изменяет действительность и вместе с тем изменяет самого себя, очищается от коросты старого мира. Это придало гуманизму Маркса революционно-действенный, воинствующий характер, столь отличающий его от бессильного морализирования и созерцательного взгляда на мир, составлявших слабости многих предшествующих форм гуманизма.

Социалистический гуманизм немыслим без своей теоретической основы — марксистской философии, диалектического и исторического материализма. Попытки лишить его этой основы неизбежно ведут к подмене социалистического гуманизма абстрактным буржуазным или мелкобуржуазным гуманизмом. Об этом достаточно убедительно свидетельствует история реформизма и ревизионизма. Гуманизм и социализм без материалистического обоснования превращались, например, у М. Адлера и других неокантианцев в рабочем движении в «этический социализм». Социализм рассматривался ими не как закономерный результат развития общества и классовой борьбы пролетариата, а лишь как нравственный идеал, практически недостижимый. Гуманизм же низводился до степени абстрактной христианской заповеди, требующей не желать ничего другому, кроме того, что я мог бы пожелать самому себе. Такой гуманизм оказывался несовместимым с реальными потребностями классовой борьбы пролетариата, порывающей с лицемерным буржуазным «человеколюбием» и утверждающей реальное человеколюбие — любовь к трудовому народу, составляющему подавляющее большинство человечества. Во имя такого подлинного человеколюбия пролетариат ниспровергает капиталистический строй и устанавливает социалистический строй, открывающий простор для свободного развития всех и каждого.

■

Реальность идеалов социалистического гуманизма состоит и в том, что они имеют свое экономическое обоснование. Социализм утверждается не только и не просто потому, что он воплощает в жизнь идеалы социальной справедливости, попираемые капитализмом. Его необходимость обусловлена прежде всего тем, что он является экономически более высоким общественным строем, устраняющим частную собственность на средства производства, которая стала препятствием для развития производительных сил, и устанавливающим общественную собственность, открывающую простор для этого развития. Социализм одержит в конечном счете победу над капитализмом благодаря своим экономическим преимуществам перед ним. В то же время эти преимущества измеряются не только экономическими критериями. Устранение частной и утверждение общественной собственности означают ликвидацию социального паразитизма, основ неравенства между людьми, освобождение труда от эксплуатации, осуществление наиболее справедливого для данного этапа развития общества распределения по труду. Не обеспечивая еще полной социальной справедливости и равенства, социализм решает эти социальные задачи в меру достигнутого уровня развития производства, культуры и самих людей, открывает путь для движения к высшей фазе коммунизма, где будет осуществлено распределение по потребностям, устранены последние остатки социального неравенства и созданы все условия для свободного развития личности.

Да простит нас читатель за то, что мы напоминаем эти общеизвестные истины, ибо они являются ныне объектом наиболее ожесточенных атак со стороны идеологов буржуазии. Суть этих атак сводится к попыткам разорвать связь между экономической эффективностью и гуманистическими идеалами социализма, доказать, будто развитие современных производительных сил делает утопичными эти идеалы, возвращает научный социализм в лоно утопического.

Обратимся прежде всего к рассуждениям известного французского социолога Раймона Арона, избранного недавно членом Французской академии. «Нет доказательств,— пишет он,— тому, что организация, наиболее эффективная для максимально быстрого увеличения общественных богатств, является одновременно и такой организацией, которая распределяет имеющиеся блага наиболее справедливым образом. В общих словах, эффективная экономика не является обязательно справедливой. Справедливое распределение не является непременно таким, которое благоприятствует наиболее быстрому росту...» *

* R. Aron. Dix-huit leçons sur la société industrielle. Paris, Gallimard, 1962, p. 82.

Абстрактно говоря, Р. Арон прав: действительно, более высокая экономическая эффективность не означает обязательно бо́льшую степень социальной справедливости. Более того, в условиях капитализма повышение экономической эффективности, как правило, достигается средствами, совершенно противоречащими требованиям социальной справедливости — усилением интенсивности труда, выматывающей если не физические, то психические силы работников, безжалостным сокращением работников, обрекаемых нередко на пожизненную безработицу, и т. д.

Подойдем, однако, к вопросу исторически, и тогда нам станет ясной ошибка Р. Арона. Смена в истории одной формы экономических отношений другой, более высокой, обычно не только открывала простор прогрессу производительных сил, но и в какой-то мере ликвидировала историческую несправедливость отжившего свое время старого строя. Так, капитализм, как более высокий общественный строй, ликвидировал несправедливость феодально-сословного строя, дворянские привилегии, в той или иной мере правовое неравенство граждан и т. д. Другое дело, какой ценой это было достигнуто и сколько новых форм несправедливости принес с собой капитализм.

Как один из авторов и проповедников теории «единого индустриального общества», Р. Арон игнорирует далее коренные различия во взаимоотношениях между прогрессом производительных сил и нравственным прогрессом при капитализме и социализме. Во всей истории классовых обществ, и особенно при капитализме, повышение производительности труда достигалось путем усиленного разделения труда, имевшего своей основой деление общества на эксплуататоров и эксплуатируемых, покупалось ценой одностороннего развития работника, который в конце концов был низведен до положения простого придатка к машине. Только на базе развития современных производительных сил и глубокого социалистического преобразования общественных отношений создаются условия для уничтожения эксплуатации человека человеком, для обеспечения всестороннего развития работников как необходимой предпосылки дальнейшего подъема производства.

В этом и коренится причина того, что социализм органически соединяет экономику и гуманизм, оторванные друг от друга капитализмом. Что экономика капитализма чужда какому бы то ни было гуманизму — это истина, которая вряд ли требует доказательств. Во всяком случае есть бесчисленное множество свидетельств тому, что мотивом капиталистического предпринимательства является именно прибыль, а вовсе не какие-либо гуманные стремления. В недавно опубликованной книге американского журналиста Фреда Кука «Коррумпированная страна» приводятся ответы бизнесменов и менэджеров на анкету журнала «Бизнес ревью». На общий вопрос о мотивах предпринимателя многие отвечали пышными фразами о его социальных обязанностях, ответственности перед обществом и т. п. Но когда пришлось отвечать на конкретные вопросы, обнаружилась совсем другая картина. «Когда,— пишет Ф. Кук,— каждые четверо из семи управляющих считают, что бизнесмен нарушит любой кодекс морали, если избежит разоблачения, а более четырех из пяти признают существование в их отрасли хозяйства «общепризнанной практики, которая противоречит морали», то вряд ли может подлежать сомнению, что нация, которая до такой степени посвящает себя бизнесу, как наша, стоит перед лицом серьезного морального кризиса» *.

В самой структуре социалистической экономики заложены принципиально иные движущие силы производства. Общее благо при социализме — не абстрактное понятие, а непосредственное выражение господства общественной собственности на средства производства, подчинения производства удовлетворению материальных и культурных потребностей всех членов общества. Гуманизм становится, если позволено так выразиться, необходимым структурным элементом социалистической экономики, без которого нет и не может быть социализма.

Из этого, однако, не следует, будто экономическая эффективность и гуманизм при социализме совпадают непосредственно и автоматически. Конечно, повышение экономической эффективности социалистического производства отвечает интересам всего общества и создает наиболее благоприятные условия для развития его членов. Но возможны и такие случаи, когда на отдельных предприятиях экономическая эффективность, высокая рентабельность достигаются путем урезывания средств на социально-культурные мероприятия, пренебрежения техникой безопасности, перенапряжения работников и т. д. В погоне за высокой рентабельностью производства возможно игнорирование задач гуманизации труда. Очевидно поэтому, что заложенное в природе социалистической экономики единство интересов развития производства и его работников должно быть полностью реализовано путем правильной организации труда, соответствующей гуманистически ориентированной экономической политике. Но это, разумеется, ни в коей мере не умаляет реальности социалистического гуманизма, а лишь указывает на пути осуществления его принципов.

Взглянем теперь на еще одну попыт-

---

* Fred. Y. Cook. "The Corrupted Land. The Social Morality of Modern America". New York, 1966, p. 76.

ку подорвать реальность социалистического гуманизма, предпринятую Гербертом Маркузе, который озаглавил свою статью так же, как называется весь сборник, изданный Э. Фроммом, «Социалистический гуманизм», но только со знаком вопроса в конце. По мнению Г. Маркузе, развитие современной техники разорвало внутреннюю связь между социализмом и гуманизмом. Технический прогресс ведет к концентрации экономического могущества, и этого не могут изменить новые отношения собственности и контроля над средствами производства. Маркс не предвидел современного развития индустриальных обществ. Не только раннюю концепцию Марксова гуманизма (под которой Маркузе подразумевает идею о том, что люди будут постоянно менять род своих занятий), но и концепцию зрелого Маркса о всестороннем развитии индивидов, достигаемом по ту сторону царства необходимости, в свободное время, Маркузе рассматривает как слишком оптимистическую и идеалистическую. Сегодня развитое индустриальное общество создает свободное время, но его обладатель как в капиталистической, так и в коммунистической системах, утверждает он, подчинен тем же нормам и силам, что и в рабочее время, остающееся царством необходимости. «Развитое индустриальное общество — это общество, в котором технический аппарат производства и распределения превратился в тоталитарный политический аппарат, контролирующий и распоряжающийся всеми измерениями жизни, свободным временем так же, как и рабочим, негативным, как и позитивным образом мысли».

Как видим, практику государственно-монополистического манипулирования жизнью индивидов Г. Маркузе выводит непосредственно из научно-технического прогресса, а поэтому объявляет одинаково неизбежной как для капитализма, так и для социализма. Перспективы социалистического гуманизма при таком подходе оказываются весьма проблематичными. Но только до тех пор, пока принимается исходная посылка Г. Маркузе, выводящего степень свободы или, наоборот, порабощения индивида непосредственно из технического прогресса, а не из социальных отношений. Современное производство действительно требует централизованного управления, но отсюда отнюдь не следует, будто для общества и положения индивида безразлично, кто и в чьих интересах его осуществляет: монополии в своих корыстных интересах или само демократически организованное общество в интересах всех и каждого.

Маркузе почему-то истолковывает мысль Маркса об общественно необходимом рабочем времени как царстве необходимости, по ту сторону которого лежит царство свободы, в смысле отрицания возможности привлекательного труда. В качестве доказательства приводится лишь возражение Маркса против идеи Фурье насчет того, что труд станет игрой.

Однако это возражение вовсе не означает отрицания Марксом возможности привлекательного труда. Маркс поясняет свою мысль простым примером: действительно свободный труд, например труд композитора,— это не игра, а дьявольски серьезное напряжение. Таков в действительности всякий творческий труд, не только в области духовного, но и в области материального производства. Творчество свободного индивида соединяет, по мысли Маркса, рабочее и свободное время в коммунистическом обществе. Их единство и обеспечивает всестороннее развитие способностей индивида, расцвет человеческой личности. Вне такого единства не может быть понята и основополагающая мысль Маркса о превращении труда в первую жизненную потребность индивида.

Идея Маркса о творческом труде как форме самореализации индивида имеет фундаментальное значение для социалистического гуманизма. Лишь под этим углом зрения может быть дан, на мой взгляд, правильный ответ и на вопрос о значении материальных благ для развития гуманистических отношений. Известно, что по этому вопросу высказываются два противоположных взгляда. «Левые» отрицают вообще идею гуманизма, проповедуют мелкобуржуазный аскетизм. Они осуждают всякую заботу о повышении материального благосостояния трудящихся как поощрение «низменного чувства», проявление «буржуазного эгоизма и индивидуализма». Материальное благосостояние рассматривается ими как нечто угрожающее моральным качествам индивида. Отсюда — тезисы Мао Цзэ-дуна: «Бедность — это хорошо», «Страшно подумать о том времени, когда все люди будут богатыми», и т. д. Такая постановка вопроса лишает смысла революционную борьбу, которая ведется пролетариатом вовсе не ради увековечения своей бедности, а ради того, чтобы завоевать себе условия для свободной и зажиточной жизни, для удовлетворения своих материальных и культурных потребностей.

Другой взгляд, напротив, сводит к росту материального благосостояния все содержание гуманизма, вульгаризирует коммунистический идеал, отождествляя его с достижением богатства. Это столь же чуждое научному коммунизму представление, как и проповедь аскетизма, идеализация бедности. Коммунизм немыслим без громадного роста общественного богатства, способного удовлетворить разнообразные потребности людей, но его цель далеко не сводится к материальному богатству. Удовлетворение материальных потребностей — лишь средство для всестороннего расцвета способностей и дарований, нравственного и эстетического обновления человека, составляющих высший идеал коммунизма.

Современный капитализм пытается ог-

раничить идеалы человека рамками так называемой «цивилизации потребления». Обладание вещами рассматривается как главная цель жизни. Эту особенность ценностной ориентации личности при капитализме выразил Э. Фромм: «Девятнадцатый век сказал: бог умер; двадцатый век может сказать: человек умер. Средства превратились в цели, производство и потребление вещей стало целью жизни... Мы производим вещи, которые действуют как люди, и людей, которые действуют как вещи. Человек сам превратился в вещь и боготворит продукты собственных рук: он отчужден от самого себя...» *

Человек, зараженный потребительской психологией, теряет самого себя, становится рабом собственных вещей. Он может обрести себя только в таких социальных условиях, когда главным содержанием его жизни становится творчество. Творческий труд в условиях социализма и коммунизма — это одновременно и форма реализации личных способностей и дарований человека, и форма его участия в борьбе за общественный прогресс. Обеспечение «полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества»** — таков, по определению В. И. Ленина, гуманистический идеал социализма.

■

Одной из теоретических основ социалистического гуманизма является, как уже упомянуто, марксистское понимание взаимоотношения общества и личности. Согласно этому пониманию, общество образует целостную систему, в которой и через посредство которой формируется и получает развитие личность. «Только в коллективе,—писали Маркс и Энгельс,— индивид получает средства, дающие ему возможность всестороннего развития своих задатков, и, следовательно, только в коллективе возможна личная свобода»***. Однако общество может представлять собою подлинную или лишь мнимую коллективность, и сообразно этому взаимоотношения общества и личности могут означать действительную свободу или подавление индивидов. Эти отношения исторически обусловлены характером общественного строя, степенью развития социального организма.

Конкретно-исторический подход к взаимоотношению общества и личности принципиально отличает марксистскую методологию решения этого вопроса от абстрактно-метафизического подхода, свойственного как теориям индивидуализма, так и теориям органицизма.

«Основной спорный вопрос — кто кого переборет: индивидуалистическая душа или коллективная человеческая природа — человеческий эквивалент муравейников и ульев». Так формулирует известный английский историк и философ Арнольд Тойнби «величайшую дилемму нашего времени».

Ложная дилемма! В ее основе лежит представление о свободе индивида как его обособлении от общества. Для Тойнби и его последователей индивид и общество противостоят друг другу: на одном полюсе индивид с его неповторимой, одному ему присущей душой, на другом — общество, нивелирующее и обезличивающее человека.

Теория буржуазного индивидуализма, которая лежит в основе этой схемы, была с самого начала ложной. Вопреки этой теории человек никогда не мог развернуть свои силы и способности, достичь свободы вне общества и обособленно от общества. Общество не состояло и не может состоять из одиноких робинзонов. Но несмотря на ложность этой теории, были времена, когда идеи буржуазного индивидуализма играли известную прогрессивную роль. Это было тогда, когда поднимавшаяся буржуазия вела борьбу с феодально-сословным строем. Теперь эти времена принадлежат далекому прошлому. Не освобождение личности от сословных пут, а обоснование «права» сильных господствовать над слабыми, строить свое благополучие на несчастье других — вот чему служит проповедь индивидуализма.

Эта проповедь очень удобна для антикоммунистов. Мы, говорят они, представляем «свободный мир», мы за свободу человека: вы же, сторонники социализма, хотите превратить общество в подобие муравейника или улья, в котором человек лишен как свободы, так и индивидуальности.

В действительности социалистический коллективизм выступает как противоположность индивидуализму, но вовсе не индивиду. Только противники социализма способны приписывать ему представление об обществе как чудовищном Левиафане, которому должен быть принесен в жертву индивид. Такой взгляд действительно проповедуется сторонниками «органических» теорий, требующих от личности отказа от своего «я» во имя целостности нации или государства. Но подобные воззрения не имеют ничего общего с социализмом. Они представляют собою такую же разновидность буржуазной идеологии, как и индивидуализм. Их общая основа — представление о враждебности личности и общества, только индивидуалистические теории пытаются разрешить конфликт между ними, требуя неограниченной свободы личности, а органические теории — путем подавления личности и ее поглощения обществом.

Принципиально иначе решает эту проблему научный социализм. Он исхо-

* E. Fromm. New Knowledge in Human Values. New York, 1959, p. 164.

** В. И. Ленин. Полное собр. соч., т. 6, стр. 232.

*** К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. второе, т. 3, стр. 75.

дит из того, что человек по своей природе — общественное существо и что поэтому конфликт между обществом и личностью не является извечным и неизбежным. Такой конфликт порождается лишь определенными формами общества, в основе которых лежит частная собственность на средства производства, и устраняется с их преодолением. Реальный путь к свободе — это не обособление личности от общества, а расширение связей личности с обществом, создание нового общества и вместе с тем нового человека. Свобода человека, замкнувшегося в «башню из слоновой кости»,— это иллюзия. Человек не может жить в обществе и быть свободным от общества. Но он может создать такое общество, при котором обстоятельства его жизни будут подлинно человеческими и он сам станет подлинным человеком. Эта историческая задача и решается социализмом, и еще в большей мере коммунизмом, воплощающими в жизнь самые высокие идеалы гуманизма.

Осуществление свободы личности — исторический процесс. Он требует определенных материальных предпосылок, совершается при конкретных исторических условиях, от которых нельзя отвлекаться, не рискуя впасть в абстрактный гуманизм. Известно, например, что строительство социализма в нашей стране происходило в классовой борьбе, подчас очень острой и жестокой. Острота этой борьбы была порождена не нами, а нашими противниками, сопротивлением врага. Но условия борьбы ставили в то время определенные рамки степени развития демократии, свободы. Не считаться с этим, требовать неограниченной свободы для всех, включая элементы, враждебные социализму, отрицать во имя ложно понятого гуманизма необходимость принуждения по отношению к подобным элементам значило бы покидать почву марксизма.

Такой абстрактный гуманизм сплошь да рядом проповедуется под видом «марксизма». В изображении ревизионистов правого толка классовая борьба пролетариата выступает как нечто противоположное гуманизму. Они осуждают применение революционного насилия к врагам социализма, рассматривая его как «негуманный» акт. Но что общего между подобной слезливой проповедью и революционным марксизмом-ленинизмом, который стоит на позициях непримиримой классовой борьбы с врагами социализма и осуждает попустительство им как измену делу социализма?

Характерно, что в противопоставлении гуманизма классовой борьбе пролетариата ревизионисты «справа» и «слева» единодушны. Но если правые ревизионисты осуждают или стараются притупить классовую борьбу ради «гуманизма», то «левые», наоборот, объявляя себя сторонниками классовой борьбы, призывают выбросить за борт идею гуманизма. Так, например, китайская печать обвиняет советское искусство в том, что оно «замахнулось мечом гуманизма на завоевания революции». В своих официальных документах группа Мао Цзэ-дуна заявляет, что выступает против попыток выдавать коммунизм за гуманизм, утверждает, что гуманизм есть буржуазное понятие. Уместно заметить, что таким способом искажается не только содержание идеи гуманизма, которая в понимании марксистов-ленинцев является идеей социалистической, в корне отличной от буржуазного гуманизма, воплощающей интересы освобождения всех трудящихся, а не одной избранной верхушки общества. Искажается и марксистско-ленинское понимание классовой борьбы, которая сводится к голому насилию, к одним лишь вооруженным столкновениям, вследствие чего игнорируется все многообразие форм и средств классовой борьбы.

В противоположность правым и «левым» оппортунистам марксисты-ленинцы исходят из нераздельного единства гуманизма и революционной борьбы. В обществе, где сталкиваются друг с другом антагонистические классы, где остается необходимой борьба с эксплуататорскими классами или, по крайней мере, с их остатками, нет иного пути к осуществлению идеалов гуманизма, кроме последовательного доведения этой борьбы до конца. Всякая нерешительность, всякое послабление врагам социализма могут только мешать осуществлению гуманистических идеалов.

В борьбе за гуманизм приходится, когда этого требуют обстоятельства, применять и «негуманные» методы — такова суровая реальность классовой борьбы. Для сторонников абстрактного гуманизма здесь заключено непримиримое внутреннее противоречие. Они осуждают всякое насилие как «негуманное» дело, выступают против всяких ограничений свободы и демократии, даже если эти ограничения направлены против врагов свободы. Практика классовой борьбы убедительно свидетельствует о том, что единственно реальным результатом подобного «прекраснодушия» становится реставрация капиталистических порядков, торжество контрреволюции, которая использует свою победу для организации кровавых расправ над трудящимися, над революционными силами.

В свете сказанного можно оценить по достоинству рассуждения югославского автора Данко Грлича, который решительно возражает против «использования негуманных методов во имя будущего гуманизма». Осуждая применение революционного принуждения в борьбе за коммунизм, Д. Грлич ставит вопросы: «Не является ли это оправданием негодных средств во имя достижения высокой цели?» «Какой может быть цель, для достижения которой применяются прямо противоречащие ей средства?» «Можно ли ожидать, что после длительного плавания

на корабле, команда которого из-за жизненных тягот вообще перестала мыслить и чувствовать по-человечески, на горизонте появится новая обетованная земля — берег гуманности?»*

Не будем касаться темы о «жизненных тяготах», затронутой в последних словах Д. Грлича. Заметим только, что несмотря на огрубление нравов, неизбежное в нечеловечески тяжелых условиях, борцы за свободу народов, за торжество социальной справедливости показали высочайшие образцы человечности, и этого у них никто не отнимет.

Обратимся к основной мысли Д. Грлича о недопустимости негуманных методов во имя осуществления гуманизма. Конечно, марксисты не являются сторонниками принципа «цель оправдывает средства». Они отстаивают необходимость адекватности цели и средств; низменные средства отвергаются ими не только потому, что унижают их человеческое достоинство, достоинство борцов и революционеров, но и потому, что мешают воспитанию людей, способных осуществить великие идеалы социализма.

Однако вся проблема адекватности цели и средств поставлена Д. Грличем крайне упрощенно. Он игнорирует то обстоятельство, что средства определяются не только характером цели, но и условиями, обстановкой борьбы за ее осуществление. Американский марксист Говард Селзам совершенно правильно заметил: «Средства, при помощи которых социализм может быть достигнут, определяются не только природой социализма как цели, но также природой буржуазной государственной власти, степенью развития демократии, относительной силой противостоящих социализму классов, конкретной ситуацией и т. д... Если бы средства достижения социализма определялись целиком природой социализма, все было бы очень просто. Тогда не было бы классовой борьбы и не стоял бы вопрос о соотношении цели и средств. Но в действительности эти средства определяются также природой капитализма со всеми орудиями увековечения его господства — начиная с контроля за всем государственным аппаратом и аппаратом массовой пропаганды и кончая угрозой фашизма и ядерной войны» **.

Вот такого трезвого марксистского подхода к проблеме, подхода с позиций классовой борьбы, и не хватает Д. Грличу. Какие средства необходимы для того, чтобы преодолеть сопротивление классового врага? Можно ли решить эту задачу «гуманными» средствами «непротивления злу»? Можно ли отстоять свободу для трудящихся, предоставив свободу действий их врагам? Право, для ответа на эти вопросы даже не обязательно быть марксистом, достаточно трезво учитывать позицию различных классов и соотношение их сил. Уместно вспомнить в связи с этим слова Авраама Линкольна о различном понимании свободы: «Когда пастух вырывает овцу из пасти волка, овца благодарна за это пастуху как своему освободителю, тогда как волк обвиняет его в нарушении его свободы». Абстрактно подходить к вопросу о свободе это значит отстаивать «равное» право для волков пожирать овец и для овец спасать свою шкуру.

С абстрактных позиций применение негуманных средств во имя гуманизма — недопустимое противоречие. В реальной жизни — это необходимость, вызванная не нашими желаниями, а нашими врагами, их сопротивлением, жестокостью, безжалостностью, кровожадностью. И марксист может осуждать негуманность средств лишь в той мере, в какой она не оправдана этой необходимостью, переступает разумные границы, превращается в бессмысленную жестокость. В этом случае средства действительно вступают в противоречие с целью и поэтому не могут вести к ее осуществлению.

Но таким же противоречием чревато и мягкосердечие по отношению к врагам; боязнь применить решительные меры по отношению к немногим оборачивается неизмеримо более тяжелыми жертвами для многих. А. М. Горький вспоминает, что в начале революции ему не раз приходилось говорить с В. И. Лениным о жестокости революционной тактики. Чего вы хотите? — удивленно и гневно вопрошал Ленин. Он напоминал Горькому о небывало жестокой борьбе, о блокаде Советской России со стороны капиталистических держав, о происках контрреволюции и ставил вопрос в упор: а мы — что же? Не должны, не вправе бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки... Глядя на детей, Ленин как-то заметил, что они будут жить лучше нас; многое из того, чем жили мы, они не испытают, их жизнь будет менее жестокой... А все-таки, добавил Ленин, я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Все будет понято, все!..

Любовь к людям и ненависть к врагам человечности — это две диалектически взаимосвязанные стороны социалистического гуманизма, требующего, по словам А. М. Горького, «ненависти ко всему, что заставляет страдать, ко всем, кто живет на страданиях сотен миллионов людей»*.

Диалектически взаимосвязаны в социа-

* Zbornik "Smisao i perspective socijalizma". Zagreb, 1965, str. 27, 28.

** Howard Selsam. "Ethics and Progress. New Values in a Revolutionary World". New York, 1965, p. 91.

* М. Горький. Собр. соч., т. 27, 1953, стр. 466.

листическом гуманизме и забота о всем обществе и каждом отдельном человеке. Не видеть за массой отдельного человека с его нуждами и потребностями — значит изменять социалистическому гуманизму, лишать действенной силы и заботу об общем благе, превращающуюся в этом случае в пустую абстракцию. Вместе с тем известная формула «Манифеста коммунистической партии» о том, что «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» не может истолковываться в индивидуалистическом смысле, в смысле приоритета освобождения личности над освобождением массы. Смысл этой формулы в том, что в противоположность элитарным требованиям свободы для избранных она считает необходимым условием общей свободы свободное развитие каждого члена общества. Освобождение массы и освобождение личности — это взаимообусловленные процессы, но личная свобода всегда является функцией развития общества, определяется существующими в обществе экономическими, политическими и культурными условиями.

Прогресс социалистического общества внутренне и неразрывно связан со все большим развитием демократии, с воплощением в жизнь принципов социалистического гуманизма. Свобода в марксистском понимании — это не только свобода от чего-нибудь — свобода от эксплуатации, нищеты, бескультурья и т. д. Ее содержание не исчерпывается негативными признаками. Это и свобода для чего, свобода для многообразной деятельности, для всестороннего развития способностей человека, для раскрытия им своего «я». Это свобода строить и укреплять новый мир, участвовать своим трудом и разумом в развитии и совершенствовании социалистических отношений. В такой работе развиваются и личная инициатива, и сознание коллективной ответственности за порядок в нашем большом общем доме, и все другие качества, которые отличают человека — хозяина своей страны. Реализация принципов социалистического гуманизма означает, что забота общества о развитии личности и личности о развитии общества должны быть взаимны. В этом залог успешного развития социалистического общества и вместе с тем роста самой личности, ее духовного и нравственного совершенствования.

Советская страна перешагнула в минувшем году полувековой рубеж своей жизни. Ее история за полвека — это летопись действенной борьбы за претворение в жизнь гуманистических идеалов, начертанных на алых стягах Октября.

ФРЭНК ХАРДИ

# ПАСЫНКИ АВСТРАЛИИ

**Фрагменты из книги**

*Перевод с английского*
*И. ГУРОВОЙ*

Когда Капитан-Майор приехал в Сидней, чтобы подлечиться, он сказал, что, вернувшись на север, поедет прямо в Ньюкасл-Уотерс, а потом на рождество отправится с Эми в Уэйв-хилл.

Мы устроили прощальный вечер. Он произнес трогательную речь. Как принято у аборигенов, он повторил то, что говорил каждый день, и добавил «новое слово». Он сказал, что разобрался в том, как скотоводы грабят аборигенов. Когда они устроили забастовку в Ньюкасл-Уотерс, то уже отобрали тысячу шестьсот голов скота. Когда же он пошел в контору, то после уплаты долга в лавку получил на руки только восемь шиллингов. И тогда я сказал Рою Эдвардсу: «Эти быки стоят по тридцать фунтов каждый, а я получил только восемь шиллингов!» От кого-то он услышал, что в газетах писали, «как эти американцы обзавелись землей в Территории. Пора, чтобы и у аборигенов была земля, а не у этих иностранцев. Когда я вернусь в Дарвин, надо будет устроить митинг аборигенов, всех аборигенов».

Заключил он свою речь многозначительным сообщением. (Перед этим он спрашивал меня, что значит его имя — «Капитан-Майор», а я ответил: «Ну, это армейское звание. Так тебя, наверное, назвал какой-нибудь белый».) «Все меня называют Капитан-Майором, — сказал он. — Раньше это было правильно. Но мое настоящее имя гуринджи — Лупгна Джиари. И теперь в газетах и везде меня должны называть так — Лупгна Джиари!»

## «ВСЕ ДОЖДИ ПРОШЛИ, А МЫ ЖДЕМ»

— Ты приехал как раз вовремя, — сказал Билл Джеффри. — Вот и не верь после этого в телепатию!

Мы с ним шли к его дому в сопровождении ватаги любопытных ребятишек. Он продолжал:

— У нас просто больше нет сил. Худшего дождливого сезона я не запомню. Энн расхворалась. Аборигены совсем замкнулись в себе, а восемь скребов вернулись на станцию и начали работать. Иди-ка вперед. Давай удивим Энн!

Я поднялся по наружной лестнице в кухню. Билл шел позади. Энн Джеффри лежала на кушетке в гостиной. Жужжал вентилятор, но в комнате все равно было душно и жарко, как снаружи. От Энн, которую я знал в сентябре — энергичной, полной жизни женщины, — осталась только тень. Она казалась измученной физически и душевно. При виде меня она расплакалась. Потом встала и обняла меня почти с истерической радостью.

Вошел Билл с запотевшими жестянками пива. Мы начали разговаривать, как

Окончание. Начало в № 10.

старые друзья, встретившиеся после большого перерыва: бессвязно, горячо, обо всем сразу. Жаль, что аборигены позволили горстке скебов вернуться на работу. Билл и Энн чувствуют, что начальство в Дарвине настроено против них; они не уверены, можно ли было доверять всем, кто до сезона дождей приезжал в Уэйв-хилл, «помогать» аборигенам; их измучила полная отрезанность от всего мира, затерянность в огромной австралийской пустыне, а главное, им кажется, что аборигены перестали им доверять, даже дети в школе не хотят ничему учиться у Энн.

— Пожалуй, я схожу в лагерь, — сказал я.

— Я скажу Опоссому, чтобы он сбегал за Винсентом и остальными, — предложил Билл.

— Нет, я пойду туда сам.

И без меня хватает белых, которые командуют аборигенами, как хотят!

По дороге в лагерь я увидел грузовик — осенью это был символ надежды, а теперь он с пустым баком бесполезно ржавел под навесом из сучьев. Аборигены перенесли свой лагерь из русла реки на холм позади дома. До него было около двухсот пятидесяти ярдов. Они построили хижины из жести — самые примитивные, но не хуже тех, в которых они жили до начала забастовки. Навстречу мне вышел босой человек. Это был Пинчер Мангари, который в сентябре толковал со мной о племенных землях гуринджи. Мы обменялись рукопожатием.

Впереди в дальнем конце лагеря я увидел большой, высокий навес. Туда в молчании сходились мужчины, среди которых я узнал Винсента Линджиари, Джерри и Хромого Мика — с Миком я познакомился в Дарвине, куда его привозил Брайен Мэннинг в тщетной попытке выхлопотать ему компенсацию за увечье, наделившее его прозвищем. Я пожал руку Винсенту Линджиари и оглянулся в поисках Длинного Джонни, который вскоре появился с предназначенным для меня железным стулом.

Я почувствовал, что они считают нашу встречу очень важной, и предоставил говорить им. В прошлый раз я сумел преодолеть их недоверчивость, но с тех пор много воды утекло по руслу Виктория-ривер, и я опасался, что они опять станут со мной сдержанными. Многие белые из-за этой сдержанности считают аборигенов лживыми и скрытными, но она объясняется желанием оградить племенные верования и обычаи от бесцеремонного вмешательства. Мне казалось, что я не утратил их доверия, однако на карту было поставлено слишком много и не следовало исходить из предвзятых представлений. Племя разбрелось — одни отправились работать в Кэмфилд и Монтеджинни, другие вернулись на станцию Уэйв-хилл, кое-кто еще задержался в Дарвине, так что в Уэйв-хилл оставалось только тридцать пять мужчин с женами и детьми, а компания была уже готова нанять вместо них белых пастухов.

На мой взгляд, решить надо было следующие вопросы: по-прежнему ли они хотят вернуть племенные земли, чтобы самим разводить на них скот? Должны ли пастухи гуринджи и дальше работать в Кэмфилде и Монтеджинни? Не лучше ли им всем вернуться в Уэйв-хилл, если им гарантируют повышение заработной платы и улучшение жилищных условий? Если же нет, то не следует ли воздействовать на скебов, чтобы они вернулись в лагерь?

Они расположились вокруг меня на одеялах и кусках парусины. Солнце уже заходило, но воздух все еще был душным и неподвижным.

Длинный Джонни поднял камушек и, разглядывая его, сказал:

— У нас маловато припасов, Фрэнк. Осталось только немножко консервов и хлеб. А сахара нет совсем.

Я заверил их, что, как только дороги подсохнут, из Дарвина прибудет грузовик с продовольствием и одеждой. Вновь наступило молчание, затем Винсент сказал:

— Мы уже давно ждем, когда приедет Декстер.

Я объяснил, что Декстер вернулся на работу в профсоюзе.

— Я увижусь с ним в Дарвине и скажу, чтобы он приехал.

Новое молчание. Но я почувствовал, что они еще не коснулись того, что для них было самым важным. Они казались вялыми и апатичными — но ведь они продержались семь месяцев в самых неблагоприятных условиях! Главное было одно: узнать, чего они хотят, и помочь им, даже если они захотели бы прекратить забастовку.

# РАССКАЗ ВИНСЕНТА ЛИНДЖИАРИ

До начала дождей к нам приезжало много людей. Одни нам помогали и говорили, чтобы мы не возвращались в Уэйв-хилл. Другие говорили, что надо вернуться. Даже один абориген уговаривал нас вернуться. Он сказал, что мы должны вернуться по закону аборигенов. Он сказал, что прошел самое главное посвящение. И еще он сказал: «Когда белые устраивают забастовку, они не уходят, а идут к хозяину и говорят с ним про все. Я сам работал у белого и начал с пяти шиллингов, а теперь я получаю равную плату».

«Ты работаешь на Обеспечение?» — это я спросил. А он сказал: «Да. И это все хорошие люди. И Том Фишер хороший человек. Вам бы лучше вернуться». А я сказал: «Я не вернусь»,— и больше я с ним говорить не стал.

С ним было двое белых из Обеспечения, и они сказали: «Мы покажем тебе новые деньги — столько, сколько ты будешь получать, если вернешься в Уэйв-хилл». Тут он отсчитал деньги и положил их в кучку, потом отсчитал еще и положил сверху. Потом убрал часть в карман. Потом положил еще одну кучку, и еще одну, и еще одну — на жену, на детей, на одежду. Вышло четыре доллара. Тогда я сказал: «Этого нам не надо. Мы раньше получали шесть долларов. Мы хотим получать больше».

И они ушли. Потом нам сказали, что я, Пинчер и Длинный Джонни должны ехать в Дарвин разговаривать с большим начальником из Обеспечения. Мы переночевали в Бэготе, а утром пошли к нему, и он стал спрашивать, почему мы ушли, и еще про все остальное. А я сказал: «Зачем вы про это спрашиваете? Ведь я все это раньше много раз говорил». А главный начальник сказал, что об этом хочет узнать начальник в Сиднее. «Ну, так скажите ему, что мы не вернемся».

«А когда у вас кончатся деньги?» — сказал он. «У нас есть деньги, спрятанные в надежном месте». А он сказал: «Этого вам не хватит до конца дождей». И тогда я ему сказал: «Не беспокойтесь. Мы будем есть нашу пищу, какую ели люди в старые времена, когда белых еще не было. Пищу наших отцов и дедов, нашу пищу».

Он сказал: «Почему вы упрямитесь?» А я сказал: «Нет, я пойду своим путем и сам буду теперь управлять моей жизнью».

«Нет,— сказал он.— Так говорить нельзя». И он взял свою шляпу. Тогда вошел еще один и сказал: «А вы о детях подумали?» А я сказал: «О детях не беспокойтесь. Билл Джеффри поможет нам заботиться о них». «А где вы будете жить?» — спросил он. Я сказал: «Страна гуринджи очень большая: от Уотти-крик и Сил-Гордж до Лимбунья-роуд. Там где-нибудь я и хочу жить. Это все земля гуринджи». А он сказал: «Из этого ничего не выйдет. Вы должны жить при Обеспечении. Я должен вам помогать». «Теперь поздно,— сказал я.— Пусть нам будет хуже, но мы должны идти теперь своим путем. Нам Обеспечение больше не нужно. Мы нужны Обеспечению. А нам Обеспечение не нужно».

Он сказал: «Но ведь человек от Обеспечения проверял станцию Уэйв-хилл каждый год?» А я сказал: «Ну, не знаю. Я никого не видел. Только я знаю, что каждый человек от Обеспечения разговаривает с Томом Фишером. Со мной он не разговаривает. И на стоянки объездчиков не приезжает. Все люди от Обеспечения едут прямо на станцию. Это я знаю. Обеспечение должно было бы ездить по стоянкам и говорить со всеми. А теперь поздно».

Пинчер сказал им то же самое. «Почему вы не хотите поступать с аборигенами по справедливости? — сказал им Пинчер.— Почему белый всегда получает больше? Эта земля там была землей гуринджи». И Длинный Джонни сказал им то же самое.

Ну, после этого мы вернулись в Уэйв-хилл. На рождество приехал Капитан-Майор. Его настоящее имя, имя гуринджи — Лупгна. Мы с ним обо всем поговорили, и я рассказал ему про наш план — про землю гуринджи, про то, о чем мы говорили с Фрэнком Харди; и я ему сказал: «Ладно, Лупгна, женись на своей девушке из Боролула, а потом возвращайся в Уэйв-хилл и помоги нам построить поселок на Уотти-крик». Он сказал: «Ладно, Винсент, это хорошая мысль».

Как-то Билл Джеффри сказал мне: «В Кэмфилде и Монтеджинни требуются пастухи». Но я сказал: «Нет, нам нужно быть всем вместе тут, на нашей земле. Но молодые хотят опять ездить отбирать скот. Они любят эту работу». А Билл Джеффри сказал: «Они будут получать правильные деньги. Как белые». И я сказал: «Ладно, пусть молодые пастухи поедут туда на три-четыре месяца, а потом вернутся». И они уехали.

Все время шел дождь, и мы ждали. И я все думал: люди гуринджи разбрелись сейчас, как бычки. Одни едят тут, другие там. Это неправильно. После конца дождей, когда река спадет, я поеду в Кэмфилд и Монтеджинни и пригляжу, чтобы молодые парни вернулись сюда. И надо послать в Дарвин сказать, чтобы оттуда тоже вернулись. И пойти на станцию Уэйв-хилл поговорить с этими скебами. Я приду к ним и поговорю с ними как надо. Я скажу им: «Теперь нам все нужно делать правильно. Всем вместе в краю гуринджи».

А пока мы должны ждать тут, чтобы кончились дожди. А тогда, может, кто-нибудь приедет из Дарвина, и мы починим грузовик. Может, Декстер Дэниелс приедет еще раз или Пэдди Кэрол, Джордж Гиббс, Брайен Мэннинг. А потом, может, Фрэнк Харди приедет из Сиднея. Он сказал, что вернется. И мы все устроим митинг и решим, как надо действовать дальше.

Все реки и ямы полны воды, а скот совсем разбрелся. Иногда мы находим бычков, которые завязли в грязи, и мы их вытаскиваем. Мы не даем скоту умирать.

Дождь все идет и идет, а мы ждем. Я слушаю дождь, и у меня на душе тревожно: может, мы не уйдем на Уотти-крик? Может, никто не приедет из Дарвина? Может, они все про нас позабыли? Может, парни не будут больше слушать стариков?

Мы умеем ждать. Но чего мы ждем? Вот что меня тревожит.

Я старался отгадать, о чем они думают, и вглядывался в их лица. Чаще всего я смотрел на Винсента Линджиари. Он стоял босой, без шапки, в уголке его глаза чернела мушка.

— Ты видел Лупгну... Капитан-Майора? — спросил он.

— Да, видел недавно в Дарвине. Мы с ним хорошо поговорили,— ответил я.

— Это хорошо, Фрэнк.

Я думал, что он будет продолжать, но он замолчал.

К нам подошел какой-то молодой абориген. Длинный Джонни сказал:

— Это Эдди. Он учитель. Он умеет читать и писать. Пришел из Юндуму, чтобы быть с нами.

— Ты меня помнишь, Фрэнк? — спросил высокий абориген, куривший трубку без мундштука. Его лицо показалось мне знакомым.

— Конечно, помню. Ты Бэнди. Ты работал в полиции.

— Да. А теперь я бастую. Мне полиция не нравится. Я помогал тебе против Тома Фишера. Но с ним ничего не случилось. Он все еще тут.

Вновь наступило долгое молчание.

Я решил не упоминать о том, что Лупгна рассказал мне про план установить точную границу их племенной земли и устроить свою скотоводческую станцию. Если этот план — самое важное для них, то они должны первые о нем заговорить.

— А еще где-нибудь пастухи-аборигены бросили работу? — спросил Длинный Джонни.

Я рассказал им о моих впечатлениях от поездки в Майнт-Айза и о разговорах, которые у меня тогда были с разными людьми.

— Конечно, новый отбор еще не начался. Вода еще не сошла. Но, может, с приходом сухого сезона начнутся новые забастовки. Во всяком случае, все аборигены, с которыми я разговаривал, слышали про то, что вы здесь бастуете. Благодаря вашей забастовке они получают теперь больше денег. Не правильные деньги, но все-таки четырнадцать долларов вместо шести. И они думают, что вы, гуринджи, умеете бороться ради всех аборигенов Территории.

Потом я спросил их про скебов, хотя и считал, что Билл Джеффри тут несправедлив к ним: нельзя же требовать от никогда не состоявших в профсоюзе аборигенов, чтобы они точно следовали правилам, выработанным белыми профсоюзами для своих членов.

После неловкого молчания Длинный Джонни сказал:

— Мы не виноваты. Мы им говорили, чтобы они туда не ходили.

— Мы тут все понимаем,— добавил Джерри.— И никто туда больше не пойдет.

— Те, кто ушел, почти все вальбири,— объяснил Пинчер.— Восемь или девять вальбири, а гуринджи только два.

Я посоветовал им побывать на станции, когда спадет река, но он ответил твердо:

— Мы не хотим, чтобы они сюда возвращались. Мы теперь все делаем правильно..

Винсент сказал резко:

— Попозже я скажу, чтобы гуринджи вернулись.

Мы условились встретиться на следующее утро.

— Мы должны говорить верные слова, говорить свои мысли,— сказал я.

Пинчер отправился проводить меня. Когда мы прощались, он сказал:

— Знаешь, Фрэнк, мы покончили с Обеспечением.

На другой день после завтрака я снова пошел в лагерь. Мужчины уже собрались под большим навесом, и железный стул стоял на своем месте. Пинчер вышел мне навстречу и сообщил мне, что вчера вечером они устроили митинг всего племени.

Винсент Линджиари сказал:

— Что тебе в Дарвине говорил Капитан-Майор? — и когда я ответил, он добавил: — Верно. Мы уйдем на Уотти-крик и построим там поселок.

Он так сразу взял быка за рога, что я совсем растерялся. Остальные начали оживленно обсуждать эту тему, повторяя все доводы, которые Капитан-Майор приводил в пользу Уотти-крик. Это очень хороший край, много воды, хорошие пастбища.

С нетерпением и плохо понимая сущность дела, они слушали мои объяснения, что Гордон Брайент — «хороший белый в канберрском парламенте» — прочел наше письмо, но что «правительство и главный начальник Обеспечения Барнс не стали слушать и ничего не сделали».

Винсент Линджиари сказал твердо:

— А зачем нам этот канберрский парламент? Уотти-крик — земля гуринджи, и мы пойдем туда.

— Ну, ладно,— сказал я наконец,— чтобы построить этот поселок, вам нужно все хорошенько обдумать. Как вы туда доберетесь? Что надо сделать сначала?

— Ну, сначала мы должны починить грузовик,— сразу же ответил Винсент.— Может, ты пошлешь телеграмму в Дарвин? Чтобы Пэдди Кэррол или Джордж Гиббс прислали запасные части с самолетом, а?

Другие попросили меня, чтобы заодно прислали муки, спичек, сахару, чаю, гвоздей, проволоку и инструменты.

— Но ведь Билл Джеффри давал вам все это! — сказал я с недоумением.— Кроме сахара, но скоро он получит и его.

Пинчер вынул трубку изо рта, сплюнул и сказал неуверенно, словно опасаясь меня обидеть:

— Я же тебе вчера говорил, Фрэнк. Мы покончили с Обеспечением. Билл Джеффри и его хозяйка — хорошие люди, друзья аборигенов, а вот люди из Обеспечения... Мы покончили с Обеспечением, Фрэнк.

Так вот чем объяснялось их отчуждение, на которое жаловались Билл и Энн! Винсент сказал, подтверждая мою догадку:

— Если мы будем брать припасы от Обеспечения, они захотят прийти и на Уотти-крик. Билл Джеффри скоро совсем уедет отсюда, мы слышали, как он говорил про это. А мы не хотим, чтобы на Уотти-крик пришли люди из Обеспечения.

Решение их было непоколебимо. Обеспечение всегда принимало сторону белых против них. И до начала забастовки, и после.

— Билл Джеффри всегда вам помогал. Он ведь ничего плохого не делал? — осторожно спросил я, нащупывая почву.

— Да,— ответил, помолчав, Пинчер.—Но он послал пастухов в Кэмфорд и Монтеджинни. Нам это не нравится. Лучше всем было бы остаться тут, в краю гуринджи...

«Нет, это скорее конфликт между стариками и молодежью»,— подумал я. Правда, послать пастухов предложил Билл, но молодые объездчики сами захотели работать там вопреки желанию старших.

— Мы построим поселок в Уотти-крик, и тогда парни вернутся,— добавил Пинчер.—Билл Джеффри хороший человек, только мы покончили с Обеспечением.

Когда я рассказал Биллу Джеффри, что гуринджи готовятся перейти на Уотти-крик, они с Энн загорелись совсем как в прежние дни. Правда, Энн начала меня допрашивать, проверяя, не я ли внушил им эту мысль, но Билл был очень доволен.

— Уотти-крик! Ручей там никогда не пересыхает. А рядом находятся их священные пещеры с наскальными рисунками! У меня есть фотографии.

# ВСЕ ВМЕСТЕ НА УОТТИ-КРИК

Я отправился в лагерь спозаранку, захватив с собой магнитофон. Аборигенам очень нравится говорить в микрофон, а потом слушать собственный голос. Но кто из нас этого не любит? Записи наших ежедневных совещаний сами по себе могли бы составить целую книгу. Меня тревожила мысль, как бы в один прекрасный день они и я не пожалели о том, что они сделали, и это послужило толчком к длинному разговору. Я объяснял, что уходить на Уотти-крик им необязательно. Можно остаться и некоторое время получать пособие по безработице. (Попробуйте объяснить, что такое пособие по безработице, что такое пенсия, что такое детский фонд!) Можно вернуться на станцию Уэйв-хилл—им будут платить правильные деньги, дадут жилье получше. Можно уйти работать на другие скотоводческие станции. Они никак не могли взять в толк, почему я все время повторяю, что им необязательно уходить на Уотти-крик, хотя дело решено и все племя в этом согласно. И тут мне пришлось заговорить о том, как трудно будет им получить разрешение жить на собственной земле. Я сказал про петицию генерал-губернатору. (Пойди попробуй объясни людям, проведшим всю жизнь в глуши Северной Территории, людям, которые не умеют ни читать, ни писать, систему двухпартийного правительства и роль в ней лорда Кейси!) Сенатор Мерфи посоветовал мне написать лорду Кейси, «большому белому начальнику в Канберре». Сенатор Мэрфи возглавляет лейбористскую партию в сенате. (Объясни, что такое сенат, что такое лейбористская партия!) Лейбористская партия скажет «да», но у лейбористской партии нет власти. Барнс состоит в либеральной партии. (Объясни, что такое либеральная партия!). Барнс — самый большой начальник Обеспечения в Канберре. Лорд Кейси отдаст письмо Барнсу. Барнс скажет «нет». Но если все хорошие белые, которые прежде помогали гуринджи, поднимут шум, то, может быть, Барнс пойдет на попятный. Я буду писать письма в газету, другие белые будут выступать с речами, и, может быть, люди Канберры...

На их лицах отразилось сомнение. Они уже посылали письмо в Канберру, и ничего не изменилось.

— Нам люди Канберры не нужны,— нетерпеливо сказал Винсент.— Гуринджи сказали: Уотти-крик. И мы пойдем туда.

— Ты написал это письмо, Фрэнк? — спросил Пинчер.

— Еще не кончил. Я хочу, чтобы вы сказали в ящик, какое слово хотите сказать в этом письме, а завтра я прочту вам письмо. Там я скажу, что вы уже начали строить поселок на Уотти-крик...

— Теперь я понял,— сказал Пинчер.— В том письме, которое ты писал в прошлом году, ты просил, чтобы отдали землю гуринджи, а в этом письме ты говоришь людям Канберры, что мы уже взяли землю гуринджи.

Я вернулся в дом Билла Джеффри, но вскоре туда пришел Пинчер и отозвал меня в сторону:

— Фрэнк,— сказал он.— Ты умеешь делать вывески? Томми Винсент и я хотим, чтобы у нас была вывеска.

Заметив мой недоуменный взгляд, он пояснил:

— У всех есть вывески. У управляющего есть вывеска, у полицейского есть вывеска, у Обеспечения есть вывеска. Нам нужна вывеска для поселка на Уотти-крик. Ты умеешь писать вывески?

— Ладно, Пинчер, я попробую. Приходи после обеда.

Нас с Биллом Джеффри мысль о вывеске рассмешила, но аборигены и не думали шутить. Возможно, как все неграмотные люди, они глубоко верили в силу писаного слова.

Пинчер пришел после обеда:

— Ты сейчас напишешь вывеску, Фрэнк?

Мы отыскали кусок фанеры, прибитый к деревянной раме. Тяжеловато, но как раз то, что нужно. Мы с Пинчером провозились с вывеской до самого вечера. Вымыли фанеру и раму, раздобыли у Билла Джеффри красной, синей и серебряной краски и принялись красить: Пинчер красил раму в синий цвет, а я фанеру — в красный. Пока краска сохла, я спросил Пинчера, что они хотят написать на вывеске.

— Может, написать «Гуринджи»? Мы никогда не видели этого слова, только слышали и говорили.

— Одно слово «Гуринджи»?

— Может, мы найдем там золото и разведем скот. Ты напиши: «Золото гуринджи. Скот гуринджи».

После некоторых споров мы остановились на вывеске «Заявка и скотоводческая станция гуринджи».

Когда краска высохла, я написал это серебряными буквами по красному фону. Пинчер сидел рядом на корточках и не сводил глаз с вывески, хотя не мог прочесть ни единой буквы.

— Только ты эту вывеску спрячь, Пинчер. Не вешай ее пока в Уотти-крик. Не нужно, чтобы ее видели люди «Вести» или полицейский.

— Ладно, Фрэнк. Я понял.

Мы с Биллом Джеффри решили побывать на Уотти-крик. С нами согласился поехать Винсент Линджиари. Он взял с собой учителя Билли. Мы тронулись в путь после завтрака. Дорогу перерезал разлившийся ручей, и нам пришлось ехать в обход по каким-то оврагам, через рытвины и пни. В конце концов грузовик застрял в песке, и даже Билл Джеффри не сумел с ним ничего сделать. Дальше мы пошли пешком. Впереди шагал босой Винсент. Компасом ему служила далекая вершина Черного холма, и он вел нас напрямик к слиянию речек Уотти и Черной. Билл Джеффри был в сандалиях и, сильно порезав ногу, решил остаться на берегу, когда мы подошли к броду. Он поступил благоразумно: вода доходила нам до пояса, а дно было усеяно острыми камнями. Перебравшись через речку, мы с Билли прошли вдоль нее за Винсентом еще милю и там на удивительно красивой поляне над Уотти-крик увидели занятых работой гуринджи. Некоторые крыли спинифексом второй дом, другие копали ямы и рубили деревья для третьего дома. Перед готовым домом на двух жердях красовалась моя вывеска. Нам навстречу вышел Пинчер.

— Фрэнк,— сказал он,— нравятся тебе наши дома?

Я попробовал покачать столбы.

— Крепкий дом,— сказал я.

— У каждого есть своя работа,— объяснил Пинчер.— Каждый делает правильную работу. Мы теперь все делаем правильно.— Указав на вывеску, он виновато добавил:— Это очень хорошая вывеска, Фрэнк. Мы решили ее повесить.

Пинчер повел меня на берег речки, где священный источник орошал землю даже в самую сильную засуху, и она всегда зеленела.

— Хорошая земля? — спросил он, доставая трубку и сплевывая.— Земля гуринджи до самого Черного холма и Сил-Горджа. Мы очень рады, что вернулись на свою землю. Мы построим пять домов и еще другие — вон там. Обнесем проволокой пастбище для лошадей, построим дорожку для самолетов, построим дорогу, построим школу, а потом, может быть, настоящие уборные с ручкой.

— А как вы обходитесь без пайков?

— У нас много еды. Мука, чай, а женщины ловят рыбу, гоанн и черепах.

Билли Джеффри ждал нас у брода. Мой рассказ привел его в восторг, и мы поплелись обратно в тихом, счастливом настроении. Солнце уже заходило, когда нам наконец удалось вытащить грузовик из песка.

За час до рассвета я стоял у кухонного окна и смотрел на залитый лунным светом лагерь. Костры погасли, собаки не лаяли — гуринджи спали. Что они видели во сне? Лица предков, следящие за ними со стен священных пещер у Сил-Горджа? Поселок, который они строят без единого гвоздя? Справятся ли они со всеми трудностями, потому что упрямая мечта жить по-своему овладела их душами? Внезапно меня охватила тревога за них, я почувствовал, что не могу им ничем помочь. Их лица будут следить за мной все грядущие дни. Во что бы то ни стало я должен вернуться сюда, когда сезон кончится и все племя соберется в Уотти-крик. И тогда будет ясно, достаточно ли они сильны, чтобы вынудить белую Австралию не мешать им идти по их новой дороге к старым обычаям.

# НИ ОДИН БЕЛЫЙ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СВОБОДЕН

Утром на заре выбегаю купить газеты. И сразу проглядываю их.

«Туземное племя может получить землю», — гласит заголовок.

«Любой план, который обеспечил бы аборигенам Северной Территории возможность самостоятельно заняться скотоводством, должен быть тщательно изучен»,— сказал вчера мистер Барнс, отвечая в палате представителей на вопрос мистера Юрена (лейбориста, депутата от нового Южного Уэльса), который спросил, действительно ли члены племени аборигенов в Уэйв-хилл подали прошение о предоставлении им участка в 500 квадратных миль, желая создать свою собственную скотоводческую станцию.

Мистер Юрен спросил, удовлетворил ли мистер Барнс это прошение и намерен ли он это сделать. Мистер Барнс ответил, что из неофициальных источников он слышал о желании некоторых племен создать собственные скотоводческие станции. «В прошлом уже предпринимались попытки предоставить туземцам возможность самим заниматься скотоводством,— сказал мистер Барнс.— Но опыт оказался неудачным».

Такое начало было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой!

Чтобы Барнс — и не пустил в ход старую выдумку белых, будто аборигены ни на что не пригодны и могут служить только источником дешевого труда для обогащения белых! И все же он вертится и виляет, не решаясь идти напролом. «Вопрос о содействии, которое мы можем оказать им для того, чтобы они могли успешно заняться скотоводством, если они намерены создать скотоводческую станцию, которая будет управляться успешно согласно с их мнением, должен быть рассмотрен самым тщательным образом».

Словесная дымовая завеса! И под конец: «Все пастбищные земли в Северной Территории распределяются согласно законодательству о сдаче в аренду пастбищных земель. Ответ на это прошение, разумеется, будет дан в согласии с требованиями законодательства о пастбищных землях».

К чему ждать ответа лорда Кейси! Ведь в мире нет другого главы государства, у которого было бы так мало власти! Прошение было передано на рассмотрение медоточивого Барнса, который посоветовался со своими друзьями-скотопромышленниками и нашел нужную формулу: «Согласно с законодательством Северной Территории о сдаче земли в аренду» участок Уотти-крик сдан в аренду компании «Вести» до 2004 года! Кроме того, арендатор должен располагать минимумом капитала в 30000 долларов. Таково требование закона. У гуринджи нет племенной земли. У гуринджи нет ничего — даже права построить несколько навесов из ветвей вблизи священных пещер их предков!

А из Уэйв-хилл нет никаких вестей! Что случилось с Биллом и Энн? Может быть, их уже перевели оттуда?

Звонок в дверь, и почтальон протягивает не конверт с телеграммой, а маленький пакет. Коробка? Магнитофонная запись!

Я достаю ее и включаю магнитофон. Раздается голос Билла Джеффри, громкий и ясный...

# РАССКАЗ БИЛЛА ДЖЕФФРИ

...Гуринджи превзошли самих себя, они не только сделали все, о чем вы говорили, но каждый день что-то улучшают и добавляют. Они натянули уже четверть мили проволочной изгороди, построены все пять домов, и кровли тщательно выложены спинифексом. Они решили сделать стены из коры. Все получается очень солидно.

В прошлое воскресенье сюда явился Питер Моррис и отправился в новый поселок. Он спросил их, какое право они имели все это построить и кто их подучил, но Винсент его хорошо отбрил. Тогда Моррис спросил: «Кто написал эту вывеску?» А старикан ответил: «Фрэнк Харди». «Ах, так это он?» — говорит Моррис. «Да, — отвечает Винсент. — По моему распоряжению. Я его попросил ее написать...».

Через несколько дней приехали Джек Ларкин и Дуг Аллен, и я отвез их в поселок. Они начали фотографировать, а камеры у них такие, которые сразу печатают снимки, и как они нажмут на кнопку, так всякая лишняя бумага выбрасывается наружу. Видел бы ты, какими глазами смотрел на них старик Винсент и остальные ребята. Очень их это огорчало. Тогда я сказал Винсенту, так чтобы Ларкин и Аллен услышали: «Можно подумать, будто это лагерь белых: столько тут мусора валяется!» Тогда Дуг Аллен сказал: «Извините. Я просто не сообразил, что сорю». И вот вчера Винсент сказал, чтобы я ему дал старые бидоны — пусть людям вроде мистера Дуга Аллена будет куда бросать мусор. Я сказал, что повешу над бидонами объявление: «Чиновники службы Обеспечения, пожалуйста, бросайте мусор сюда, а не швыряйте на землю!»

Моя помощь ребятам особенно не требуется, потому что они сами неплохо справляются, и должен сказать, мне чертовски приятно было видеть, чего они добились, и как старик Винсент отбрил Морриса.

Из Дарвина мне на днях сообщили, что меня переводят в Бамили, потому что у них есть на примете агент, чья жена — медицинская сестра. Конечно, я не стану мешать учреждению тут медицинского обслуживания — недавно умер Томми Бейрд: у него поднялось давление, а помочь ему было некому, так как я уехал в Дарвин, — но я сказал, что в Бамили не поеду, а останусь тут. Уйду со службы и останусь. Они мне говорят: этого нельзя, а я отвечаю: вот увидите, нельзя или нет!

Я мог бы уехать спокойно. Энн совсем здорова. Все идет так, как мы хотели: полицейского и Тома Фишера отсюда убрали.

Да, кстати: Алек Бишоу и два патрульных полицейских побывали в Монтеджинни и Кэмфилде. Сначала они заехали в Монтеджинни к Биллу Кроссену: «Покажите нам ваши счетные книги». Он спрашивает: «С какой стати?» — «Аборигены сообщили нам, что вы не снабжали их одеждой». Билл объясняет: «А с какой стати я буду снабжать аборигенов одеждой, если я плачу им столько же, сколько белым объездчикам? Ведь белых объездчиков я одеждой не снабжаю? Аборигенам я плачу сорок фунтов в неделю. Неужели я еще обязан покупать им одежду?»—«Да, обязаны». Тогда Билл говорит: «Если аборигены будут обходиться мне дороже белых объездчиков, я не смогу их нанимать». А Бишоу отвечает: «Аборигены до 1968 года все равно остаются подопечными государства».

Они просто действовали, как агенты «Вести»: старались принудить аборигенов вернуться на работу в Уэйв-хилл. Я поговорил с Бишоу начистоту. Он говорит: «Но все правильно, они по-прежнему остаются подопечными». А я говорю: «Нет! И вы это знаете. Куда вы гнете? И, кстати, в Уэйв-хилл вы побывали?»—«Нет».—«А почему?»

Они намерены стереть в порошок управляющих Монтеджинни и Кэмфилда за то, что те посмели нанять аборигенов и выплачивать им полную заработную плату.

Завтра мы поедем в Кэмфилд, и я им скажу, чтобы они в три шеи гнали со станции Алека Бишоу или других чиновников Обеспечения, потому что теперь аборигены получают столько, сколько белые, и права у них, следовательно, такие же, как у белых. А если заставить нанимателей платить аборигенам больше, чем они платят белым, то аборигены останутся без работы. Аборигены Северной Территории, получающие равную с белыми плату, перестают быть подопечными государства.

Винсент и его ребята совсем захвачены своей работой. Я рассчитываю записать рассказ Винсента о его беседе с Питером Моррисом.

Мы все очень-очень довольны тем, как они себя показали. Это просто замечательно. Конечно, мы привезем фотографии.

Пинчер опять принес образцы минералов. И, по-моему, они действительно отыскали что-то стоящее. А выйдет ли из этого хорошее или дурное, только время покажет. Но, судя по их нынешнему поведению, не думаю, чтобы такая находка пошла им во вред. А вот помочь она им может очень и очень. Если все племя гуринджи подаст заявку, то каждый имеет право примерно на двадцать акров, и, значит, они на законных основаниях могут получить порядочный кусок земли.

Дня два назад гуринджи устроили митинг, и было много споров. Я сказал Тому Винсенту, что уезжаю. И вот он, по-видимому, заявил: «Билл Джеффри никогда от нас не уедет, он просто уезжает в отпуск, а потом вернется». И конечно, я вернусь. Не могу же я совсем с ними расстаться. Я буду всегда возвращаться.

И ты тоже.

Мы с тобой будем снова и снова возвращаться к гуринджи.

# РАССКАЗ БРАЙЕНА МЭННИНГА

Пэдди Кэррол дал согласие, чтобы я отправился в поездку по станциям с Декстером. Декстер, хоть и молод, но довольно умудрен опытом, однако не настолько, чтобы найти правильный тон, имея дело с враждебно настроенными управляющими станций.

За неделю мы покрыли почти две тысячи миль, ночуя по-походному. Поехали мы не для того, чтобы устраивать забастовки. В первую очередь нам надо было установить, какую именно плату получают аборигены — действительно ли станции выплачивают хорошим работникам-аборигенам полную заработную плату, как было обусловлено соглашением, а остальным — по четырнадцать с половиной долларов. Право решать, кто хороший работник, а кто нет, было оставлено за нанимателем — за управляющими. Профсоюз с этим не согласился.

В Роузвуд мы не заезжали, так как аборигены там неделю назад бросили работу. Они разошлись. Это была бы прекрасная возможность для профсоюза выступить арбитром; если бы они только дождались нас, мы могли бы передать их дело в комитет по пересмотру.

Управляющий Мистейк-крик был в отъезде, а от его жены мы не сумели получить никаких цифр, хотя она очень любезно предложила нам по чашке чая. Поселок аборигенов там ужасен — один из худших, какие мне приходилось видеть. Эта станция

— собственность «Вести». Я сделал кое-какие снимки; если бы они знали, что со мной фотоаппарат, то, наверное, не допустили бы меня в усадьбу. Нам пришлось отправиться в Орд-ривер. В Орд-ривер находится бухгалтерия пяти станций, две из них расположены в Северной Территории, а три — в Западной Австралии. Я установил, что на станциях Северной Территории полную плату — двадцать четыре доллара девяносто центов — получает только один человек, а все остальные — по четырнадцать с половиной. Аборигены, работающие в усадьбе, получают только шесть долларов девяносто центов. Это те, кого администрация считает слишком старыми или слишком молодыми для работы объездчика, а также не имеющими права на получение пенсии или еще недостаточно для нее старыми. Конечно, то, что эти люди всю жизнь проработали тут, во внимание не принимается.

Женщины везде получают только четыре доллара тридцать пять центов в неделю. Выполняя свои «немногочисленные обязанности» (как тут выражаются), они работают от зари до зари. «Виктория-ривер-даунс», например, нанимает двадцать восемь женщин и платит им четыре доллара тридцать пять центов в неделю.

Из Николсона мы поехали в Инверуэй. Управляющий в отъезде. От женщин там я узнал, что мужчины получают четырнадцать с половиной долларов в неделю, а женщины — семь долларов в месяц.

Всюду, где мы были, управляющие пугались нашего появления и испытывали явное облегчение, когда мы уезжали. Они опасались, как бы аборигены не бросили работу. Им кажется, что четырнадцать с половиной долларов умиротворили аборигенов, но твердо они в этом не уверены. На некоторых станциях в поселках были произведены кое-какие улучшения. Но поселки в таком состоянии, что администрации достаточно сделать самую малость — и уже можно говорить об улучшении условий!

Поселок в Инверуэй — это опять собачьи конуры, фута четыре высотой, не больше. Пенсионеры живут в них по четверо.

В Уэйв-хилл мы приехали утром второго июня. Билл и Энн встретили нас с распростертыми объятиями. Я познакомился с Энн впервые—она большая умница и очень милый человек. Билл был нам чрезвычайно рад, но меня больше интересовали аборигены, и, перекусив, я отправился в маленький лагерь за оврагом и увидел там Винсента. Декстер уже с ним разговаривал. Я поздоровался с ними со всеми — они были мне рады,—и мы поехали на моем грузовике в Уотти-крик. Мы поснимали поселок, а потом сели и начали разговаривать. Меня особенно интересовало, зачем, собственно, им понадобилась эта земля, и мы обсудили идею устройства скотоводческой станции. Однако у меня сложилось твердое впечатление, что для них этот клочок земли — символ собственного дома, и это главное. Поселок будет их собственным, и они смогут не допускать сюда тех, кого не хотят. И Обеспечение они сюда не пустят. И вообще никого. Они просто хотят, чтобы у них было свое место на земле. Если им понадобится поговорить с людьми из Обеспечения, они могут сами съездить в поселок. Полицейский им не страшен: ведь они ничего плохого не делают. Винсент с чрезвычайной настойчивостью утверждал, что этот участок им очень нужен.

Иногда они стреляют кенгуру — у них есть двадцать два ружья. Закона они слушаются и много работают. Когда я подъехал, они работали и не собирались бросать работу, так как подумали, что это их собственный грузовик. Мик Ранджиари и Бэнди строят уборную. Они уже построили три уборные — для мужчин, женщин и посетителей. Дезинфицируют они их огнем.

Живут они семейными группами. В Уотти-крик теперь приехали женщины и дети. Винсент сказал, что детей он будет посылать в школу.

При настоящем положении вещей им необходим хороший советчик. Но пока не выяснится вопрос с арендой, сделать для них ничего нельзя. Я сказал Винсенту: «Что вы думаете насчет заседаний законодательного совета? Может, вы поедете в Дарвин? Встанете на галерее и скажете им, что вам нужно?» Честное слово, они так и хотят сделать — поедут в Дарвин на собственном грузовике и разобьют лагерь у входа в совет. Я сфотографировал Питера Гилджи с хлебами, которые он выпек. Я спросил его: «Питер, где ты научился печь хлеб?» Он сказал, что у одного белого объездчика на стоянках. Лучшего хлеба не купишь и в Мельбурне. Он выкопал земляную печь и замешивает тесто на дрожжах. Билл отказывается продавать им содовый порошок. Он сказал: «Пеките хлеб, ребята. Ваши оладьи — один перевод муки. Пеките хлеб, режьте его и распределяйте — так будет лучше. Ведь оладьи — это одна мука с содой и больше ничего». И вот теперь они пекут хлеб. Питер же его и распределяет.

Несколько недель назад тут побывал Питер Моррис и заявил:

«По какому праву вы забрали землю «Вести»?»

А Винсент сказал: «Это земля моего деда». Моррис спросил: «Откуда у вас эта вывеска? Кто ее вам написал?» А Винсент ответил: «Фрэнк Харди. Я его попросил. Это наша вывеска, и здесь наш поселок». Моррису оставалось только убраться восвояси, что он и сделал.

Ну, во всяком случае, гуринджи не собираются возвращаться в Уэйв-хилл и работать на «Вести». Они уже испробовали вкус независимости, узнали, как это бывает, когда человек может сам решать свои дела, не подчиняясь во всем покорно белому хозяину, — и не хотят возвращаться к старому.

Во всяком случае, такое у меня сложилось впечатление.

Когда Брайен глубокой ночью, наконец, ушел от меня, я вспомнил про письмо, которое он привез мне от Билла и Энн Джеффри. Энн переписала для меня ответ, присланный гуринджи секретарем генерал-губернатора.

Да, я не сомневался, что им будет отказано, но меня поразила резкая, почти грубая форма этого отказа.

«...Условия аренды пастбищной земли включают следующую оговорку в пользу аборигенов, дающую им право: 1) находиться на арендованной земле; 2) пользоваться естественными водными источниками... 3) убивать на арендованной земле и использовать в пищу диких птиц и диких животных. Эта оговорка не дает аборигенам права на исключительное пользование каким-либо участком арендованной земли и не разрешает им присваивать или повреждать собственность арендатора».

# РАССКАЗ БИЛЛА ДЖЕФФРИ

Гуринджи не собираются уходить с Уотти-крик. То, что они уже там сделали, превосходит всякие ожидания.

Мы с Энн вчера отправились посмотреть их поселок. Они построили настоящий склад — с дверью и замком, и он полон всяких припасов. Припасов у них было бы еще больше, если бы какой-то сукин сын не прекратил выдачу им пособий по безработице. Они все имеют право на пособия. Милостыня и подачки им не нужны, но им нужны деньги, которые правительство обязано им выплачивать.

Я подкармливал их, как мог. Обеспечение прекратило выдачу пенсий. Все это делается для того, чтобы вынудить их уйти с Уотти-крик и вернуться в поселок.

За пять месяцев доктор посетил нас только один раз. Какая гадость — он не пожелал проехать десять миль, чтобы осмотреть больных на месте. Мне придется привезти их к самолету — тогда он их посмотрит и скажет мне, какие лекарства им давать. Я попробую снять их в грузовике, а потом сниму, как они выходят из грузовиков у врачебного самолета. Двадцать шесть человек будут трястись в грузовике по самой скверной в Австралии дороге, потому что доктор не желает утруждать себя и отказывается поехать к ним на «джипе». Не будь они черными, так он поехал бы! Доктор говорит, что он очень торопится. Ну, я пошлю к нему всех, у кого хоть что-нибудь болит, и он не успеет вернуться в Дарвин в этот же вечер! Пусть-ка переночует в Уэйв-хилл! Обеспечение сознательно старается прикончить этих людей, разрушить их мечту.

Поселок содержится в идеальной чистоте и порядке. В действительности всем заправляют Капитан-Майор и Бэнди. Они построили уборные — каждая с ямой футов в семь, и время от времени они подсыпают туда земли, льют автол и зажигают, так что дезинфекция получается полная. Сюда прислали нового полицейского. Он ирландец — Пэдди Келлер. Человек как будто не плохой. Он пришел в поселок и сказал: «Вы, ребята, чудесно поработали!» Изгородь закончена, сделаны ворота — не хуже, чем на любой станции. Но описать этого нельзя, надо самому посмотреть. Им не нужна милостыня, им нужны деньги, на которые они имеют право. Тогда бы они съездили в Дарвин и купили бы все необходимое.

При таком положении вещей, как сейчас, Обеспечение никогда не вернет себе их доверие. Для аборигенов Северной Территории слово «обеспечение» стало ругательством. Обеспечение хочет только одного: превратить аборигенов в людей, не способных существовать самостоятельно. Оно хочет прибрать их к рукам и объявить всему миру, что аборигены — ленивые бездельники и сами о себе заботиться не умеют. Я посоветовал ребятам ничего от Обеспечения не брать. Они обойдутся без его труб, проволоки и насосов. Обеспечение поставило условием, что насос они получат, только если за ним будет следить приезжий механик.

Гуринджи не хотят милостыни, а Обеспечение — это милостыня. Обеспечение — это утрата гордости, утрата человеческого достоинства.

Несколько недель назад я видел Декстера. Он очень изменился. Стал совсем не таким, как прежде. Мне кажется, Декстер как-то угас. Это очень жаль.

С Декстером приезжал Брайен Мэннинг. Мы его почти не видели.

Я посоветовал гуринджи приберечь запасы, потому что сюда ожидается приезд большого начальника из Обеспечения, и, если они смогут показать ему, что у них есть собственные припасы, это сразу заставит его прикусить язык. Тут уже побывал окружной агент Обеспечения, всюду совал нос, просил гуринджи показать ему их наскальные рисунки, священные пещеры и прочее—якобы потому, что он хочет лучше понять их духовную жизнь. И все снимал. Мне это не понравилось. Что-то тут нечисто. Как было с Эйрской скалой? Ее обнесли изгородью, а всех аборигенов из окрестностей выгнали. И теперь они должны платить, чтобы увидеть собственные рисунки. Возможно, и тут готовится приманка для будущих туристов. Я отношусь с недоверием ко всему, что затевает Обеспечение.

А на станции Уэйв-хилл еще никто не побывал, хотя все остальные станции уже обследованы.

Питер Моррис по-прежнему разгуливает гоголем. Не могу понять, почему ему сходят с рук все преступления, которые он совершил в отношении аборигенов. Том Фи-

шер был только козлом отпущения — все всегда негодовали на Тома Фишера, а ведь Том Фишер делал только то, что ему приказывал Питер Моррис!

Питер Моррис специально сочинял небылицы про аборигенов где только мог, и его не привлекли к суду за клевету! Мне известно, что сейчас он делает все, чтобы восстановить против них правительство и своих подчиненных. Он говорит, что аборигены ни на что не пригодны и не могут работать без постоянного надзора. Однако в Уотти-крик никто не указывал аборигенам, что им следует делать, не объяснял, как рыть ямы для уборных или строить круглую столовую, чтобы тебе, мне и всем другим посетителям было где пообедать, когда мы приезжаем в их поселок. Эта столовая похожа на эстраду для оркестра — она совершенно круглая, и в ней будут установлены скамьи. Все это они сделали по собственной инициативе, так что всякие злопыхательские заявления Питера Морриса и ему подобных — чистейшая клевета. Почему это сходит ему с рук?

Если гуринджи лишатся своих пособий и пенсий, я не знаю, что будет дальше. По-моему, это все штучки Обеспечения, которое во что бы то ни стало хочет забрать их под свое поганое крылышко. Тогда с гуринджи будет покончено. Перед отъездом я постараюсь все снять, так как не удивлюсь, если дома сожгут или сроют. Конечно, это не остановит гуринджи, и они их построят заново. Одно я знаю твердо: что-то такое готовится, и от меня стараются избавиться всеми способами — предлагают мне самые дурацкие должности, только бы я убрался отсюда. По-своему они правы. Ведь если бездельникам из Обеспечения больше нельзя будет нянчить аборигенов, им, того и гляди, придется работать! Если бы все аборигены походили на гуринджи, всякий смысл Обеспечения исчез бы.

Я намерен продержаться тут так долго, как смогу. Но я слышал, что сюда едет новый агент Обеспечения, которому даны инструкции не допускать тебя в Уэйв-хилл, если ты опять сюда приедешь. Полицейскому приказано то же самое. А если они выкинут отсюда меня, то назад тоже не пустят.



# РАССКАЗ ЛУПГНЫ ДЖИАРИ

Когда я приехал на Уотти-крик, они там жили очень хорошо. Винсент Линджиари попросил, чтобы я там кое-что сделал: помог построить склад и подготовил землю под огород.

Нам нужна своя капуста, цветная капуста, редис, картофель, лук, тыквы и арбузы. И теперь все это растет там. Я со Сплинтером вырастил эти овощи. Земля там не очень хорошая, а потому мы жгли кости и потроха кенгуру и делали удобрение. И сыпали его в землю, чтобы овощи лучше росли.

И еще мы рыли ямы для уборных — семь футов глубиной каждая. Одну для женщин, одну для мужчин и одну для приезжих. Теперь в Уотти-крик все есть — дома, уборные, склад, большая столовая. И людей много. Собрались из всяких других мест.

На Уотти-крик теперь построен хороший поселок.

Туда опять приезжал Питер Моррис и сказал: «Вы враждуете с нами, с белыми». А я сказал: «Нет! Мы все говорим на английском языке. Мы все австралийцы, и мы ни с кем не враждуем. Только теперь мы живем по-своему».

Тогда Питер Моррис сказал: «Ну, ладно, пусть этот источник остается у вас. Но больше земли не огораживайте. Для поселка вам земли хватит. И больше мою землю не огораживайте — ни одного нового участка». Когда он уехал, мы все здорово смеялись. Очень нам было смешно.

А потом к нам пришел Фрэнк Уилмингтон, новый управляющий. Он сказал: «Вы мне нужны, ребята, на станции в Уэйв-хилл. Я — не Том Фишер». А я сказал: «От этих забастовок вы все подобрели. Все хозяева и все управляющие». Тогда он ушел, а Винсент сказал: «Ты будь осторожнее, Капитан-Майор. Он, наверное, себе на уме».

Винсент Линджиари все время беспокоился. Почему некоторые гуринджи, молодые парни, не идут по его дороге? Почему они вернулись на станцию? Почему они так долго остаются в Кэмфилде и Монтеджинни? Винсент поехал на грузовике с Бэнди повидать этих парней. «Может, они потом придут, а может, нет»,— сказал он. Винсент все время очень тревожился.

Тогда я ему сказал: «Они найдут правильную дорогу — может, через месяц, может, через два. Если им будут мало платить и жить им будет плохо, они придут. И если лавочник не будет отдавать им деньги, как раньше, они придут. А если им будут платить правильные деньги, они придут, когда кончится отбор, и будут помогать нам тут. Ты не беспокойся за молодых парней. Не беспокойся за себя и за меня не беспокойся. Когда дети вырастут, они будут уметь читать и писать».

И он перестал беспокоиться.

Билли Бантер, молодой учитель, попробовал научить нас читать и писать. Он это называет «азбука». И он хотел, чтобы мы подписывали свое имя, а не ставили крестики. Но мы слишком стары для такого дела. Мне уже поздно учиться.

И я стал думать про Уотти-крик — стал думать, что нам нужно найти деньги для адвоката, чтобы нам дали настоящую аренду и побольше земли. Мы с Винсентом поговорили об этом — и с другими тоже.

И я тогда сказал: «Фрэнк Харди говорил, что, может, нам опять надо будет поехать на юг, чтобы рассказать про нас и собрать деньги для Уотти-крик. Поэтому нам надо подготовить несколько человек — Хромого Мика, Винсента, Вальбири Мика, Пинчера,— чтобы они могли говорить. И теперь, если нужно будет послать человека на юг, у нас готово ехать пять человек. И еще женщины. Две Эми и еще одна. У них есть свои мысли, и они могут устроить митинг для себя — все женщины без мужчин. Женщины гуринджи тоже должны научиться рассказывать про Уотти-крик».

И я проверил, как они все научились говорить. Я сказал: «Может, я заболею, или уеду, или вовсе умру, а на юг надо будет послать человека. На юге меня все уже слышали. Я вам скажу, про что надо говорить. Я ведь не был тут, когда вы начали забастовку. И рассказать про нее я не могу».

И они все говорили речи перед людьми в Уотти-крик. Сам Винсент Линджиари, и Хромой Мик (Хромой Мик очень хорошо говорит), и Эми, и еще много других. И Питер Гилджи. Я сказал: «Питер каждый месяц записывал в книге в Маунт-Сэндфорд, когда им не платили. Он начал так делать до меня, до Винсента, даже до Декстера — раньше всех. Он тоже должен рассказывать, как все было». И они все научились рассказывать про забастовку и про Уотти-крик.

Две недели назад управляющий станцией Кэттл-крик прислал телеграмму Роджерсу, новому агенту Обеспечения в Уэйв-хилл. Ему нужны муж и жена, чтобы работать на его станции. Этот Роджерс неплохой человек, только он боится начальников Обеспечения и правительства. Не так, как Билл Джеффри. Билл Джеффри никого не боялся. Дал четверть туши тем, кто бастовал, когда ему прислали мясо. А Роджерс кормит только пенсионеров и детей.

Тогда я сказал Винсенту: «Вот что, Винсент, может, мы с Эми поедем в Кэттл-крик зарабатывать правильные деньги, а потом привезем их в Уотти-крик». И мы поехали.

Когда мы с Эми приехали в Кэттл-крик, я сказал управляющему: «Вы платите правильные деньги?» И он сказал: «Да». Я сказал: «У вас есть уборная и прачечная?» И он сказал: «Да».

Тогда я подумал: забастовки их здорово выправили. И я ему сказал: «Как насчет кровати?» И он сказал: «Да».

Потом я сказал Эми: «Мы с тобой первые аборигены, которые будут спать в кроватях на скотоводческой станции». Мы с ней много смеялись.

А управляющему я сказал: «Какие цены вы назначаете в лавке?» А он сказал: «Цены такие же, как для белых объездчиков». Тогда я сказал: «Вы, скотопромышленники, даете деньги одной рукой, а другой забираете назад».

И это правда. Если человек не умеет читать и писать, им легко устроить такую штуку. Когда приходишь за своей платой, тебе говорят: «Простите, вы забрали слишком много товара в лавке и поэтому получите только горсть медяшек». Объездчики-аборигены, которые после забастовки стали получать правильные деньги, рассказывали мне, что для тех, кто берет товар в лавке по записи, разницы почти никакой не получается.

Поэтому я сказал управляющему Кэттл-крик: «Я буду платить в лавке наличными, а по записи брать ничего не буду, чтоб все было в порядке».

Тогда управляющий сказал: «Как тебя зовут?» А я сказал: «Лупгна Джиари». А он сказал: «Ты что-то похож на этого подстрекателя Капитан-Майора. Наверное, ты изменил имя. Ну, не вздумай устраивать здесь забастовки, не то тебе будет худо». А я сказал: «Забастовки начинаются не из-за аборигенов — не из-за меня или кого другого. Забастовки начинаются из-за вас, белых».

Ну, хозяин он хороший, суровый человек, но хороший хозяин. Работа на станции Кэттл-крик хорошая. Кормят хорошо. Мясо и яйца теперь дают каждое утро. Получше, чем солонина и хлеб.

И я копил все деньги, чтобы увезти их в Уотти-крик после отбора. По-моему, так правильно. Только если молодые парни тоже так будут делать.

У управляющего Кэттл-крик был хороший синий грузовик «холден». И я ему сказал: «Сколько вы просите за этот грузовик?» А он сказал: «Откуда у тебя возьмутся деньги покупать грузовики?» А я сказал: «У меня есть общие деньги. Их собрали докеры в Сиднее». Ему стало после этого не по себе, и он сказал: «Ну, ладно, продам за семьсот фунтов. Только ведь у тебя плохие глаза». А я сказал: «Это неважно, в Уотти-крик много хороших водителей».

И теперь у нас есть четыре машины. Грузовик гуринджи, потом тот, который Билл Джеффри продал Винсенту, «лендровер» Совета по борьбе за права и теперь еще мой «холден». И теперь мы можем привозить кору и ездить в Дарвин за припасами.

В конце октября, а может, в ноябре мы с Эми вернемся в Уотти-крик. Все те, кто работает в разных местах, вернутся в Уотти-крик. Так мы задумали: все гуринджи вместе в Уотти-крик. Поселок будет нашим домом. Соберется двести человек, а может, больше. И все будут возвращаться туда после конца отбора.

А дети научатся читать и писать. И лавочники не смогут их обманывать. Мы все теперь будем действовать вместе и назад не пойдем, а только вперед. И молодые станут хорошими людьми, лучше нас. Нам надо иметь много людей, если потом мы решим устроить скотоводческую станцию. И у нас будет своя лавка. Мы будем продавать сладкую воду, апельсины, чай, сахар, консервы. И тогда деньги останутся в поселке у аборигенов.

А самое главное — это дети. Вот что я думаю. Мы уже стары, чтобы учиться новому. Нам учиться поздно. Старые аборигены умирают — они всю жизнь проработали и никогда не получали никаких денег, а только одежду, спички, солонину и хлеб. Они не учились читать и писать, в этом вся беда.

А дети получат настоящее образование. И мы хотим получить для них большой участок на Уотти-крик, чтобы они знали, что получили что-то от своих отцов и дядей, что им что-то оставили.

Когда запись кончилась, Лупгна выпрямился и сказал:

— Я рад, что вернулся в Сидней к друзьям. Это Лупгна Джиари прощается с вами и желает вам всем счастья.

На следующий день он уехал в Канберру и рассказал там про Уотти-крик. Когда он на обратном пути проезжал через Сидней, мы снова встретились. В аэропорту он сказал мне:

— Знаешь, Фрэнк, мне нравится Сидней. Только жить здесь я бы не мог.

Брайен Мэннинг часто писал и звонил мне: «Билла Джеффри перевели из Уэйвхилл... Он сказал мне, что многие гуринджи не получают пособия. В ход пускают подлую штуку: предлагают им работу, а если они отказываются, лишают их пособия по безработице... Не можешь ли ты приехать сюда, чтобы помочь им... Может быть, ты отвез бы кого-нибудь из них в Дарвин, чтобы они могли сами отстаивать свои права...»

В сентябре я записал в дневнике:

«Старейшины гуринджи, по-видимому, решили, что молодежи следует работать во время сезона на разных станциях, а после конца сезона возвращаться в Уотти-крик. Это, пожалуй, наилучший выход — они смогут продержаться в поселке, пока власти, наконец, не будут вынуждены сдать им в аренду их земли. Им лучше жить там, чем в лагерях вокруг станций».

Я написал Брайену: «...Старики смогут жить там на пенсии. Дети будут оттуда ездить в школу. И там же смогут жить те, кто не имеет права на пенсию, но уже слишком стар для того, чтобы работать объездчиком... Таким образом, племя не разбредется и будет жить в месте своей мечты. Конечно, важнее всего то, чего хотят они, и я надеюсь приехать к ним после конца сезона, чтобы обсудить их планы...»

Позвонил Брайен и сообщил, что в Дарвин приехали Пинчер, Бэнди и Мик, чтобы купить продовольствие. Я попросил его устроить так, чтобы они мне позвонили.

Через несколько дней вечером зазвонил телефон. Я услышал голос Брайена:

— Ты знаешь Мика Ранджиари. Он сейчас будет говорить с тобой.

Я представил себе чеканный профиль Мика, когда услышал в трубке его нервный голос — Мик говорил по телефону впервые в жизни. В Уотти-крик все очень хорошо. Они оттуда никогда не уйдут. Вчера в Бэгот пришли полицейский и агент Обеспечения, и полицейский сказал, что они должны вернуться в Уйэв-хилл, а не то он арестует их за бродяжничество.

Мик пришел в восторг, когда я сообщил ему, что Лупгна купил машину.

— Теперь у нас много машин, — сказал он.

Трубку взял Пинчер.

— Здравствуй, Фрэнк. Где ты?

— В Сиднее.

— В Сиднее? А твой голос совсем рядом.

Я попросил Пинчера передать Винсенту Линджиари, что я приеду в Уотти-крик до начала дождей.

— Это хорошо, Фрэнк. Мы устроим хороший митинг. Теперь у них есть хороший поселок, много овощей, хорошие дома и изгороди. А сейчас они повезут в Уотти-крик много припасов на сезон дождей.

Когда трубку снова взял Брайен, он подтвердил рассказ Мика о том, что их пригрозили арестовать за бродяжничество.

— Сейчас в Северной Территории это происходит повсюду — аборигенов арестовывают за бродяжничество. Попробуй устроить шум по этому поводу у вас там, на юге.

Я позвонил Биллу Джеффри в Бамили. Он сказал, что через полтора месяца приедет на юг, в отпуск. И вот пришла телеграмма, а вслед за ней к нам в Мэнли явились Энн и Билл. Энн снова была совсем здорова. Билл твердо решил высказать все, что он думал, даже рискуя потерять работу. Он начал с интервью в газете,

озаглавленного «Почему слово «обеспечение» стало для аборигенов ругательством». Потом выступал по радио и телевидению, поражал Обеспечение и «Вести» штыком своего остроумия и едкой иронии. Барнс нанес ответный удар: спросив Билла, подтверждает ли он свои выступления в прессе, Барнс тут же его уволил.

Шестого декабря утром я развернул газету и прочел на первой странице: «АБОРИГЕН-АГИТАТОР ПРИГОВОРЕН К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЗА БРОДЯЖНИЧЕСТВО.

Человек, организовавший забастовку работников-аборигенов на станциях Ньюкасл-Уотерс и Уэйв-хилл, подвергнут тюремному заключению за бродяжничество. Его имя Декстер Дэниелс...»

Я сразу же вылетел на север.

Декстера Дэниелса я нашел в резервации Бэгот. Он сидел под деревом вместе с другими аборигенами, среди которых был его брат Дэвис. Я увидел его еще издали. Прежде чем он меня заметил, я услышал, как он настойчиво говорил остальным:

— Запомните, ни в этом мире, ни в будущем аборигены ничего не добьются с помощью листка бумаги или разговоров. Нам нужно действовать, все время бороться, чтобы показать им, чего мы хотим. Это единственный способ.

# РАССКАЗ ДЕКСТЕРА ДЭНИЕЛСА

Когда я вернулся в Дарвин с юга, я не знал, что делать — работать для профсоюза или для Совета защиты прав. На юге можно действовать — произносить речи и так далее. В Дарвине все по-другому; в Дарвине аборигену трудно быть руководителем. Ну, я решил вернуться на мое прежнее место в профсоюзе. И вернулся. Эта работа не совсем для меня, я иногда путаюсь. Но потом мы с Брайеном Мэннингом долго ездили по станциям на Виктория-ривер. Это была хорошая поездка. Мы проверяли заработную плату и еще многое. Ну, я продолжал работать для профсоюза и для Совета по защите прав аборигенов. Я участвовал в работе двух организаций. И я чувствовал, что меня тащат в разные стороны; тогда я решил, что лучше уж бросить и Совет, и профсоюзную работу, но только не быть в таком положении, когда меня раздирают пополам. Я хотел вернуться домой и во всем разобраться, а не быть руководителем какой-нибудь организации. Если я не могу быть хорошим руководителем, то совсем не хочу быть руководителем. Видите ли, я не мог справиться — я был в самой середке партий, которые тащили меня в разные стороны. И мне ничего не оставалось делать, только вернуться домой. В любой организации, когда становишься руководителем, то нужно быть настоящим, свободным руководителем. А теперь настало время, чтобы мой народ, аборигены, имел собственную организацию и сам ею управлял. Так я говорил, но сделать этого я не смог. Совет защиты прав и профсоюз воевали друг с другом; руководители этих организаций воевали друг с другом вместо того, чтобы сотрудничать ради общей цели. И тогда я сказал, что уйду из этих организаций и поеду на Гроот-Эйланд. Моя жена родом оттуда. Я думал получить там работу, но мне не дали никакой работы, говорили, что работы для меня нет. Туда дошли слухи, что я подстрекатель. Это было нечестно. Мне сказали, что мне дадут работу, если я умею водить грузовики. А у меня только любительские права. Там работы для меня не было, и три месяца назад я вернулся на самолете в Дарвин.

Брайен Мэннинг продал свой грузовик. Я не мог достать в Дарвине никакого другого грузовика, чтобы получить права. Даже Обеспечение не дало мне напрокат грузовика. Это несправедливо, сказал я себе и решил: ну, ладно, я вернусь на Ропер-ривер. Мой отец — старейшина племени Ропер-ривер. Он всегда хотел, чтоб я вернулся. Ну вот, теперь я и вернусь, подумал я. Я уже собирался вернуться раньше, перед забастовкой в Уэйв-хилл, когда я в прошлый раз ушел из профсоюза. Ну вот, теперь я вернусь, сказал я. И вернулся.

Я поехал в миссию на Ропер-ривер, где я родился. Автомобиль я взял у Дэвиса, моего брата. Он мне его одолжил. Я поехал в его машине в Ропер-ривер по шоссе. Перед тем как уехать из Дарвина, я взял старательскую лицензию. Иногда на Ропер-ривер я жил у моего племени, а иногда бродил один, стрелял крокодилов, искал полезные ископаемые — золото, минералы, что угодно. С поисками мне не везло. И ночи были лунные. А крокодилы хитрые: при луне они ни за что тебя к себе не подпустят. Но мне было хорошо на Ропер-ривер с моим племенем. Я начал опять думать, как абориген. До этого я думал, что я христианин. Но абориген как раз посередине. Иногда я верю в путь белых, а потом начинаю верить в путь черных. На Ропер-ривер я опять начал верить в путь черных. И я решил, что останусь там и буду жить с племенем, верить в его законы и в его обычаи. Я изучу все цвета кожи и все племенные законы. Вы этого сделать не можете. Тотем племени Ропер-ривер проделал весь путь от Элис-Спрингс до Арнхемленда. Может, мой народ когда-нибудь и объединится, думал я, объединится на свой лад. Пока я жил на Ропер-ривер, пришли красные злые духи. Старики очень испугались. После шести часов ни один человек не зажигал костра. Некоторые молодые парни не боялись. Они не верят в духов красной охры. А я спросил себя: верю я в то, что духи красной охры приходят, чтобы наказывать людей,

которые задерживают отсылку палки-вести, или чтобы наказывать моего отца, если он сделает какую-нибудь ошибку в ритуале? И я сказал себе: я должен в это верить. И я поверил. И, может, это и не так глупо. Ведь закон нужен. А у белых людей есть очень глупые законы.

С соседних станций пришли пастухи-аборигены и сказали: «Декстер, плата осталась неправильной. На бумаге она правильная, но, когда заплатишь лавочнику, почти ничего не остается. Значит, мы не получаем деньги, одинаковые с белыми». Тогда я сказал:

— Конечно, это неправильно. Опять они взялись за старые штучки!

Пастухи показали мне платежный чек — на нем было проставлено четырнадцать долларов. Но четырнадцати долларов они не получили. И пастухи сказали: «Когда ты придешь к нам, Декстер? Мы тебя опять ждем». А я сказал: «Не знаю. Я больше не работаю для профсоюза. И для Совета по защите прав тоже не работаю. Может, позднее я и приду, я не знаю».

Я обдумал все это и сказал себе: нет, руководителем я больше не буду. Только мне было нехорошо, и я сказал им:

— От разговоров нет никакой пользы. Вам надо что-то сделать. Надо показать людям, что вы думаете.

Потом как-то утром в пятницу я пошел в полицейский участок, чтобы получить табак для моих родичей. Пока я ждал, ко мне подошел полицейский и сказал: «Ты на моей земле, и я хочу, чтобы ты ушел». А я сказал: «Я ведь только жду табак». А он сказал: «Я тебя знаю — ты подстрекатель. Я не хочу, чтобы здесь шлялся кто-нибудь из Дэниелсов. Пошел отсюда!» А я подумал: как странно — я забыл, а они помнят.

Когда я вернулся в миссию, там все были в большом волнении. Мистер Лески, заведующий миссией, сказал моим родичам, что у миссии нет денег, чтобы нанять всех аборигенов, — тридцать шесть мужчин и их жены останутся без работы.

Тогда я сказал, что нам надо созвать митинг. И мы созвали. Два вечера мы созывали митинги. И там был Уолтер Роджерс. Это абориген, который ездил со мной в Уэйв-хилл, когда я там был в первый раз. Уолтер всегда говорит мало. А на этих митингах он говорил много. Все люди Ропер-ривер умеют читать, и они знали про то, что сделали гуринджи — что они построили собственный поселок на Уотти-крик. И на митингах мы постановили, что эти семьи уедут из миссии в Арнхемленд, выберут участок около залива и поселятся там. У них будут их пенсии и пособия на детей. А около залива много всякой туземной еды.

Тогда я сказал, что могу сделать только одно: послать завтра с утра телеграмму Пэдди Кэрролу и Совету по защите прав, чтобы они прислали грузовик. Пешком мы пойти не можем, сказал я. Нам нужен транспорт. Я не хотел, чтобы они просто ушли со своими мешками за спиной, как это было в Уэйв-хилл. Поэтому я сказал миссионеру, чтобы он отправил мои телеграммы. А если нет, то пусть миссия снабдит нас транспортом. Он сказал: «Ах, нет, этого я сделать не могу. Прежде я должен запросить Совет миссии». Я ему сказал: «Они все на митинге». Но он ответил: «Вам придется подождать». Телеграмму он не отправил. Он не хотел отправлять эти телеграммы. И про грузовик он сказал то же самое: «Вам придется подождать. Я даже не могу отправить телеграмму. Я должен получить разрешение от Совета миссии».

Ну, после этого я утром сказал моим родичам: «Он отказывается послать телеграммы или дать нам транспорт. Поэтому завтра я сам поеду в Дарвин. Вы меня ждите. Если я говорю, что вернусь, то вернусь». Я хотел ехать вечером в пятницу и вернуться в Дарвин.

Только когда я после обеда пошел в гараж миссии, пришел полицейский и сказал мне: «Я хочу с тобой поговорить». Я спросил: «О чем?» Он сказал: «Ты бездельничаешь и обираешь своих родственников — берешь у них масло, чай, сахар и все такое. Ты заводишь беспорядки. Сукин ты сын! Ты подстрекатель. У меня есть на тебя жалоба от заведующего миссией. А кроме того, я велел тебе начать работать, а ты не начал». Тогда я ему сказал про мою старательскую лицензию—что я ищу ископаемые и стреляю крокодилов. Он сказал: «У тебя есть деньги, ты, бродяга? Я тебя арестую». У меня было двадцать долларов в потайном кармане брюк и восемь долларов (это четыре фунта) — в нагрудном кармане. Тут он схватил эти восемь долларов и сказал: «Я тебя арестую именем королевы».

И он меня схватил. Вместо того чтобы сказать мне, чтобы я шел с ним, он меня схватил. Я ничего не сказал. Они надели на меня наручники и увезли в матаранкскую тюрьму. Вы знаете, где Матаранка — от Ропер-ривер это очень далеко. И всю дорогу я ехал в наручниках. И в тюрьме с меня тоже наручников не сняли. И не дали мне ничего есть ни вечером, ни утром. Только когда мы приехали в Катерин, там в тюрьме мне дали хлеба и чаю. В тот же вечер в пять часов пришел полицейский и сказал, что мое дело будут рассматривать на особом заседании суда.

Ну, когда мы пришли в суд, меня вызвали по фамилии, и я думал, что мне будут задавать вопросы. Но меня ни о чем не спросили. Тогда я сказал: «Я хочу, чтобы меня судили по закону». А они сказали: «Ты не работаешь». Я сказал им, что у меня есть старательская лицензия, и я могу это доказать, потому что у меня есть квитанция на поиски полезных ископаемых и разрешение на отстрел крокодилов. Тогда судьи меня спросили: «Можешь ты все это доказать?»

Я сказал: «Да, могу. Но мне для этого нужно время».

Тогда встал полицейский сержант и сказал судьям: «Надо вызвать свидетеля, полицейского Райена». Они его вызвали, и судьи спросили, почему он меня арестовал. Полицейский сказал: «Мне на него жаловался заведующий миссией мистер Леске». Он рассказывал очень долго. Он сказал, что я приходил в полицейский участок, и он приказал мне уйти оттуда. Он сказал, что я завожу беспорядки в миссии. Он сказал суду, что я бродяга и живу на шее у моих родственников и что мистер Леске жаловался, что я завожу беспорядки. Под конец он сказал: «Этот человек не работает. Он бродяга».

Судьи спросили: «Это правда, что ты бродяга?» А я сказал: «Ну, я не работаю, но у меня есть старательская лицензия и немного денег». А они сказали: «Ты не работаешь. Ты признаешь себя виновным?»

Я подумал, что я виновен в том, что не работаю, и сказал: «Я признаю себя виновным». Потом я сказал: «Я могу объяснить, как это произошло». Но судьи сказали мне: «Садись. Слово тебе было дано раньше. Признаешь ты себя виновным или нет?» Я не знал, что делать, и сказал: «Признаю». Тогда они сказали: «Две недели тюремного заключения за бродяжничество».

После суда мне дали подписать бумаги. Я подписал. Тогда полицейский изо всех сил ударил меня по спине. У меня есть свидетель, что он меня ударил.

Меня продержали в тюрьме в Катерин шесть дней на одном хлебе и жидком чае. И это было очень странно. Ведь у меня в кармане лежали двадцать долларов. Они этого не знали. Большие деньги для бродяги. А там судили еще одного моего племянника. И оштрафовали его на пять долларов.

Тогда он спросил: «У тебя нет денег заплатить за меня, Декстер?» А я сказал: «Нет. Я ведь бродяга». Но я дал ему эти двадцать долларов и сказал: «Принеси мне сдачу и сигарет». И он принес. Через шесть дней меня отправили в тюремном фургоне в Дарвин, в тюрьму Фанни-Бей. Повез туда меня не тот полицейский, и я дал ему два доллара, чтобы он купил мне сигарет. Так что, когда я приехал в Фанни-Бей, у меня еще оставалось двенадцать долларов. Я сдал их надзирателю. Он очень удивился, что меня арестовали и что полицейский принял меня за бродягу, хотя у меня были деньги. Потом в тюрьму пришел Дик Уорд, и я ему все рассказал. Он сказал, что будет меня защищать. Хороший человек Дик Уорд. Я рассказал ему, что произошло на самом деле до того, как полицейский меня арестовал,— рассказал про жалобу миссионера...

Тогда он пошел в суд, и они меня выпустили до нового судебного заседания. И это тоже было странно. Судья в Дарвине был не похож на судей в Катерин. Дик Уорд привел в суд людей, которые хотели внести за меня залог. А этот судья сказал: «Не надо вносить за него залога. Он сам может внести за себя залог». Дик Уорд говорил, что в первый раз бродяга сам внесет за себя залог. Такого еще не бывало.

Потом пришел чиновник Обеспечения и сказал, что мистер Дин, директор, хочет заплатить судебные издержки. Я сказал: «Я не могу сейчас принять ваше предложение. Сперва мне надо поговорить с Диком Уордом». На следующий день я увидался с Диком Уордом, и он посоветовал мне отказаться. Тогда я сказал: «Правильно. Мне от Обеспечения ничего не нужно».

С тех пор как я начал забастовку в Ньюкасл-Уотерс, я все ждал, что со мной случится что-нибудь вроде этого. Я чувствовал, что это обязательно случится. А меня арестовали, когда я уже перестал готовить забастовки. Когда я вышел из тюрьмы, я почувствовал, что мне на плечи лег большой груз, и я понял, что нести его некому. Я не хотел его нести, но я понимал, что всюду, куда бы я ни пошел, я должен буду руководить. Куда бы я ни пошел, для меня будет работа. Другого выхода у меня нет. Мне придется вести мой народ. И я хочу, чтобы мне помогали в этом, помогали вести мой народ, вести аборигенов.

Тогда я снова отправился на разные станции, и я разговаривал там с аборигенами. «Когда начнется следующий отбор, я снова приду,— говорил я им,— в лавках вас грабят. Не берите товаров по записи. Получайте свою заработную плату деньгами и платите наличными».

Мне надо стараться все время быть руководителем. А это очень трудно. Я должен добиться, чтобы Советом по защите прав руководили аборигены. И я должен побывать в Уотти-крик до начала дождей. Им там нужна помощь.

Только аборигены могут вести самих себя; аборигенам пора организовываться и самим руководить своими организациями. И теперь каждый раз, когда я встречаю аборигена, я ему говорю: «Учите молодых аборигенов руководить и бороться. Одних слов мало. Одной бумаги мало. Аборигены ничего не добьются ни в этом мире, ни в будущем с помощью одних разговоров или листков бумаги. Надо действовать. Если мы на самом деле хотим жить как люди, мы должны сами действовать. Сотрудничать с белыми европейцами. Сотрудничать с лейбористской партией (я теперь вступил в эту партию). Сотрудничать с коммунистической партией (я встречал на юге много коммунистов и ничего против них не имею — они обходились со мной по-хорошему). Сотрудничать с христианами, сотрудничать с любыми европейцами.

Сотрудничать с ними, но следовать нашему собственному закону, закону аборигенов».

Вот что я теперь говорю моему народу.

Я побываю в доках Дарвина. Я буду объезжать станции. Я, может быть, поеду на

юг или на край света. Но я знаю, куда бы я ни поехал, этот груз будет лежать на моих плечах. Я сбросил его на землю, а они заставили меня снова его поднять.

И теперь я должен научиться его нести. Нести его все время и учиться быть руководителем.

Когда Декстер ушел, в ночном небе над Дарвином вспыхнули молнии — огненный сигнал, возвещающий наступление дождливого сезона. В прошлом году я молился, чтобы дождь перестал и я мог бы добраться в Уэйв-хилл. А теперь я молюсь, чтобы он не начался прежде, чем я туда доберусь.

Машина нагружена продовольствием, и мы готовы отправиться в Катерин, Топ-Спрингс и еще дальше — в Уэйв-хилл и на Уотти-крик.

Что мы найдем на Уотти-крик? Что стало с мечтой гуринджи?

Белая Австралия возникла как самый дальний из аванпостов мощи Старой Англии, и мощь эта опиралась на бесчеловечность белых по отношению к цветным. Первых поселенцев и каторжников, хозяев и слуг объединяло одно — презрение к племенам, у которых они отбирали землю. Пионеры, первыми проникавшие в самое сердце страны, ничего не знали и не хотели знать о культуре коренных ее обитателей. Когда аборигены отказывались выполнять неоплачиваемую работу, пускали в ход копья против белых, их забивали насмерть, в них стреляли без предупреждения. Карательные экспедиции не только оставались безнаказанными — они поощрялись и даже организовывались властями. Белая Австралия повинна в самом страшном из преступлений — в геноциде: все коренные жители Тасмании были истреблены, все до последнего человека.

Уничтожив тасманийцев, белая Австралия усмирила аборигенов, живших на материке, и решила предоставить им вымирать спокойно. Но они не вымерли. Тогда скотоводы севера обнаружили, что из аборигенов получаются прекрасные пастухи, и обрекли их на рабский труд.

По сей день с аборигенами обходятся не как с людьми. Их положение ужасно. Как им жить и даже какими они должны быть — решают другие люди. И жить они могут только на условиях, продиктованных людьми, которые их презирают. Им платят меньше, чем белым, за равную работу, не дают возможности получить образование, их подвергают сегрегации и дискриминации, лишают земли, оскорбляют, попирают их человеческое достоинство, отнимают у них все.

И эти преступления совершаются вами, жители белой Австралии, или от вашего имени.

Есть много австралийцев, которые презирают аборигенов. Большинство проявляют терпимость, но их снисходительный патернализм — прямое следствие непоколебимого убеждения в превосходстве белой расы. Эти люди говорят о страшных расовых проблемах в США так, словно в Австралии все обстоит прекрасно. Белая Австралия игнорирует аборигенов, потому что они представляются ей неорганизованным безвольным скопищем, потому что они молчат. Если же абориген пытается повести свой народ на борьбу, как сделал Декстер Дэниелс, с ним расправляются втихомолку, и ни один голос не поднимется в его защиту. Если племя попытается само и по-своему решать свою судьбу, как сделали гуринджи, ему будет всячески препятствовать и отказывать даже в минимуме помощи та самая организация, которая была официально создана для обеспечения всех его нужд.

Неужели можно выдвигать довод, будто такая богатая страна, как Австралия, не в силах предоставить аборигенам то, что им необходимо? Может ли белая Австралия оставаться свободной, пока аборигены закованы в цепи?

Я лежу без сна, прислушиваюсь к шуму дождя над Дарвином и думаю о гуринджи. Сумею ли я добраться к ним до начала дождей? Достаточно ли у них запасов, чтобы продержаться сезон дождей? Вернется ли молодежь из Кэмфилда и Монтеджинни? Без скота, без земли, на которой можно было бы разводить этот скот, сумеют ли они выдержать? Как долго у них хватит сил противостоять гнетущему нажиму Обеспечения? Может быть, им все-таки лучше вернуться в Уэйв-хилл и потребовать соглашения о заработной плате? Если мне удастся добраться до Уэйв-хилл, допустят ли меня агент Обеспечения и полицейский на Уотти-крик? А что скажут гуринджи? Сможем ли мы вновь встретиться как братья? Не обратится ли неосуществленная мечта в кошмар?

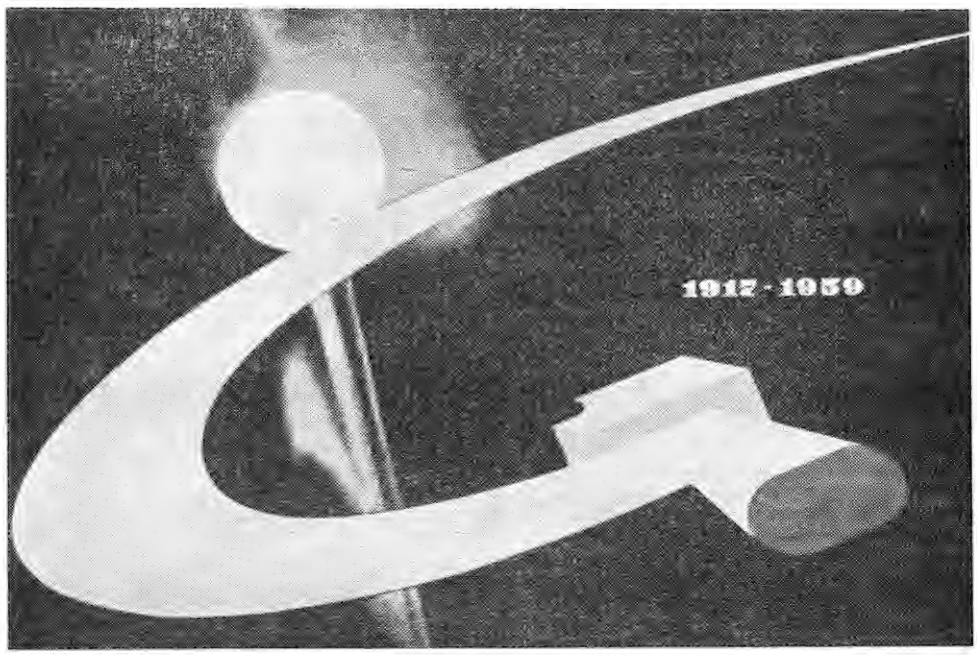
Эти вопросы останутся тут без ответа.

Прежде чем я отправлюсь в Уотти-крик наперегонки с дождем, эта книга уйдет в набор.

Но, написав ее, обрету ли я свободу заняться другими книгами, другой деятельностью? А вы, прочитав ее, будете ли вы свободны вновь искать счастья только для себя? Свободна ли Счастливая страна, пока пасынки Австралии носят цепи?

*Дарвин*
*Январь 1968 года.*

# ПОЛЬСКИЙ ПЛАКАТ




**Збигнев Вашевский.** Плакат, посвященный 42-й годовщине Октября.

Плакат можно назвать зеркалом современной польской жизни. Глядя на листы, созданные польскими плакатистами, узнаешь о многом, чем живет сегодняшняя Польша.

Современный польский плакат рождался вместе с народным государством. Он появлялся на стенах освобождаемых от фашистов городов, информируя о важнейших общественных событиях, разъясняя их, призывая к поддержке прогрессивных явлений, разоблачая реакцию. Плакаты польских художников звали к борьбе с фашизмом, к укреплению рабоче-крестьянского союза, к труду. Они обращались к полякам, эмигрировавшим в годы войны за границу: «Возвращайтесь!». Плакаты воспитывали бдительность, помогали политической ориентации.

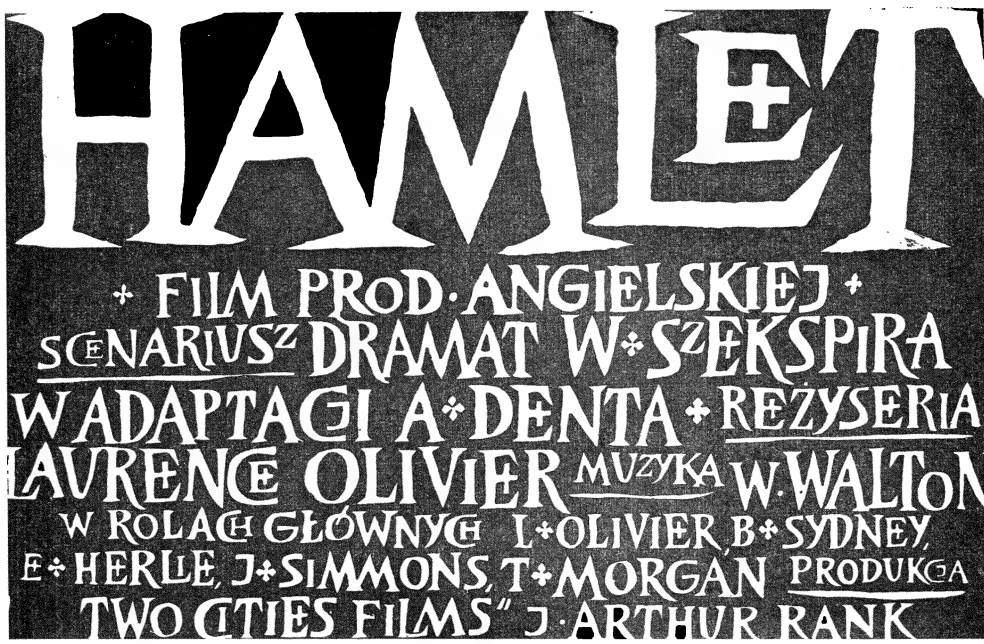
В условиях послевоенной разрухи плакат, висящий на улицах городов, деревень, для многих миллионов поляков был единственным средством общения с произведениями изобразительного искусства. Он проникал в самые отдаленные уголки Польши, неся с собой не

только новые идеи, но и художественную культуру, приобщая к ней миллионы зрителей.

Расцвет плакатного искусства в годы становления народной Польши не был случайным. Подъем этого вида искусства, который по своей специфике способен наиболее быстро реагировать на общественные явления и доносить их до самого широкого круга людей, обычно происходит в периоды значительных социально-исторических сдвигов. Так было, например, в советском искусстве в годы гражданской и Великой Отечественной войн, в венгерском искусстве во время существования Венгерской советской республики (1919 г.). Наряду с социально-историческими предпосылками развитию плаката благоприятствовало то обстоятельство, что у польских мастеров была национальная художественная традиция, на которую они могли опереться.

Уже с первых послевоенных лет в области плаката начала работать большая группа мастеров разных поколений — Тадеуш Гроновский, сыгравший большую роль в формировании довоенного польского плаката, Тадеуш Трепковский,

**Бронислав Зелек.** Плакат к XXXV Познанской промышленной ярмарке.




**Юлиан Палка.** Плакат к английскому фильму «Гамлет».

Генрик Томашевский, Юзеф Мрощак, Ежи Сроковский, Влодзимеж Закшевский, Эрик Липиньский, Игнаци Витц.

Особое значение в первые послевоенные годы приобрел политический плакат. Его основоположником явился Тадеуш Трепковский (1914—1954), в творчестве которого получили последовательное развитие принципы плаката-символа.

Новаторство Трепковского состояло в том, что формально-художественный прием, разработанный в европейском искусстве в 20—30-е годы, он применил для решения совершенно новых идейно-творческих задач. Его плакаты несли новую, чрезвычайно емкую по своему идейно-образному содержанию символику. Употребив минимум изобразительных средств, художник добивался острой эмоциональной и смысловой выразительности.

Символика плакатов Трепковского очень конкретна, порой однозначна. Классическим стал плакат Трепковского «НЕТ!» — огромный силуэт бомбы с выступающим на его фоне контуром разрушенного дома — это скупые, лаконичные, но какие выразительные символы войны! Польский политический плакат не декларативен, не атакует зрителя в лоб. Во многих случаях художники ищут лирический, порой даже интимный аспект выражения важной идеи, затрагивают очень личные струны в душе человека и от этого индивидуального переживания идут к утверждению серьезных больших идей.

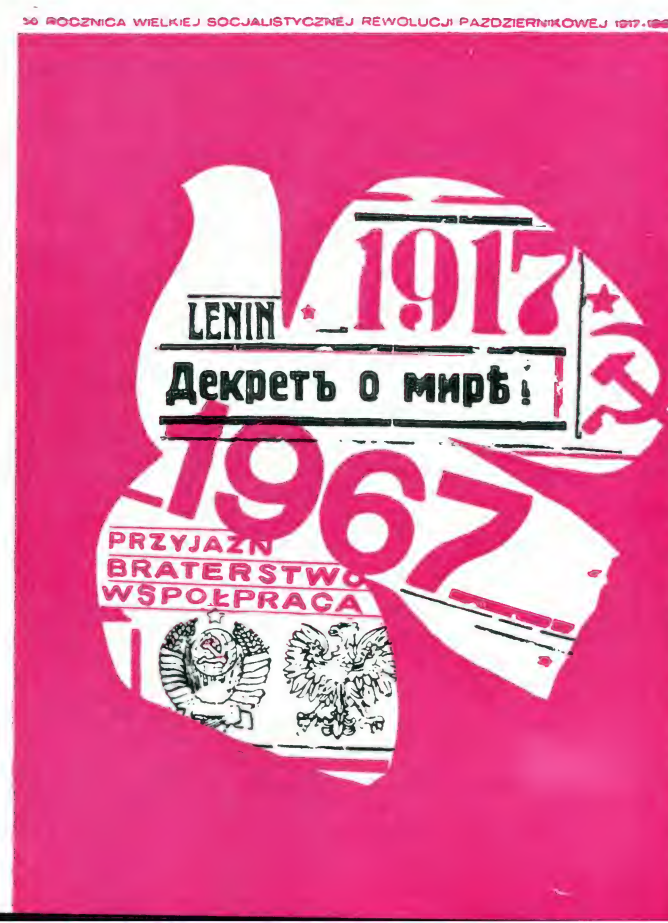
Отсюда и характерные для многих польских плакатов мотивы: цветы, элементы пейзажа, детский типаж.

Польские художники часто идут к раскрытию образа опосредствованно, вызывая у зрителя сложную цепь ассоциаций. Непревзойденным мастером плакатной метафоры является Генрик Томашевский — один из наиболее своеобразных мастеров польского плаката, оказавший наряду с Т. Трепковским решающее влияние на формирование молодого поколения польских плакатистов.

Для творческой манеры Томашевского характерно сочетание фантазии со склонностью к парадоксальному и остросатирическому мышлению.

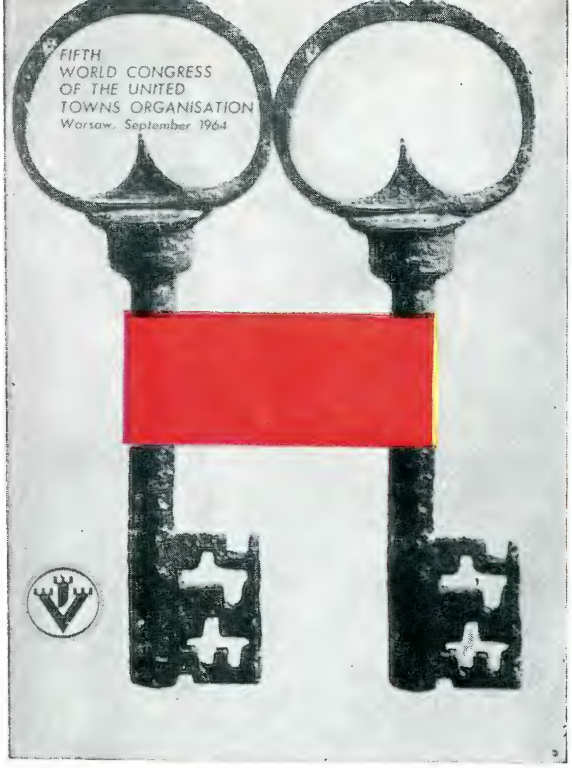
Поражает свобода, с которой художник оперирует графическими и живописными элементами, образующими необычайно оригинальные и убедительные решения. Наполнить плакат значительным содержанием и вместе с тем сделать его лаконичным, легко читаемым, так чтобы человек мог воспринять его на ходу, в шуме и суете большого современного города,— сложная задача. Поэтому нужно, чтобы каждый элемент изображения нес эмоциональную и смысловую нагрузку. Если в плакате есть текст, то уже сами буквы, характер шрифта должны стать средством создания образа. И

**Януш Викторский.**
Ленин.

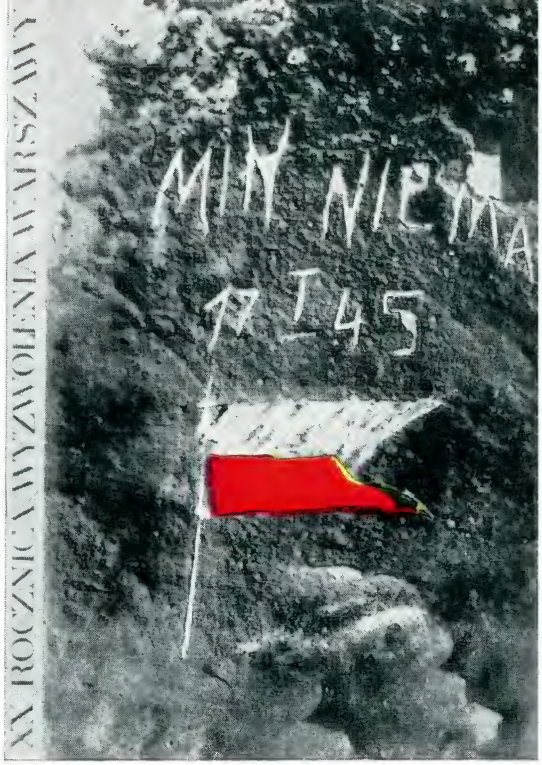



**Марек Мосинский.**
Декрет о мире.

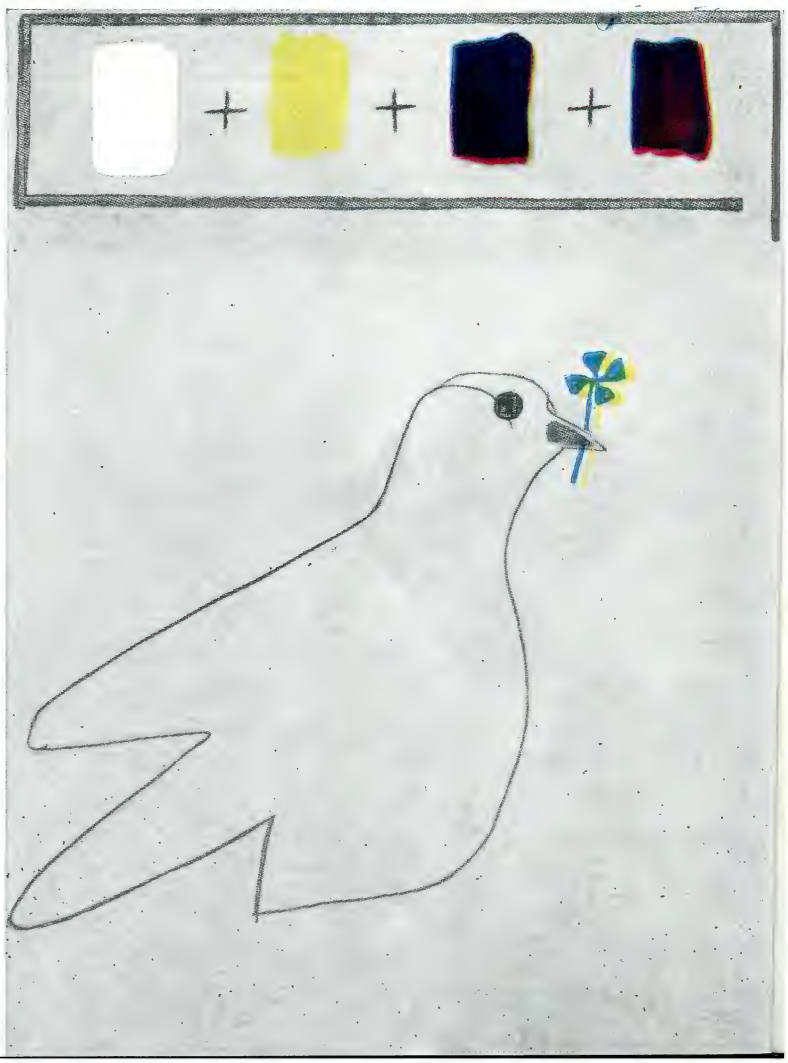
*К статье И. Свирида «Польский плакат»*




**Войцех Замечник.** Плакат, посвященный V международному конгрессу городов-побратимов.




**Зенон Янушевский.** Плакат, посвященный 20-летию освобождения Варшавы.



**Генрик Томашевский.** Мир.

Ян Леница. Плакат к опере А. Берга «Воццек».

Губерт Хильшер. Цирк.

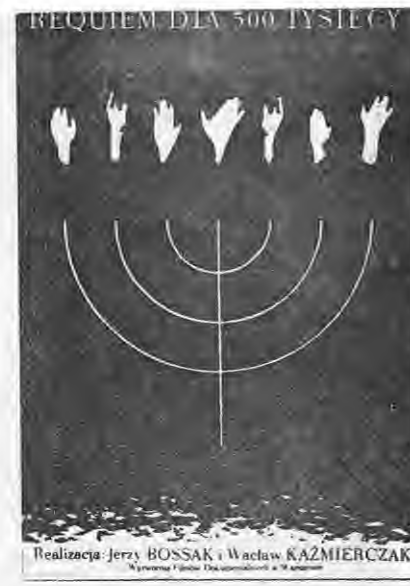
**Тадеуш Иодловский.** Плакат к постановке театра кукол.

**Роман Цеслевич.** Плакат к балету С. Прокофьева «Сказ о каменном цветке».

часто шрифт, надпись из вспомогательного элемента становятся основным, заключая в себе не только текстовую информацию, но и сам пластический образ. Таков плакат-афиша Томашевского к выставке Г. Мура, где удивительно точно найденный характер букв напоминает стилистические особенности скульптур английского мастера.

Особое значение для развития новых технических возможностей польского плаката имело творчество Войцеха Замечника, сочетавшего живописно-графический поиск в плакате с использованием богатых возможностей искусства фотографии.

В середине 50-х годов активно выступило поколение молодых художников, воспитанных в художественных учебных заведениях



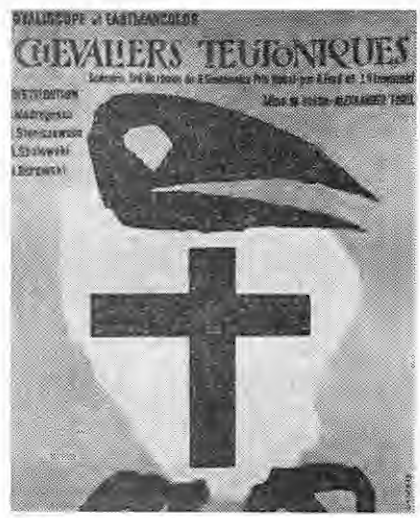

**Лешек Холданович.** Плакат к документальному фильму «Реквием для 500 тысяч».

**Ян Леница.** Плакат к мексиканскому фильму «Рио Эскондидо».

**Мацей Урбанец.** Плакат по технике безопасности.

**Хуберт Хильшер.** Плакат к выставке «Школа в Финляндии».

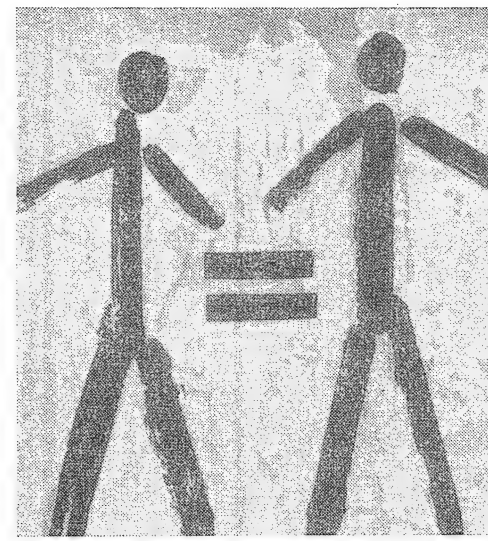
**Вальдемар Свежий.** Плакат к польскому фильму «Крестоносцы».



народной Польши. Они принесли в плакат повышенную экспрессию, острый колорит, смелые композиционные решения. Взволнованные образы плакатов Я. Леницы, Р. Цеслевича, Я. Млодоженца, Зб. Кайи, Ю. Палки, Ф. Старовейского, Т. Иодловского, В. Свежего прозвучали как полный диссонансов насыщенный аккорд.

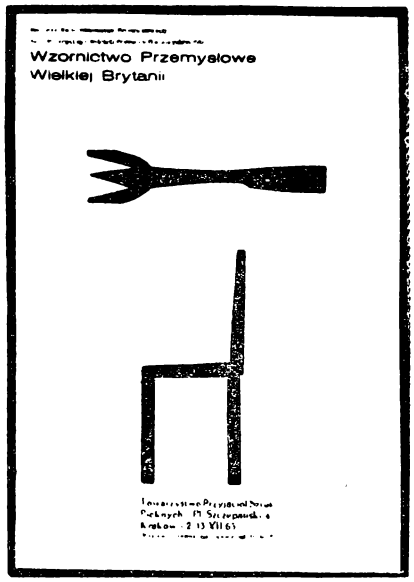
В эти годы наряду с плакатом на общественно-политические темы блестящее развитие получает кино- и театральный плакат-афиша. Оперируя приемами символа и метафоры, шаржа и гротеска, используя выразительность рисованного шрифта и фотомонтажа, мотивов народной орнаментации, польские мастера создали содержательные листы, которые не просто рекламировали фильмы или спектакли, но давали свое, порой остросубъективное прочтение их образов.

В середине 60-х годов острая экспрессия, бурная живописность плакатов предшествующего периода уступают место большей



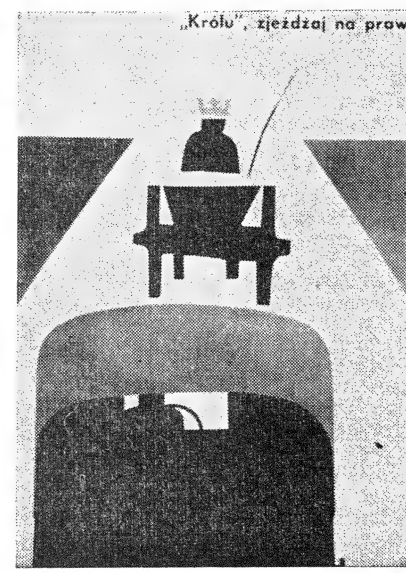
**Станислав Загурский.** Плакат, посвященный 20-летию ЮНЕСКО.

**Рослав Шайбо.** Не пропей здоровья!




**Генрик Томашевский.** Плакат к выставке «Промышленное искусство Великобритании».

**Войцех Замечник.** Соблюдай правила уличного движения!




строгости изобразительных средств. На смену плакату-образу приходит плакат-знак, очень лаконичный, четкий. Такова афиша Г. Томашевского «Промышленное искусство Великобритании» или Х. Хильшера «Школа в Финляндии».

Но такой аскетический стиль не мог полностью удовлетворить польских художников. Их творческий темперамент вновь прорывается в цикле плакатов «Цирк», где в красочную жизнерадостную симфонию вливаются юмор, буйная фантазия, неожиданное сопоставление элементов и композиционная изобретательность.

Чувство юмора, присущее польским художникам, не покидает их и когда они говорят о серьезных вещах. Таких, например, как техника безопасности труда. Их плакаты становятся драматичными, если речь идет о судьбах человечества, о защите гуманистических идей. Подлинным трагизмом полон плакат Л. Холдановича к фильму «Реквием», говорящий о жертвах фашизма. Как застывший крик протеста воспринимается пламенеющий оранжевыми тонами плакат Я. Леницы к опере А. Берга «Воццек», получивший первую премию на I Международной биеннале плаката в Варшаве.

Не случайно именно столица Польши стала постоянным местом проведения международных смотров плаката (в этом году состоялась II биеннале). Успехи польских мастеров уже давно заставили мировую критику заговорить о польской школе плаката как чрезвычайно ярком и своеобразном явлении в современном искусстве.

Польские плакаты имеют свое издательство, плакат экспонируется в выставочных залах, на улицах, он является предметом постоянных дискуссий в прессе, в профессиональной аудитории, среди любителей искусства. Плакат стал неотъемлемой частью жизни польского общества. О нем спорят, его хвалят, критикуют... И наверняка его очень любят и им гордятся в Польше. Доказательство этому — открытый недавно в Варшаве первый в мире музей плаката, где работы польских мастеров занимают подобающее им место среди произведений лучших плакатистов мира.

Неустанные творческие поиски польских плакатистов подчинены задаче выражения значительных идей современности.

**И. СВИРИДА**

*ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ*

# ДУША НАИЗНАНКУ

**«Были ли вы нацистом?», «Что вы думаете о фашизме?» — эти и подобные им вопросы отнюдь не представляют академический интерес в современной Западной Германии. Когда на парламентских и иных трибунах вновь бушуют ораторы вроде Франца-Иозефа Штрауса, голосистого босса баварских католиков, или Адольфа фон Таддена, не менее голосистого шефа неонацистской партии, или барона фон Гуттенберга, сменившего скамью в бундестаге на мягкое кресло в канцелярии дворца Шаумбург, резиденции федерального канцлера,— у многих западных немцев есть все основания задуматься над проблемами старого и нового нацизма. Те из западногерманских писателей и публицистов, которые помогают раскрыть людоедскую природу фашизма, делают, несомненно, очень полезное для своего народа дело. Многие из них при этом всегда помнят: ни один честный человек, который задался целью разоблачить духовную сущность или, точнее говоря, духовное ничтожество нацизма, не может становиться в позу стороннего наблюдателя — он должен быть воинствующим антифашистом.**

**Подобные мысли невольно приходят в голову, когда в гамбургской газете «Цейт» знакомишься с взволнованным откликом писателя и журналиста Хорста Крюгера на сборник автобиографических очерков ряда западногерманских литераторов, которым предложили дать ответ на вопрос: «Был ли я нацистом?» (издательство «Рюттен унд Лёкинг», Мюнхен, 165 стр.). Девять писателей совершают путешествие в глубь собственных душ, копаются в своем прошлом, стараются его объяснить. И что же? Иным веришь больше, другим меньше, устанавливает Крюгер, но главного — ясного и недвусмысленного ответа насчет того, как фашизм завладевал душами, топтал их, превращал человека в зверя,— сборник не дает. Недаром Хорст Крюгер иронически замечает:**

> «В объеме 165 страниц разработка этой немецкой темы представляется мне несколько тощей. Разве и впрямь нельзя было по такому поводу сказать большего?»

**Но, может быть, речь идет всего лишь о предвзятости рецензента? Вряд ли. Ведь Хорст Крюгер в полной мере отдает себе отчет в том, с какими трудностями связано создание подобной антологии в ФРГ.**

> «Собственно говоря, не трудно было предугадать, что такие нуждающиеся в объяснении их прошлого писатели, как Эрнст Юнгер, Герхард Небель, Эрнст фон Заломон, Герд Гайзер, пожав плечами, отклонят поставленный перед ними вопрос. Это относится и к публицистам. Только с детской наивностью можно было рассчитывать на самоотражение со стороны, например, Карла Корна, В. Е. Зюскинда, Гизельхера Вирзинга. А ведь это оказалось бы действительно интересным. Однако вместо этого с самого начала можно было рассчитывать на немногих откровенных, на людей доброй воли, на добровольно признающихся, которые не очень типичны для данного случая».

**К тому же, добавляет Крюгер, «процедура самообвинения и самосуда» — начало ей положил Вольфганг Вейраух, еще в 1966 году на страницах журнала «Меркур» поставивший перед собой вопрос: «Был ли я нацистом?»,— таит в себе немалую опасность. Когда человек одновременно выступает в роли обвинителя, защитника, судьи, ему трудно, даже если он этого хочет, быть объективным: самообвинение легко переходит в самооправдание, сопровождающееся ссылкой на «неумолимые обстоятельства».**

**В сборнике помимо Вейрауха выступают с признаниями Иоахим Гюнтер, Ганс Эгон Хольтхузен, Ганс Гельмут Кирст, Рудольф Кремер-Бадони, Александр Лернет-Холениа, Йенс Рен, Гейнц Винфрид Сабаис, Герман Шталь. И не все из них всерьез признают свою вину. Ганс Эгон Хольтхузен, например, помещает в сборнике очерк под претенци-**

озным названием «Портрет молодого человека, добровольно пошедшего в эсэсовцы». Оказывается, он пошел в эсэсовцы потому, что в черном мундире «выглядел шикарно». Цинизм, с которым Хольтхузен вспоминает об этом, сочетается с попыткой сохранить за каждым человеком право «при всех обстоятельствах, со всеми своими противоречиями, со всеми своими нелепостями оставаться самим собой». Так можно далеко пойти, оправдать все что угодно, в том числе и преступления, совершенные тем или иным нацистом. Что поделаешь, если его индивидуальность требовала этого?!

Как замечает Крюгер, заставляет насторожиться и выступление Александра Лернет-Холениа, который главным образом сетует на то, что на долю немцев, в отличие от всего остального мира, выпадают «только угрызения совести». Такой взгляд на вещи не способствует изживанию нацистского прошлого.

Выражая общее впечатление от книги, Крюгер пишет:

> «Бросаются в глаза (при чтении упомянутых исповедей.— *Н. П.*) их общие особенности: никто, собственно, точно не определяет, каким он представляет себе нациста. Большинство пользуется диалектической техникой: вначале — ясное «да», позднее — дифференцированное «нет»; или наоборот: сперва — густое «нет», а позднее — дифференцированное «да»... За сим следует остаток, состоящий из чувства вины, и остаток, состоящий из чувства невиновности. Типичная немецкая ситуация».

Комментируя биографические очерки девяти писателей, Хорст Крюгер не без язвительности замечает, что во многих из них неожиданно повторяются одни и те же мотивы:

> «Ранняя потеря отца, молодой буйный друг, дитя природы, который в начале тридцатых годов увлек автора в национал-социалистскую организацию... Попытки извиниться? Индивидуальные правды, общественные полуправды? Читатель скоро видит, что он запутался в лабиринте частных биографий, и они с нарочитой чувствительностью, с нарочитой убедительностью повествуют о компромиссах, которые невозможно было обойти в обстановке диктатуры».

Похоже, что некоторые из авторов сборника «Был ли я нацистом?» больше рассчитывали выгородить себя в глазах общественности, нежели внести свою лепту в борьбу с нацистской идеологией, как таковой, в борьбу против попыток неонацистов вновь завладеть душами молодого поколения западных немцев. Это лишний раз подтверждает, сколь вредна беспринципность в оценке фашизма, сколь опасно делать вывод, будто речь шла лишь об отдельных заблуждениях отдельных личностей, сколь недопустимо становиться в позу сторонних наблюдателей прошлых и нынешних событий в своем доме. Такая позиция помогает, в конечном счете, не делу борьбы с рейнским милитаризмом и неонацизмом, а реакционным силам, которые хотели бы снова отравить нацистским ядом умы западных немцев. Недаром Хорст Крюгер говорит:

> «Затею с опросом немецких авторов по этому поводу (об их нацистском прошлом.— *Н. П.*) можно после чтения книги считать неудавшейся. Правда, и в этой неудаче есть симптом».

Да, это действительно симптом, напоминающий, что кое-кому в Бонне совсем не хочется разоблачения фашизма, в том числе и перьями писателей. Косвенное тому подтверждение мы находим в другом издании, появившемся недавно на западногерманском книжном рынке под названием: «К примеру — 42 немца» («Нимфенбургер ферлагсхандлюнг», Мюнхен, 332 стр.). Сразу оговоримся: составителя сборника Юргена Невен-дю-Мона никак нельзя причислить к лику западногерманских литераторов, придерживающихся прогрессивных воззрений. Невен-дю-Мон олицетворяет, скорее, тип неразборчивого буржуазного публициста и репортера, действующего по методу «чего изволите?». Само собой разумеется, что «изволить» позволено лишь тем буржуазным издателям, органам прессы или телевидения, которые солидно платят. Невен-дю-Мон стяжал себе печальную известность, например, своими антисоветскими пасквилями. В них автор допускал грубейшие передержки и выступал в роли ярого врага коммунизма.

В книге, о которой здесь идет речь, Невен-дю-Мон не автор, а редактор и составитель. Он записал на пленку разговор с сорока двумя немцами, у которых не спрашивал ни фамилии, ни адреса. Они говорили все то, что им хотелось сказать: о своем отношении к церкви, к любви, к Гитлеру, к бизнесу, к парализованным родителям, к искусству, к оплате покупок в рассрочку и т. д. Сорок два немца различных взглядов, профессий, возрастов — пекарь, националист, житель Вестфалии, разведенная жена, рабочий, старая дева, двадцатилетний юнец и т. д. Результат?

Пожалуй, есть некая смысловая связь между тем, что рассказывают в своих автобиографических очерках такие писатели, как Хольтхузен и Лернет-Холениа, и тем, что рассказывают сорок два немца. Она, эта связь, проявляется, в частности, в неком политическом равнодушии к опасностям, которые угрожают Западной Германии в результате безрассудной политики ее правящих кругов. Но ведь такое равнодушие и есть одна из целей или, лучше сказать, одна из первых целей реакционных сил, которые хотели бы прежде всего отвлечь общественное мнение от животрепещущих проблем жизни, чтобы затем толкнуть его в объятия милитаристской и неонацистской идеологии.

**Если Невен-дю-Мон хотел подтвердить, что дело зашло уже достаточно далеко, то своими интервью он сумел это сделать. Вот что говорит, например, анонимный рабочий, один из сорока двух немцев:**

«Лишь бы не думать о больших проблемах, лучше думать о хобби... Иначе испортишь все настроение».

**Комментируя эту реплику, западногерманский писатель Рейнгард Баумгарт пишет:**

«Такой «большой проблемой» почти для всех (опрошенных.— *Н. П.*) все еще остается национальное прошлое, нацизм; то, о чем они умалчивают, сидя за столом в пивной, эти люди рассказывают здесь достаточно словоохотливо и подробно. Тот, кто был современником Гитлера, с удовольствием роется в собственных воспоминаниях. «Все было о'кей, за исключением войны»,— так суммирует мысли многих некая бухгалтерша».

**Или взять другого западного немца, с готовностью изливающего свою душу:**

«То были и в самом деле, при всей их печали, очень забавные времена» (это — о временах фашизма в Германии! — *Н. П.*).

**Баумгарт в целом довольно лестно отзывается о книге «К примеру — 42 немца». Вероятно, он прав, когда утверждает, что попытка показать того или иного гражданина Федеративной Республики Германии без грима, таким, каков он есть,— это полезное начинание, поскольку оно позволяет узнать о жизни республики больше, чем можно почерпнуть из учебников или из федеральной конституции. Ведь обстановка в ФРГ не только не способствует, а, наоборот, препятствует изживанию нацистского прошлого. В этом известное позитивное значение интервью, доказывающих живучесть нацизма. Однако невольно возникает вопрос: а не хотел ли господин составитель создать с помощью своей книги впечатление, будто в ней западногерманское общество представлено, так сказать, в разрезе, будто она — визитная карточка западных немцев, будто все они, мол, такие, как те сорок два рассказчика, которые выворачивают наизнанку свои души, являя зрелище более чем непривлекательное?**

**Нет, не все западные немцы таковы, какими они здесь предстали. Конечно, между Рейном и Нижней Эльбой можно встретить разных людей — неисправимых милитаристов и поклонников Гитлера, узколобых обывателей и бессердечных бизнесменов, сбитых с толку длинноволосых юнцов и примирившихся со своей судьбой лавочников. И все же в Западной Германии можно встретить и многих других людей — борцов против фашизма и милитаризма, против произвола концернов и рискованных затей Бонна, людей с чистой совестью, с чистыми намерениями, с чистыми руками. Они существуют и все отчетливее заявляют о себе. Им не нашлось места в общественной мозаике, которую составил Невен-дю-Мон. В интервью, собранных им, отразилась опасная тенденция, характерная для определенных кругов западногерманского общества: она выражается в забвении трагических уроков истории.**

**НИКОЛАЙ ПОЛЯНОВ**

# ГЛАЗАМИ СУПЕРМЕНОВ

**«Свободно-присоединившееся государство Пуэрто-Рико», если послушать пропагандистских соловьев из Вашингтона, представляет собой не что иное, как «витрину свободного мира и демократии», «мост, связывающий североамериканскую и латиноамериканскую культуры», «эталон отношений Соединенных Штатов со странами и народами Латинской Америки». Поистине, нет таких сладкозвучных эпитетов, которые бы не пускались в ход, чтобы воспеть пуэрториканский «рай», а по сути — замаскировать колониальный статус этого латиноамериканского острова — «Гибралтара Карибского моря», оккупированного империализмом США ровно семьдесят лет назад. Правда, на молодых пуэрториканцев распространяется одна «привилегия» молодых граждан США: они обязаны отбывать воинскую службу в американских вооруженных силах — в противном случае им угрожает пятилетнее тюремное заключение. Молодые пуэрториканцы пользуются и одинаковым с молодыми американцами «правом»: погибать, скажем, во Вьетнаме. А что касается всего остального...**

**Как сообщал недавно в латиноамериканской печати профессор Пуэрториканского университета писатель Мануэль Мальдонадо Денис, власть Соединенных Штатов распространяется не только на молодых пуэрториканцев, но и**

«на оборону Пуэрто-Рико (североамериканцы имеют здесь тринадцать военных баз, в том числе две ядерные, и Пентагон является крупнейшим на острове латифундистом, занимая более ста тысяч акров возделываемой земли);

на экономическую эксплуатацию всех естественных ресурсов Пуэрто-Рико (сахар, кофе, табак, нефть, медь);

на секретную полицию (ФБР и ЦРУ здесь действуют с разрешения конгресса США);

на все отношения с внешним миром; на почту и таможню;

на иммиграцию и эмиграцию (не мы, пуэрториканцы, определяем, кто может сюда приехать или отсюда уехать);

на установление жалованья — минимального — пуэрториканским гражданам;

на торговый флот (Пуэрто-Рико не имеет торгового флота и свои товары может транспортировать только на судах США);

на радио и телевидение (любая программа должна быть утверждена Федеральной комиссией связи в Вашингтоне);

на цензуру на книги и произведения искусства;

на национальную пуэрториканскую культуру, которую стремятся подавить;

на просвещение, на воспитание молодого поколения Пуэрто-Рико в рамках «колониального мышления»: в духе беспрекословного подчинения Соединенным Штатам, слепого восхищения Соединенными Штатами...»

**Нищета и безработица (тридцать процентов рабочей силы не находит себе применения!), царящие на оккупированном острове, заставляют многих пуэрториканцев покидать свою родину-колонию и искать работу в метрополии — в США. Две-три цифры: население Пуэрто-Рико насчитывает два с половиной миллиона человек, а в США проживает около миллиона пуэрториканцев, из них полмиллиона — в Нью-Йорке.**

**Что же выпадает на долю беженцев из пуэрториканского «рая» в «раю» американской демократии?**

**Предоставим слово не социологам. Не экономистам. Не политическим деятелям. И даже не пуэрториканцам.**

**Обратимся к фабрикуемой в Соединенных Штатах многомиллионными тиражами так называемой «популярной художественной литературе», рассчитанной на массового читателя. В США называют эти издания карманного формата, продаваемые по очень дешевой цене, mysterious — романы детективно-полицейского жанра.**

**Именно об этом виде литературы рассказывает С. Арана-Сото в своем обзоре, напечатанном мексиканским журналом «Куадернос американос»:**

«Такого рода книги издаются, вне всякого сомнения, сотнями миллионов экземпляров, и это как раз то, что вообще читает североамериканская нация. Такого рода книги — хотя в них заглядывают и люди более высокого культурного уровня — обращены к широким слоям населения, к публике вообще. Они доступны всем и каждому. Бóльшая часть этих книг (особенно произведения Бретта Холлидея) — романы насилия, насилия всевозможного; в этих романах насилию уголовного преступника противопоставлено насилие со стороны главного героя, убивающего преступников — и многих — с особым вкусом, с наслаждением...»

**Бросается в глаза, что в ролях преступников выступают, как правило, пуэрториканцы и другие латиноамериканцы. А в ролях представителей «закона» — почти непременно «стопроцентные» янки.**

«Все, что пишется в этих книгах о латиноамериканских странах, естественно, откладывается в сознании читателей,— подчеркивает автор,— иначе говоря, так думает и в это верит значительнейшая часть североамериканского народа».

**Автор обзора указывает, что он не стремился к полноте критического анализа изготовляемой в США «популярной художественной литературы», в которой речь идет о Латинской Америке, и в частности о Пуэрто-Рико. Однако он приводит многочисленные примеры из книг, попадавшихся ему в руки в течение последних двадцати лет:**

«Попросту говоря, я читал то, что читает североамериканский народ»,— объясняет он.

**Итак, спрашивает Арана-Сото,**

«как выглядит пуэрториканец в североамериканском романе, рассчитанном на массового читателя?»

**Скажем прямо, он выглядит весьма неприглядно. И эту неприглядность авторы рассматриваемых в обзоре книг относят не за счет уродливых общественных отношений, сложившихся в США, а за счет неких расовых признаков, будто бы присущих пуэрториканцам и латиноамериканцам, как таковым.**

**В «Стальном коконе» Бенца Плэйджмена пуэрториканец по имени Мартинес, повар у американцев-офицеров, вооружившись топором мясника, пытается убить человека только потому, что тот подражает его манере говорить.**

**В романе «Девушка, которая волком выла» Хиллари Во пуэрториканцы изображаются какими-то дикарями, говорящими на отвратительнейшем английском языке; вдобавок все они — преступники, еще вдобавок — нищие, одетые в лохмотья и живущие в грязи, что явно вменяется им в вину. Разумеется, автор обходит молчанием вопрос: кто довел пуэрториканцев в Нью-Йорке до такого состояния?**

**Фрэнк Кэйн в романе «Мортгис Спусковой Крючок» описывает в пуэрториканском квартале Гарлема**

«кабаре, проституток, наркоманов. Герой романа приходит на угол 118-й улицы и Парк-авеню. И тотчас же к нему приближается тощая, малорослая и не-

приглядная женщина, которая говорит на исковерканном английском языке: «Вы искать женщину. Идите с Чикой... Чика даст много удовольствия». Когда он отказывается, она задирает юбку и кричит ему: «Гомосексуалист!» Далее герой входит в таверну. Оглушительная испанская музыка, гомон. Сюда приходят пуэрториканцы, чтобы потратить весь свой заработок на пиво и ром. Слышны какие-то крики: это, конечно, местные обитатели занимаются любовью, бьют своих жен, напиваются до бесчувствия».

**В романе «В аду нет шанса на спасение» Ника Куэрри — мать героя, молодого пуэрториканского преступника, живет**

«в старом, наполовину обрушившемся доме, полном крыс и тараканов; в комнатушке с герметически закрытыми окнами зажжены все газовые рожки и царит немыслимая жара, от которой кружится голова».

**В такой удушливой атмосфере, по утверждению автора романа, типичной для всего «Испанского Гарлема» или «Маленького Пуэрто-Рико», могут жить лишь пуэрториканцы, не заслуживающие лучшей участи: убожество окружающей обстановки соответствует, дескать, их умственному и душевному убожеству.**

**Насилия, пороки, юношеская преступность — таковы темы романов Вензелла Брауна «Ключ убийцы» и «Мафия подростков». Герои обоих произведений — тоже пуэрториканцы. Некий Пепе Камачо, великий мастер ножа, убивает ради развлечения, «любит свой кинжал и ухаживает за ним как за невестой». Несовершеннолетняя сестренка другого персонажа, отец которой отбывает десятилетнее тюремное заключение за убийство любовника своей жены, занимается проституцией, достает для брата наркотики... Между прочим, в романе «Мафия подростков» выведена банда молодых уголовников — уроженцев штата Нью-Мексико, которые ненавидят всех немексиканцев.**

**В романах Брюса Кэмерона «Грехи Марии» и Чарльза Белла «Падение Кандиды» действие развертывается в Пуэрто-Рико, но и здесь авторы — один из них, кстати, читал лекции в пуэрториканском университете,— не видят ничего иного, кроме бродячих собак и одичалых кошек, поголовного пьянства, проституции, наркомании, половых извращений, убийств, садизма.**

**Арана-Сото приводит очень много примеров, называя около сорока произведений и указывая имена их авторов, но буквально всюду картина одна и та же, одни и те же образы, нарисованные одними и теми же красками. Как будто вся эта продукция отштампована одним штампом**

«На основании цитированного,— пишет автор обзора,— мы можем сделать кое-какие выводы. Однако я хочу еще раз подчеркнуть, что цитированные произведения не отбирались с предвзятой целью, они попадались среди сотен прочтенных книг. И, таким образом, выражают тенденцию североамериканского романа, предназначенного широкому читателю, а следовательно, и ход мыслей североамериканской нации.

Будь то в Соединенных Штатах, будь то в Пуэрто-Рико, пуэрториканская атмосфера всегда характеризуется нищетой, отсталостью, грубостью, преступностью, низменными чувствами, пороками, и нигде нельзя встретить порядок, высокую мораль, хорошие манеры, утонченность, интеллигентность, благородные идеалы. Наш мир — это мир наркотиков, проституции, грязи, рэкетирства.

Пуэрториканец всегда показывается низкорослым, слабым, нервическим, анемичным... с глазами, зачастую косыми...

Мы — эмоциональны, сентиментальны, неутомимые болтуны, любители пошуметь, мстительны, непостоянны, бродяги.

Наша страна полна грохота, пьяниц, котов, злоумышленников, собак, тараканов, москитов и других паразитов.

Обо всем этом — и не только об этом, а о многом другом, еще худшем — говорится в романах, издаваемых в США. Это читают миллионы и миллионы североамериканцев. Можно представить себе, каково их мнение о нас».

**Автор пространного обзора ссылается на десятки фактов, свидетельствующих о том, что в подобном же духе изображаются мексиканцы, аргентинцы, перуанцы, кубинцы — представители всех национальностей Латинской Америки.**

**Характерно, что какими бы бездушными, коварными и жестокими убийцами, великолепно владеющими искусством убивать, ни выводились латиноамериканцы, «они, как правило, всегда терпят поражение в стычках с североамериканцами».**

**По мнению автора обзора,**

«это принципиальный фактор: латиноамериканский мир представляется неизмеримо низшим по сравнению с североамериканским».

**Современным американским суперменам от литературы, пожалуй, могли бы искренне позавидовать идеологи гитлеровской «высшей расы»!**

**ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ**

# ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

## ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

# ЗА ИСТОРИЧЕСКИ-КЛАССОВЫЙ ПОДХОД К ЯВЛЕНИЯМ

В наши дни мало кто из интеллигентов на Западе принимает Киплинга всерьез как писателя, и для многих особенно одиозным стало его знаменитое стихотворение «Если». Заключенные в нем моральные декларации считают глуповатыми и далекими от жизни. Однако две строки в этом сугубо эмоциональном стихотворении имеют прямое отношение к западной интеллигенции, и ей не мешало бы к ним прислушаться. Это—самое начало стихотворения: «Если ты способен не растеряться, когда все вокруг тебя теряют голову и тебя же за это винят...»

В связи с мировыми событиями последних месяцев некоторые западные интеллигенты и прогрессивного и консервативного склада только и делают, что доказывают свою нелюбовь к Киплингу тем, что теряют голову и сваливают вину за это на других. Люди неглупые и осведомленные, люди, по-настоящему понимающие реальную ситуацию в мире, люди, которых, казалось бы, трудно ввести в заблуждение, внезапно отбросили всякую трезвость суждений и предались старым идеалистическим бредням, таким как абстрактная «гуманность» и внеклассовая «демократия», «широкий взгляд на вещи» и «либерализм», «новый подход» и «реформированный» социализм.

Всем понятно, что я имею в виду кризис в Чехословакии, но я имею в виду также образ мышления, который уже существовал до того, как кризис в Чехословакии помог ему выявиться.

Если рассматривать интеллект как дар богов одной общественной группе, которой разрешено считать себя единственной и неповторимой и делать все, что ей угодно,— тогда нынешняя ситуация вполне объяснима. Но разве Маркс не опрокинул это представление об интеллигенции как о чем-то самодовлеющем? Разве пример Маркса не вызвал к жизни интеллигента нового типа, понимающего, что интеллект вверен ему для служения классу, который все создает, строит, производит, но пребывает в рабстве у системы эксплуатации?

Многие современные интеллигенты так прочно забыли об этой своей миссии, что восстановить правильный взгляд на нее представляется нелегким. В наши дни надо быть очень глубоко мыслящим человеком, чтобы не упускать из виду классовую структуру общества. Она так изменилась, так затушевана, что осталась как будто только идея класса, в то время как сущность его для поверхностного глаза трудно уловима.

Разумеется, все это нельзя отнести к интеллигенции в целом, речь идет об определенных ее кругах, отошедших от подлинного марксизма. Выступления писателей, ученых, журналистов разных стран свидетельствуют о том, что серьезные, мыслящие интеллигенты и в наши дни трезво, с точки зрения реализма оценивают события современности.

Нынешняя ситуация обусловлена столькими факторами, что для ее понимания понадобилось бы проанализировать все развитие капитализма после войны. Скажем только, что по мере того, как капитализм ловко приспособлялся к учению Маркса, некоторым марксистам становилось трудно распознать, где правда, а где ложь в повседневной политической практике. Иногда, например, капиталистический и социалистический об-

раз мышления оспаривали друг у друга правильное понимание «либерализации». Некоторых марксистов удалось убедить в том, что существующие формы буржуазной демократии неуязвимы и несокрушимы и что парламентаризм и респектабельность — категории определяющие.

Этот «реформированный» марксизм впитал столько старых, изживших себя элементов домарксистского мышления, что остается только пожалеть, что Маркса нет в живых и он не может сам, в одном из своих великолепных припадков ярости, во весь голос возмутиться тем, что делается подчас его именем. Кажется, нет того аспекта марксистской идеологии и политики, который бы как-то не исказили, не изменили, не перекрасили. Среди «реформистов» бытует даже теория, будто имеется какой-то «национальный» марксизм, который каждая страна может использовать исключительно в своих нуждах.

Но чем более «национальным» становится этот «марксизм», тем более интернациональной становится реакция. Каждый без особого труда может заметить, как экономическая структура Западной Европы подчиняется все более тесному союзу международных монополий. В самом деле, когда Англия вступит в общий рынок, вся экономика Западной Европы окажется во владении и под контролем какого-нибудь десятка финансовых и промышленных концернов. Это — безусловно интернационализм, но не такой, какой нам нужен.

И политическая стратегия реакции теперь тоже планируется в международном масштабе. Это не просто работа откровенных организаций типа ЦРУ и подобных ему агентств в западноевропейских странах. Повсюду в Западной Европе существуют сейчас крупные учреждения, планирующие надолго вперед общеевропейскую политическую стратегию, основанную на глубоком и детальном анализе того, как функционирует социализм и как лучше всего к нему подступиться.

Применение силы оружия не стоит первым пунктом в программе этих учреждений, хотя, возможно, и является их конечной целью. В первую очередь они покушаются на самый характер социализма. Всякий стратег, естественно, учитывает и реальную обстановку, и ее корни. И реальная задача для современной реакции как раз в том и состоит, чтобы подорвать идеологические корни социализма. Так, например, из урока событий в Венгрии реакция поняла, что в социалистической стране очень важно завладеть средствами связи и информации, но главное — нужно перетянуть на свою сторону, или развратить, или сбить с толку интеллигенцию.

Наши капиталисты научились также использовать Маркса для решения своих внутренних проблем. В Англии кто-то сказал, что лучшие английские марксисты — это банкиры лондонского Сити. Это почти так, потому что капиталистическая система располагает квалифицированным штатом людей, отлично понимающих данный Марксом анализ капитализма.

Но задача их — использовать марксистский анализ не для свержения системы эксплуатации, а для ее укрепления. Знание слабостей капиталистической системы, полученное ими от Маркса, они используют на то, чтобы подпирать эту систему, латать ее, подправлять и приспосабливать. И Маркса знают не только наши экономисты, но и наши политические эксперты. Оно и логично — всякая армия должна знать, что думает противник.

Кому же надлежит использовать марксизм ради правого дела? Кто не станет использовать труд этого великого ученого в целях частного обогащения? Кто использует эту научную теорию в интересах того класса, для помощи которому она была создана? Свобода, права человека, справедливость — все это Маркс понял совершенно по-новому. Подход его всегда был исторически-классовым. И всякий интеллигент, называющий себя марксистом, должен усвоить такой же подход, если не хочет лить воду на мельницу врага.

Когда этим летом иные наши интеллигенты потеряли голову, они заодно потеряли и свой марксизм. Будем надеяться, что потеря эта временная, но есть опасность, что, защищаясь от обвинений в ошибках, они будут отходить все дальше от марксистских позиций. Классовая позиция — единственно правильная не только во внутренних, но и в международных вопросах. Самое необходимое сейчас — это идеология, основанная на понимании того, что происходит в мире.

НАШИ ГОСТИ

# БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА

— Москва... Москва! Я опьянела здесь от воздуха, от русского языка.

За окном — солнце. Американская писательница Бел Кауфман в редакции «Иностранной литературы», и на этот раз беседа наша идет без переводчика. Внучка Шолома Алейхема, в раннем детстве покинувшая царскую Россию, свободно объясняется по-русски.

— Моя мать, дочь Шолома Алейхема, любила говорить, что пожертвовала английским (она умерла несколько лет назад, так и не овладев в полную меру языком приютившей ее страны), чтобы дети ее не забыли русский. И она разговаривала с нами, со мной и с моим братом только по-русски.

Когда же мы в очередной раз подтверждаем Бел Кауфман, что она чудесно говорит по-русски (гостья волнуется: «Я много читаю по-русски, но с тех пор, как умерла мама, у меня нет практики»), она кивает головой:

— Да-да, русский язык не забывается.

А помнит ли она что-нибудь из того времени, когда ее семья жила в России?

— Я помню сугробы зимой. В Москве у меня было пальто на меху. Помню воздушные шары, семечки...— Пауза. И вдруг задумчиво: — Семечек нет в Нью-Йорке. И клюква в Нью-Йорке не та. Моя мама все говорила: «Ну, как можно делать кисель из кренберри? Разве это кисель?» — Бел Кауфман разводит руками. Она уже улыбается.

— А что это за ягода, кренберри? — спрашивают те, кто не знает, что так по-английски называется клюква.— Где она растет?

— В магазинах, в консервных банках,— шутит Бел и продолжает, чуть лукавя.— И грибы, и кислая капуста в Америке не те. В Нью-Йорке есть русский ресторан. Там подают борщ и многое другое. Но разве это борщ? — Опять энергичный жест рукой, и вы уже не можете не подумать, что так, очевидно, взмахивала руками ее мать, когда произносила эту фразу.

— А вы думаете по-русски?

— Если я разговариваю с кем-нибудь по-русски, я и думаю по-русски. И вот что интересно: когда мне надо сосчитать, скажем, сколько будет шестью восемь, я ловлю себя на мысли, что считаю по-русски,— таблицу умножения я же учила еще в России, а потом перевожу на английский.

Да, человек родился в России. Раннее детство провел в России. Этого не вычеркнуть из жизни.

Бел Кауфман по профессии учительница. Она и сейчас не оставляет любимую работу, правда, теперь она преподает не в школе, а читает лекции в университете. И ее произведения до повести «Вверх по ведущей вниз лестнице» *, это рассказы — тоже об американской школе, о детях.

— Сколько я себя помню, я всегда что-нибудь писала, даже стихи,— рассказывает наша гостья.— Когда мне было лет семь — мы жили тогда в Одессе,— я сочинила «поэму», и ее напечатали в каком-то детском журнальчике.

Дома душно и так скучно
все сидеть, сидеть одной,
на дворе ж тепло и звучно
и так радостно весной.

Бел Кауфман, видимо, приятно произнести эти незамысловатые строчки: они из ее детства.

---

* Повесть была опубликована в «Иностранной литературе» № 6 за 1967 год.

— Пишу я медленно, трудно. Моя мать, которая тоже была писательницей, сочиняла небольшие рассказы — любовные, житейские. Работала она с удивительной легкостью, к одному рассказу никогда не притрагивалась дважды. И когда на ее глазах я три месяца снова и снова переделывала один и тот же рассказ, она с грустью спросила меня: «Белочка, у тебя нет таланта?»

Хотя повесть «Вверх по ведущей вниз лестнице», как утверждают критики, читается легко, я над ней долго потела, почти два года. Я все время переписывала, сокращала, стараясь сказать одно слово вместо трех. Чтобы такая, например, фраза: «Вы можете угадать по моему почерку, белый я или нет?» — говорила сама за себя.

В повести это и в самом деле одна фраза — домашнее задание «Напишите свои краткие соображения по поводу интеграции в школах», выполненное Застенчивым Никто. Впрочем, не только какая-то отдельная фраза, все в повести должно, по замыслу Бел Кауфман, говорить само за себя: «Я поставила перед собой задачу не произносить, как автор, ни единого слова». И вот идут страницы «чистого» диалога, как бы стенограмма урока или разговора, подслушанного на перемене, воспроизводятся выписки из приказов, объявления, разного рода записочки, письма, школьные сочинения, записи на доске. И читатель не только по содержанию, нет, порой и по почерку (книга набрана самыми разными шрифтами) может судить о том, писал это преподаватель или ученик.

Обращение к такого рода документальной манере («Знаете, критики даже думали, что я специально собрала все эти бумажки... Может быть, вымысел здесь получился не слабее правды оттого, что я сама учительница») смущало Бел Кауфман, когда она работала над книгой:

— Я боялась двух вещей. Того, что люди заметят стиль. А это как нижняя юбка — она должна быть, но ее не должно быть видно. Но главное: я не была уверена, что мне удастся при такой форме повествования передать глубину характеров.

Работая над повестью, я начертила план школы, в которой происходит действие, вела учет того, кто из ребят какие делает ошибки, кто как говорит.

Повесть Бел Кауфман неоднократно переиздавалась, по ней был сделан фильм, она вызвала широкий отклик у людей, озабоченных не просто тревожным — бедственным положением американской школы. Писательница получает письма — от учителей, родителей, школьников.

— Дети пишут. Тысячи писем от детей. Я всегда отвечаю детям. Очень трогательные письма. На одном письме было написано: «Нью-Йорк. Мисс Баррет». Вообще дети часто обращаются ко мне по имени героини повести. Одни пишут, что это про их школу, спрашивают: «Как Вы узнали, что мать меня не понимает, а учительница даже не помнит, как меня зовут?» Другие интересуются, что стало с Джо Ферроне: «Мы знаем, что книжка выдуманная, но все-таки скажите: что с ним стало потом?»

Читатель, очевидно, не забыл юного бунтаря из повести Бел Кауфман, который всем своим существом протестует против этой школы с ее жестоким равнодушием к детям и бессмысленной регламентацией всей их жизни.

— Я специально не ставила здесь точек над «i». Ну как можно знать, что случается с нашими джо ферроне, которых нам не удается удержать в стенах школы. Может быть, он вернулся, может быть, человеком сделался, а может, пропал. В этом вся суть.

Письма, обсуждения романа показывают, что мне, очевидно, удалось дотронуться в нем до какого-то нерва.

Мне говорили: «Школа? Кто будет читать про школу?» А вот стали читать. Возможно, потому, что время пришло обо всем этом сказать, а может, потому, что с юмором сделано. Смех — хорошая дверь, чтобы войти через нее к читателю. Человек сначала посмеется, а потом задумается, хотя бы немножко. В общем-то, конечно, это смех сквозь слезы.

Ну, как тут не вспомнить знаменитого деда Бел Кауфман и его «Рассказы для детей», в которых смех, юмор — и средство самозащиты маленького человека, и выражение его протеста.

Бел Кауфман рассказывает о завещании, оставленном Шоломом Алейхемом, где он просил, чтобы его похоронили среди бедных людей и чтобы поминали его не слезами, а смехом.

— У нас в семье такая традиция: каждый раз в годовщину его смерти мы собираемся, родные, друзья, пьем чай, читаем три-четыре его рассказа, смеемся.

Вообще трудно быть внучкой легенды, признается Бел Кауфман. Однако, судя по ее книге, такой оригинальной и такой нужной людям, она сумела занять в литературе свое собственное место.

— А над чем вы сейчас работаете, миссис Кауфман?

— Пока секрет. В общем, это книга о жизни. Знаете, вторая книга дается гораздо труднее первой, тем более если первая имела успех.

Что я могу рассказать вам об американской молодежи? — Естественно, что автора «Вверх по ведущей вниз лестнице» спрашивают об этом.— У нас, разумеется, как и всюду, молодежь разная. Придет человек, скажем, в Гринвич-вилледж, посмотрит на битников, на хиппи, у него одно впечатление, побывает в университете, услышит выступления против войны во Вьетнаме, против расовой дискриминации — другое, придет в гости в чей-нибудь дом — у него складывается третье впечатление.

Молодежи не нравится многое из того, что сделано нашим поколением. Но каких-либо конструктивных предложений она,

в сущности, не выдвигает. Она сейчас где-то в середине пути...

Очевидно, то, что говорит Бел Кауфман, верно, но в применении не ко всей американской молодежи — ведь молодежь-то в Соединенных Штатах, как только что справедливо отметила сама Бел Кауфман, разная. Впрочем, наша гостья, по всей вероятности, рассказывает лишь о том, что ей знакомо.

— Молодежь ненавидит лицемерие, она хочет равенства, улучшения образования. Молодежь хочет жить иначе, и она протестует. По-моему, это здоровое явление. Это — хорошо.

«Блажен, кто смолоду был молод»... Это, кажется, Пушкин сказал? — спрашивает Бел.— Они знают, что они молоды.— И вдруг Бел Кауфман переходит на английский язык: — I love to hear them. I love to see them pushing away all our standards,* — произносит она с жаром.— Я очень верю в нашу молодежь, она — наша надежда, большая надежда.

Когда мы прощаемся с гостьей — ей предстоит еще поездка в Ленинград и в Киев, где она мечтает побывать в доме Шолома Алейхема, в Одессу,— Бел Кауфман опять вспоминает мать:

— Как она была бы рада, если б узнала, что мою книгу напечатали в России,— и добавляет: — Вы меня замечательно перевели, как будто я писала по-русски.

**И. ЗОРИНА**

* Мне нравится слушать их, смотреть на них. Мне нравится, как они ломают все наши привычные представления.

# ЦАРЬ ДЖУНГЛЕЙ БОИТСЯ ЗАЙЦА

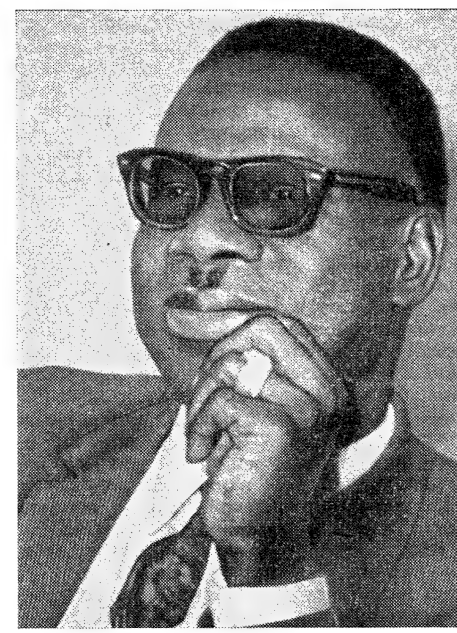
В известной сенегальской легенде рассказывается о Зайце, который, желая защитить себя от многочисленных врагов, обратился к Царю джунглей с просьбой (в те давние времена звери еще умели разговаривать) сделать его мудрым и хитрым. Владыка лесов и саванн ответил, что он может удовлетворить это желание, если Заяц выполнит три условия: добудет молока у пантеры, поймает змею Мамбу и отрежет хвост у носорога М'Бам-Алла.

Царь джунглей хотел посмеяться над беднягой Зайцем, а тот принял его условия всерьез. Спустя немного времени он преподнес своему господину и страшную змею Мамбу, и молоко свирепой пантеры, и хвост буйного носорога. Добился он этого не каким-то чудом, а благодаря собственной смекалке и помощи мудрых друзей.

Когда же настало время выполнить обещание, Царь джунглей сказал: «Раз ты сумел выполнить все три условия, которые я считал невыполнимыми, значит, ты самый хитрый из зверей. Если я дам тебе еще хоть капельку ума, ты станешь сильнее меня. Разве я могу это допустить?»

Заяц понял, что ему не дождаться милостей от Царя джунглей, и ушел восвояси. Но не бойтесь за него: теперь он сам может постоять за себя.

Герои африканских сказок и легенд явились прообразами современных литературных героев, участников процесса великого преобразования жизни. Одним из таких героев является Клембье — главный



персонаж одноименного романа* Бернара Дадье, недавно приезжавшего в СССР и посетившего нашу редакцию.

Роман «Клембье» во многом автобиографичен. Как и автор, его герой провел детство в бывшей французской колонии Берег Слоновой Кости, а образование завершил за границей. Многие годы жил вдали от родины, служил во французской колониальной администрации. Возвратившись же на Берег Слоновой Кости, он встречает-

* Роман вышел в 1964 году в издательстве «Художественная литература».

ся с передовыми людьми, знакомится с марксистской литературой. Вскоре он попадает в тюрьму по обвинению в «подстрекательстве» к неповиновению колонизаторам.

Выйдя из заключения, Клембье-Дадье оказывается перед выбором: продолжать ли борьбу за свободу или покориться «царям джунглей»?

Судьба Клембье во многом типична для африканского интеллигента, воспитанного в буржуазной среде и получившего образование на европейском языке. Современная интеллигенция в Африке не одинаково оценивает свою роль в культурной революции. Одни считают необходимым отстаивать национальную культуру (не отбрасывая то лучшее, что дали человечеству литература и искусство Европы), другие, наоборот, не ценят свою культуру и призывают к «терпению» и «умеренности» в осуществлении программы новой жизни и по существу помогают неоколониализму.

Бернар Дадье не призывает к «терпению». Всем своим творчеством и общественной деятельностью он активно способствует росту национального самосознания африканца, развитию литературы, искусства, образования, используя великое культурное наследие доколониального прошлого.

Творческая деятельность Дадье известна далеко за пределами его страны. Помимо «Клембье», его перу принадлежат такие произведения, как эпистолярный роман «Негр в Париже», передающий впечатления молодого африканца, впервые попавшего во Францию, и роман «Нью-йоркский патрон», представляющий собой размышления (довольно горестные) об американском образе жизни. Не менее известен он и как поэт. Еще в сороковые годы он создал ряд стихотворных произведений, которые вошли потом в сборник под названием «Африка во весь рост». Некоторые из стихотворений были написаны им еще в тюрьме, в период активного сопротивления колониализму (они вошли в изданный в 1966 году в Москве сборник «В ритмах тамтама»). В одном из своих ранних стихотворений под названием «Ты — хозяин» он пишет:

Я вышел из мира,
для них чужого.
Я человек иной породы!
Нет обо мне в их книжонках
ни слова,
Потому что я — человек народа!

Недавно Дадье опубликовал и вручил нам свой новый поэтический сборник, с которым редакция нашего журнала намерена познакомить своих читателей.

Представление о Дадье как писателе было бы неполным, если бы мы умолчали о его большой работе по собиранию и изучению произведений народного творчества. Фольклор служит писателю и источником творческого вдохновения, и школой мастерства. В 1952 году он опубликовал «Африканские легенды», а в 1955 году — сборник сказок под названием «Черная повязка». В публичных выступлениях Дадье о судьбах африканской культуры всегда высказывается мысль о том, что устное народное творчество — величайшее сокровище, которое надо беречь и всячески пропагандировать.

Бернар Дадье — видный государственный и общественный деятель. Он директор департамента культуры в правительстве республики, благодаря его инициативе и организаторскому таланту осуществлен ряд начинаний, способствующих развитию национальной культуры и искусства. Он неоднократно участвовал и в конференциях ЮНЕСКО, и в различных международных встречах литераторов. В 1967 году в городе Абиджане при его активном участии состоялся конгресс международного ПЕН-клуба (на нем присутствовали в качестве гостей Берега Слоновой Кости и советские писатели). На этом конгрессе Дадье выступил с докладом на тему о «двуязычии» африканского писателя (на основе доклада была опубликована в № 4 нашего журнала за 1968 год статья). Проблема, затрагиваемая в статье, заключается в том, что писатель Африки вынужден, в силу сложившихся условий, создавать свои произведения на европейских языках, непонятных большинству народа. Таким образом, проблема двуязычия есть прежде всего проблема контакта автора с читателями, проблема ликвидации неграмотности огромных масс населения и создания письменности на родном языке.

Поездка Дадье в Советский Союз была первой, поскольку писатели с Берега Слоновой Кости к нам еще не приезжали. Беседа с Бернаром Дадье в редакции «Иностранной литературы» началась с его впечатлений о Советском Союзе. Дадье давно хотел побывать в нашей стране, о которой много слышал и читал еще в детстве. Кроме Москвы он посетил Ленинград, Тбилиси, Сочи. Многое ему понравилось, и чувствовал он себя повсюду «как в хорошей, дружной семье».

На вопрос о том, как развивается литературная и культурная жизнь в Абиджане, Дадье ответил:

— Развитие литературы и искусства республики Берег Слоновой Кости идет по двум направлениям: народное творчество и совершенствование мастерства современных писателей. Что касается музыки, то здесь преобладает песенное творчество. Песни поют на разных языках страны. Плохо, конечно, что их слова не записываются на бумаге, но что поделаешь? В республике Берег Слоновой Кости нет письменности, так что приходится пользоваться магнитофоном.

Писатели, поэты создают свои произведения на французском языке, но книг издается немного. В Абиджане нет писателей, живущих литературным трудом. Те, кто пишет, вынужден заниматься литературой лишь в свободное от основной работы время. Найдется немало и таких, которые пишут «для себя», складывая

свои произведения в ящики письменных столов. Правда, государственные учреждения страны, в первую очередь возглавляемый Дадье департамент, пытаются стимулировать развитие национальной литературы путем проведения конкурсов и назначения литературных премий. При департаменте культуры создана школа изящных искусств, которая занимается подготовкой художников-мастеров прикладного искусства, музыкантов, драматических актеров. Представители департамента ездят по стране и ищут одаренных людей, собирают произведения народного творчества. Разумеется, все это — только первые шаги. Здесь немало трудностей, из коих не последняя — финансовая.

Далее речь зашла о проблеме двуязычия, которой Дадье коснулся в упомянутой выше статье. Мы сказали Дадье, что статья вызвала в Советском Союзе отклики. Особое внимание привлекла мысль автора о том, что знание африканским писателем европейского языка может при известных обстоятельствах служить его преимуществом, поскольку оно открывает ему дорогу к сокровищам мирового искусства.

— Разумеется, знание европейских языков помогает открытию мира,— подтвердил Дадье.

Когда ему сообщили, что на симпозиуме о проблеме перевода и издания афроазиатской литературы, состоявшемся в Москве несколько лет назад, вопрос о двуязычии писателя и национальной литературы стоял весьма остро, он сказал:

— Да, это ведет к раздвоению личности. В человеке происходит внутренняя борьба. И тем не менее я считаю, что писателю следует овладевать европейскими языками. Тем более в таких странах, как Берег Слоновой Кости. Письменность у нас пока что французская.

Население Берега Слоновой Кости насчитывает всего четыре миллиона жителей, но и для них языковая проблема имеет большое значение.

— У нас нет такого языка, который заменил бы французский,— говорит Дадье.— Но мы будем способствовать тому, чтобы авторы создавали свои произведения каждый на своем родном языке. Это привяжет писателя к стране, к народу.

Дадье высказал сожаление, что в его стране пока еще мало публикуется сборников стихотворных произведений. Правда, довольно много стихов печатается в газетах, и к этому читатели привыкли, но надо выпускать и книги. По-видимому, в республике Берег Слоновой Кости скоро будут учреждены премии лучшим поэтам.

Мы поинтересовались положением дел в драматургии и театре. Дадье сообщил, что профессионального театра у них пока нет, но принимаются меры к его созданию. Дадье предполагает написать ряд пьес. С жанром драматургии его связывают ранние литературные опыты. Так, еще в 1963 году он поставил на сцене любительского театра спектакль по мотивам одной из народных легенд.

...Возвращаясь к легенде о Зайце и Царе джунглей, мы можем сказать: да, Царю джунглей есть чего бояться. Ныне Африка стоит во весь свой исполинский рост. Ее живые герои смело шагают по земле, зная, как и во имя чего надо бороться против колониального и социального гнета. Одним из достойных представителей современной Африки является наш друг Бернар Дадье — писатель и общественный деятель, поборник идей интернационализма и сотрудничества людей труда. Хочется привести слова из его стихотворения «Я это знаю», которые, нам кажется, весьма точно раскрывают мировоззрение автора:

Завтра — да! — человек победит,
Будут вместе счастливые материки,
Будут братьями белые, желтые,
красные, черные — все!

**К. ЧУГУНОВ**

1234567890

# СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

## В БУРНОМ ПОТОКЕ ЖИЗНИ

**Лодонгийн Тудэв. Горный поток. Роман. Перевод с монгольского Г. Матвеевой. Вступительная статья А. Туркова. Примечания Г. Матвеевой. Москва, «Художественная литература», 1967. 381 стр.**

В течение последних лет советский читатель познакомился со многими книгами наших друзей — писателей народной Монголии. Произведения Сэнгэ, С. Удвал, С. Эрдэнэ, Ч. Чимида и других прочно вошли в круг чтения советских людей.

Недавно наш читатель получил еще одно интересное произведение монгольской литературы — роман Л. Тудэва «Горный поток». Книга охватывает события от вооруженной борьбы за установление народной власти в Монголии, успешно закончившейся к поздней осени 1921 года, до победы над империалистической Японией, то есть отрезок времени более тридцати пяти лет. Покорить такой материал нелегко, но двадцатичетырехлетний литератор не побоялся взять на себя эту трудную задачу.

Идею романа автор передает в одном из описаний природы: «...бегут весной с гор тоненькие ручейки, сливаются, превращаясь в мощные потоки, и, сметая на пути все преграды, с грохотом устремляются в степь».

Поодиночке, небольшими группами — «тоненькими ручейками» — стекаются араты под революционные знамена Сухэ и его сподвижников, чтобы бороться за свободу и независимость родины. Борьба предстоит трудная и беспощадная, врагов много — это и остатки белогвардейского отребья, и местные богатеи и князья, и ламы, с их бандитскими шайками, и международные авантюристы всех мастей. Глубокой осенью 1921 года Народная армия Сухэ при помощи частей Красной Армии одерживает историческую победу.

Этот бурный поток закружил и унес, словно горсть травы, главных героев романа, и среди них — симпатичных влюбленных: юношу Еролта — сына богача Донхора и девушку Болорму — дочь батрачки. Долго придется им быть в разлуке, многое придется перенести, прежде чем они на недолгий срок станут мужем и женой.

Через всю книгу проходят еще два персонажа — Чойндон, лама из Северного монастыря, непримиримый враг революции, и Санжа, дровокол из того же монастыря, который потом становится председателем комиссии по конфискации скота у богачей и занимает другие ответственные должности. Колоритной фигурой является и Буян, родной брат ламы Чойндона. Он — прямая про-

тивоположность Чойндону, лицемеру и интригану. Буян—монгольский Робин Гуд, бесстрашный, благородный, бескорыстный, он грабит богачей и раздает награбленное беднякам; потом он сражается в армии Сухэ и после победы остается кадровым командиром в народной армии. Он гибнет, попав в ловушку, расставленную врагами. «Вот и пришел твой час, неустрашимый Буян! Мы должны проститься с тобой, мужественный человек с большим и мудрым сердцем, пламенный борец за правду. Не надо слез. Ты завещал, Буян, свое мужество — оно понадобится нам в борьбе с еще не добитым врагом! Выстрел гулко прокатился под сводами храма, запахло порохом... Но Буян был еще жив, он поднял голову. И снова выстрел... Испуганные голуби покинули крышу храма, покружились немного и улетели прочь».

Некоторая патетичность в описании смерти Буяна характерна для других сцен — поэтому рецензент и отважился на длинную цитату.

Много, много действующих лиц в романе, события сменяют друг друга, и автор порой сбивается на скороговорку: его теснит материал, а концы с концами сводить надобно. И тем не менее читатель с увлечением следит за описаниями все новых и новых событий.

Можно оценивать книгу того или иного иностранного писателя в зависимости от суммы новых знаний о жизни его народа, полученных после прочтения книги. Описание нравов и обычаев, деталей быта, обрядов, народные пословицы и поговорки, вкрапленные в текст, всегда делают книгу привлекательной для иноязычного читателя. В этом отношении роман Л. Тудэва очень интересен.

Весь роман пронизывает тема братской дружбы монгольского и советского народов — в революционной борьбе за установление народной власти части Красной Армии во главе с командиром Щетинкиным вместе с кавалеристами Сухэ громили белогвардейские банды; советские врачи и ветеринары помогали монгольскому народу налаживать мирную жизнь; в грозные годы Великой Отечественной войны Монголия оказывала нам посильную помощь, и наконец в дни разгрома войск империалистической Японии советские и монгольские солдаты дрались бок о бок.

Мне хотелось бы сделать еще несколько замечаний о прочитанном романе. Автор слишком увлекается батальными сценами, но это — полбеды, беда в том, что многие из них похожи друг на друга, как близнецы.

Малореальными представляются стечения «счастливых случайностей», которые помогают героям чудесным образом спасаться из самых, казалось бы, безнадежных ситуаций. Пример тому — неоднократные спасения Буяна, Санжи, бегство Болормы на «саврасом скакуне» накануне свадьбы с нелюбимым, ее же приключения с князем Ахаем, который, приняв ее за агента панчен-ламы, отпускает с миром. Сомнительны и «счастливые избавления» Еролта, особенно одно из них — похожее на судьбу героя Полевого: «С простреленными ногами Еролт рухнул в песок... Никто бы не поверил, что с перебитыми ногами можно проделать по пустыне больше сотни верст...»

Все эти и другие просчеты — на совести автора.

Необходимо сказать и о переводе романа, выполненном Г. Матвеевой. Книга читается довольно легко, но время от времени читатель все же спотыкается. Странными выглядят слова «пигалица», «мартовские коты» в монгольском обиходе; смущают стоящие рядом слова «кумирня», «храм», «огромное капище», «скит». Еще более странными кажутся слова, которые изрекает некий Гавжи: «Тать меня посетил в нощи. Зело косноязычен». Вызывает сомнение употребление в переводе таких мер длины, как вершки, сажени, версты, рядом с мерами веса: «за вами сто три лана, девять цэнов, два пуна, восемь ли, два хо и пять сэ».

В тексте стречается много монгольских слов, не понятных читателю. Объяснение их составлено довольно странно: часть комментируется внизу страницы, часть — в конце книги, в «Объяснении монгольских слов, имен и названий». Это затрудняет чтение.

Во вступительной статье к роману А. Турков справедливо пишет: «Нелегко писателю, работающему в литературе, где прозаическая повествовательная традиция еще сравнительно молода и мало разработана, собрать в единое целое, идейно-философски осмыслить и сюжетно организовать такой разнороднейший материал, который ему предоставляет история его страны...»

Действительно, нелегко. Это понимает и сам автор. В обращении к советскому читателю он скромно пишет: «Мой роман — слабое деревце, но почва под ним пропитана живительным соком мудрости народа... пусть я не слишком опытный садовод, но посмотри, читатель, на мое деревце, войди в мир обитателей моих родных степей и бери из него в свое сердце то, что тебе полюбится».

И, без сомнения, каждый читатель «Горного потока» найдет в нем то, что ему полюбится, запомнит и будет ждать новых книг Л. Тудэва.

**А. ТИШКОВ**

## ДАРИО — ДУША ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА

**Рубен Дарио. Лирика. Переводы с испанского. Предисловие В. Столбова. Составление Г. Шмакова. Москва, «Художественная литература», 1967. 207 стр.**

По-настоящему нельзя говорить о литературе Латинской Америки, не говоря о Рубене Дарио. Более того, его имя связано с одним из поворотных моментов

в истории развития испанского языка. Поэтому издание избранной лирики поэта в Советском Союзе — явление значительное, позволяющее глубже понять латиноамериканскую литературу.

Рубен Дарио родился в Никарагуа в 1867 году. Стихи он начал писать в раннем возрасте, поражая учителей одаренностью и фантастической памятью.

Еще в юности, во время путешествия в Сальвадор, Дарио завязал дружбу с известным сальвадорским поэтом Франсиско Кавидиа, который открыл для него французскую поэзию и натолкнул на мысль о введении в испанское стихосложение французских стихотворных форм. Тогда же Дарио приходит к убеждению в необходимости революционного переворота в поэзии Испании и, уверенный в успехе, с таким энтузиазмом принимается за дело, что скоро становится главой школы, которой он дал имя «модернизм».

Чтобы понять суть латиноамериканского модернизма, необходимо окинуть взглядом пути, которыми шла Испания. Испания — открывательница и завоевательница американского континента, некогда купавшаяся в золоте, в XIX веке становится самой отсталой страной Европы. И если во второй половине XIX века, в период расцвета капитализма, индустриализация все же малопомалу проникает в страны Нового Света, то идет она отнюдь не из Испании, а из Франции и Англии. Куба в это время еще остается испанской колонией, а страны, получившие независимость, находятся в состоянии тяжелого упадка. Именно в этот период испанский язык приобретает несвойственную ему жесткость, теряет краски и сочность, а литературные формы, за редким исключением (Хосе Марти, например), становятся застывшими схемами. Жизнь уходит из слова.

В то время как во Франции рождаются самые разнообразные направления и тенденции в искусстве, в странах испанского языка лишь в самом конце XIX века появляются первые поэты, которые осмеливались отходить от традиций романтизма в поисках новых средств выражения.

В таком состоянии застал Рубен Дарио литературу. И взгляды Дарио на поэтическое творчество стали концепцией модернистского направления в литературе Латинской Америки, которое не надо смешивать с европейским модернизмом.

Модернисты — поэты-аристократы, поэты для избранных. Их стремление к оригинальности, к непохожести, к изысканности — своего рода вызов обывательской серости, низкопробным вкусам буржуазной публики. Этим объясняется тяга латиноамериканских модернистов к героическим сюжетам, к воспеванию военных триумфов и персонажей, наделенных чудесной силой. Волшебные замки и королевства не сходят со страниц произведений латиноамериканских модернистов. Здесь есть место для самых разнообразных тем и эпох. Действие развивается иногда при тусклом свете европейских фонарей, временами в него врывается американская сельва с ее легендарными персонажами.

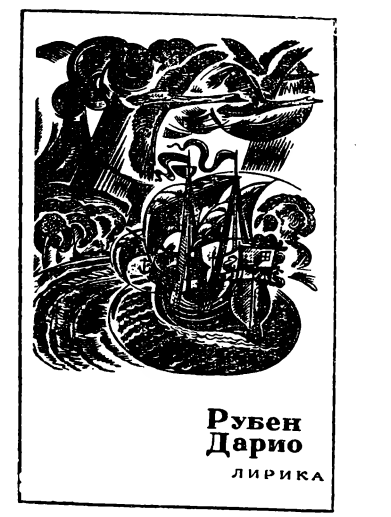
В поэзии Рубена Дарио чудесным образом синтезируется не только романтизм и символизм, но и все новейшие литературные течения той эпохи. Для него каждое слово имеет свою историю. Рожденное окружающей жизнью, давшей ему значение, слово начинает жить своей собственной жизнью. Такова отправная точка Рубена Дарио, трамплин, столь высоко вознесший поэта.

Духовное развитие поэта шло мучительным путем. Воспринимая буржуазную среду как некую «всеобщую действительность», он страдал от этого и стремился убежать от этой действительности. Но на крутых поворотах истории он выступает против несправедливости, против бесчеловечности войны, проявляет интерес к американской тематике, с большим энтузиазмом обращается к гражданским мотивам в духе Виктора Гюго.

Его первые стихи — стихи гениального виртуоза. В них он мастерски использует еще не освоенные литературные приемы. Творчество Дарио отмечено изяществом, изысканностью романтизма. Поэт возрождает культ античности, особенно древнегреческой классики, вводя в свои произведения богатейшую аттическую мифологию. Но Древняя Греция с ее мифами у Дарио — лишь сувениры, изготовленные французскими мастерами по мотивам мифологии:

> Да, я люблю Элладу, но другую,
> причесанную на французский лад.

Мифология — это выражение определенного мировоззрения на определенном историческом этапе, поэтому греческая мифо-



логия остается чуждой народам Латинской Америки даже тогда, когда поэт переносит сатиров, диан, купидонов и эпических героев на латиноамериканскую почву и делает их героями национальных сюжетов. И не только Греция — Рим, Франция, Испания нашли себе место в творчестве поэта; здесь бросили якорь, как корабли в большом порту, самые экзотические страны и континенты: Китай, Япония, Индия, Африка.

Космополитизм Дарио, как и большинства представителей модернистского направления,— это один из многих путей бегства от чуждой ему реальности. Спасаясь от банальности, посредственности, окружавших его, поэт временами замыкается в башню из слоновой кости. Но и в башне из слоновой кости не увял гений Рубена Дарио. Поэт интуиции, он настолько овладел стихией слова, что ему удалось построить новый мир, мир своей поэзии, столь же животворный для испанского языка, как сама жизнь. Ему удается достичь максимальной чистоты и выразительности звучания слова. И тогда именно через слово он приходит к жизни.

Модернисты далеки от понимания искусства как средства познания реальности. Поэтому даже в своей лучшей книге «Песни жизни и надежды», где автор покидает башню из слоновой кости и становится глубокочеловечным, в книге, полной грустных размышлений, Дарио стоит на позициях агностицизма.

Жить, ничего не зная, жить, заблудясь
в дороге,
в страхе перед прошедшим, в страхе за
новый день.

В этой книге зазвучало в полный голос то, что лишь намечалось в его предыдущих стихах. Личные переживания и чувства стали материалом для поэтического творчества Дарио, и он сумел найти для них свою собственную оригинальную форму выражения. «Песни жизни и надежды» оказали огромное влияние на современное Дарио литературное поколение.

Прошли годы бурной деятельности и непрекращавшихся поездок, годы любовных приключений и нищеты (испанка Франсиска Санчес, любовь его жизни, рассказывает, как Дарио вместе с Гомесом Каррильо и другими, живя во Франции, был вынужден зимой сжигать собственные книги в печурке, чтобы хоть как-то натопить комнату). Именно в ту пору и как-то внезапно поэт останавливается на пути и окидывает мысленным взором пройденное. Именно тогда ему самому кажутся пустым и чем-то преходящим его литературный труд и даже его жизнь. Смысл существования ускользает от него, как мираж.

И Дарио — одинокий и мрачный — начинает спрашивать себя о жизни, о сути бытия, о назначении человека, о смерти и любви. Он возвращается к социальной и политической поэзии — пророчески предчувствует трагическое будущее латиноамериканских народов в своем знаменитом стихотворении «Ода Рузвельту», где он поднимает вопрос о том, не будут ли через сотню лет двести миллионов латиноамериканцев говорить только по-английски? Те же опасения, что конкретно выразил Симон Боливар в начале XIX века, ощутив дуновение экспансионистских ветров со стороны Соединенных Штатов.

Глубокая печаль охватывает Дарио, но это совсем не то чувство, которое испытывают короли и принцессы его сказок. В его стихах — печаль человека, повидавшего мир и трепещущего в предчувствии рождения новой эпохи, перед которой он испытывает страх. Поэт вопрошает — ответа нет. Грустный гений изливает свою боль в стихах:

И, как с шипов, со строк
по каплям льется боль моей души
певучей.

У Рубена Дарио было много последователей, но среди них трудно назвать преемника. Он умер в 1916 году в Никарагуа. Он ослепил своим светом мир. При жизни одни просто почитали его, другие подражали, третьи следовали за ним, четвертые временами шли с ним в ногу. Но поэзия, населенная феями, королями, волшебниками и синими принцами, трудно уживается с XX веком, веком двух мировых войн, нескольких революций, множеством социальных изменений и рождением нового общества. Дарио как родоначальник литературного поколения и глава поэтической группы отступает на задний план.

Однако все лучшее и значительное, созданное гением поэта, в том числе его глубочайшую искренность, вобрал и растворил в себе испанский язык. Дарио углубил и обогатил испанский язык, открыл в нем новые тональности и мелодии, вызвал к жизни дотоле неведомые краски, обнаружил в нем неисчерпаемые выразительные возможности. Он проложил путь богатейшей литературе, вершина которой — поэзия Сесара Вальехо.

Трудно назвать преемника Рубена Дарио, но его поэзия питает нас, как питает земля.

**РОБЕРТО ОБРЕГОН МОРАЛЕС**

## АВТОПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА

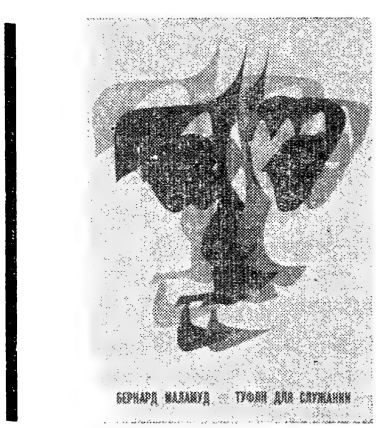
**Бернард Маламуд. Туфли для служанки. Рассказы. Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой. Предисловие Ю. Нагибина. Послесловие В. Скороденко. Москва, «Молодая гвардия», 1967. 269 стр.**

«Задача писателя — не игра с формой, а поиски средств к спасению человека в современном мире, спасение его ума и души»,— таков, по его собственным словам, девиз творчества Бернарда Маламуда, одного из самых интересных прозаиков послевоенной Америки. Высказывание это совпало по времени с работой Маламуда над романом «Мастеровой» (1966), где, опираясь на, казалось бы, давние факты «дела Бейлиса» — сфабрикован-

ного царизмом антисемитского процесса 1913 года,— он резко выступил против деспотизма и духовной нетерпимости, бремя которых отнюдь не становится легче с каждым новым шагом истории Западного мира. Актуальностью и подчеркнутой гражданственностью содержания «Мастеровой» во многом способствовал изменению тона американской прозы в середине 60-х годов.

«Мастеровой» — этапное произведение и с точки зрения развития собственного творчества Б. Маламуда, рассказчика и романиста, вступившего в литературу вскоре после окончания второй мировой войны. За прошедшие двадцать лет у писателя сложился и особый круг жизненных наблюдений, и своеобразный стиль, сочетающий реализм предметного фона с непременным вторжением в повествование поэтических аллегорий и ненавязчивого морализирования. В «Мастеровом» наглядно проявляется характер идеологических устремлений и художественных возможностей Маламуда. Таким же обобщенным творческим автопортретом, в известном смысле, можно считать и сборник новелл «Туфли для служанки» — первую книгу американского прозаика на русском языке, куда вошло все лучшее из двух его сборников: «Волшебный бочонок» (1958) и «Дорогу идиотам» (1964).

Многое из того, что характеризует, условно говоря, «раннюю» манеру Маламуда, связано с кругом тем и настроений, отразившихся в его центральном произведении 50-х годов — романе «Помощник», о содержании которого отчасти можно судить по его черновому наброску, рассказу «Первые семь лет». Подобно беженцу из оккупированной гитлеровцами Польши сапожнику Собелю, герою рассказа, итальянцу Франко Альпине нелегко преодолеть психологический барьер, отделяющий его, чужака — «гоя», от бдительно охраняющих законы касты мелких лавочников — бруклинских евреев. И не столько любовь к дочери своего хозяина Морриса Бобера, сколько «сочувствие» в широком толковании этого слова руководит всеми действиями Альпине. Благодарность, сострадание, терпимость — то, чего, по мнению Маламуда, так недостает окружающему миру, составляет этический идеал писателя в его произведениях о «маленьких людях», раздавленных огромным городом.




Излюбленными героями Маламуда в «Помощнике» и группирующихся вокруг него новеллах становятся мелкие бизнесмены, лавочники, служащие — все те, кто составляет широкий, с размытыми краями слой городского населения, именуемый обычно «мелкой буржуазией». Но собственно «буржуазного», то есть своекорыстного, узколичного, низменного, так мало в людях из рассказов Маламуда. Наивно высказанная мечта об устойчивости и достатке — «...хотелось когда-нибудь получить хорошую работу, жить на зеленой улице в отдельном домике с крылечком...» — незаметно переходит у них в тоску по гуманности, по дружескому участию: «Хотелось... не чувствовать себя таким одиноким, особенно в субботние вечера. Хотелось, чтобы люди его уважали, любили...»

Зловещим фоном рассказов «Тюрьма», «В кредит», «Плакальщики» служит скопище запущенных многоквартирных домов, которыми с конца прошлого века застраивались и центр Нью-Йорка — Манхэттен, и его периферийные районы — Бронкс и Бруклин. И жизнь обитателей этих трущоб в наше время не очень-то отлична от судьбы их отцов и дедов, персонажей книг М. Голда, Драйзера, раннего Дос Пассоса.

Основанные словно бы на «мелочах быта» рассказы о Нью-Йорке никогда не сводимы к непритязательным житейским анекдотам. В зарубежной критике порой называют Маламуда «Чеховым Ист-сайда» — ведь и ему ведом секрет концентрированного изображения противоречий внутреннего мира личности, раскрывающихся в самой вроде бы незначительной и заурядной обстановке.

Несмотря на заметную зависимость от Шолома Алейхема и некоторых других еврейских писателей, сформировавшихся в Европе, Маламуд—специфически *американский* писатель. Склад его ума формировался в грозные тридцатые годы; в тусклый цвет скудных дней экономического кризиса окрашены и роман «Помощник», и многие новеллы Маламуда. Уже в раннем творчестве он следует в русле литературы критического реализма в США, какой мы ее знаем по лучшим произведениям первой половины XX века, развивает ее традиции. Обозревая мир угнетения и страдания, Маламуд не связывает себя только с выражением скорби, негодования или протеста: он делает особый акцент на том, что рисуемая им обыденность неоднозначна, изломана, парадоксальна.

Вот добрый малый, привратник Вилли Шлегель, вечно работающий до седьмого пота, невольно — но в то же время и не бессознательно — становится причиной смерти бессловесного лавочника Панессы («В кре-

дит»). А вот, напротив, свирепый домовладелец Грубер, преследующий забитого жильца-пенсионера, испытывает столь сильный порыв раскаяния и страха, что готов броситься на колени рядом со своей жертвой и вымаливать прощение себе и всему человеческому роду («Плакальщики»).

Как и в «Помощнике», в этих рассказах для Маламуда важно не деление на хозяев и наемных рабочих, на оскорбленных и виноватых. Несостоявшийся убийца бакалейщика Бобера Франк Альпине превращается в ангела-хранителя его дома; простодушный виноторговец Натан покорно сносит все капризы и причуды своей темнокожей служанки Черити Суитнесс («Мой любимый цвет — черный»). И так всегда у Маламуда: незыблемое внутреннее родство человеческих душ значит для него гораздо больше, нежели цвет и покрой мирской униформы, в которую они вынуждены облекаться.

Вторая группа рассказов Б. Маламуда, соответствующая в общих чертах его «поздней» манере,— это символические полупритчи, где хотя и нет явного вымысла, но действительность выглядит как бы слегка сдвинутой, чуть-чуть иллюзорной. Перед читателем все тот же круг «бедных людей», которых гнетет уже не столько нищета, сколько сама жизнь, вернее, ее унылое, бесконечное однообразие: «Ни неба не увидишь, ни океана, потому что ты в тюрьме, только никто ее тюрьмой не зовет, а назовешь — никто не поймет, о чем ты, или притворится, что не понимает». Но достаточно какого-нибудь ничтожного повода: случайной встречи, письма или внезапного прилива фантазии, чтобы самый обычный, неприметный человек — скажем, писатель Митка или студент Лео Финкель — вдруг почувствовал себя в пределах странной «ничейной» земли, скрывающейся между реальностью, управляемой в соответствии с суровыми законами детерминизма, и желанным миром неожиданности и тайны.

Нежный лиризм и дерзкая метафоричность — главные отличительные черты «Девы озера» и «Волшебного бочонка», лучших, на наш взгляд, рассказов сборника, словно стоящих на перепутье между традиционным, «добротным» реализмом и отчаянной фантасмагорией. Становясь самозванными романтиками, герои Маламуда в середине XX века — подумать только! — мечтают «о любви, о приключениях, о свободе», хотя и считают, что «слова эти давно уже звучат чуть-чуть смешно». Распрощавшись с бутафорскими чудесами нью-йоркского Кони-айленда, который он про себя называл не иначе, как «остров Сытный», Гарри Левин из рассказа «Дева озера» попадает в волшебную страну дворцов и замков Северной Италии. Однако воздействие бездушной и обезличенной культуры большого города не могло пройти для него даром: в неудаче своего романа с обратившейся в призрак прекрасной, но бедной итальянкой повинен был только он сам.

«Не забывай, как ты обездолен»,— снова и снова напоминает читателю унаследованный от Чехова «человек с молоточком» в рассказах Маламуда. И только изредка фантазия писателя устремляется к подчеркнуто угловатым, гротескным формам; тогда из-под его пера выходят произведения, подобные «Нагой натуре» и «Последнему из могикан» — стилизованные под расхожий фрейдизм или юнгианство «универсалии», повествующие о вечном бродяжничестве «мировой души» недоучившегося художника Фидельмана.

Смешение фантастического и достоверного, так называемый «литературный астигматизм», столь распространенный в послевоенной американской литературе, не определяет, конечно же, целиком творческой манеры Б. Маламуда. В написанном сравнительно недавно «Беженце из Германии» писатель стремится преодолеть известную камерность тематики своих ранних рассказов, не утрачивая при этом их психологизма и символической насыщенности. Эстетика произведений Маламуда в 60-е годы (включая романы «Новая жизнь» и «Мастеровой») в первую очередь опирается, как уже отмечалось, на реализм, но реализм своеобразного, «одухотворенного» склада, выдаваемый иными критиками в США даже за некий «новый романтизм». Но американский прозаик всегда был близок к земле и простым людям, ее населяющим. Лицо его прозы отражает многие черты современности; скажем же об этом словами самого Маламуда:

«Это лицо проникало в самую душу... В нем была юность — весеннее цветение и вместе с тем старость — какая-то растраченность, замученность... что-то знакомое до боли и в то же время совершенно чужое».

Таков Бернард Маламуд, каким мы узнали его по рассказам сборника «Туфли для служанки».

**А. МУЛЯРЧИК**

## ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

### ДУБЛЕРЫ

**Bigiaretti. La Controfigura. Milano, Bompiani editore, 1968.**

Прежде всего несколько слов о названии романа, с трудом поддающемся переводу. «La Controfigura» — так озаглавлена последняя книга Биджаретти. Это слово заимствовано из специального, технического языка кинематографии — так называют актера, подменяющего основного исполнителя при съемке особых трюковых номеров, связанных с риском для жизни. Сложность перевода состоит еще и в том, что название романа не находит в самой книге никаких непосредственных,

связанных с развитием сюжета ассоциаций. Осмысление самого названия возможно лишь на основе проникновения в подтекст этой книги, такого ее прочтения, при котором внешние ситуации осмысляются в заданном автором или скорее контурно им намеченном направлении.

Думается, что автор, изобразив своих персонажей, принадлежащих к средним слоям сегодняшнего буржуазного общества, поставив их перед лицом абсурдной, хотя и довольно банальной ситуации, хотел прежде всего подчеркнуть условный, нестойкий, непрочный характер их существования, «актерское», «театральное» в их жизни — в том смысле, в каком о «театральности» когда-то писал Евреинов; в том смысле театральности любой, даже банальной психологической ситуации, которая присуща драматургии Пиранделло.

В жизни подлинной человек всегда образует некую цельность, нечто неповторимое, в то время как в жизни искусственной, «сценической», один актер может без особого ущерба быть заменен другим. Полагаем, что эта мысль о неподлинности, а отсюда и легкой заменяемости человека, живущего ложными ценностями сегодняшнего буржуазного мира и подчиненного его потребительской идеологии, заключена в подтексте нового романа Биджаретти.

Место действия книги — небольшой курорт на югославском побережье Адриатики Свети Стефан (проводить летние месяцы в Югославии теперь весьма «модно» в итальянских буржуазных кругах: курорты в собственной стране представляются им чересчур вульгарными). Действие последней части книги происходит в Риме в конце того же лета и как бы служит продолжением «пляжной» атмосферы, которая лишь подчеркивает недолговременность, необязательность, если хотите — «несерьезность» изображенных в романе ситуаций. Повествование ведется от первого лица. Герой книги — римский буржуа лет тридцати или чуть постарше. Предполагается, и так думают его многочисленные знакомые, что он причастен к искусству — коллекционирует, изучает, исследует песни. На самом же деле занятий интеллектуальных, да и каких-либо иных, у этого человека нет. Он говорит о себе: «Все знают, что «стоит мне захотеть», и я многое могу сделать, но просто я не могу захотеть; знают также, что возможность практического дела откроется для меня в будущем, что она откладывается до тех пор, пока мой отец не впадет в детство или не умрет, и мне с братом придется объединить усилия и, может быть, нам со скрипом удастся заменить его в руководстве фирмой. Остальная моя деятельность — вся эта возня с гитарами и магнитофонами — носит совершенно частный и бесплодный характер».

Словом, герой книги — «интеллигент-тунеядец», живущий на деньги отца и скорее непригодный и для того чисто буржуазного дела, которое ждет его в будущем. Женат он на восемнадцатилетней девочке Лючии. Они любят друг друга, привязаны друг к другу — но и любовь, и привязанность эта как-то уж очень необязательны, неглубоки. Ей нравится «причастный к искусству», богатый муж, да и принято в определенном кругу выходить замуж за мужчину постарше, ему нравится веселая жена-девочка, да и принято в том же кругу жениться на молоденьких.

День они проводят на пляже, потом возвращаются в отель, обедают, а вечера просиживают в баре с молодой французской парой — с Роже и Мари, которые настолько невыразительны, настолько неотличимы друг от друга, что их и называют не Роже и Мари, а просто Рожемари. Пара эта служит как бы фоном, на котором герой романа с его женой выглядят все же значительней, утверждают свое превосходство интеллигентов.

Рожемари — типичные французские буржуа сегодняшнего дня, поклоняющиеся лишь деньгам, успеху и технике, в прогресс которой верят неукоснительно. Вот образец разговора, иллюстрирующего «интеллектуальное превосходство» нашего героя над французской мещанской парочкой. Выслушав некие рассуждения на политические темы, Роже спрашивает: «А ты, случайно, не коммунист? — Нет,— отвечаю я.— Уж скорее анархист.— В ответ презрительный жест, словно означающий: это одно и то же... Бедняга Роже, он кончил свой лицей, но кое-каких различий не понимает. Вижу — он хмурится. Я пытаюсь ему получше объяснить, что сегодня единственная форма полезного протеста состоит в разоблачении политики, как таковой, в разобла-

чении ее классических форм и что нужно найти другие формы. А Роже понимает меня так, будто я вообще плюю на политику, как и он сам. Он горячо пожимает мне руку». Словом, бедняга Роже, в отличие от нашего героя, Маркузе не читал.

Сладкую пляжную лень нарушает лишь появление молодого, бородатого, похожего на битника американца, живущего в хижине где-то у самого побережья. Он молчалив, ненавязчив, но под конец Лючия, которой американец, прозванный ею Дырявым Долларом, явно нравится, включает его в круг своих курортных друзей. Муж ревнует, но как-то уж очень спокойно, лениво и беззлобно.

Очень гладко все складывается, и, дочитав книгу до середины, вы думаете, что теперь только и остается ждать конца пляжного сезона. Но вот приходит письмо от матери Лючии — Норы, сорокалетней актрисы, когда-то снимавшейся в каких-то фильмах (их лучше не смотреть, полагают ее друзья). Нора красива, Нора знает и любит успех. Нора любит «почти одновременно» говорить по-итальянски, по-французски и по-английски. Нора любит путешествовать: она из тех римских синьор, которые готовы провести свой «уик-энд» в Нью-Йорке и в понедельник утром прилететь домой. Появление Норы прерывает спокойную ленивую жизнь героя романа. Позабыв о молодой жене, он влюбляется в красивую молодую тещу с такой страстью, на которую сам никогда не считал себя способным. Уж слишком несовременны все эти романтические страсти, уж слишком они походят на романы прошлого века, уж слишком они неправдоподобны.

С той минуты, когда Нора сошла с парохода, ее зять утратил покой. Сомнений, которые могло бы вкушить влечение к матери собственной жены, не существует. Всё и все взаимозаменяемы. И, позабыв о том, что он живет во второй половине двадцатого века, наш герой ночью врывается в номер к собственной теще и овладевает ею. На следующее утро Нора уезжает (подумать только!) в одной машине с Дырявым Долларом — и тут уж начинается подлинная ревность. Но все еще впереди, и герой романа верит в успех.

Он тоже возвращается в Рим, трепетно ждет приезда Норы, не отходит от ее дома, звонит в ее пустую квартиру по десять раз в день. Норы нет. Что ж, он подождет. Впрочем, думает он, «если отсутствие Норы затянется еще на месяц, а может, на два, я под конец о ней позабуду». Значит, не принимайте слишком на веру романтическую вспышку страсти, значит, и это все не всерьез, значит игра продолжается. Главное, актеры понимают, что жизнь — это пьеска, фарс, в котором важно сыграть свою роль легко и умело, не впадая в ложный пафос, легко ступая по сцене

Вот, собственно, основное, о чем, как нам представляется, хотел сказать автор. Читается этот короткий роман (переведем его заглавие — «Дублер») легко, к его достоинствам принадлежит четкая, точная психологическая мотивированность каждого из поступков действующих лиц.

Либеро Биджаретти уже известен советскому читателю. В сегодняшней итальянской литературе, с ее увлечением формальным экспериментированием, с ее стихами и прозой, «зашифрованными» столь хитроумно, что они с трудом поддаются прочтению, Биджаретти продолжает работать как писатель-реалист. Книги Биджаретти всегда остросоциальны: изображение современного общества — задача писателя. Он не отступил от нее и в этом своем романе, несмотря на всю внешнюю банальность изображенных в нем ситуаций.

**Г. БРЕЙТБУРД**

## ДОБРАЯ ЛАДОНЬ

**Элли Пеониду. Палами анигмени стон илио. Кипр, 1964. (На греческом языке).**
**Элли Пеониду. Орес Лефкосиас. Кипр, 1967. (На греческом языке).**

Много стихотворений написано о Кипре. Много хороших слов нашли для него поэты. Кипрская поэтесса Элли Пеониду сравнивает родной остров с раскрытой ладонью, доброй ладонью, готовой к дружескому рукопожатию. Именно так — «Ладонь, раскрытая солнцу» — назвала Пеониду свой первый сборник стихотворений, вышедший в 1964 году.

Стихотворения, открывающие сборник, звучат в унисон с его заглавием. Это изящные миниатюры о кипрском закате, о первом дожде, о маленькой деревушке, карабкавшейся на макушку горы, но так и не одолевшей ее вершины и примостившейся совсем рядом, на склоне, и тянущейся кверху черепичными крышами белых домиков.

Но вот мы перевернули несколько страниц, и стихотворение «Весна» переносит нас из мира идиллических пейзажей в суровую и тревожную атмосферу кипрской весны

1964 года, когда над островом нависли тучи войны, когда завоеванные киприотами свобода и независимость подверглись смертельной угрозе. Весна, о которой пишет Элли Пеониду, «не носит розовый пеплос». «Подпершись кулаком», она «погрузилась в раздумье о долге».

Картина этой весны связывается у поэтессы не с образом распустившихся роз, а с образом колючего куста, на ветвях которого, как алые бутоны, застыли капельки крови. Печально прислонившись к скале, куст вспоминает юношу, который спускался по этому склону, и размышляет, что же все-таки означают понятия — гора, родина, юность, свобода. Свобода, за которую юноша отдал свою жизнь.

Их немало — борцов, павших во имя свободы. Это и неизвестный юноша, погибший в горах, и другой — по имени Петрис, умерший в тюрьме, и злодейски убитый в Салониках Григорис Ламбракис, и казненный в Испании Хулиан Гримау. Им посвящает Пеониду основной цикл сборника.

Герои пали. Память о них хранят товарищи, продолжающие их дело, и несчастные матери, Гекубы двадцатого века.

Гекуба, несчастная мать,
ты, как земля, плодоносна,
но, как одежды Харона,
черно одеянье твое.
Покоя тебе не дано.
Твой взгляд, обезумев от боли,
через глаза матерей
к совести нашей взывает
и с жаждой отмщенья ищет,
не показался ли снова,
быть может, в новом обличье,
тот самый конь деревянный,
коварный троянский конь.*

*(«Гекуба»)*

С образом троянского коня в поэзию Пеониду входит тема братоубийственной вражды, посеянной иноземными завоевателями между кипрскими греками и турками. Эта тема развивается во втором сборнике Элли Пеониду «Часы Никозии», опубликованном в 1967 году. Избегая откровенно трагических нот, голосом более сдержанным и зрелым рассказывает она о младенцах, которым суждено слушать колыбельные песни, перемежающиеся с рыданиями, о юношах, которые совсем недавно черноголовыми мальчишками вместе играли в прятки и лакомились виноградом, а теперь стали врагами и убивают друг друга, и, конечно, об обездоленных матерях.

Мать в черном платке,
мать с глазами пустыми,
Харон не спросил тебя,
Харон не спросил тебя,
турчанка ты иль гречанка.
Харон не спросил тебя,
Харон не спросил тебя,
есть ли еще сыновья.
Через порог шагнул
и сел напротив, за стол.

*(«Пролейся, дождь»)*

Горечь переполняет сердца людей, горечью напоена земля. Обычно земля переда-

ет свою горечь тысячам маслин, но в этом году оливы не дали плодов И земля, и люди мечтают о животворном дожде.

Пролейся, дождь, омой нас, дождь,
рекою синей.
На сердце горечь, как полынь,
и сушь пустыни.

Пеониду верит, что животворный дождь прольется и на острове воцарятся мир и согласие.

Утром после дождя
спокойно дышит природа.
Радугой, как колесом,
играет занявшийся день.
Утром после дождя
спокойно дышится людям.
В поле выходят они
и сажают оливы,
словно не было бури
и не было грома.

Не только тревоги Кипра, но и тревоги всего мира — трагедия Паломарес, трагедия Вьетнама — выливаются в стихах Пеониду искренней скорбью и протестом.

Их язык словно птиц щебетанье.
В чем виновны прекрасные птицы?
Сотни, тысячи птиц, на которых
низвергается дождь смертоносный,
дождь бесчисленных вражеских
бомб.
Эти бомбы — убитые дети,
и разбитые парты,
и плач.

*(«Птицы»)*

Так пишет Пеониду об агрессии США во Вьетнаме. И она не только сочувствует вьетнамскому народу, но и восхищается им, выделяя в его национальном характере не кротость голубя, а мужество орла.

Когда борется народ, поэзия тоже борется.

* Перевод стихов здесь и далее автора рецензии.

Я видела тебя.
Ты шла во гневе,
упрямо сдвинув брови,
с патронташем
у пояса.
И я тебя узнала.

*(«Поэзия»)*

Пора возмужания молодого поколения кипрской поэзии, к которому принадлежит учительница и журналистка Элли Пеониду, совпала с периодом тяжелых для Кипра испытаний. Отвоевав у английских колонизаторов право на независимость, кипрский народ вынужден защищать свой суверенитет от постоянных империалистических посягательств. Будни Кипра — тревожные будни обороны; и гражданственность стихов молодого поколения — это его жизненная позиция, которую оно утверждает и словом, и делом. Утверждает энергично, страстно, искренне. В этом, пожалуй, и заключается одна из самых характерных и притягательных сторон творчества молодых кипрских поэтов, и в частности Элли Пеониду.

**С. ИЛЬИНСКАЯ**

## НОВАЯ АНТОЛОГИЯ СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ

**L i r i c e. Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1967.**

„Lirice» — своеобразная небольшая антология лирической советской поэзии, вышедшая в Румынии. Своеобразная — потому что рассчитана не на полноту, а на дополнение: советские поэты порознь и вместе не раз издавались на румынском языке. Новая книга не повторяет уже давно и хорошо известных имен Маяковского, Есенина, Багрицкого, Тихонова, Симонова, а обращается преимущественно к тем, кого румынский читатель знает меньше или не знает вовсе. И выбор пал на поэтов, надо сказать, весьма представительных и разных: Л. Мартынов и А. Вознесенский, Р. Гамзатов и Е. Евтушенко, А. Ахматова и Б. Ахмадулина, О. Берггольц и С. Капутикян, А. Твардовский и Н. Заболоцкий, Я. Смеляков и Э. Межелайтис.

Известные имена. Имена эти бывают или несомненно утвердившимися во времени, или наиболее шумными, на все лады затверженными современной печатью и молвой. Хотя известность второго рода не во всех случаях совпадает с истинным весом таланта, она тем не менее порой становится ориентиром для многих составителей зарубежных антологий. Это нормально, спору нет, а все-таки жаль, что в Румынии мало известны такие поэты, как А. Тарковский и В. Шефнер, А. Межиров и В. Соколов, И. Драч и Г. Виеру, О. Сулейменов и О. Вациетис...

Так всегда: хочется больше, однако первым долгом — благодарность за то, что есть. Идея «дополнительной» антологии весьма оригинальна, и ценность самой книги безусловна (жаль только, что к ней нет никакого предисловия).

Итак, независимо от размаха наших пожеланий, поименный список участников антологии достаточно богат и обогащает аудиторию, к которой обращен. Сложней обстоит дело с подбором стихотворений у того или иного автора и отчасти — с переводом.

Вот, например, Н. Заболоцкий, почти незнакомый румынскому читателю, представлен тремя стихотворениями: «Летний вечер», «Одинокий дуб» и «Зеленый луч». Они удачно переведены Вирджилом Теодореску, но те ли стихи выбраны для перевода? Я убежден — любой русский читатель в числе первых трех стихотворений Заболоцкого эти не назовет. Скорей «Некрасивую девочку», «Последнюю любовь» или «Не позволяй душе лениться...» Столь же малохарактерны образцы из Щипачева, Мартынова, Окуджавы.

А вот другой случай. Когда говоришь о Светлове, без «Гренады» не обойтись. И она есть в антологии. Но, к сожалению, песенный амфибрахий «Гренады» неузнаваемо преобразился в неравномерный ямб, от чего знаменитый рефрен стихотворения стал немузыкальным и искусственным:

Granada, o, Granada,
O, tu, Granada mea!

(то есть «Гренада, о, Гренада, о, ты, Гренада моя»).

Если у Евтушенко, например:

**Жить и жить бы на свете,**
**да, наверно, нельзя,**

то в переводе читаем:

Dece nu se poate la nesfîrşit să trăieşti
Pe pămîntu care ţi-e drag?

Если перевести «обратно», сохраняя форму перевода, получится следующее:

**Почему же нельзя до бесконечности**
**жить**
**на земле, что тебе дорога?**

Смысл приблизительно тот же, да почерк совершенно другой...

Почему порою поэты-переводчики произвольно меняют форму подлинника, нарушают размер, не сохраняют его рифмовку? Это не вызвано поэтическими особенностями языка — румынская система стихосложения та же, что и у нас, силлабо-тоническая. Может быть, это связано с текущим процессом, происходящим в румынской поэзии: широкое распространение верлибра привело к определенному отстранению, отвыканию от музыкальности формы (ритм, рифма, аллитерация). Может быть, изменение вкусов сказывается на переводческой работе некоторых современных поэтов? (Справедливости ради отметим, что и мы подчас страдаем теми же недостатками, переводя румынских поэтов.)

Главное я приберег к концу. Участие в антологии приняли крупнейшие румынские поэты. Наиболее удачные переводы принадлежат Марии Бануш (М. Цветаева), Михаю

Бенюку (А. Ахматова), Штефану Дойнашу (П. Антокольский, Б. Слуцкий, Я. Смеляков, Е. Винокуров), Виктору Кернбаху (Г. Абашидзе), Вирджилу Теодореску (Б. Пастернак), Тибериу Утану (Р. Гамзатов).

Продолжение, конечно, следует. Ибо доброе дело никогда не идет на убыль. Доброму делу цвесть.

**КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ**

## ВОЗВРАЩЕНИЕ УНТЕРА ГРИШИ

**Welt und Wirkung eines Romans. Zu Arnold Zweigs "Der Streit um den Sergeanten Grischa". Berlin, Aufbau-Verlag, 1967.**

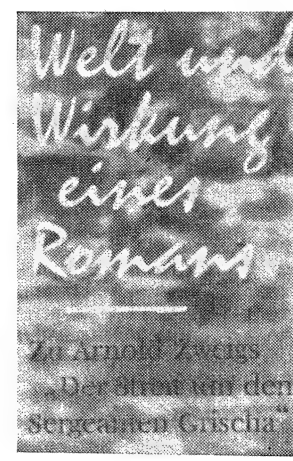
Прошло сорок лет с тех пор, как в Германии вышла из печати книга «Спор об унтере Грише», появление которой было воспринято критикой и читателями как рождение немецкого антивоенного романа. В ту пору никто (вероятно, и сам автор) не знал еще, что это только первый камень в монументальном строении, которое воздвигнет Арнольд Цвейг, только первая книга из цикла, который писатель назовет «Великая война белых людей». «Вначале,— говорит Арнольд Цвейг,— я не собирался писать продолжение к «Унтеру Грише»... Продолжение возникло, только когда я осознал, что мой роман будит у читателя вопросы, не возникавшие у него до чтения книги... Вот тут-то я и начал копать все глубже и глубже, а с 1929 года я уже не отрывался от этого занятия. За прошедшие годы я написал много других романов, новелл, статей и пьес. Но работа над циклом о Грише все продолжалась и продолжается по сегодняшний день». Так, подобно тому, как это сделали Бальзак или Золя, А. Цвейг создал цикл романов, в котором запечатлел свою эпоху. «Эпохой перехода от капитализма к социалистическому веку» называет ее писатель.

Но, даже взятый в отдельности, «Спор об унтере Грише» — явление чрезвычайное, и по художественной значительности, и по резчайшей антивоенной направленности, и по пропитывающей его революционной тенденции. Не случайно появление романа вызвало взрыв откликов и со стороны прогрессивной, и со стороны реакционной критики. Написанная сорок лет назад, книга эта нисколько не утратила свежести и актуальности. Отмечая восьмидесятилетие писателя и сорокалетие его «Гриши», издательство «Ауфбау-ферлаг» опубликовало сборник «Мир и влияние одного романа. К «Спору об унтере Грише» Арнольда Цвейга». Весь критический материал, в который входят и некоторые отклики из-за рубежа, в том числе и из Советского Союза, составители распределили по разделам. В первый вошли статьи и рецензии конца 20-х — начала 30-х годов, во второй — статьи тех же годов, но резко враждебные Цвейгу, статьи, которые, по мысли составителей, опровергнуты самим временем. И, наконец, в третий раздел вошли материалы последних десятилетий.

Казалось бы, битва за жизнь одного-единственного русского солдата — а именно этот случай, взятый А. Цвейгом непосредственно из действительности, лег в основу его книги,— не могла иметь уж такого значения в дни, когда шла грандиозная битва народов и каждый день погибали сотни и тысячи ни в чем не повинных людей, превращенных преступными правительствами в пушечное мясо. «Сколько мыслей обступает читателя,— пишет Вольфганг Йохо,— когда ровно через двадцать пять лет снова вышла из печати книга А. Цвейга «Спор об унтере Грише», книга, которая из всех романов и репортажей произвела в свое время самое сильное впечатление».

Что же это за книга? — спрашивает Курт Тухольский. Военная? Нет, антивоенная. Действительно, дело унтера Гриши послужило неким грандиозным катализатором. Любой характер, выведенный в этой книге и так или иначе связанный с судьбой Гриши, проходит сложнейший процесс формирования, раскрывает заложенные в нем возможности. Незаконный смертный приговор, который вынес военно-полевой суд русскому солдату, бежавшему из германского плена, всколыхнул сознание и немецких солдат, и молодых прусских офицеров, и гражданское население.

Мы так привыкли считать Арнольда Цвейга Нестором антивоенного романа, что порой забываем о его необычайной разносторонности, о том, что он автор таких психологических романов, как «Семья Клопфер», «Минувшие дни», «Топор из Вандсбека», многих драм, прекрасных новелл, очень своеобразных стихов, и интересных статей, одна из которых использована в качестве введения к настоящему сборнику. Об этом



нам неоднократно напоминают авторы сборника. Они, естественно, не задерживаются только на «Унтере Грише», а подвергают анализу все творчество Арнольда Цвейга, останавливаясь и на его идейной значимости, и на той тонкой филигранной работе, на той пластичности, которая присуща всем его произведениям.

Лиона Фейхтвангера восхищала именно эта пластическая сила, с которой А. Цвейг ваяет свои образы, так что в его романах встает реальный мир, населенный живыми людьми. В них проходят пестрой чередой самые различные люди — от промышленных магнатов и финансовых королей до рядовых солдат. Но при этом писатель всегда связывает частный, подсмотренный им в жизни случай с большими социальными проблемами. Он протягивает нити от «дела» унтера Гриши, или от «дела» юного Кристофа Кройзинга («Воспитание под Верденом»), или от «дела» Винфрида («Возведение на престол») к основным пружинам германского империализма, ибо беззаконие, на котором построено дело Гриши, это только миллионная часть вопиющего беззакония, на котором держалась вильгельмовская Германия.

Восхищаясь мастерством Арнольда Цвейга, его умением показывать людей и как будто бы незначительные события в их больших общественных взаимосвязях, Л. Фейхтвангер говорит, что мастерство это порождено теми же силами, из которых возникают народные эпосы. Он и причисляет его к писателям эпическим. Впрочем, сам Арнольд Цвейг склонен сближать свое искусство с искусством драматурга. В эссе «Теория большого романа» писатель настаивает на том, что фабула романа должна подчиняться законам большой драмы, что ей должна быть присуща мощь трагедий Шекспировых.

Бывший солдат, А. Цвейг изобразил в своих романах не только войну 1914 года и не только судьбу ее участников. Он вскрыл те особенности германского империализма, которые впоследствии привели Германию к фашизму, к дотоле неведомым чудовищным методам ведения войны.

Есть в романах А. Цвейга одна особенность, неодолимо притягивающая к себе советских читателей. В них всегда как бы присутствует второй план, и план этот — революция в России. Многие статьи сборника возвращают нас к этой теме.

Действие романов А. Цвейга происходит на территории Литвы, Белоруссии, Украины, оккупированных Германией. Вести о революции в России проникают в самые глухие села, самые маленькие города. Они вселяют надежду в обитателей оккупированных территорий, заставляют уходить в леса партизан, вызывают все большее брожение среди немецких солдат. Генерал Шиффенцан — образ, созданный писателем, но в котором мы так легко угадываем звериные черты генерала Людендорфа,— потому и подписывает смертный приговор русскому солдату, что солдат этот для него олицетворение революционных сил, бушующих рядом за близким кордоном.

Антивоенная направленность романа об унтере Грише была так сильна, безоговорочное отрицание империалистической войны столь очевидно, что через пять лет после появления книги, когда в Германии к власти пришли фашисты, «Гриша» был сожжен на костре. Книга, переведенная на девятнадцать языков, надолго исчезла с книжных полок немецких читателей.

В Советском Союзе печатали уже следующие части из цикла «Великая война белых людей», а в Германии подрастающее поколение даже не знало о том, что существует такой писатель Арнольд Цвейг.

«Мы не знали,— свидетельствует Гюнтер де Бруин,— что литература, которая нам так нужна, обрела родину за границей. Ни у кого не хватало смелости сказать нам об этом». И все-таки, во время второй мировой войны, книга А. Цвейга попала в руки юношей и оказалась для них откровением. «Она,— продолжает де Бруин,— помогла мне увидеть события и эпизоды войны во всей их неприкрытой наготе, разгадать сущность наших властителей, так что я страдал вместе с угнетенными. Она проложила дорогу моим мыслям... Прочтя «Гришу», я понял, что величайший долг всех пишущих — говорить только правду, в мелочах и в крупном, в частности и в целом. Как хорошо, что теперь мы можем сказать за это спасибо Арнольду Цвейгу!»

В этой оценке огромного воспитательного значения романа де Бруин не одинок. Об этом же говорят писатели старшего поколения — и Вилли Бредель, и Отто Готше. «Здесь,— замечает Отто Готше,— была поднята главная идея целой эпохи». А. Цвейг показал не только развитие человека сегодняшнего дня: «В романе показано также, каким людям, какому общественному слою принадлежит будущее».

Создавая эпопею «Великая война белых людей», А. Цвейг хотел не только показать причины и следствия империалистической войны, разоблачить ее «тайны». Арнольд Цвейг не ведет спор о войне, он ее со всей категоричностью отвергает. Он показывает, как неизбежен переход человечества к «социалистическому веку».

**Е. ЗАКС**

## ЧЕСТНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ХУДОЖНИКА

**Claire Etcherelli. Elise ou la vrai vie. Paris, Denoël, 1967.**

В последнее время ряд публицистов, экономистов и социологов капиталистических стран с завидной энергией пытаются доказать, что капитализм, приняв «народное» обличье, перестал быть капитализмом. Поэтому об «эксплуатации» рабочего сейчас уже говорить не приходится. Да и сам рабочий класс, в сущности, исчез,

растворившись в массе квалифицированных техников-специалистов. Тем ценнее становится сейчас честное свидетельство художника о том, каков на деле сегодняшний облик капиталистической системы, каково реальное положение реального рабочего на капиталистическом предприятии.

Таким честным свидетелем выступает автор романа «Элиза, или Настоящая жизнь» Клэр Эчерелли — художник-реалист по методу, романтик по мироощущению. И в книге своей, печальной и человечной, она с подлинной страстью показала, как жестоко калечит человека труда в капиталистическом обществе материальное и моральное давление самих условий труда и всех форм эксплуатации.

Специфику романа, его сильные и слабые стороны определяет прежде всего выбор героев — тех, кто стоит на первом плане книги. Почти все — не бойцы, а человеческие пылинки, взметенные крупными политическими событиями, те, кто под их влиянием расстается со своей, так сказать, «нормальной судьбой» и вместе с тем не имеет силы завоевать судьбу новую — «настоящую жизнь».

К этому социальному типу принадлежит и Элиза, от лица которой ведется рассказ, глазами которой увидены в книге жизнь, быт, борьба рабочих большого капиталистического предприятия. Как умный художник, Клэр Эчерелли понимает, что когда человек «выламывается» из своей среды, к этому всегда бывают не только внешние, но и внутренние предпосылки.

Такие предпосылки есть и в характерах брата и сестры, Элизы и Люсьена, совсем еще молодых (ему двадцать, ей — двадцать шесть), проживающих в Манте, маленьком провинциальном городке. Брат и сестра — сироты, живут со старухой бабушкой однообразной, скудной жизнью мелкобуржуазной семьи. И это во всех смыслах ограниченное существование с детства искажает человечески ценные черты характера обоих сирот.

Основа характера Элизы — «материнское»: быть «хранительницей очага», хотя бы и скудного благообразия, все отдавать близким, оберегать, направлять тех, кого любишь. Но под влиянием окружения самоотверженность Элизы становится педантической опекой над младшим братом, который, естественно, не мирится с ней.

Образ Люсьена — во многом традиционный для французской литературы. Когда следишь за ним, за его судьбой, невольно приходит на память Большой Мольн — герой единственной и удостоившейся после смерти автора громкой славы книги Алена Фурнье.

Это — в обстоятельствах наших дней — все тот же «герой с чистыми глазами и чистым сердцем», охваченный смутной потребностью вырваться из стоячего болота буржуазной провинции, найти путь к достойной и благородной деятельности. Но, как и его романтические предшественники, Люсьен на деле лишь ломает свою и чужую судьбу и гибнет, не найдя в себе сил укорениться в «настоящей жизни».

«Дома», в Манте, Люсьен как «нарушитель» всех понятий своей среды бросает учение (а сестра и бабка стремились ценою больших жертв и лишений «вывести его в люди»), становится почти нищим, женится в девятнадцать лет, заводит ребенка и вскоре бросает семью и уезжает в Париж, чтобы сделаться рабочим на автомобильном заводе (очевидно, Рено).

Подругой его, сначала в Манте, а затем уже в Париже, становится Анна — дочь испанцев-эмигрантов и активистка коммунистической секции.

Вскоре по зову брата приезжает на побывку в Париж и Элиза (оставив больную бабку в больнице).

В последнем романе Арагона «Бланш, или Забвение» одна из двух героинь (или персонажей романа, который пишет его герой, или же соавторов его) — двадцатилетняя Мари Нуар, существо неприкаянное и неустроенное,— на вопрос своего любовника Филиппа: «С кем бы ты жила в дни оккупации, чтобы иметь машину?» — отвечает: «Вероятно, с эсэсовцем». Мне думается, что тут сказался почтенный возраст автора («Ох уж эта мне современная молодежь!»).

Мари Нуар, самый глубинный слой характера которой составляет тоже «материнское», вряд ли способна на такое утверждение. Мне кажется, напротив, очень убедительным то, что молодые герои Эчерелли все «притянуты» в сторону коммунистической партии. Именно все — слабые, как Элиза, мятущиеся, как Люсьен, и даже внутренне ощущающие свою «невоплощенность», как Анна. И вместе с тем от притяжения этого не возникает та сила, которая определяет судьбу, биографию человека. Короткое приобщение к «настоящей жизни», политической борьбе для всех кончается катастрофой.

Действие романа происходит в 1954 году, в самый разгар алжирской войны, разгула антиалжирского террора французской реакции. И если сила реакции, атмосфера террора переданы в романе очень убедительно, то общественный отпор этим силам выглядит довольно немощно, оставаясь, на взгляд Элизы, делом верхушки интеллигентов-активистов.

И даже наиболее серьезные массовые выступления французского пролетариата, воспринятые глазами Элизы, толкуются как бесплодная, короткая вспышка.

Люсьен и Анна — «интеллектуалы». В борьбе за дело рабочего класса они принимают участие скорее по велению разума. И еще — по инстинктивному стремлению «погреться» возле тех, для кого борьба эта — дело жизни и смерти, плоти и крови. Так Клэр Эчерелли ощутила очень важное и болезненное для мира капитализма явление — ту «недоступную черту», которая порою ложится между радикальной интелли-

генцией и рабочим классом. Прямолинейность Люсьена, аскетизм, стоическое пренебрежение к условиям жизни, быта, труда переходят в леваческое презрение ко всей материально-экономической стороне законных требований и устремлений рабочих.

Своего рода зеркальное отражение этого левачества входит и в мировосприятие Элизы, от лица которой, как мы уже говорили, ведется рассказ. И это еще больше осложняет ту картину действительности, которую видит и воссоздает человек столь хрупкий и уединенный, как она.

Да, глазами Элизы в книге увидено капиталистическое производство, труд-проклятие, не только высасывающий из человека все силы, но и сужающий его кругозор, обедняющий чувства и разум. С неменьшим гневом и проницательностью изображены в романе профсоюзные «функционеры», их ложь, демагогия, тайное угодничество перед хозяевами. Но, на взгляд Элизы, рабочая масса равнодушна ко всему, кроме своих узкоэкономических и бытовых интересов, полна предрассудков, в том числе и «расистского» порядка, которые проявляются в отношениях рабочих-французов с многочисленными на предприятии рабочими — алжирцами и арабами. Но как бы ни оценивала события и роль в них части радикальной интеллигенции нежная, честная Элиза, сквозь ее восприятие «просвечивает» реальная ущербность и реальная опасность ставшего на путь левачества «радикализма». Ответственность за собственное неумение использовать данную ситуацию, направить в главное русло отдельные проявления законного недовольства «радикалы» всегда бывают склонны переложить на плечи «недостаточно революционной» рабочей массы.

Угловатый «авангардизм» Люсьена изолирует его в среде рабочих. Он надрывается, заболевает туберкулезом и вскоре гибнет, бежав из санатория и разбившись в бешеной гонке на мотоцикле. В условиях тяжкого, отупляющего, порой опасного для жизни труда, «антиалжирского» террора, в условиях раздражительности, равнодушия, «биологического» расизма рождается любовь Элизы и рабочего Арецки — активиста подпольной борьбы алжирского народа.

Несмотря на точность и жесткость в изображении обыденной жизни, вся книга Эчерелли, как мы уже говорили, романтическая. И в традициях высокой романтики изображена в книге любовь Элизы и Арецки, блуждание по ночным окраинам Парижа, полицейские облавы, неизвестность самого близкого — через два часа — будущего. Любовь эта — как растение в зоне вечной мерзлоты — стелется, кривится и все же неистребимо продолжает жить. Трагизм этой любви заключается еще и в том, что она должна преодолевать не только внешние препятствия, но и внутренние — где-то «в крови» застрявшие расовые предрассудки Элизы, и ее страх перед возможной травлей, если узнают на заводе, и ответную настороженность Арецки.

Любовь кончается катастрофой — Арецки бесследно исчезает, захваченный в одну из полицейских облав. Узнать об его участи Элизе никак не удается. Еще и потому, что «арабский мир», родные, друзья, соратники Арецки не допустили и не допускают в свой круг француженку Элизу. Элиза уедет домой, в провинцию, к тихой и теперь уже совсем одинокой жизни.

«Настоящая жизнь» Элизы длилась всего несколько месяцев. И тут она имеет мужество прийти к заключению, что причина катастрофы, постигшей их обоих — и Люсьена, и ее,— все-таки лежит не во внешних обстоятельствах.

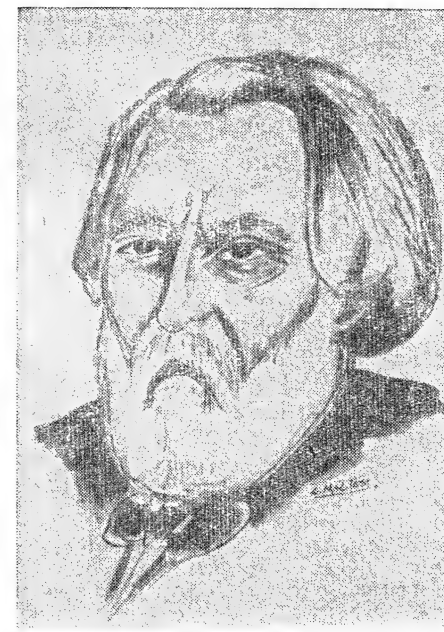
«Какой же силы нам недостало? — спрашивает она.— В чем была нехватка, не позволившая нам восторжествовать над тем, что так легко назвать судьбой? В какой степени мы виноваты? Неужели то, что в нас было — и пышный цвет, и ядовитые сорняки,— послужило лишь для надгробных венков? Все, что мы должны были защитить, все, что мы должны были завоевать, осталось для нас позади». И все же Элиза не считает себя мертвой и конченой. Она увозит с собой слабую, но непобедимую и живую надежду.

Не только потому, что это хорошая литература, но и по глубокой честности, желанию поставить главные вопросы книга Клэр Эчерелли принадлежит к заметным явлениям прогрессивной зарубежной литературы.

**Е. КНИПОВИЧ**

# ЕГО КНИГИ НЕСУТ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ

***(К 150-летию со дня рождения И. С. Тургенева)***



*Портрет И. С. Тургенева работы бразильского художника Л. Малтезе.*

«Тургенев — это необыкновенный человек и необыкновенный писатель».

*Ричард Фриборн, английский литературовед*

**Прогрессивная мировая общественность отмечает в ноябре 1968 года 150-летие со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818—1883).**

**«Тургенев, несомненно, великий писатель своего времени»,— писал американский исследователь его творчества Эдвард Гарнетт. В своей книге «Тургенев» (Нью-Йорк, 1966) он отмечал «интеллектуальную мощь и социальное звучание» тургеневских творений.**

**«В период кризиса европейской новеллистики XIX столетия произведения Тургенева заняли особое место и обрели особое звучание для всего поколения европейских писателей того времени»,— говорится в исследовании немецкого литературоведа Рейнгольда Траутмана (ГДР) «Тургенев и Чехов» (Лейпциг, 1948).**

**Произведения И. С. Тургенева вошли в сокровищницу мировой литературы. Они переведены на десятки языков народов мира. Помимо европейских языков, на которые основные произведения писателя были переведены еще при его жизни, в настоящее время романы, повести и рассказы Тургенева читают на телугу, урду, японском, китайском, корейском, бенгали, хинди, малаялам, ассамском, малайском, пенджаби, арабском и других языках.**

**В музее И. С. Тургенева в г. Орле выставлены сотни книг писателя, присланных из-за рубежа, в переводах на иностранные языки.**

**По данным Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы, произведения И. С. Тургенева широко переводились при жизни писателя и пользовались за рубежом большим спросом читателей и уважением критики. Так, законченные в 1852 году «Записки охотника» уже в 1854 году вышли на французском, и издание их повторялось в 1855, 1873, 1880 и 1883 гг. В последние годы они выходили во Франции дважды — в 1960 и 1961 гг. В 1855 году «Записки охотника» были изданы в Англии, в 1875 — в Дании, Германии, Швеции; в 1880 году они вышли на польском, в 1881 — на финском. Следует отметить, что в 80-е годы прошлого века на финский язык, кроме того, были переведены «Накануне», «Ася», сборник рассказов.**

**Первое издание романа «Отцы и дети» в США вышло в 1867 году, последнее — в 1967. При жизни писателя роман был издан на сербскохорватском и немецком языках — в 1869 году, на польском — в 1871, на датском — в 1876, на шведском — в 1878, на итальянском — в 1879 году.**

**Прогрессивные идеи великого русского писателя, боровшегося против крепостничества и жестокости помещиков в России, за ее светлое будущее, высокое художественное мастерство в изображении русской природы и людей России и в наши дни влекут к себе читателя.**

**«Произведения Тургенева характеризуются прежде всего тонким и глубоким анализом человеческих характеров, силой и необыкновенной лиричностью образов,— писал Р. Траутман.— Вот почему романы, повести и рассказы этого писателя до сих пор не перестают увлекать читателей во всем мире, они и сегодня приносят людям радость».**

**Книги И. С. Тургенева широко выпускаются за рубежом. Только в самые последние годы собрания его сочинений изданы в США, Болгарии, Испании, Италии, ГДР, Польше; сборники его пьес выпущены в Англии и Франции. Отдельные произведения писателя постоянно выходят в разных странах мира. Так, «Записки охотника» издавались в Англии в 1950 и 1962 гг., в Болгарии — в 1955 году, в Венгрии — в 1953 и 1957 гг., в Дании — в 1958 году, в Италии — в 1959, 1962 и 1964 гг., в Румынии — в 1959 и 1961 гг., в Югославии — в 1959, 1961 и 1963 гг., в Финляндии — в 1960 году, во Франции — в 1960 и 1961 гг., в Японии — в 1958 и 1959 гг. Столь же широко выпускаются в зарубежных переводах и другие тургеневские произведения: «Отцы и дети», «Дым», «Накануне», «Дворянское гнездо», «Рудин», «Новь», «Ася», «Первая любовь».**

**Книги И. С. Тургенева знают и любят люди всех континентов: об этом свидетельствует широко отмечаемый за рубежом 150-летний юбилей писателя.**

*Иллюстрации Герберта Беккера к повести «Первая любовь», изданной в ФРГ в 1959 году издательством «Фир Фалькен».*

# ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

## АНГЛИЯ

### АЙРИС МЕРДОК ЗА РЕАЛИЗМ В ПОЛИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

Популярная английская романистка Айрис Мердок (советскому читателю известен переведенный на русский язык ее роман «Под сетью») дала интервью корреспонденту ежемесячника «Лондон мэгэзин». Одним из первых был задан вопрос об ее отношении к войне во Вьетнаме.

Писательница выразила глубокое сожаление по поводу вмешательства западных стран во внутренние дела вьетнамского народа и высказала опасения, что обстановка там может еще более усложниться. «Идея сдерживания коммунизма так или иначе ошибочна,— заявила Айрис Мердок.— Вьетнамцев нужно оставить в покое, чтобы они сами могли решать свою судьбу».

Далее в интервью были затронуты проблемы писательского творчества. Айрис Мердок не разделяет взглядов крайних сторонников экспериментаторства в литературе. «Я испытываю потребность писать по-другому, не в этом ключе,— сказала она.— Мне хотелось бы обратиться к более простой форме реализма. Я хотела бы, чтобы меня считали писательницей-реалисткой — в том смысле, в каком были реалистами хорошие английские писатели прошлого. Я предпочитаю рассказывать об обыкновенной жизни, о том, что в ней действительно происходит и какие бывают люди; мне хочется создавать правдивые, реалистические, естественно действующие и мыслящие персонажи».

«Итак, вы не из тех, кто считает роман сдерживающей, ограничивающей литературной формой?» — спросил корреспондент.

«Нет, не из тех,— ответила писательница.— Я думаю, что роман дает достаточный творческий простор. Единственные границы его — мои собственные ощущения или мои ограниченные возможности. Здесь я чувствую себя человеком, который живет в громадном доме, а занимает в нем лишь крохотный уголок».

### «ОТ ЧЕХОВА С ЛЮБОВЬЮ»

Так называется спектакль, показанный по английскому телевидению, в основу которого были положены письма Антона Павловича Чехова. Продюсер и сценарист Джонатан Миллер, кроме того, использовал в спектакле выдержки из воспоминаний М. Горького о Чехове.

Текст телепьесы состоит из отрывков писем различных действующих лиц, которые сами их читают. Кстати, критика отмечает великолепный подбор состава исполнителей. В роли Чехова занят Джон Гилгуд; образ Ольги Леонардовны Книппер создан Пегги Эшкрофт, а Марию Павловну Чехову играет Дороти Тьютин.

Спектакль включает важнейшие события из жизни великого русского писателя, начиная с постановки его первой пьесы,— поездку на Сахалин, растущий успех его драматургических произведений, женитьбу, тяжелую болезнь, работу над последней пьесой, смерть...

Критик газеты «Таймс» назвал спектакль «изящным и грамотным». «Джон Гилгуд,— писал он далее,— создал обаятельный, полнокровный и достоверный образ Чехова. Что касается Пегги Эшкрофт, Дороти Тьютин — та и другая одинаково хороши в ролях жены и сестры писателя».

### ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ГЕНРИ МУРА

В лондонской «Тейт гэллери» открыта первая персональная выставка известного английского скульптора Генри Мура, сына йоркширского шахтера.

Обозреватели пишут, что впервые 217 работ Генри Мура, которому недавно исполнилось 70 лет, собраны в одной галерее. Здесь

выставлены и его ранние модели и барельефы, датированные 1922 годом, и нашумевшие скульптуры сороковых годов, принесшие автору мировую известность, и только что завершенные произведения. Перед зрителем предстает долгий путь исканий художника, творчество которого, как пишет Рой Уоткинсон в газете «Морнинг стар», «разрушило представление об английских скульпторах как о мастерах по надгробным памятникам».

Искусствоведы отмечают неслабеющее жизнелюбие в последних работах художника. И многие вспоминают при этом, что в студии Генри Мура десятилетиями стояли гипсовые модели и фрагменты его скульптур. Сегодня, выполненные в бронзе и мраморе, они поражают своей монументальностью и жизненной силой. Это стало возможным лишь после признания таланта Генри Мура на Венецианской биеннале в 1948 году, пишет далее Уоткинсон. Художник оставил гипс, которым вынужден был довольствоваться ранее, и перешел на бронзу и мрамор. (Любопытная деталь: Генри Мур теперь ежегодно проводит несколько месяцев в каменоломнях Италии. Он выбирает мрамор еще, так сказать, «в пласте» и руководит работой каменотесов, извлекающих нужную ему глыбу.)

Рисунок Генри Мура «Мать и дитя».

*(Газета «Морнинг стар»)*

Выставка в «Тейт гэллери» была открыта по решению Британского совета искусств.

### КОРОЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ... «ИСКУССТВУ УЖАСОВ»

«Ужасы стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни — повсюду нас встречают «хорроры»: «книги ужасов», «фильмы ужасов», поздравительные открытки с ужасами и даже — записи на пластинках «произведений» с ужасами»,— писал недавно корреспондент газеты «Пипл». Культ насилия и страха приносит бизнесменам фантастические прибыли, отмечал корреспондент, именно этим можно объяснить его широкое распространение. Чистая прибыль от демонстрации одного «фильма ужасов» в Англии составляет не менее миллиона фунтов стерлингов. А если такой фильм удается продать за границу, то прибыль возрастает по меньшей мере в пять-шесть раз.

Точно так же наживаются дельцы, выпускающие «книги ужасов», изрядно сдобренные порнографией. Среди наиболее известных предпринимателей такого рода в литературе называют владельцев компании «Пэн букс», а в кино — Хэммера.

О художественном уровне фильмов и книг, смакующих убийства и насилия, говорить не приходится — до того он убог. По мнению корреспондента «Пипл», ветеран детектива Агата Кристи рядом с ними представляется классиком, мастером слова. «Фильмы ужасов» наводнены вампирами, людьми в масках, вызывающими отвращение, в них подробно показывают сцены пыток, казней, насилий — человеку вырывают язык, падают отрубленные головы — и т. д.

«Хорроры» — составная часть культа насилия в нашем обществе; убийство Роберта Кеннеди — продукт этого культа»,— заявил лорд Соупер, известный общественный деятель Англии. Он потребовал, чтобы правительство ввело строгие меры «для контроля за потоком продукции «хорроров».

Власти весьма своеобразно реагируют на требование английской общественности прекратить выпуск книг и фильмов, которые разлагающе действуют на молодежь. Так, кинокомпании Хэммера была присуждена... королевская премия за этот год. Дело объясняется просто: английская казна получила десятки миллионов фунтов от экспорта фильмов Хэммера, что способствовало сокращению торгового дефицита Англии.

## БОЛГАРИЯ

### ГОРЬКИЙ И БОЛГАРСКИЕ ПИСАТЕЛИ

Еженедельник «Литературен фронт» опубликовал статью Л. Георгиева о творческих связях болгарского литературного критика Крыстева с М. Горьким во время пребывания писателя на Капри в 1912 году. Крыстев в то время написал статью «Новая болгарская литература» и переслал ее Горькому, который счел необходимым опубликовать эту работу в русской печати, сопроводив своими комментариями.

«Лаконичные высказывания Горького по поводу этой статьи,— пишет Л. Георгиев,— отражают не только его идейно-эстетические взгляды, но и свидетельствуют об отличном знании болгарской литературы и истории. Поражает завидная эрудиция русского писателя, который подробно, как знаток болгарской литературы, отзывается о творчестве большей части ее создателей. Отдельные замечания писателя о произведениях А. Страшими-

рова, А. Константинова, Т. Влайкова говорят о профессиональном мастерстве, глубоком знании и понимании авторов.

Когда же вопрос касается защиты идейных позиций, спокойный тон Горького сменяется взволнованно-полемичным... «Так, Горький возражал против высказываний Крыстева, приближавших его к позициям сторонников «искусства для искусства».

Крыстев перер а б о т а л свою статью, сообразуясь с замечаниями Горького, и тот отправил ее новый вариант в Петербург, в редакцию журнала «Современник». Одноврем е н н о Горький попросил Крыстева и в будущем осведомлять русское общественное мнение о выдающихся явлениях болгарской литературы.

В письме к П. Тодорову, который посредничал в пересылке на Капри статьи Крыстева, Горький писал о том, что стремление литературы оторваться от жизни и действительности, как это, вероятно, известно профессору Крыстеву, привело русских модернистов к полному банкротству, принуждая их начать проповедовать «возвращение к жизни».

«Эта фраза очень показательна,— продолжает Л. Георгиев,— становится понятен интерес русского писателя к статье Крыстева и к нашей литературе вообще. Очевидно, он хотел воспользоваться стат ь е й болгарского критика в своей идейной борьбе против представителей русского модернизма».

### ЖУРНАЛ «ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВА»

Вышел в свет первый номер нового журнала «Проблемы искусства», издаваемого Институтом искусствоведения при Болгарской академии наук. Как сказано в сообщении еженедельника «Литературен фронт», журнал ставит своей целью разработку теоретических вопросов болгарского

«Ленин» — литография Тодора Атанасова.
*(Журнал «Изкуство»)*

## ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ

Рисунки южновьетнамского художника Куанг Шона, посвященные героической борьбе народа Вьетнама против агрессии США: «В боевом походе» и «Сдают грузы».
*(Журнал «Вьетнам»)*

национального искусства, проблем социалистического реализма, традиций и новаторства, вопросов патриотического воспитания. В нем будут публиковаться материалы по проблемам живописи, скульптуры, графики, а также декоративно-прикладного искусства, эстетики, архитектуры, театра, кино, телевидения.

## ФРГ

### КАКОВА ПРЕМИЯ, ТАКОВЫ И ЛАУРЕАТЫ

В Западной Германии существует премия имени покойного Конрада Аденауэра. В нынешнем году она была присуждена Э. Францелю, Ф. Тиссу и В. Штелину за «публицистическую деятельность». Первоначально предполагалось, что премия эта будет торжественно вручена лауреатам в мюнхенском Национальном театре при участии баварской и боннской элиты.

Однако торжество пришлось отменить. Дело в том, что лауреаты — бывшие гитлеровцы, махровые реакционеры, и решение об их награждении вызвало активные протесты прогрессивной западногерманской общественности.

Эмиль Францель — один из предводителей реваншистского «Землячества судетских немцев», в прошлом сподвижник Генлейна. В гитлеровской Германии он был активным сотрудником нацистского журнала «Цейт». Ныне он не скрывает своих симпатий к фашизму, сотрудничает в неофашистской газете «Дейче националь унд зольдатенцейтунг», открыто призывает к расправе над прогрессивными деятелями ФРГ. Примерно то же самое, с небольшими вариациями, можно сказать о Ф. Тиссе и В. Штелине.

Вручение премий этим «публицистам» состоялось втайне от общественности, в старинном замке, расположенном на одном из островов озера Хим в Баварии. На церемонии вручения премий присутствовало несколько человек.

## ГОЛЛАНДИЯ

### ГОЛЛАНДИЯ-ФЕСТИВАЛЬ 1968

Начиная с 1948 года каждое лето в Голландии проводится смотр искусства разных стран, включающий оперы и балет, концертные выступления и театральные спектакли, а иногда также выставки и кинонедели.

В разные годы в нем принимали участие такие прославленные коллективы, как миланская опера «Ла Скала» или Венская государственная опера. От Советского Союза на фестивале выступали Святослав Рихтер, Владимир Ашкинази, Мстислав Ростропович, Виолетта Бовт, Сергей Образцов, а также Московский камерный оркестр под управлением Рудольфа Баршая.

В нынешнем году советскую музыкальную культуру на фестивале представляли Геннадий Рождественский и Родион Щедрин. Известный далеко за пределами Голландии оркестр «Концертхебау» исполнил под управлением Г. Рождественского симфонию Чайковского «Манфред» и балет Стравинского «Жар-птица». Композитор Р. Щедрин исполнил с этим же коллективом свой Второй фортепьянный концерт.

«Можно было предвидеть, что выступление оркестра «Концертхебау» с гастролирующими русскими дирижером и солистом станет симфонической кульминацией Голландия-фестиваля,— писал музыкальный критик Вым Хаффел в газете «Ваархейд».— Знаменитый дирижер Геннадий Рождественский за короткое время своего пребывания дал возможность оркестру подняться до былой славы, а композитор — солист Родион Щедрин познакомил нас со своей музыкой, с удивительными сторонами современного музыкального творчества в Советском Союзе».

Критик отмечает «неповторимо прекрасное» исполнение симфонии Чайковского, «перед которой надо склонить голову», «исключительно виртуозную фортепьянную партию» во Втором концерте Щедрина и «сенсационный исполнительский талант автора».

В программу фестиваля помимо классических опер были включены также «Реквием» Берлиоза, музыка Дебюсси и произведения чешского композитора Антонина Рейха — однокурсника Бетховена по университету и создателя квинтета духовых инструментов.

По традиции исполнялись концерты органной, колокольной, духовой музыки.

Центральным событием театральной части фестиваля была драма-комедия «Люцелла» голландского поэта и драматурга Бредеро, 350-летие со дня смерти которого в этом году широко отмечается на его родине. Сам вышедший из народа, сын сапожника, Бредеро за свою короткую жизнь — он жил всего 33 года — создал стихи и пьесы, отличавшиеся народностью, повествующие о любви, о чести и справедливости, о бедности, существующей рядом с богатством. Его пьеса о трудной любви простого молодого человека и дочери богатого банкира была поднята из пыльных архивов и почти без «осовременивания» поставлена на голландской сцене. Критик «Ваархейд» назвал это представление «весьма важным событием в голландской театральной жизни». «Постановка «Люцеллы» — писал критик,— снова показала, что истый грубый народный поэт Бредеро ничуть не менее может претендовать на интерес современной публики, чем учтивые и знатные поэты Хофт и Вондел, которые, как известно, вместе с ним вошли в плеяду крупнейших художников пера своего времени».

Газета «Ниве Роттердамсе курант» в своей рецензии на пьесу отмечает отличную игру актеров и ра-

боту режиссера Иоганна де Мейстера. Музыка и песни на слова Бредеро написаны на мелодии начала XVIII века и исполнялись на музыкальных инструментах того времени.

## ИЗРАИЛЬ

### СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ АВИ-ШАУЛА

Исполнилось семьдесят лет видному израильскому писателю Мордехаю Ави-Шаулу. Прогрессивная общественность Израиля и зарубежные друзья тепло поздравили юбиляра. Орган Коммунистической партии Израиля газета «Зо ха-дерех» («Путь») опубликовала поздравительное письмо израильских коммунистов Ави-Шаулу. «Мы, израильские коммунисты, евреи и арабы,— говорится в письме,— высоко ценим Ваше замечательное литературное творчество и Вашу многостороннюю общественную деятельность, избранный Вами боевой и славный путь служения трудовому народу, высоким идеалам мира и гуманизма, национальной независимости и братства народов, демократии и социализма». В письме отмечается активное в прошлом участие Ави-Шаула в борьбе против британского империализма за свободу арабского и еврейского народов Палестины, в движении солидарности с республиканской Испанией. В настоящее время, говорится в письме, писатель стоит в первых рядах израильского движения солидарности с вьетнамским народом. Ави-Шаул является одним из инициаторов создания общества дружбы «Израиль—СССР». Он, пишут авторы письма, «продолжает с честью нести знамя израильско-советской дружбы, несмотря на антисоветский шквал, захлестнувший нашу страну в эти дни». В письме подчеркивается большое значение литературных произведений и общественной деятельности Ави-Шаула для «воспитания идеи братства еврейского и арабского народов».

## ИСПАНИЯ

### КОМУ ДОРОГ ГОЙЯ

Нынешним летом мадридская печать сообщила о том, что знаменитая картина Гойи «Нападение на дилижанс» в ближайшее время будет продана с аукциона...

Картина эта была написана художником в 1787 году по заказу герцогов Осуна. Со временем она перешла в собственность баронов Лардиес. И вот в начале 1968 года семейство Лардиес обратилось в «Хунту по квалификации, оценке и экспорту из страны представляющих исторический интерес произведений искусства» за разрешением продать картину на международном аукционе. Генеральное управление изящных искусств испанского министерства образования и науки решило, что предварительно в Мадриде должен состояться открытый аукцион, о котором будет объявлено не только в испанской столице, но и в Париже, Лондоне, Риме и Брюсселе. Генеральное управление заявило также, что начальная цена торгов — 3 миллиона песет, а каждое новое предложение должно превышать предыдущее не менее чем на тысячу песет. Все желающие принять участие в аукционе обязаны были внести предварительный залог в 300 тысяч песет, и тот, кто приобретет картину, должен в десятидневный срок внести за нее всю сумму наличными деньгами.

Затем пресса соответствующих стран широко оповестила о времени и месте проведения торгов, а общественность Испании стал волновать вопрос, лишится ли страна произведения великого художника или нет.

Наступил день аукциона. К удивлению присутствующих, было зарегистрировано лишь одно предложение о приобретении картины Гойи. Его сделал некий Теодоро Флорес Роблес, который внес соответствующий задаток. В этих условиях нотариусу Хуану Вальету, в конторе которого должны были проходить торги, ничего не оставалось, как объявить, что, поскольку есть лишь одна ставка, аукцион не может состояться и картина, таким образом, остается в собственности баронов Лардиес. Похоже, отмечает печать, что именно их закулисные махинации привели к «неудаче» аукциона. Ведь им выгоднее продать картину за границей.

Теперь все зависит от решения властей: дадут они разрешение на вывоз картины Гойи или нет. История с продажей картины «Нападение на дилижанс», таким образом, еще не закончилась.

---

В испанском городе Памплона, увековеченном Эрнестом Хемингуэем в его романе «И восходит солнце», в первый день знаменитой фиесты в присутствии Мэри Хемингуэй состоялась красочная церемония открытия памятника писателю на улице, названной его именем. На снимке: Мэри Хемингуэй у бронзового бюста писателя.

*(Газета «Интернешнл геральд трибюн»)*

### ВЕРХ ЦИНИЗМА

Как известно, многие видные прогрессивные поэты, писатели и ученые Испании были в свое время расстреляны франкистами, заточены в тюрьмы или вынуждены покинуть родину. Среди павших от рук испанских фашистов — Федерико Гарсиа Лорка, Мигель Эрнандес, Антонио Мачадо и другие. Долгие годы их имена замалчивались, а их произведения были запрещены, конфискованы и уничтожены. Франкисты не могли простить Лорке его свободолюбивых высказываний и демократических взглядов, они не могли забыть ставших крылатыми слов Мигеля де Унамуно, сказанных сразу же после прихода франкистов к власти: «Вы победили, но не убедили».

Однако классовые бои в Испании, которые последние годы потрясают основы диктатуры, отход от режима многих его сторонников заставляют франкистов усиленно лавировать. Особенно изобретательны они в области пропаганды, силясь доказать недоказуемое — будто режим в стране изменил свою диктаторскую сущность, стал либеральным. С этой целью в последние годы извлекаются из небытия многие имена, ранее преданные анафеме. За последние месяцы в Испании были изданы, например, полные собрания сочинений в трех томах Висенте Бласко Ибаньеса, Бенито Переса Гальдоса; в двух томах — Алехандро Касоны, однотомник Федерико Гарсиа Лорки. Поступили также в продажу два тома избранных сочинений Мигеля де Унамуно. Характерно, что орган монархистов газета «АВС», сообщая об издании произведений Лорки, называет его «одним из самых гениальных поэтов современной Испании». Газета подчеркивает, что в издание сочинений Лорки впервые включены три прозаических произведения, девять поэм, пять пьес, из которых одна прежде никогда не издавалась, а также тридцать один рисунок поэта.

Франкисты, видимо, решили побить собственные рекорды цинизма: как сообщает печать, в связи с исполнившимся недавно 70-летием Лорки, расстрелянного испанскими фашистами, власти объявили, что поэту будет поставлен памятник.

## ИТАЛИЯ

### ХУДОЖНИК ВСТУПАЕТ В КОМПАРТИЮ

В редакцию газеты «Унита» пришло письмо от известного художника Джанкарло Изолы, в котором он пишет о своем решении вступить в ряды Итальянской коммунистической партии.

Художник так объясняет свое решение: «Одна из печальных особенностей общества, в котором мы живем, особенность не столь уж явная, но симптоматичная, заключается в том, что так называемые предметы потребления порабощают человека и делают его жертвой прогресса, который все чаще оборачивается против человеческой личности... Люди эмоционально и интеллектуально становятся беднее...

Я вступаю в коммунистическую партию, потому что именно в ней заключена сила, способная объединить нашу ненависть к существующему порядку вещей и наши надежды и повести человечество к осуществлению самых светлых идеалов».

### НА СЪЕМОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Отложив на некоторое время намерение ставить фильм «Путешествие Дж. Масторны», о котором объявлялось неоднократно в течение последних двух лет, Федерико Феллини ведет подготовку к съемкам картины «Сатирикон» по Петронию. Феллини начал переговоры с известными итальянскими и иностранными актерами, в том числе с эстрадной певицей Миной, американским комиком Дэнни Кеем, французским актером Пьером Клементи, англичанином Терренсом Стэмпом— исполнителем главной роли в последней работе Феллини — эпизоде «Не закладывай голову дьяволу» по мотивам рассказа Эдгара По (в фильме «Три шага в бреду»).

Кинорежиссер Де Сика и исполнитель главной роли в фильме «Любовники» Марчелло Мастроянни на съемочной площадке.

*(Газета «Унита»)*

Режиссер Карло Лидзани, постановщик знакомого советским зрителям фильма «Повесть о бедных влюбленных», снимает вместе с болгарскими кинематографистами фильм «Любовница Граминьи» (экранизация новеллы Дж. Верги). В роли сицилийского разбойника Граминьи — актер Джан Мария Волонте, его возлюбленной — популярная актриса Стефания Сандрелли.

Имевшую большой успех пьесу драматурга Брунелло Ронди «Любовники» экранизирует один из старейших итальянских режиссеров Витторио Де Сика. В одноименном фильме снимаются итальянские и иностранные актеры. Главную роль исполняет Марчелло Мастроянни. Это история короткой, полной драматизма любви между итальянским инженером и молодой девушкой-американкой, знающей, что она смертельно больна. Съемки ведутся на севере Италии, близ города Тревизо.

«Ку-клукс-клан» — рисунок Ренато Гуттузо.
*(Газета «Унита»)*

### «СТРЕГА» — ПИСАТЕЛЮ БЕВИЛАККУА

После долгих перипетий, о которых «Иностранная литература» уже писала (см. № 9, 1968), состоялось присуждение литературной премии «Стрега». Она вручена молодому писателю Альберто Бевилаккуа за роман «Кошачий глаз», вышедший в издательстве Риццоли. Писатель был в числе пяти «финалистов» конкурса на соискание этой премии; после того как Пазолини, Дзаваттини и другие его конкуренты заявили о своем отказе участвовать в соискании «Стреги», Бевилаккуа оказался единственным «не вышедшим из игры».

Однако критика отмечает, что независимо от событий, разыгравшихся в нынешнем году в связи с присуждением этой премии, книга Бевилаккуа достойна внимания. Она представляет собой шаг вперед в творчестве писателя — автора романов «Город, объятый любовью» и «Калифиха». Первый из них воссоздавал атмосферу народной борьбы в Парме в годы захвата власти фашистами; во втором Бевилаккуа нарисовал портрет женщины из народа — жертвы морального разложения общества эпохи «итальянского экономического чуда». В своем новом романе писатель показывает мелкобуржуазного интеллигента, слабовольного, рефлектирующего, не способного к действию. Сюжет романа можно назвать банальным: Марчелло, по профессии телевизионный оператор, безнадежно продолжает любить ушедшую от него жену Джулию несмотря на то, что она — воплощение мещанства и буржуазного стяжательства. Он позволяет ей поселиться у любовника — бога того промышленника, увести с собой детей, и сам соглашается переехать в роскошную виллу этого спекулянта-промышленника, занимающегося подозрительными сделками под покровительством своих друзей — клерикалов и реакционеров. Однако значение романа Бевилаккуа, как подчеркивают авторы рецензий, далеко выходит за рамки тривиальной истории адюльтера: оно не только в глубоком раскрытии внутреннего «я» героя, в обличении его апатии, внутренней опустошенности и скрытой жестокости, но и во многих метких наблюдениях и суждениях нравственного и социального характера, касающихся современного буржуазного общества. Именно они придают роману многоплановость, составляют его «подтекст», позволяющий судить о намерениях автора как моралиста и социолога. Такое мнение высказывает, в частности, критик Микеле Раго на страницах газеты «Унита».

Как объявили организаторы премии «Стрега», после той яростной критики, которой подверглось в нынешнем году проведение конкурса, порядок присуждения этой премии будет изменен.

## КЕНИЯ

### ТЕЛЕЭКРАН ОЧИЩАЕТСЯ ОТ ГАНГСТЕРОВ

Американский многосерийный вестерн «Золотое дно» и английский фильм «Святой», состряпанный в том же духе, не выйдут больше на телевизионные экраны Кении. Голливудский боевик «Пэрри Мейсон» будет показан, по сообщению печати, лишь после того, как из него вырежут сцены убийств. Таковы первые результаты вступившего в силу правительственного указа о запрещении демонстрации по телевидению фильмов, смакующих жестокость и насилие.

Это решение вызвано беспокойством кенийской общественности, усматривающей прямую связь между пропагандой насилия в западных телевизионных фильмах и ростом преступности в стране. Категоричность принятого правительством указа была подчеркнута директором национального телевидения Кении Ричардом Коске, заявившим, что телеэкран решено «очистить от всего, что может спровоцировать насилие».

### ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вышла в свет книга для детей под названием «Одинокая черная свинка». Ее автор—кенийская писательница Энн Матинди. В книге шесть рассказов, основанных на африканском фольклоре. Энн Матинди — первый автор в стране, пишущий для детей.

## МОНГОЛИЯ

### «УЧИТЕЛЬ ЛЕНИН»

Союз монгольских писателей начал подготовку к выпуску литературного сборника под названием «Учитель Ленин», который посвящается 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

В этот сборник объемом до 30 печатных листов включены новые и уже ранее печатавшиеся произведения монгольских писателей о вожде мирового пролетариата, а также о дружбе монгольского и советского народов.

Предполагается, что сборник «Учитель Ленин» выйдет в начале 1969 года.

## ОАР

### ЕГИПЕТСКИЙ ШЕЙХ — ПРОФЕССОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Каирский журнал «Аль-Мусаввар» опубликовал статью писателя Салеха Гоудата «Шейх, который обучил русских арабскому языку». В статье рассказывается об истории развития арабско-советских культурных связей, о переводах произведений русской литературы на арабский язык и произведений арабских писателей на русский. По словам Гоудата, на арабский язык переведены «все произведения Горького, Чехова, Пушкина, Достоевского и им подобных». В то же время, по его мнению, на русский язык пока еще мало переведено крупных произведений арабской литературы, особенно поэзии. «Справедливости ради,— продолжает Гоудат,— следует сказать, что Советский Союз уделяет из всех европейских стран наибольшее внимание изучению арабского языка в своих специализированных институтах. Число лиц, владеющих арабским языком в одном Советском Союзе, превосходит число знатоков арабского по всей Европе».

Русские издавна проявляли интерес к арабскому языку. В середине прошлого века из Египта в Россию приехал ученый шейх, преподаватель мусульманского университета «Аль-Азхар» Мухаммед Айяд ат-Тантави, который был назначен ординатором-профессором Санкт-Петербургского университета. Шейх ат-Тантави был выдающимся ученым. Его перу принадлежит свыше ста трудов по литературе, грамматике, риторике, математике и истории. Большинство рукописей этих работ хранится до сих пор в Ленинграде. Ат-Тантави навсегда связал свою судьбу с Россией. Приехав в Петербург в 1840 году, он прожил там до самой смерти в 1861 году и был похоронен на Волковом кладбище. Им было подготовлено несколько поколений востоковедов, оставивших заметный след в русской науке.

Сообщая в своей статье в основном верные факты о жизни и деятельности шейха ат-Тантави в России, С. Гоудат допускает, однако, отдельные неточности и ошибки. Так, например, он пишет, что ат-Тантави родился в 1810 г. в городе Танта. На самом деле, как это было установлено известным русским востоковедом И. Ю. Крачковским, ат-Тантави родился в египетском местечке Ниджрид. Неверно также утверждение автора статьи о том, что история преподавания арабского языка в России «восходит к середине прошлого века», когда туда приехал ат-Тантави. Уже во второй половине XVIII столетия арабский язык преподавался в народном училище г. Астрахани, а в начале XIX века в разное время он был введен в качестве предмета изучения в университетах Харькова, Казани, Москвы и Петербурга.

### «СТЕБЕЛЬ САХАРНОГО ТРОСТНИКА»

В литературной серии «Алмазная книга», выпускаемой каирским издательством «Дар аль-кятиб аль-араби», опубликован сборник рассказов египетского писателя Махмуда Хасана аль-Азиба «Стебель сахарного тростника».

Критик Ала ад-Дин Вахид в своей рецензии, напечатанной в журнале «Аль-Адиб», пишет, что это первый сборник автора, принадлежащего к «молодым писательским талантам, только что засверкавшим на небосклоне египетской новеллистики». В книге аль-Азиба 14 рассказов. По сло-

вам критика, молодой писатель талантливо рисует в них мир египетской деревни, показывая большие изменения, которые ныне происходят в жизни тысячелетиями угнетавшихся феллахов. В новелле «Ворота» рассказывается о том, как медленно изменяется психология жителя деревни, привыкшего испокон веков видеть угнетателя в любом представителе власти. Герой новеллы сельскохозяйственный рабочий Атыйе долго не может поверить приехавшему из города профсоюзному деятелю, который рассказывает об установлении минимума зарплаты, о бесплатной медицинской помощи и других льготах, вводимых для рабочих-сезонников. Все это кажется ему фантастичным и неосуществимым. Новелла «Второе рождение» повествует о распределении земли среди безземельных феллахов. С большой симпатией аль-Азиб пишет о деревенских детях. Так, в новелле «Стебель сахарного тростника» автор рисует бедного мальчугана, потерявшего пиастр, на который он хотел купить стебель сахарного тростника — любимое лакомство деревенских детей. (Эта новелла, по мнению критика, напоминает лучшие рассказы о детях, написанные знаменитым египетским новеллистом Юсефом Идрисом.) Автор рецензии отмечает большую теплоту и искренность, с какими аль-Азиб рисует своих героев — феллахов, детей, сельских учителей, мелких служащих, говорит о его мягком, добром юморе. Однако в некоторых рассказах писателя, по словам критика, заметно влияние модных модернистских течений. Отдельные новеллы написаны в несвойственном ему стиле «потока сознания», они слабее остальных новелл сборника.

## ПОЛЬША

### В МУЗЕЕ ПЛАКАТА

В Виланове — бывшей летней резиденции короля Яна III Собесского под Варшавой — функционирует открытый недавно Музей плаката. Его экспозиция развернута в одном из старинных зданий, неподалеку от королевского дворца. Фонд музея насчитывает 13 тысяч плакатов, из них 80 процентов — польские. Работ довоенных художников Польши здесь немного — около 500, поскольку большая часть плакатов погибла во время второй мировой войны и гитлеровской оккупации. В фонд музея вошли плакаты, которые демонстрировались на I Международной биеннале плаката в Варшаве в 1966 году. Музей был открыт ко II биеннале, состоявшейся в нынешнем году. Благодаря организации международных выставок плакатов, музей имеет возможность регулярно пополнять свой фонд новейшими работами художников - плакатистов всего мира. Кроме того, он ведет обмен с зарубежными музеями и библиотеками в Москве, Париже, Амстердаме.

Хранитель музея Янина Фиялковская рассказала корреспонденту еженедельника «Польское обозрение»: «Экспозиция у нас будет все время меняться. Мы хотим показывать новые выставки каждые 3—4 месяца... В конце года в честь V съезда ПОРП покажем политический плакат. В будущем году, к 25-летнему юбилею народной Польши, мы представим ретроспекцию послевоенного польского плаката. Кроме того, планируем выставку европейского плаката периода «Ар нуво», экспозиции французского, швейцарского и голландского плаката. Я хотела бы добавить, что наш музей вызвал большой интерес за границей, в частности во Франции, которую считают родиной современного плаката».

### МАЯКОВСКИЙ В ПОЛЬШЕ

Известный польский литературовед Флориан Неуважный выступил в еженедельнике «Пшиязнь» («Дружба») со статьей «Пути славы Маяковского в Польше».

«Поэзия Маяковского, в силу своего новаторства и революционности,— пишет автор,— не могла долго оставаться незамеченной польскими поэтами и критикой. В 1969 году мы будем отмечать своеобразный юбилей: пятидесятилетие славы Маяковского в Польше».

Неуважный рассказывает о том, что первые переводы стихотворений Маяковского в Польше появились в 1919 году — знаменитый польский поэт Юлиан Тувим перевел поэму «Облако в штанах». Тувим писал: «Первое знакомство с поэзией Маяковского потрясло меня, как молния, прорезавшая небо. Строфа — революция, рифма — революция, образы — революция... Да, это переворот, это революция в поэзии. И сразу же — и навсегда — Маяковский слился в моем сознании с Октябрьской революцией, хотя нас не переставали пичкать ложью, зловонным месивом клеветы и измышлений. Настороженная, молодая совесть и жадное, юное сердце безошибочно угадали в Маяковском гениального певца этой революции».

В 20-е годы переводы произведений Маяковского широко печатаются в журналах «Роботник», «Культура роботнича», «Нова культура». Революционный поэт Витольд Вандурский перевел «Левый марш», пролог «Мистерии-буфф», стихотворение «Поэт-рабочий» и другие. Усилиями Броневского, Вандурского, Станде и в первую очередь Бруно Ясенского в 1927 году в Польше был выпущен первый стихотворный сборник Маяковского. В том же году советский поэт дважды побывал в Польше, что еще больше повысило к нему интерес.

«Послевоенные годы,— пишет далее Флориан Неуважный,— позволили польскому читателю познакомиться с революционными произведениями поэта, которых нельзя было печатать раньше. Характерно, что в довоенной Польше, как, впрочем, и во всей Европе, молчанием была окружена

поэма «Владимир Ильич Ленин», переведенная на польский язык лишь после войны».

В это время были изданы и поставлены пьесы «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф», «Радио-Октябрь», которые, по словам автора статьи, завоевали и продолжают завоевывать поклонников оригинального таланта Маяковского.

Издательство «Чительник» осуществило выпуск трехтомника Маяковского, в который помимо стихов поэта включена его автобиография, «Мое открытие Америки», статьи о литературе и искусстве. В последние годы изданы письма поэта, его лирические стихи, монографии о его творчестве, в том числе «О Маяковском» Виктора Шкловского.

«Надо сказать,— пишет в заключение Флориан Неуважный,— что в наше время Маяковский активно «участвует» во всех фестивалях художественного слова, поэзии, театров и т. д. О неизменной популярности советского поэта в Польше свидетельствует не только растущее число работ и очерков, посвященных ему, но и все увеличивающийся спрос на его произведения».

### ФИЛЬМЫ АННЫ СОКОЛОВСКОЙ

Ежемесячник «Кино» опубликовал беседу своего корреспондента с молодым режиссером Анной Соколовской, автором фильмов о детях («Большая, побольше, самая большая») и молодежи («Беата» и «Юлия, Анна, Геновефа»). Соколовская — одна из тех польских женщин-режиссеров, которая, по словам корреспондента журнала, затрагивает в своих фильмах глубокопсихологические проблемы.

В последнем фильме «Юлия, Анна, Геновефа» рассказана история современной молодой женщины, которая, будучи ребенком, во время войны потеряла родителей. Ее воспитала очень добрая, сердечная женщина, но естественное желание найти настоящих

Ванда Нейман — исполнительница главной роли в фильме «Юлия, Анна, Геновефа».

*(Журнал «Кино»)*

родителей заставляет героиню начать трудные и долгие поиски.

Война давно кончилась, но она, словно проклятье, тяготеет над судьбой героини, пишет далее корреспондент. Поиск потерянных родителей превращается в поиск моральный. Героиня попадает в разные семьи, каждая из которых признает ее своей потерянной дочерью; это заставляет героиню глубоко задуматься над своей жизнью и определить дальнейшую линию поведения. «Прежде всего, каждый из нас должен осознать, что он собой представляет, а потом уже искать свое место в жизни,— говорит Анна Соколовская.— Я не сумела бы показать своего героя живущим в каком-то нереальном, надуманном мире, мой герой должен обладать в большей или меньшей степени таким же жизненным опытом, что и я».

По мнению Анны Соколовской, художник должен искать своих героев в повседневности; жизнь, его окружающая, полна проблем, они-то и должны найти отражение на экране.

## ПОРТУГАЛИЯ

### НА КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ В ЛИССАБОНЕ

Прошедшая в португальской столице очередная ежегодная книжная ярмарка, как всегда, мало что принесла читателю. По-прежнему посетители выражали неудовлетворенность почти полным отсутствием книг, написанных португальскими авторами. По данным национальных издательств, на книжных ярмарках в Лиссабоне из года в год повторяется одна и та же картина: 95 процентов представленных книг являются переводами с иностранных языков. Издатели жалуются, что португальские книги очень плохо раскупаются, несмотря на то, что их тиражи едва достигают 3 тысяч экземпляров. Причина этого — высокие цены на португальские книги, в то время как иностранные издания продаются намного дешевле.

В связи с таким положением Национальная корпорация издательств и книжных магазинов страны во время последней ярмарки обсуждала вопрос о возможности до конца этого года провести в Лиссабоне специальную выставку, посвященную только современной португальской книге в целях ее популяризации. Однако салазаровские власти до сих пор не дали официального разрешения на это, и вопрос остается открытым.

## США

### ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЖУРНАЛА «РАМПАРТС»

«Геральд трибюн» сообщает о том, что в Нью-Йорке начался процесс над четырьмя ведущими редакторами прогрессивного американского журнала «Рампартс», выходящего в Сан-Франциско. Формальным поводом для начала расследования послужила обложка декабрьского номера «Рампартс», на которой были изображены четыре горящие призывные повестки с именами обвиняемых.

«Поведение властей совершенно естественно,— сказал в интервью, данном представителям прессы, один из обвиняемых, 29-летний Уоррен Хинкл,— мы

постоянно высказываемся против войны во Вьетнаме, наш журнал печатал материалы, обличающие Джонсона в предвыборных махинациях, сейчас мы публикуем отрывки из книги о Хэмфри. Последним ударом, который нанес «Рампартс», была публикация дневника Че Гевары с предисловием Кастро, в то время как правительство собиралось опубликовать сначала записки боливийского генерала.

«Этот процесс — открытый вызов свободе печати,— заявил У. Хинкл,— это не что иное, как откровенная попытка закрыть ведущий орган, выражающий недовольство ныне ш н е й американской действительностью...

Расследование деятельности «Рампартса» очень напоминает процесс над органом социалистов журналом «Мэссиз» в 1917 году, возражавшим против участия американцев в первой мировой войне. Каким бы ни было обвинение,— писал Хинкл,— приговор будет аналогичен приговору по делу доктора Бенжамина Спока».

### «БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ — ГРЯЗНАЯ ШУТКА»

Вышел новый роман известного негритянского писателя Джеймса Болдуина — «Скажи мне, когда ушел поезд» (его последний роман «Другая страна» был издан в 1962 г.).

Герой нового романа Болдуина — негритянский певец Лео Праудхаммер, уже пожилой человек. Прикованный тяжелым недугом к больничной койке, он вспоминает свою жизнь — первый успех на сцене, деньги, любовь белой женщины... В расцвете славы ему казалось, что он уже преодолел «расовый» барьер и доказал свою человеческую полноценность. Однако, окидывая мысленным взором прошлое, перебирая одно за другим события своей жизни, Праудхаммер сделал грустное для себя открытие — ничто в его жизни не изменилось, для белых он остался все тем же «ниггером».

Судьба Лео Праудхаммера, по мнению многих рецензентов, напоминает судьбу известных негритянских актеров и певцов — Гарри Белафонте, Сиднея Пуатье, Осси Дейвиса, которые, даже несмотря на успех и материальную обеспеченность, не чувствуют себя полноправными гражданами Соединенных Штатов.

Некоторые критики поспешили дать скептические оценки роману «Скажи мне, когда ушел поезд». Так, критик журнала «Верайети» написал, что Болдуин повторяет старое, но книга «читается с большим интересом». Обозреватель «Нью-Йорк таймс» заявил, что новый роман — «катастрофа» Болдуина как писателя. Иные намекают, что Болдуин, мол, кончился не только как негритянский писатель, но и как общественный деятель.

Однако последние выступленя Болдуина в США свидетельствуют о том, что эти «пророки» поторопились.

В интервью корреспонденту журнала «Эскуайр» Болдуин дал лаконичные, но исчерпывающие ответы по многим актуальным проблемам современной Америки — таким, как расовые волнения и их причины, образование и трудоустройство американских негров, внешняя политика правительства и неограниченная власть техасских нефтяных магнатов. Он тепло говорил о негритянских лидерах — Мартине Лютере Кинге и Стокли Кармайкле. На вопрос корреспондента, что, по его мнению, дает неграм так называемая программа борьбы с бедностью в США, Болдуин ответил:

«Вы что, шутите? В этой стране никогда и не велась борьба с бедностью. Никогда — по крайней мере на моей памяти. Борьба с бедностью — это просто грязная шутка».

Касаясь негритян с к и х волнений, периодически захлестывающих, как прибой, десятки городов Америки, писатель заявил: «Белый расизм — вот причина гражданских беспорядков. Социальные взрывы, волнения, бунты вызваны отчаянием американского негра, который каждодневно осознает, что его отец, брат, дядя, сестра не имеют никакого будущего... У негра ничего нет. Когда время уже сваливает его в могилу, когда его руки натружены долгими годами работы, он по-прежнему нищ. И так же нищ его сын... Мы — те, кто умирает быстрее всех... Федеральное же правительство превратилось ныне — по крайней мере в глазах всех негров — в миф».

Американские политиканы, сказал далее писатель, не борются за интересы народа. Политическая машина США сегодня настолько громоздка и настолько сложна, что, кажется, никто не способен управлять ею. Она совершенно не реагирует на нужды американцев. И я говорю об этом не только как человек, у которого черная кожа. Я имею в виду, что она не реагирует на нужды американского народа в целом.

«...Вы никого не одурачите тем, что делаете во Вьетнаме,— сказал Болдуин, обращаясь к нынешним правителям США.— Вы воюете там не за свободу. Вас не волнует судьба народа этой страны — точно так же, как вас не волнует судьба моего народа. Вы безразличны и к судьбе вьетнамцев. Вы ведете там войну за свое материальное благополучие, за свои интересы».

### ЯСТРЕБЫ В ЗЕЛЕНЫХ БЕРЕТАХ

Если в нашу эпоху негероев вы хотите убедиться, что истинные герои все еще не сошли со сцены и живут рядом с вами, посмотрите этот удивительный фильм,— так написала самая влиятельная из американских буржуазных газет «Нью-Йорк таймс» в связи с премьерой художественного фильма Рэя Келлога «Зеленые береты» (сценарий Джеймса Ли Барретта по мотивам романа Робина Мура). В действительности же это фильм о «героизме» американских вояк во Вьетнаме — о тех жестокостях и зверствах, которые они чинят вот уже более шести лет на чужой земле.

Однако Р. Келлог явно не склонен акцентировать в своем фильме тот факт, что эти «подвиги» совершаются в стране непрошеными «умиротворителями» с помощью бомб, напалма и другого современного оружия. Более того, он пытается убедить зрителя, что-де насилие, «не свойственное американцам», характерно для «вьетконговцев» в такой же степени, в какой «зеленые береты» отличают «героизм и мужество».

Здравомыслящие журналисты весьма критически встретили эту стряпню. «Обстрел вьетконговцами американского сторожевого поста вдали от побережья,— пишет в рецензии на фильм американский кинокритик Джон Аллен,— представлен в фильме как варварское злодеяние. Атака же, предпринятая американцами против вьетконговского штаба, трактуется как акт героический и смелый».

Насилия, чинимые «зелеными беретами» во Вьетнаме, прославляются в фильме, и в этом, подчеркивает обозреватель газеты «Кристен сайенс монитор», основной просчет создателей фильма «Зеленые береты». Кроме того, отмечает обозреватель, «в этом фильме не блещут ни сценарий, ни режиссура, ни актерская игра, ни монтаж. К тому же сила его «ястребиной пропаганды» значительно ослаблена композиционной вялостью и авторским скудоумием».

## ТУНИС

### СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

В Тунисе состоялось представительное собрание с участием многочисленных деятелей культуры и искусства. Среди его участников был председатель Национального комитета по делам культуры Ламин Шабби. Собравшиеся объявили о создании в стране «Ассоциации писателей и композиторов Туниса» (СОДАКТ).

В официальных выступлениях говорилось, что отныне государство «берет под свою защиту права деятелей культуры и искусства в соответствии с принципами социалистического строя».

### ДЖЕЙМС БОНД — «ПЕРСОНА НОН ГРАТА»

В книжных магазинах страны запрещена продажа романов английского писателя Яна Флеминга, героем которых является секретный агент 007 Джеймс Бонд. Власти вынуждены были ввести этот запрет ввиду того, что, как сообщает корреспондент газеты «Аксьон», чтение подобных романов, по официальному заявлению, ведет к «подрыву моральных устоев и снижению интеллектуального уровня их читателей».

## ТУРЦИЯ

### ЛЮДЯМ НУЖНЫ КНИГИ МАРКСА, ЭНГЕЛЬСА, ЛЕНИНА

Газета «Джумхуриет» напечатала статью журналиста Ильхана Сельчука под названием «Запрет трудов Маркса и Ленина». Автор статьи пишет, что в последнее время в Турции заметно повысился интерес к произведениям классиков марксизма-ленинизма и что на прилавках книжных магазинов можно купить книги Маркса, Энгельса, Ленина. Однако, отметил Сельчук, издатели марксистской литературы всегда находятся под угрозой: власти могут заключить любого издателя в тюрьму на основании статей 141-й и 142-й уголовного кодекса; эти статьи были заимствованы еще из законодательства фашистской Италии, предусматривавшего длительное тюремное заключение за коммунистическую пропаганду.

Ильхан Сельчук называет Октябрьскую революцию 1917 года в России «поворотным моментом в истории», поэтому, пишет он, необходимо, чтобы турецкие граждане были знакомы с трудами классиков марксизма-ленинизма. «Советская революция,— продолжает он,— положила конец господству класса буржуазии и установила власть пролетариата. Все это настолько важные факты истории, что, не зная их, невозможно понять ни истории прошлого, ни настоящего».

### ПЕВЕЦ СВОЕГО КЛАССА

Премии Саида Фаика, ежегодно присуждаемой за лучший сборник рассказов, в этом году удостоен Музаффер Буйрукчу. Сборник «Борьба», награжденный премией,— седьмая книга писателя.

Буйрукчу родился в семье батрака в 1930 году. Вместе с семьей перебрался в Стамбул, стал рабочим. Сейчас он зарабатывает на жизнь службой в Управлении сельскохозяйственной продукции и вот уже пятнадцать лет пишет рассказы.

В интервью журналу «Май» Буйрукчу сказал: «Я пришел в литературу в начале пятидесятых годов, ничего не зная о литературе. Поскольку я выходец из обездоленного, порабощенного и бесправного класса, драма которого продолжается семьсот лет и за эти столетия вошла в его плоть и кровь, мне не нужно было делать выбора. Я стал рассказывать о классе, к которому сам принадлежу. Я пытался создать в своих рассказах равновесие между исследованием общественных факторов и изображением психологии, сознания и подсознания человека, стонущего под гнетом этих социальных факторов... Наши крупные издательства, в первую очередь призванные охранять права национальной литературы, превратились на деле в турецкие отделения иностранной, западной литературы. Их владельцы нашли легкий путь для выколачивания денег и, разбогатев, оттолкнули турецкую литературу, ведущую борьбу за существование в самых трудных условиях. Этот союз с колонизаторами, империалистами и ненависть ко всему отечественному привели к

упадку прежде всего жанра рассказа...»

### ПИСАТЕЛЬ ГОВОРИТ «НЕТ» НАТО

Анкарский журнал «Форум» опубликовал речь известного турецкого писателя Азиза Несина, которую он произнес на митинге, организованном «Союзом революционных сил» в связи с восьмой годовщиной событий 1960 года, когда армия, поддержанная народом, свергла профашистское правительство Мендереса.

«Турецкая реакция,— сказал писатель,— всего лишь орудие империализма. Поэтому, если вы хотите одолеть реакцию, нужно прежде всего вырвать из нашей земли ее корни, которые тянутся за границу, к империализму. Вот почему каждый подлинный патриот, каждый истинно народный интеллигент говорит «нет», тем, кто превратил Турцию в передовой бастион империализма. Мы говорим «нет» тем, кто хочет, чтобы наша Турция стала полигоном войны, которую беспрестанно готовят империалисты. Вот почему мы говорим «нет» НАТО!

Перед нами — перед народом и перед страной,— продолжал писатель,—стоит вопрос: быть или не быть нам на карте мировой цивилизации. Реакция пытается стереть Турцию с этой карты... Один из самых характерных методов реакции всегда состоит в том, чтобы выступать против всего передового, всего нового, попытаться его уничтожить, а когда это не удается, ужиться с победившим новым, вобрать его в себя и удушить... Реакционеры выступали против Мустафы Кемаля Ататюрка, а потерпев неудачу, стали на словах самыми ярыми кемалистами, чтобы уничтожить кемализм изнутри... То же самое реакционеры проделали с революцией 1960 года.. Но Мустафа Кемаль завещал Турецкую революцию и Турецкую республику молодежи... Мы говорим «нет» тем, кто мечтает об удушении и деградации революции. Мы говорим «нет» тем, кто под видом помощи посягает на нашу жизнь и достоинство!»

## ФРАНЦИЯ

### НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР ПАРИЖА

В начале зимнего сезона в Париже открылся новый городской театр (в помещении Театра Сары Бернар), призванный продолжить традиции ТНП и привлечь новых зрителей из среды трудящихся. Директором Городского театра назначен Жан Меркюр. Он рассказал корреспонденту еженедельника «Ёр клэр» о репертуарных планах театра. Ежегодно намечено ставить четыре спектакля. В театральном сезоне этого года зрители увидят: «Много шума из ничего» Шекспира в постановке Жоржа Лавелли, «Шесть персонажей в поисках автора» Пиранделло и одну из пьес Сартра в постановке Жана Меркюра. Четвертая пьеса еще не определена, но она должна принадлежать перу современного автора и быть о современности.

В «Юманите» напечатано интервью с коммунистическим депутатом Парижского муниципалитета Андре Вогэ. На вопрос корреспондента газеты, поддерживала ли коммунистическая группа в муниципалитете идею создания нового театра, Вогэ ответил: «Можно сказать, что она была инициатором. В области культуры, как и в других, мы стремимся добиться того, чтобы трудящимся парижанам был предоставлен весь культурный комплекс города, отвечающий запросам нашего времени. Имеется в виду не только театр, но и другие отрасли культуры: изобразительное искусство, литература, музыка.

Наша группа выступила против намеченной ликвидации двух театров, принадлежащих городу: «Гэтэ лирик» и Театра Сары Бернар. Первый был закрыт еще пять лет назад, и его собирались передать Консерватории.

Мы заявили протест против этой политики, выступили в защиту обоих театров и доказали, что забота о них городских властей — не роскошь, а лишь элементарная обязанность. Мы доказали, что затраты на культуру составляют всего 0,7 процента бюджета Парижа. Дебаты продолжались все лето, но мы добились победы».

Перед Городским театром стоит задача — стать проблемным театром, продолжал Вогэ. Театр должен привлечь новую публику, установить и закрепить с ней, мало привычной к театру, тесные связи. И все это — не снижая высоких творческих требований.

### «13 ДНЕЙ ВО ФРАНЦИИ»

Фильм Лелуша и Рейхенбаха «13 дней во Франции», снятый ими во время Зимних олимпийских игр в Гренобле, вызвал и нарекания и восторги. Недоумевают спортсмены, ожидавшие, что это будет спортивный фильм. Критик газеты «Комба» возмущается тем, что фильм все выставляет в смешном виде и в нем не чувствуется гордости за достижения своей страны.

Обозреватель еженедельника «Нувель литтерер», напротив, восторженно пишет о художественных достоинствах фильма, в котором еще раз, по его мнению, проявилось мастерство автора «Мужчины и женщины».

Рецензент «Юманите» высоко оценивает фильм, а работу Лелуша и Рейхенбаха рассматривает как большое мужество: «Это не спортивный, а скорее художественно-видовой фильм. Телевидение широко показывало Олимпийские игры во всем мире. Их смогли увидеть сотни миллионов телезрителей. Кинематографисты лишь показали, какое это было ослепительно красивое зрелище... Мы не переживаем заново игры, но проникаемся их атмосферой, далеко не всегда дружелюбной и полной энтузиазма. Ведь там собралось много разных людей.

Камера смогла подметить немало такого, что внешне скрыто, особенно смешные моменты... В этом документальном фильме чувствуется рука большого художника. Время от времени на экране появляется сам Лелуш и напоминает, что во Вьетнаме продолжается кровавая бойня. Нужно обладать большим мужеством, чтобы снимать этот фильм часто в очень трудных условиях безграничного, заснеженного и покрытого льдом пространства. Конечно, спортсмены пожалеют, что это не фильм о спорте. Но заслуга его авторов в том, что фильм этот интересен, близок и доступен всем зрителям».

### «НЕЗНАКОМЦЫ ИЗ АФРИКИ»

В парижском издательстве «Эдисьон Сфер» вышла книга африканского журналиста Клода Гура «Незнакомцы из Африки», которая включает двенадцать новелл о жизни современного африканского общества.

«Это небольшие, чрезвычайно эмоциональные по своей окраске, простые по языку и необычные по содержанию новеллы о жизни нового поколения Африки»,— писал о книге рецензент тунисского еженедельника «Жён Африк».—Содержанием определяется и название книги: старшее поколение в развивающихся странах Африки с удивлением констатирует, что духовно раскрепощенная молодежь гораздо острее видит сохранившиеся пороки бывших колониальных структур и смелее подходит к решению многих национальных проблем».

В одном из рассказов Гура молодые тоголезцы решительно вырубают не приносящие плодов масличные пальмы наперекор местному суеверию, что «тот, кто срубит пальму, умрет». Герои другого рассказа, молодые крестьяне одной из деревень Берега Слоновой Кости по собственной инициативе создают кооператив.

В книге затронуты многие культурные и экономические проблемы современной Африки. По мнению рецензента «Жён Африк», «актуальность темы не обескровила произведения Гура, как это нередко случается в современной прозе. Образность и лиричность его новелл заставляют читателя полюбить будничную Африку джунглей и деревень».

Обложка книги Клода Гура «Незнакомцы из Африки».

## ЯПОНИЯ

### О СОВРЕМЕННОМ РОМАНЕ И СОВРЕМЕННОМ РАССКАЗЕ

Журнал «Гундзо» опубликовал серию статей, посвященную проблемам романа и рассказа в современной литературе. Среди авторов этой серии — известный писатель Хироси Нома, выступивший со статьей, озаглавленной «Век романа».

«Существует мнение, — пишет Нома,— что поскольку к настоящему времени написано огромное количество романов, разработаны всевозможные формы романа, то он исчерпал себя и потому век романа прошел. Те, кто придерживается этого мнения, считают, что дальнейшая судьба романа неизвестна. Но по-моему, роману принадлежит большое будущее.

После второй мировой войны в мире произошли и продолжаются большие перемены. Роман, в моем представлении, призван рассказать об этой эпохе, обществе и людях. И это можно сделать только в романе. Я не хочу этим сказать, что следует отказаться от рассказа. Напротив, в рассказе можно ярко отобразить какое-то небольшое событие. Но в то же время в рассказе немыслимо передать все многообразие и всю сложность эпохи.

В общем, я за роман, за эпопею».

«Почему я пишу романы?» — так назвал свою статью писатель Кадзуми Такахаси. «Вряд ли нужно доказывать,— пишет он,— что роман и рассказ отличаются один от другого не только по объему. Они отличаются главным образом выбором изобразительных средств. Выбор жанра произведения зависит, во-первых, от художника, от его творческой индивидуальности и, во-вторых, от тех целей, которые он перед собой поставил. Я, например, никогда не стану писать рассказы, потому что стремлюсь глубоко и, главное, всесторонне проследить в своих произведениях логику развития крупных событий, осмыслить механизм социальных перемен, пути исторического развития общества. Таковы мои склонности, и, конечно же, жанр рассказа для таких целей не подходит.

Думается, разговоры об «отмирании» романа ведут люди иного творческого темперамента, а не убежденные противники его как жанра».

# Авторы этого номера

**НГУЕН ДИНЬ ТХИ — NGUYÊN DINH THI** (род. в 1924 г.).

Известный вьетнамский писатель — прозаик, поэт, драматург, литературный критик (ДРВ). На русском языке напечатаны его роман «Вперед, в атаку», поэма «Солдат Шань и его мать», несколько поэтических подборок, сказка «Новый год котенка Миу», очерки, статьи; многие его произведения переведены на языки народов СССР. «Иностранная литература» опубликовала повесть «В огне» (№ 6, 1966) и рассказ «Пленный негр» из сборника «На берегу реки Ло» («Bên sông Lô») в № 11 за 1965 г.

Перу писателя принадлежит также роман «Прорванные берега» («Võ' Bõ'»), вторую книгу которого он недавно закончил, пьеса «Черный олень» («Con nai đen»), поэма «Песнь о Черном море» («Bái Hát Hách hái»), сборник стихов «Солдат» («Chiêńsî»), популярные на его родине, и другие произведения.

Нгуен Динь Тхи — генеральный секретарь Союза писателей Вьетнама, офицер Народной армии.

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей его новый роман «Линия фронта прочерчивает небо» («Mãt trân trên cao»), публиковавшийся отдельными главами в газете «Нян зан» («Народ») и в начале этого года вышедший в Ханое отдельной книгой.

■

**ИВАН СКАЛА — IVAN SKÁLA** (род. в 1922 г.).

Известный чехословацкий поэт. Автор многих сборников стихов, в том числе «Май земли» («Máj zemĕ», 1950), «Утренний поезд надежды» («Ranní vlak nadĕje», 1958), «Приветствую вас, окна» («Zdravím vás, okna», 1962) откуда взята публикуемая в этом номере поэма, «Голубой календарь» («Blankytný kalendář», 1963), и др.

Стихотворения Ивана Скалы неоднократно печатались в советской периодической печати; в нашем журнале см. № 6 за 1960 г. и № 4 за 1964 г.

■

**ГОР ВИДАЛ — GORE VIDAL** (род. в 1925 г.).

В этом номере мы впервые представляем советским читателям американского писателя и драматурга Гора Видала. Внук сенатора от штата Оклахома он в 1960 году выставлял свою кандидатуру на выборах в палату представителей. Автор романов «Уилливо» («Williwaw», 1946), «Суд Париса» («Judgement of Paris», 1952), «Юлиан» («Julian», 1964), «Майра Брекинридж» («Myra Breckenridge», 1968); пьес: «Визит на крошечную планету» («Visit to a Small Planet», 1957), «Самый достойный» («The Best Man», 1960), «Уик-энд» («Weekend», 1968) и др., сборника эссе «Лодка на рифах» («Rocking the Boat», 1962).

Публикуемый в этом номере роман «Вашингтон, округ Колумбия» («Washington, D. C.») вышел в 1967 году и долгое время был в списке бестселлеров взволновав читателей остротой изображения политических нравов США.

Роман печатается в журнальном варианте.

■

**ХУВЕНСИО ВАЛЬЕ — JUVENCIO VALLE** (род. в 1905 г.).

Чилийский лирик, которого литературная критика Чили называет виднейшим поэтом страны после Пабло Неруды; лауреат Национальной премии. Поэт-коммунист Хувенсио Вальe участвовал в борьбе испанского народа против фашизма, за что франкистами был брошен в тюрьму. В настоя-

щее время один из руководителей Общества писателей Чили.

Хувенсио Валье — автор многих сборников стихов, в том числе «Первая книга Маргариты» («El libro primero de Margarita»), «Сын лесника» («El hijo de guardabosque»), «Каменный нимб» («Nimbo de piedra»), «Лесной договор» («Tratado de bosque»), «С гор в долину» («Del monte a la ladera») и др.

Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

■

**МИГЕЛЬ ЭРНАНДЕС — MIGUEL HERNÁNDEZ** (1910—1942).

В рубрике «Литературное наследие» публикуются стихи этого выдающегося испанского поэта-антифашиста, погибшего во франкистской тюрьме в Аликанте. С первых дней гражданской войны в Испании Мигель Эрнандес сражался на стороне республиканцев. В 1939 году после поражения республиканской Испании был схвачен мятежниками и приговорен к смертной казни, замененной затем пожизненной каторгой.

Первая книга стихов поэта «Знаток лунного света» («Perito en lunas») вышла в 1933 году. Затем были изданы сборники «Неугасимый луч» («El rayo que no cesa», 1936), «Ветер народа» («Viento del pueblo», 1937) и «Человек на страже» («El hombre acesha»), куда вошли стихи военных лет. Его перу принадлежит также несколько пьес, в числе которых четырехактная драма «Пастух смерти» («El pastor de la muerte»), рассказывающая о боях на Гвадарраме и сражениях за Мадрид, о мужестве бойцов 5-го коммунистического полка. Стихи, написанные в тюрьме и объединенные в сборник «Песни и романсеро разлук» («Cancionero y romancero de ausencias»), были изданы посмертно за пределами Испании, как и ряд других произведений поэта.

В «Иностранной литературе» см. публикации из Эрнандеса и об Эрнандесе в № 6, 1962 и № 12, 1964.

■

**ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — JAMES ALDRIDG** (род. в 1918 г.).

Английский писатель и публицист, книги которого популярны у советских читателей. В разные годы в русском переводе вышли романы «Морской орел», «Дипломат», «Охотник», «Герои пустынных горизонтов». В нашем журнале напечатаны романы «Не хочу, чтобы он умирал» (№ 11, 1959), «Сын земли чужой» (№№ 3—5, 1968) и несколько эссе.

Публикуемая в этом номере статья получена редакцией в рукописи.

■

**РОБЕРТО ОБРЕГОН МОРАЛЕС — ROBERTO OBREGON MORALES** (род. в 1941 г.).

Гватемальский поэт. В русском переводе в 1967 г. вышел его сборник «Стихи из глины»; неоднократно стихи Р. Обрегона Моралеса печатались в советских журналах, в том числе в «Иностранной литературе» (№ 6, 1965, № 4, 1967).

Статья, публикуемая в разделе «Среди книг», получена от автора в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
**Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
**С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 00897. Сдано в производство 29/VIII-68 г. Подписано к печати 21/X-68 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2). Уч-изд. листов 26,28. Зак. 2759.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

# *К сведению читателей*

ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПЕЧАТАЕТ РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, ПЬЕСЫ, КИНОСЦЕНАРИИ, РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ ВСЕХ СТРАН МИРА.

■ ■ ■

В ПЛАНАХ ПУБЛИКАЦИЙ ЖУРНАЛА НА 1969 ГОД СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

**Кобо Абэ (Япония)** — СОЖЖЕННАЯ КАРТА (роман)
**Мишель Бютор (Франция)** — ИЗМЕНЕНИЕ (роман)
**Петер Вейс** — ГОСПОДИН МАКИНПОД (пьеса)
**Эрико Вериссимо (Бразилия)** — ПЛЕННИК (роман)
**Шерли Энн Грау (США)** — ХРАНИТЕЛИ ОЧАГА (роман)
**Габриэль Гарсиа Маркес (Колумбия)** — СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА (роман)
**Анна Зегерс (ГДР)** — ДОВЕРИЕ (роман)
**Алекс Ла Гума (ЮАР)** — КАМЕННАЯ СТРАНА (роман)
**Эдвард Олби (США)** — ВСЁ — В САДУ (пьеса)
**Марио Помилио (Италия)** — КОМПРОМИСС (роман)
**Исабель Альварес де Толедо (Испания)** — ЗАБАСТОВКА (роман)
**Николай Хайтов (Болгария)** — РАССКАЗЫ
**Тамара Хови (США)** — СТРЕМЛЕНИЕ МАЛЕНЬКОЙ МОШКИ (роман)
**Пауль Шаллюк (ФРГ)** — ДОН КИХОТ В КЁЛЬНЕ (роман)

■ ■ ■

РАССМАТРИВАЮТСЯ ТАКЖЕ НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

**Мигеля Анхеля Астуриаса, Марио Варгаса Льосы, Вольфганга Кёппена, Хулио Кортасара, Адриано Гонсалеса Леона, Камена Калчева, Джона О'Хара, Азиза Несина, Йордана Радичкова, Андре Стиля, То Хоая, Сембена Усмана, Карлоса Фуэнтеса, Иосиэ Хэтта, Агустина Яньеса, Катеба Ясина и др.**
**В поэтической рубрике стихи Адониса, Денниса Брутуса, Мирослава Валека, Габора Гараи, Доры Габе, Петра Караангова, Эрнесто Карденаля, Карлоса Аугусто Леона, Луиса Суардиаса, Алана Силлитоу, Октавио Паса, Т. С. Элиота и др.**

■ ■ ■

В РАЗДЕЛЕ «КРИТИКА» ПУБЛИКУЮТСЯ СТАТЬИ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ЛИТЕРАТУР, ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ, ТВОРЧЕСКИЕ АНКЕТЫ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ.

В КАЖДОМ НОМЕРЕ ПОМЕЩАЮТСЯ РЕЦЕНЗИИ НА КНИЖНЫЕ НОВИНКИ, КАК ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЗА РУБЕЖОМ, ТАК И ВЫШЕДШИЕ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ.

В РАЗДЕЛЕ «ПУБЛИЦИСТИКА» — СТАТЬИ ПО ВАЖНЫМ ПРОБЛЕМАМ СОВРЕМЕННОСТИ: НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА ВЫСТУПАЮТ ИЗВЕСТНЫЕ ПИСАТЕЛИ, ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ; ПЕЧАТАЮТСЯ ОЧЕРКИ, ДОКУМЕНТЫ, ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, СТАТЬИ О ЗАРУБЕЖНОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ, КИНО И ТЕАТРЕ.

В РАЗДЕЛЕ «ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ» — РАЗНООБРАЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИТЕРАТУРНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ЗА РУБЕЖОМ.

ЖУРНАЛ ИЛЛЮСТРИРОВАН.

■ ■ ■

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛАМИ «СОЮЗПЕЧАТИ», ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ.

**Подписная цена:**

**на 12 месяцев — 9 р. 60 к.**
**на 6 мес. — 4 р. 80 к.**
**на 3 мес. — 2 р. 40 к.**
**Цена одного номера — 80 коп.**